Е 41
1355

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Е41 / 1355

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ

ДБ
450
П48

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

СБОРНИК СТАТЕЙ
1917 — 1927

Издательство
коммунистической
академии
1929

е в Сх

ГОСУД. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
№ 26246 1972 г.

„МОСПОЛИГРАФ“
14-я типография
Варгунихина гора д. 8.
Заказ 484 Москва 1929 г.
Главлит № А 22807,
ИКА 213. Тир. 5 000.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ ... УГЫ
№ 120101/8

ПРЕДИСЛОВИЕ

Собранные в этом томе статьи тяготеют к одному центру: выяснению вопроса, чем была наша революция 1917 года. Кульминационным пунктом этой революции был Октябрь: Октябрьская революция не есть какая-то особая революция, непроницаемой переборкой отделенная от «буржуазной» революции февраля того же года, а есть высшая точка подъема всего революционного движения этого года. И этому нисколько не мешает то обстоятельство, что Февральская революция еще не была социалистической, как не мешает и то, что Октябрю оставалось кое-что доделать по части буржуазно-демократической революции и доделать не мало. «Мы все противополагаем буржуазную революцию и социалистическую,—писал Ленин еще в 1905 году,—мы все безусловно настаиваем на необходимости строжайшего различения их, а разве можно отрицать, что в истории отдельные, частные элементы того и другого переворота переплетаются? Разве эпоха демократических революций в Европе не знает ряда социалистических движений и социалистических попыток? И разве будущей социалистической революции в Европе не осталось еще многого и многого доделать в смысле демократизма?».

Всем этим оправдывается, по мнению автора, то заглавие, которое носит этот том: «Октябрьская революция»,—хотя собственно событиям октября 1917 года в нем посвящено всего 3 статьи (последние во втором разделе). Но весь комплекс фактов, охватываемых этим томом, имеет непосредственное отношение к Октябрьской революции и борьбе за то или иное ее понимание, не исключая и статей, посвященных Милюкову, сменовеховцам или эсерам.

Статьи написаны в разное время на протяжении почти десяти лет. Автор отнюдь не принадлежит к тем, кто гордится своею неподвижностью,—за 10 лет не менялась его

основная точка зрения, но изменялись частные точки зрения по поводу некоторых, иногда весьма крупных, деталей. Некоторое «разночтение» в разных статьях поэтому неизбежно. Автор не видит тут беды—поскольку история есть наука конкретная, и вся ценность «исторического подхода», на котором так настаивал Ленин, состоит именно в учете непосредственно фактической стороны дела. Чем лучше мы знаем факты, тем точнее будет наша формулировка и тем увереннее будет практический метод наших действий. По мере все более и более близкого знакомства с фактами, отношение к тем или другим деталям не только может, но и должно меняться. Кто вздумал бы, на основании предвзятой точки зрения, навязывать истории то, чего не было, погрешил бы сразу и против ленинизма, и против исторической науки. Иначе, впрочем, и быть не может, поскольку ленинизм и требования строгого научного метода вполне совпадают.

Некоторые из статей в свое время не успели получить законченной литературной обработки и представляют собою лишь наскоро выправленную стенограмму доклада. Но раз они были в таком виде опубликованы, приходится воспроизводить их и в сборнике статей в таком же виде. Автор не смотрит на свои писания как на художественные произведения—он стремится только сообщить другим те или иные мысли, которые кажутся ему стоящими общественного внимания. Пусть будет и шероховато, лишь бы было понятно.

М. П.

14 января 1929 г.

ЛЕНИН

ВОЖДЬ

Мочь—значит предвидеть. Кто видит вперед дальше других, тот господствует над другими.

Уж не будем говорить об обывателях—тем бог велел не видеть дальше своего носа: но сколько раз мы, партийные люди, изучавшие Маркса и историю, пожимали плечами, слушая речи Ленина. Я никогда не забуду первого своего впечатления в этом роде. Дело было в Женеве, летом 1905 года. Ленин говорил почти исключительно на тему о вооруженном восстании. Я тогда только что приехал из России, сразу после самым плачевным образом провалившейся попытки устроить в Москве всеобщую забастовку. «Что за утописты эти заграничные лидеры,—горевал я, идя после собрания, под проливным дождем, по женевским улицам,—нашего рабочего и на забастовку-то не раскачаешь, а он эка что закатывает—вооруженное восстание».

Вернувшись в Москву, в сентябре, в один из первых же вечеров, мирно возвращаясь с какого-то заседания «литераторской группы», я попал в свалку,—на Тверском, помнится бульваре. Мимо меня скакали казаки, свистели камни. Толпа не боялась более казаков—это меня сразу поразило. Это была не та толпа, которую я оставил в июне. А еще месяц спустя, в октябре, я сам заканчивал «свои преступные лекции» (технический термин, которым обозначала царская полиция наши рефераты) возгласом: да здравствует вооруженное восстание! А еще два месяца спустя пришли декабрьские баррикады. То, что в июне казалось утопией трем четвертям социал-демократов, от чего в ужасе шарахались меньшевики даже впоследствии, задним числом,—вооруженное восстание народной массы против царизма,—стало фактом.

В феврале 1917 года его не пришлось уже проповедывать. Дело разумелось само собой: на медведя нужно итти с рогатиной, а на самодержавие—с винтовкой и пулеметом. И другие «утопические» лозунги 1905 года, которые тогда обыватель считал явным доказательством безумия Ленина и его последователей: «Учредительное собрание», «демократическая республика» перестали пугать кого бы то ни было. Их даже Николай II понял и довольно правильно записал в

своем дневнике. Обыватель же и сам себя объявил однажды республиканцем—в чем потом, слышно, горько раскаивался. Но это потом,—а тогда, в марте—апреле 1917 года, не было бы оратора популярнее Ленина, если бы он ограничился повторением лозунгов 1905 года. Ленинские «безумства» тех времен превратились в «чернозем мысли».

Но этому человеку на роду написано пугать обывателя, русского и заграничного. Об Учредительном собрании и демократической республике он больше не говорил, а стал держать речи о социалистической революции. И опять пришла очередь пожимать плечами не одним обывателям. В отсталой «мужицкой», «полуфеодальной» России—социализм! Ведь это же явная утопия! Ведь это же безумие, которое кончится тарарахом через три месяца, если не через три недели!

Однако, как и в пятом году, итти было не за кем, кроме Ленина. Керенщина быстро вырождалась в корниловщину. От нее на версту несло трупным смрадом контрреволюции—даже либералы, почестнее, морщились. А левее керенщины, вплоть до ленинского блока, было огромное пустое пространство, по которому, плача и причитая, метались интернационалисты. Кто не хотел видеть, как воскресший помещик при правлении воскресших Романовых будет воспевать столыпинщину, тот должен был пойти за Лениным.

И пошли—иные не без тоскливых предчувствий. С тоской смотрели они, как сначала национализировали банки, потом разогнали учредилку... Безумие, утопия. И они готовились к честной революционной смерти—может быть, завтра, может быть через месяц... Мы свой долг исполнили, а за «эксцессы», за увлечения, кто же отвечает. Какая же революция без них обходилась?

Прошло два года. Два безумно тяжелых года,—тяжелее которых никогда не переживало ни одно правительство в России. Тарарахов было множество. Сначала полетели Вильгельм германский и Карл австрийский. Потом взвился, как ракета, и пал в пучину небытия Колчак. Одновременно возникали и падали многочисленные вожди «всевеликого Дона»—от Каледина до Деникина. А провозглашенная Лениным «утопия»,—Российская социалистическая республика,—стоит. Стоит, и почва под ней трясется все менее. И уже из-за тумана начинают виднеться берега...

Но истории как будто захотелось довести опыт до конца,—проделать его с такой же тщательностью, с какой проделывает свой опыт химик. А что,—подумала хитрая старуха—в качестве старой барыни несомненная контрреволюционерка,—ежели устроить все наоборот? Так, чтобы совсем напротив Ленина и его Советской России. Совсем, чтобы, не как у них. И вот она взяла, отделила самые благодатные окраины России, где множество всякого драгоценного сырья,

на которое мы могли только облизываться, поставила их в непосредственную связь с Западной Европой, откуда они могли получать все нужные им товары—между тем, как мы были наглухо заблокированы,—снабдила их хорошим и добросовестно работающим техническим персоналом, который не обезьяньей работой занимался, как у нас, а дело делал—и ко всему этому наградила их животворящей «свободой торговли», наместо наших «мертвящих» национализации и учетов, от которых, кажется, даже солнышко небесное исчезло бы, кабы и его на учет взять. Устроила все это старуха-история, отошла в сторону и стала смотреть: что будет?

Теперь, когда мы можем прочесть показания Колчака, стенограммы донского круга, переписку деникинских агентов с заграницей, мы видим, что вышло. Перед нами картина такого тараракса, какого не придумало бы самое испуганное воображение послеоктябрьских дней. Не приходится уменьшать заслуг Красной армии, но все же ее задача страшно облегчалась тои невообразимой кашей, в которой барахтался тыл противника. На такую трясину не встанешь твердой ногой—живым манером провалишься. А между тем, внешний порядок как будто идеальный—входящие, исходящие, статистика, проекты, все в самом блестящем виде, все из-под пера оторных специалистов, опытных чиновников, талантливых профессоров, практиков с большим именем. Все в порядке, а выходит—хаос. И вожди белогвардейщины с ужасом хватались за голову, смотря на совершавшееся вокруг них, и в отчаянии спрашивали себя: в чем же дело?

А дело просто в том, что люди не только не умели видеть дальше завтрашнего дня, но и этого завтрашнего дня признавать не желали. Упорно устремив свои взоры на Запад, дожидались они восхода солнца. В этой остроумной позиции они просидели до той минуты, когда пришел красноармеец и ударил их по затылку.

Было бы весьма стоящей труда задачей написать параллель: Ленин и кадеты, или история о человеке, который все понимал, и о людях, которые ничего не понимали. Но мы теперь не пишем этой параллели. Этими примерами мы хотели только пояснить нашу основную мысль, что делает человека политическим вождем: умение предвидеть. Это, конечно, врожденный талант, он характерен для всякого революционного вождя,—для Кромвеля или Робеспьера столько же, сколько и для Ленина. Но у этих революционных вождей старых времен предвидение было делом чистого чутья—их идеология была смутная, она была затуманена крупными остатками религиозного миросозерцания—радикального христианства у Кромвеля, деизма у Робеспьера. Особенностью вождя русской социалистической революции

является полное отсутствие этих средневековых пережитков, совершенная цельность мировоззрения, где все ясно, нет уже никакого мистического тумана.

Благодаря этому предвидение по чутью переходит незаметно в научное предвидение. Когда Ленин, в начале империалистической войны, предсказывал превращение ее в войну между классами, в революцию, это, несомненно, был уже научный прогноз—торжество марксистской теории столько же, сколько и личной проницательности предсказывавшего.

Но мы переходим уже тут от Ленина-политического вождя к Ленину-теоретику. О Ленине-теоретике, конечно, необходимо сказать,—но об этом скажет, вероятно, другой товарищ. Для историка—не стану этого скрывать—всего интереснее Ленин-вождь. Теоретиков все же можно видеть довольно часто,—вожди родятся раз в столетие.

«Правда», № 86, 23 апреля 1920 г.

ЛЕНИН КАК ТИП РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЖДЯ

(Из лекции на курсах секретарей укомов)

Товарищи!..

...Я думаю, что я вам нового ничего не сумею рассказать по этому поводу. Я хочу остановиться на двух вопросах, которых, по-моему, не касались до сих пор ни в статьях, ни в речах, хотя прочесть все статьи, появившиеся о Вл. Ильиче за последнее время,—задача абсолютно неразрешимая. Не исключено, что, может быть, были статьи и на тему, о которой я хочу говорить. А затем, хотя т. Зиновьев очень неодобрительно отозвался о стремлении провести некоторые исторические параллели (т. Зиновьев сказал в своей речи на Съезде советов, что «буржуазные писаки» подыскивают Ленину параллели в прошлом), по-моему, эти параллели все же интересны, потому что они рельефнее обрисовывают перед нами личность и значение Ильича. Так что и на этих параллелях позвольте остановиться. А говорить вообще о значении Ильича такому собранию, как ваше, совершенно не приходится. Старые партийные товарищи, вы великолепно знаете, какое значение имел Ленин в истории нашей партии.

Первый из вопросов, которых я хотел бы коснуться, звучит так: что именно сделало Ленина вождем? Мы, марксисты, не можем рассматривать личность как творца истории. Для нас личность есть тот аппарат, через который история действует. Может быть, когда-нибудь эти аппараты будут создаваться искусственно, как мы теперь строим искусственно электрические аккумуляторы. Но пока этого нет. Пока эти аппараты, через которые действует история, эти аккумуляторы общественного процесса, рождаются стихийно. И вот какие качества делают человека пригодным для роли вождя? На Ленине и на некоторых параллелях Ленина с другими политическими деятелями это, по-моему, вырисовывается с чрезвычайной яркостью.

Мне кажется, что основным качеством Ильича теперь, когда оглядываешься на прошлое, является его колоссальное политическое мужество. Политическое мужество—это не то, что обычная храбрость. Среди революционеров масса храбрых людей, которые не боятся ни виселицы, ни веревки, ни каторги. Но эти люди боятся взять на свою ответствен-

ность большие политические решения. Характерная черта Ильича заключалась в том, что он не боялся брать на свою ответственность политические решения какого-угодно размера. Он не отступал в этом отношении ни перед каким риском, брал на свою ответственность шаги, от которых зависела участь не только его личности, не только его партии, но всей страны и до некоторой степени мировой революции. Это было до такой степени необыкновенное явление, что Ильич всегда все свои выступления начинал с очень маленькой кучкой, потому что находилось очень немного столь же дерзких людей, которые осмеливались за ним итти. Я вам напомню историю проповеди вооруженного восстания в 1904—1905 гг. Эта картина нам кажется сейчас грандиозной, когда мы знаем дальнейшее, но современным обывателям она казалась смешной. Человек в разорванном пиджаке, сидя в г. Женеве, объявил войну не на жизнь, а на смерть—кому?—российскому самодержавию, управляющему 120-миллионною страною, с сотнями тысяч шпиков и миллионом штыков. Он бросил этот вызов. Я помню, как к этому относилась буржуазная профессура. Там слово «товарищ» произносилась не иначе, как с усмешкой. Это явный дурак. Человек, который идет за Лениным—это один из тех дураков, которые думают, что в России можно устроить вооруженное восстание. Ленин не убоялся этих насмешек, и вообще не убоялся грандиозности этой задачи, не убоялся и того, что это значило звать к пролитию крови и что кровь будет пролита. Несмотря на то, что первая попытка не удалась, Ильич не пал духом. Много было людей, которые после декабря 1905 года впадали в истерику и говорили, что теперь Ленину ничего не осталось, как пустить себе пулю в лоб,—но он не пустил себе пули в лоб. Первое не удалось—удастся второе, третье. Февраль 1917 года оправдал эту тактику Ленина, тактику призыва к вооруженному восстанию.

Это одна сторона. Но у него было политическое мужество и в другую сторону. Первая революция не удалась. Начался отлив. Начались споры о том, находимся ли мы перед маленькой паузой революции—точка зрения подавляющего большинства революционеров, или же перед длительным антрактом, когда нужно расположиться по-иному, снять с себя грим, революционные костюмы и перегримироваться по новому? Ильич не сразу решил в пользу антракта, но после приблизительно годичных размышлений он пришел к заключению—не пауза, а длительный антракт. Надо перестраиваться по-мирному. И вот человек, который призывал к вооруженному восстанию, начинает призывать к чтению газеты «Россия», где печатались стенографические отчеты о заседаниях Государственной думы. Какой град насмешек вызвало это на Ленина—на этот раз не из буржуазной, а из нашей среды!

Кто над ним не издевался, кто не вешал на него собак? Человек размагнитился, в нем ничего от революционера не осталось. Надо отозвать фракцию, ликвидировать думскую фракцию, надо призывать немедленно к вооруженному восстанию. Я не буду называть имен, но я не могу забыть, как один товарищ, теперь с честью работающий в одной из союзных республик, выступал среди парижской эмиграции с речью о немедленном вооруженном восстании. По его мнению, для восстания все элементы налицо. Правда, матушка-революция немного прилегла отдохнуть, но она сейчас же встанет, и опять все начнет полыхать, как прежде. Я не стану скрывать, что и я был из тех, которые так думали. Я зашел к Ильичу и имел с ним длительный разговор, часа два,—может быть, самый длительный из всех моих разговоров с ним. Я ему доказывал, что тот курс, который он берет, прямехонько ведет в болото реформизма и ревизионизма, что он толкает русских рабочих от революции к бернштейнианству. Ильич мне ответил, что русская история совершенно гарантировала русского рабочего от такого поворота. У нас,—говорил он,—классовые противоречия так остры, что можно не беспокоиться о том, что русский рабочий пойдет за реформистами. Он в то же самое время защищал легальную печать и думскую фракцию. «Думу мы используем»,—говорил он. Я с ним не согласился и ушел в группу «Вперед», хотя не разделял взгляда названного мною товарища, что сейчас нужно делать вооруженное восстание,—но я думал, что пройдет 3—4 года, опять наступит революционная ситуация. Я имел в виду тогда уже ясно обрисовывавшуюся в перспективе войну, которая должна была выбить рабочее движение из «мирной колеи». Стоит ли перестраивать всю партию, стоит ли производить, выражаясь словами т. Бухарина, грандиозную бузу, раскол партии, для того, чтобы перестроиться на 3—4 года? Это операция, которая не окупит издержек. Что же оказалось? Фракция была использована именно во время войны чрезвычайно удачно. Легальная печать еще лучше была использована. Вы знаете, что «Правда» из Питера явилась инициатором забастовок в Харькове. Харьковские печатники забастовали после статей «Правды» о забастовке в других производствах в Харьковской губ. В Харькове на месте они не могли связаться. Всякая организация была задушена. Из Питера «Правда» могла дирижировать, и очень удачно. Таким образом и думская фракция и газеты легальные были использованы наилучшим образом и, несомненно, сыграли огромную роль в том пролетарском движении, которое началось после Лены и закончилось летом 1914 года чем-то, действительно, напоминавшим революцию. Если бы не было легальной печати и думской фракции, ничего этого не было бы достигнуто. Подпольные кружки этого добиться

не смогли бы. Но он отнюдь не переоценивал «возможностей». В газетах мелькнуло воспоминание о том, как Ильич давал инструкции думской фракции, как он разговаривал с т. Бадаевым. Бадаев пришел к Ильичу от думской фракции с вопросом, как ему говорить по поводу какого-то довольно сложного кадетского проекта. Ильич расхохотался и сказал (приблизительно): «Чего тебе слушать, просто выйди на трибуну и обругай буржуев. Затем тебя и послали в Думу, чтобы там был слышен голос рабочего, а это ты предоставь литераторской группе при фракции, она все это разработает, а сам над этим головы не ломай. Это совершенно ненужно». Ильич правильно оценивал роль фракции. Он оценивал ее как известного рода рупор, через который рабочий класс мог говорить. Без этого рупора обойтись было нельзя. Но для того, чтобы сделать этот поворот к «думизму», Ильичу нужно было исключительное политическое мужество. Больше чем для того, чтобы призвать к вооруженному восстанию. Его меньшевиком в глаза называли. Ему говорили: какая же теперь разница между вами и Мартовым? Разница, однако, как вы знаете, была...

Совершенно та же история повторилась с Брестским миром. Центральный комитет все время официально вел на революционную войну. Нас в этом направлении воспитывали. В Бресте мне пришлось иметь чрезвычайно трогательный, почти трагический разговор с нашими военнопленными, которые меня спрашивали, скоро ли они смогут вернуться на родину. Я им сказал: «Товарищи, запаситесь терпением,— очень нескоро, потому что немцы ставят невозможные условия. Стать на колени перед немецким империализмом мы не можем. Мы будем воевать». Представьте, эти несчастные люди, которые протомились в плену уже очень долго, были со мною согласны. Они проводили меня возгласами: «Да, да, товарищ, не уступайте! Мы потерпим». Так что совершенно серьезно—не хочется употреблять эсеровского термина—мы находились в «жертвенном» настроении. Мы знали, что в этой революционной борьбе большая часть из нас погибнет. Мы не знали, что Ильич в это время внутри Центрального комитета уже протестовал против революционной фразы и говорил, что войны вести не с чем и не для чего и что она, кроме разгрома Советской России, ни к чему не приведет. Поэтому для нас было, как удар грома из ясного неба, что по инициативе Ильича ЦК принял немецкий ультиматум. Я помню, я был до такой степени возмущен, что у меня нехватило духу подойти к Ильичу в Екатерининском зале Таврического дворца и с ним поздороваться. Мне казалось, что случилось морально ужасное до невероятных пределов. Этим объясняется тот факт, что известная часть откололась в группу левых коммунистов на той почве, что мы,

стоя за осуществление лозунга, который мы фактически провозгласили,—потому что мы, подписав и заявив в Бресте, что мы войну прекращаем, но мира не заключаем, фактически пошли уже на революционную войну в случае немецкого нападения,—теперь, когда на нас напали, на это разбойничье нападение должны были отвечать. Мы спрашивали немецких офицеров в Бресте: возможно ли, что немцы пойдут на нас войною? Я помню ответ одного офицера: «Мы не разбойники». На это разбойничье нападение оставалось, как будто, одно—защищаться. Вдруг Ильич говорит: не защищаться, а сдаваться. Повторяю, для этого нужно было колоссальное политическое мужество, колоссальная уверенность в том, что иного выхода нет.

В Питере было огромное одушевление в то время среди рабочих. Целые заводы приходили записываться в Красную гвардию. Я приехал в Москву, стал выступать здесь перед рабочими собраниями и увидел, что настроение ниже питерского на 50%, что даже московский пролетариат не идет на революционную войну, а о крестьянстве и говорить нечего. Ясно, что воевать не с чем, даже независимо от того, правильна ли была дипломатическая линия Ильича, которую оправдала германская революция. Но, независимо от этого, нельзя было воевать, когда масса не хотела воевать. Ильич был глубочайшим образом в данном случае прав. Но в верхах партии настроение было такое, что нужно было иметь громадное политическое мужество, чтобы взять на себя ответственность, чтобы сказать среди общей атмосферы революционной войны: нет, надо заключить мир во что бы то ни стало.

Вот вам три образчика, которые по-моему иллюстрируют эту сторону Ленина. Попробуйте теперь сравнить с вождем большевиков вождей других партий. Возьмите эсеров. Люди, несомненно, храбрые. Мы их судили. Я выступал в качестве прокурора и могу сказать совершенно объективно, что они держались на процессе великолепно, хотя на 90% им угрожал расстрел. Стали они у власти летом 1917 года. На их знамени было написано: «Социализация земли». Что же они сделали из социализации земли? Ничего не сделали. Они топтались перед этой проблемой, ссылаясь на то, что ужотка соберется Учредительное собрание, даст землю, но не умели придвинуть само Учредительное собрание ни на вершок и позволяли к.-д. его всячески оттягивать. В конце концов перед самым Октябрем принялись разгонять крестьянские комитеты, которые сами стали брать землю. Что тут нужно было? Личное мужество? Оно было у эсеров в достаточной степени. Нужно было политическое мужество и в гораздо меньшей степени, чем во время Брестского мира. Отнять землю у помещиков—это гораздо меньше, чем при-

зыв к вооруженному восстанию в 1905 году. Достаточно было сказать—помещичьи земли конфискуются, переходят к крестьянам. Ничего подобного. Возьмите эсеровский проект Маслова, выпущенный в октябре. Он так средактирован, что помещики могли все свои земли сохранить, потому что на усадьбу оставалось достаточное количество земли, потребное для владельца, для семьи и всех работающих в усадьбе. Что же можно было взть? Ничего не возьмешь. Причем идут всякие оговорки: если хозяйство культурное, если заведены усовершенствования—тоже трогать нельзя. Что же оставалось для крестьян? Крестьянам, оказывается, перейдут земли, находящиеся в крестьянской аренде, т. е. то, что предлагали к.-д. Это был проект Маслова, который не осуществился. Даже на этом настоять они не сумели. Вот вам параллель.

Возьмите лидера эсеров—Чернова. Он был циммервальдец, т. е. сторонник мира, враг войны. Он стоял у власти, был министром—все время шла война. И он ни разу,—Керенский в своих статьях это ядовито подчеркивал, у нас, говорит, в министерстве было полное согласие,—ни разу Чернов не голосовал против войны, против наступления, не голосовал против смертной казни на фронте—не голосовал, а циммервальдец был и, должно быть, искренно. Я не имею основания думать, что Чернов—человек неискренний, что он обманывал публику, а на самом деле в душе был оборонец. Просто человек политически не мужественный, политически не храбрый и в вожди поэтому не годящийся.

Вот основное качество Ильича как вождя. Но, конечно, этого одного мало. Тут приходится говорить о его качествах, дополняющих первое, которые вам известны и на которых мы долго останавливаться не будем. Это, во-первых, его колоссальная проницательность, которая под конец внушила мне некоторое суеверное чувство. Я с ним часто спорил по практическим вопросам, всякий раз садился в калошу, и после того как эта операция повторилась раз семь, я перестал спорить и подчинялся Ильичу, даже когда логика говорила—не так нужно действовать,—но, думал, он лучше понимает, он на три аршина в землю видит, а я не вижу. Эта его изумительная проницательность обнаруживалась неоднократно и рельефнее всего на факте, который вам всем известен,—в споре о первом параграфе устава. Теперь мы понимаем, что тут шел вопрос о том, по какому направлению пойдет партия, будет ли партия западно-европейского парламентского типа, наподобие германской соц.-демократии или же это будет то совершенно своеобразное сочетание сил рабочих и интеллигенции, та совершенно своеобразная группировка, которая называется большевистской партией и которая является, как показал опыт, единственным средством реально

провести коммунистическую революцию. Другого средства нет, потому что над проблемой организации такой партии бьется пролетариат всего мира. Теперь это не трудно понять. А вы думаете, в 1903 году многие понимали, когда началась волосянка между меньшевиками и большевиками? Не только обыватели, даже некоторые из нас, «молодых» партийцев, были скандализированы. Из-за чего ругаются,—из-за редакции первого параграфа устава. Обыватель зубоскалил: до чего узколобые люди—из-за трех слов, как они поливают грязью друг друга! Какая отвратительная картина! А между тем тут действительно решался вопрос всей судьбы партии. Если бы по рецепту Мартова мы нагнали в партию интеллигенцию, всех профессоров и студентов, о которых мечтал Мартов, то партия превратилась бы в рыхлую, дряблую интеллигентскую организацию, которая никогда бы никакой революции не произвела. Курьезный факт, что Мартов потом это понял. И тот Мартов, который отстаивал свою редакцию первого параграфа устава тем, что надо вводить профессоров и студентов, усмотрев на Лондонском съезде 1907 года в большевистской делегации двух профессоров, напал на них и громко вопил о том, как губят партию эти два профессора (при этом подчинявшиеся вполне партийной дисциплине). Они не погубили партии, но все-таки не могу не сказать: одним из этих профессоров был Рожков, который теперь от нас ушел. Так что прогноз Ленина о значении профессоров оказался в значительной степени правильным.

Вот вам один образчик проницательности Ильича,—первый параграф устава.

Я еще могу вам привести его спор с Богдановым, где он открыл политическое зерно в массе шелухи, не имевшей, казалось бы, тени отношения к политике. Для этого нужна была проницательность. Когда начался спор Ильича с Богдановым по поводу эмпириомонизма, мы руками разводили и решили, что просто за границей от безделья Ленин немножко повихнулся. Момент критический. Революция идет на убыль. Стоит вопрос о какой-то крутой перемене тактики, а в это время Ильич погрузился в Национальную библиотеку, сидит там целыми днями и в результате пишет философскую книгу. Зубоскальства было без конца. В конце концов Ильич оказался прав. «Рабочая правда» налицо, хотя сам Богданов к ней неприкосновенен, но это не мешает тому, что она вышла из богдановщины. Старая платформа коллективистов написана так, что у них все богдановские идеи, так что и тут Ильич на три аршина видел, и нос его чуял далеко, добирался до таких глубин, до которых никогда никому из нас добираться не приходилось.

Это второе качество, которое является неразрывным с первым качеством, потому что способность принимать бол-

шие решения, она, в сущности говоря, была и у того, кого французские газеты, думая польстить Ильичу, с ним сравнивали,—у Наполеона. 18 брюмера, конечно, большое решение, и Ватерлоо тоже большое решение. У Наполеона эта особенность политического вождя была, но политического чутья у Наполеона не было, благодаря чему он провалился со всей своей системой. Он был великолепным, идеальным военным организатором и в этом смысле он был, вероятно, выше Ильича. Ильич не сумел бы сделать такую штуку, какую сделал Наполеон, когда он в 1815 году с голыми руками высадился во Франции, где не было ни армии, ни боевых запасов, и через три месяца, в тот век, когда не было ни телеграфов, ни железных дорог, стоял на границе с 200 000 штыков, и таких штыков, которые вдребезги разбили великолепную прусскую армию и едва не разбили англичан. Это был шедевр военного искусства. У Наполеона была большая политическая смелость и организаторский талант, но политического чутья не было. Он не понял, что начинает безнадежную игру, что он ее проиграет, и проиграл ее гораздо раньше, чем на это рассчитывал. Таким образом, одного этого качества мало. Нужна еще проницательность.

Товарищи, мне кажется, что этими основными чертами—огромным политическим мужеством, проницательностью и огромным чутьем исчерпываются, в основном, качества Вл. Ильича как вождя. Я не буду говорить о его громадном теоретическом образовании, потому что это не столько качество самого Вл. Ильича, сколько необходимое качество всякого теперешнего вождя. Теперь нельзя быть вождем, в особенности пролетариата, с той слабой грамотностью, которую проявляли вожди предшествующих поколений. Тем нужен был только практический навык. Сейчас нельзя без теории. Сейчас всякая передовая статья в любой буржуазной газете есть теоретический трактат, и иногда марксистский трактат, хотя автор и не марксист. Об этом говорить не приходится. И вот эти качества выделяют Ильича не только из среды простых смертных, как великого вождя, но они выделяют его даже из среды вождей. Тут я хочу провести параллели, о которых говорил вначале. Параллели возможны только две. Что касается древнего мира, разных Периклов, Гракхов и Цезарей, то с Юлием Цезарем сравнивали Ильича белые. В одной белой газете было сравнение (после первого удара весной 1922 года), что смерть Ленина теперь имела бы то же значение, как смерть Юлия Цезаря в 43 г. до хр. эры. Я не буду делать этого сравнения, потому что древние—это литературные типы, а не живые лица. Мы в сущности подлинного о них ничего не знаем, потому что документов почти не сохранилось. Сохранилась история, в научном отношении немного превосходящая нашу

«Историю» Карамзина, и на основании этого древнейшего Карамзина мы должны судить. Представьте себе, что у нас для царствования Ивана Грозного был бы только Карамзин. Много бы мы знали? Но есть два вождя нового времени, являющихся для нас подлинной исторической реальностью, это Кромвель и Робеспьер, с которыми Ильича невольно сравниваешь, потому что это были тоже два больших революционных вождя.

Сравнение с Робеспьером очень преувеличено—для Робеспьера. О Робеспьере вы слыхали, так как курс истории Запада слушали. Робеспьер был, несомненно, большой революционный вождь, обладавший способностью принимать большие решения, обладавший в известной степени предусмотрительностью. Но на чем, собственно, он погиб, на чем сорвался? Вы знаете, конечно, что термидорский заговор не был непосредственно заговором правой буржуазии, в нем участвовали левые якобинцы, например, участвовали Бильо Варенни и Колло д'Эрбуа, которые тогда были революционерами, и первый засвидетельствовал свое якобинство достойным образом. Бильо был сослан в Кайенну. Наполеон I его амнистировал. Он гордо это отверг и не согласился стать подданным Наполеона I, чтобы вернуться во Францию. На чем же Робеспьер попался? На том, что он наделал много ошибок, вначале безжалостно истребив крайних левых типа Эбера и Шометта весною 1794 года, а затем окончательно себя добил злосчастным культом верховного существа, культом, который решительно никому не был нужен, кроме самого Робеспьера. После его падения ни один человек во Франции не интересовался этим культом верховного существа. Зато на всех левых якобинцев, учеников энциклопедистов XVIII века, эта религиозная реакция произвела самое отрицательное впечатление. Мы имеем ряд заявлений людей из этой среды, говоривших: «Поглядите, тут культ верховного существа, в Нотрдам попы начинают служить обедню. Это форменная реакция», и во главе этой реакции самодовольно идет Робеспьер, введя культ верховного существа, который никогда никому не был нужен. Сравните с Ильичом, который никогда никаких субъективных идей в историю не вколачивал, который всегда чутко прислушивался к тому, куда идет исторический процесс, и всегда даже с огромным ущербом для личного самолюбия ставил проблему так, как это нужно для исторического процесса в данный момент. Сравните Ильича во время Брестского мира—многие знают, как он субъективно к этому миру относился,—и сравните Робеспьера, который вколачивал культ верховного существа независимо от того, что никто им не интересовался, что это была его личная идея, которая отталкивала от него союзников. И если решительности у Робеспьера было не меньше,

чем у Ильича,—думаю, что и ее было меньше, потому что, если бы ее было побольше, он, несомненно, понимавший значение социализма в прежних рудиментарных формах, провел бы тот «аграрный закон», о котором он иногда говорил, и принял бы более решительные меры для защиты бедняков, о чем он также любил распространяться,—то в смысле предусмотрительности Робеспьер был неизмеримо ниже Ильича.

Наиболее популярным является сопоставление с Ильичом Кромвеля. Это сопоставление нашло себе отражение в литературе. Драма Луначарского пропитана этим сравнением. Что Луначарского привлекло? Конечно, то сочетание громадного государственного ума и необычайной внешней простоты, которые одинаково характеризуют как Кромвеля, так и Ильича. Мне приходилось на митингах рассказывать, как глава 120-миллионного государства жил в двух комнатах и водил свой секретариат в разорванных башмаках. Это была изумительная картина. Возьмите секретарей Пуанкаре, Кулиджа,—они, вероятно, даже не подозревают, что на свете есть разорванные башмаки. Это внешнее пуританство характерно чрезвычайно. Но это не существенное и не главное. Это очень симпатичное в Ильиче, но не это делало его вождем и не в этом его историческое значение. Сходство с Кромвелем на этом и кончается—громадный государственный ум и громадная внешняя простота; простой человек, который живет, как все люди, и который в то же время ворочает судьбами миллионов. Надо брать с политической стороны, а с политической стороны что такое Кромвель? Солдат и мистик. В чем его главное дело в английской революции? Главное дело Кромвеля в английской революции сводилось к тому, что он сформировал парламентскую тяжелую кавалерию, знаменитых «железнобоких». Это был главный род оружия той эпохи, все равно, что артиллерия теперь, который решал судьбу сражений. В то время как в королевской армии, составленной из дворян, прирожденных рыцарей,—этот род оружия был представлен хорошо, парламентская армия, состоявшая из подмастерьев, из рабочих и крестьян, сразу не могла создать такого рода оружия, и громадный организаторский успех Кромвеля заключался в том, что он в армии подмастерьев, крестьян, приказчиков и т. д. создал тяжелую кавалерию, т. е. тот род оружия, который тогда решал судьбу сражений и казался специально дворянским. Это одна сторона. Другая сторона,—Кромвель был мистик. Кромвель говорил, что хотя он слабый, ничтожный человек, но господь бог ведет его и т. д. Это вторая сторона, которая больше всего напрашивается на контраст с

нашим Ильичом. Ильич был самым прогрессивным мыслителем, какие только есть из пишущих на земном шаре. Вы со мною согласитесь, что марксисты являются самой передовой группой общественной мысли. В средине XVII века, когда жил Кромвель, это был век Галилея, Ньютона, Гоббса. Вот какие люди одновременно с Кромвелем действовали и писали. Поставьте рядом с формулой Ньютона и зрительной трубой Галилея Кромвеля с его рассуждениями, что пуритане—«святые», что бог ведет его и т. п.—это был один из самых отсталых людей. Английское пуританство было не новым течением, как коммунизм и большевизм,—это был последний всплеск той волны, которая поднялась в начале предыдущего XVI века. И, в сущности, если уже искать родственных черт с Ильичом, то можно найти скорее их не в Кромвеле, а в родоначальнике пуританизма и воинствующего протестантизма—в Кальвине. Кальвин—это догматик начала XVI века. В нем есть кое-что сходное с Ильичом. Правда, не в той плоскости, в какой находил Луначарский сходство с Кромвелем, ибо Кальвин в сущности узкий, сухой и жестокий человек, доктринер, типичный богослов-теоретик. Но кое в чем сходство все же есть. Во-первых, он создал для первой половины XVI века боевую доктрину, своего рода протестантский ленинизм, боевую доктрину кальвинизма. Кроме того, любопытно его государственное построение. Оно очень напоминает построение нашего советского государства. Два ряда учреждений. С одной стороны, учреждения гражданские, но они фактически подчинены учреждениям церковным—консистории и высшему церковному собору, которые легально никаких прав не имеют, но на практике руководят всем управлением. Это несколько напоминает нашу систему. Так что тут кое-какие общие черты можно найти. Но черты эти объясняются не личностью Кальвина. Кальвин был сухой доктринер, профессор богословия и т. д. Его личность не имела ничего общего с Ильичом, а ситуация, положение, поскольку кальвинизм начал борьбу, поскольку это был зародыш боевой организации протестантизма, постольку тут есть общее с ленинизмом, который является таким же точно зародышем коммунистической революции. Что же касается Кромвеля, то это был человек отсталый. В середине XVII века его идеи отжили, и он, конечно, в этом отношении ни в какое сравнение с Вл. Ильичом не идет.

Если вы сопоставите Ильича с крупнейшими революционными вождями, которых мы до сих пор знали, то придется объективно признать, что из этих трех революционных поколений вождей Ленин—самый большой. Это для меня исторический объективный факт, а вовсе не какая-нибудь не-

крологическая фраза. Я глубочайшим образом убежден, что когда через 200 лет будут расценивать, то будут расценивать в таком порядке: на первом месте Ленин, на втором Кромвель и на третьем Робеспьер. Мы можем гордиться, что мы были современниками и сотрудниками величайшего революционного вождя нового времени, вообще величайшего вождя, которого мир знает реально, ибо, повторяю, античных, древних вождей мы не знаем и никогда не узнаем.

«Под знаменем марксизма», № 2, 1924 г.

ЛЕНИН И НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

О Ленине как просветителе будут написаны целые книги. На это нужны если не годы, то многие месяцы.

Никто, как Ленин, не понимал так глубоко и не умел выразить так просто революционное значение просвещения. Не просвещения как орудия пропаганды, а просвещения вообще, формального образованяи прежде всего. Чтобы быть революционером, сознательным бойцом за свои и чужие права, нужно быть грамотным,—это минимум.

«Пока у нас есть в стране такое явление, как безграмотность, о политическом просвещении слишком трудно говорить»... «Это не есть политическая задача, это есть условие, без которого о политике говорить нельзя. Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика».

Это очень просто. Так просто, что, кажется, и говорить не стоит. Но эта связь революции и грамотности не такая само собою разумеющаяся вещь, как кажется. Для контраста не могу не привести рассуждения на эту тему наших революционеров начала 70-х годов—эпохи, к которой и Ильич относился с полным уважением за моральные качества действовавших тогда людей. Вот что пишет П. Б. Аксельрод о тех днях в своем «Пережитом и передуманном»:

«Иные из бакунистов шли так далеко, что сомневались даже в пользе грамоты для народа. А некоторые считали ее прямо вредной».

«Помню, у меня был однажды спор по этому поводу с Судзиловским. Я доказывал необходимость издания пропагандистской литературы «для народа». Судзиловский же возражал: «Не нужно народу и грамоты. Хуже станет, если народ грамоте научится. Будет газеты читать, заразится тлетворным влиянием старого мира, и придется еще бороться с заразившими его буржуазными предрассудками».

Судзиловский (тогдашний «левый» бакунист) был уверен, что настоящий, свободный от буржуазных примесей коммунизм можно построить только среди людей, свободных даже от такой «буржуазной» черты, как грамотность. А Ленин думал, что в «стране безграмотной построить коммунистическое

общество нельзя». «Коммунизм,—говорил он,—состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и девушки, которые состоят в союзе молодежи, сказали: это наше дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных».

И не нужно, разумеется, дожидаться реализации коммунизма в полном объеме, чтобы приняться за культурную работу. Предыдущие слова Ленина нужно понимать в том смысле, что в самом процессе коммунистической революции есть определенная просветительная сторона. Уже первый шаг к коммунизму—захват власти пролетариатом—налагает на последний определенные просвещенческие обязанности. Самую пролетарскую диктатуру Ленин брал под этим углом зрения. Он говорил:

«Пролетарская диктатура должна состоять больше всего в том, чтобы передовая, самая сознательная и самая дисциплинированная часть рабочих, городских и промышленных, которые больше всего голодают, которые взяли на себя за эти два года неслыханные тяжести, чтобы они воспитали, обучили и дисциплинировали весь остальной пролетариат, часто несознательный, и всю трудящуюся массу и крестьянство».

Вот отчего обязанность ликвидировать безграмотность рисовалась Ленину в форме такой же повинности, как повинность итти на фронт драться с Колчаком и Деникиным. «Всякий грамотный человек «должен» смотреть, как на свою обязанность, на необходимость обучения нескольких неграмотных». «Мы должны взяться за простое насущное дело мобилизации грамотных и борьбы с неграмотностью».

Но на грамотности, конечно, дело остановиться не могло. Само приведенное сейчас рассуждение о наших ближайших задачах тесно связывается у Ленина с немедленным использованием явившейся формальной возможности стать сознательным. «Мы должны использовать те книги, которые у нас есть, и приняться за создание организованной сети библиотек, которые помогли бы народу использовать каждую имеющуюся у нас книжку»,—говорит он тотчас вслед за выписанными выше словами о «простом насущном деле мобилизации грамотных». Никому, как пишущему эти строки, не памятны так эти заботы о немедленном, в самом революционном темпе использовании доставшихся в наши руки после Октября 1917 г. книжных богатств. Когда-нибудь нужно будет опубликовать в связном виде его распоряжения по библиотечной части, в том числе и два выговора, полученные Наркомпросом от председателя Совета народных комиссаров за нестерпимо, как казалось Ильичу, медленное проведение в жизнь самых насущных мероприятий в этом направлении. Его идея состояла в том, чтобы продвинуть книгу к рабочему.

Для этого все наши книгохранилища, от публичных библиотек почти до изб-читален, должны были бы быть связаны в одну грандиозную сеть, по ячейкам которой передвигались бы все без исключения книги, которые могли бы понадобиться местному читателю. Это была, разумеется, чрезвычайно заманчивая мысль—где-нибудь в Кургане за Уралом иметь любое сочинение по сравнительному языковедению, если бы там нашелся партийный работник или просто местный рабочий, которого бы интересовала эта наука. Нет нужды говорить, что идея далеко выходила за пределы наших технических средств и возможностей, особенно на фоне колоссальной разрухи 1918—1919 гг. и гражданской войны. Ильич скоро это понял и на практическом осуществлении своей идеи больше не настаивал. Но насколько он был прав политически, показывает тот факт, что первый-то образчик грезившейся Ленину сети дан ни более, ни менее, как «Северным союзом русских рабочих» 1879 г. Именно по такой, миниатюрной, конечно, и зачаточной, сети передвигал Халтурин нелегальную литературу по рабочим кружкам теперешнего Ленинграда.

Очень много нужно было бы написать об отношении Ленина специально к школьному образованию, но писать об этом нужно именно много и с полным знанием дела. Лучше всего это может сделать Надежда Константиновна. Я ограничусь тут парой совсем анекдотических примеров. Во-первых, существуют поистине замечательные заметки Владимира Ильича на тезисы Надежды Константиновны о политехническом образовании, заметки, сообщенные нам в свое время конфиденциально с пометками автора: «Приватно. Черняк. Не оглашать. Я еще раз и два обдумаю это». Для расшифровки этих заметок нужно, повторяю, написать целую самостоятельную статью. Чрезвычайно характерно здесь стремление Ленина непременно к политехническому характеру образования, «дабы не было превращения в ремесленничество», причем он в то же время великолепно сознавал, как нам именно ремесленники дозарезу нужны. «Нам нужны столяры, слесаря тотчас. Безусловно все должны стать столярами, слесарями и пр., но с таким-то добавлением общеобразовательного и политминимума». Любопытна программа одной из этих общеобразовательных дисциплин, наиболее близкая пишущему эти строки, бегло набросанная Лениным: «Коммунизм, история вообще, история революций, история революции 1917 г.». Предполагалось, впрочем, как само собою разумеющееся, что такие программы уже имеются,—об этом свидетельствует написанная на полях заметка о необходимости применения энергичных мер к некоторым деятелям Наркомпроса, если таких программ не окажется. Заметку эту лучше опубликовать вместе со всем подлинным текстом.

Может явиться мысль, что эта идея безусловно политехнического образования навеяна беседами именно с Надеждой Константиновной, и что в системе идей самого Владимира Ильича она является случайностью. Очень полезно напомнить поэтому, что идея трудовой школы с политехническим образованием представляет собой одну из старейших идей Ленина и высказывалась им еще в конце 90-х годов. По поводу наивно-мещанской утопии ныне позабытого, а тогда гремевшего С. И. Южакова, проектировавшего устройство гимназии, которая окупала бы себя трудом своих же учеников, Ленин, подвергнув беспощадному анализу мещанскую утопию и вскрыв ее классовые корни, прибавляет, что в южаковщине есть действительно правильная мысль, которая заключается в том, что нельзя себе представить идеала будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образование без производительного труда, ни производительный труд без параллельного обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания. Эту мысль высказали еще старые великие утописты; ее вполне разделяют и «ученики».

Под учениками эзоповский язык конца XIX столетия разумел, как известно, марксистов. Как марксист Ленин всегда был противником книжной школы учебы и всегда же был сторонником трудовой политехнической школы. Заметки на тезисы Надежды Константиновны вовсе не случайны, а один из аспектов ленинского марксизма вообще. Как марксист он подходил и к общей проблеме образования и культуры, и то, что нам от него осталось в этом отношении, не менее поучительно, чем приведенное выше.

Прежде всего, как для Ленина была ясна связь грамотности и революции, связь простая, простейшая,—что не мешало, как мы видели, некоторым революционерам прошлого времени ее не замечать,—так ясна была ему и другая связь, упорно не замечаемая некоторыми революционерами, в кавычках или без оных, времен новейших. Абсолютно не диалектическая, не марксистская формула «пролетарской культуры», как чего-то совершенно оторванного, независимого от всего предшествующего исторического процесса, ничем не связанного с буржуазной культурой прошлого,—эта формула была не только чужда, она была глубоко противна Ильичу. Позволю себе не поскупиться тут на выписки:

«Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества...

Всю эту премудрость прежних поколений, не в ее подробностях, разумеется, которые давно устарели и именно поэтому

свято сохраняются в буржуазных учебниках, а в ее итогах и окончательных достижениях, марксист должен усвоить. Как безграмотный не может быть революционером, так необразованный человек не может быть хорошим марксистом».

И Ленин говорил комсомольцам:

«Коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека».

И это признание старой науки как этапа, который пройден, но который нужно было пройти, который хоть конспективно нужно пройти каждому начинающему марксисту, это отношение к буржуазной науке окрашивало и отношение Ленина к буржуазным ученым. Величайший марксист нашего времени понимал, конечно, всю безмерную политическую ограниченность буржуазного «ученого сословия». Но в то время как от многих рядовых марксистов эта политическая ограниченность закрывает общественное значение этой группы, Ленин великолепно понимал, до чего ученые специалисты нам необходимы и долго будут нам необходимы даже и после пролетарской революции. Он великолепно понимал также и другое: что в свято охраняемой академическими жрецами науке есть изрядное количество, как он попросту выражался, «хлама». И чтобы этот хлам не засаривал наши образовательные работы, он и считал необходимой такую комбинацию сил, при которой немногочисленному кадру марксистов предоставлялась бы роль руководящая, а весьма многочисленной армии специалистов—роль разрабатывающая. И он мыслил себе этих работников по специальным областям отнюдь не как мертвые орудия. Они должны были иметь, во всяком случае, совещательный голос даже на партийных собраниях, посвященных делу образования. «На совещании партработников,—писал он в феврале 1921 г.,—должны были быть выслушаны спецы, педагоги, лет 10 работавшие практически и могущие сказать нам всем, что сделано и делается в такой-то области, например в области профессионального образования, и каким образом советское строительство с этим справляется, что достигнуто хорошего, каковы образчики этого хорошего (такие образчики, наверное, есть, хотя бы и в самом небольшом числе), каковы конкретные указания на главные недочеты и способы устранения этих недочетов».

Совершенно естественно, что и коммуниста-просвещенца Владимир Ильич мыслил себе прежде всего как главу отряда «спецов».

«Руководитель-коммунист тем и только тем должен доказать свое право на руководство, что он находит себе многих, все больше и больше, помощников-практиков, что он умеет им помочь работать, их выдвинуть, их опыт показать и учесть».

Нет нужды напоминать поистине трогательные отношения Ленина к самому нижнему в буржуазном обществе и самому близкому нам слою этих «педагогов-практиков»— сельскому учителю. Знаменитая фраза, гласящая, что «народный учитель должен у нас быть поставлен на такую высоту, на которой он никогда не стоял, не стоит и не может стоять в буржуазном обществе», эта фраза обошла все митинги, посвященные памяти Ильича, и ее слишком хорошо все помнят. Эта фраза взята из последней статьи Ленина, посвященной вопросам народного образования. И мы не забудем его завещания поддерживать всеми мерами и всеми силами те «сотни тысяч учителей в деревне, которые забиты, запуганы кулаками или заколочены до полусмерти старым царским чиновничеством». И не забудем мы, что всякий партийный человек, на каком бы посту он ни стоял, должен быть просвещенцем, потому что он—партийный, потому что он—революционер, потому что он—коммунист.

«Всякий партийный агитатор, который появляется в деревне, вместе с тем должен быть и инспектором народных училищ, инспектором не в прежнем смысле слова, инспектором не в том смысле, чтобы он вмешался в дело просвещения,—этого допустить нельзя,—но он должен быть инспектором в том смысле, чтобы согласовать всю работу с работой Наркомпроса, с работой Всеобуча, с работой Военкома, чтобы он смотрел на себя, как на представителя государственной власти, представителя партии, которая управляет Россией. Чтобы он, являясь в деревню, выступал не только как пропагандист, учитель; вместе с этим он должен смотреть, чтобы учителя, которые не слышали живого слова, или эти десятки. сотни военкомов, чтобы все они принимали участие в работе этого партийного агитатора. Каждый учитель обязан иметь брошюрки агитационного содержания; он обязан их не только иметь, а читать крестьянам; если он этого не будет делать, он должен знать, что он лишится места. То же самое с военкомами. они должны иметь эти брошюрки, должны давать их крестьянам».

Этими словами пролетарского вождя, в просветительной роли пролетариата видевшего органическую. неразрывно связанную с целым, часть пролетарской диктатуры, я и заканчиваю мои беглые заметки.

«Правда», № 93, 23 апреля 1924 г.

ЛЕНИН В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ[1]

В Ленине, товарищи, мы хоронили прежде всего величайшего вождя пролетарского движения,—величайшего, какого видел мир,—величайшего в рамках истории русского пролетариата, потому что это был первый человек, первый скульптор, который вылепил политическую физиономию этого пролетариата. Достаточно вспомнить, что меньше 30 лет тому назад официально утверждалось, что в России вовсе нет рабочего класса как политической величины и не может быть рабочего вопроса. Это могли читать и слышать люди, которые в то время не были 10-летними отроками, а уже кончили университет, как сейчас говорящий перед вами. В 90-х гг. я уже был лектором высшего учебного заведения, когда министр финансов возвещал всей России, что в России не может быть рабочего вопроса. На протяжении, таким образом, меньше чем одного поколения не только возник этот рабочий вопрос, но и впервые в мире он был разрешен,—разрешен победой пролетариата. Само собой разумеется, что был целый ряд объективных условий, которые к этому вели, но ведь и скульптор не творит из ничего, он делает из мрамора, из гипса, из бронзы, в данном случае это была сталь,—но все равно, из чего скульптор ни делает свое произведение, печать его отражается на этом произведении, и несомненно, что идеология русского пролетарского движения явилась, действительно, ленинской. Одновременно с этим Ленин являлся величайшим вождем мирового пролетарского движения, поскольку ленинская тактика, ленинские приемы организации являются обязательными для всякого рабочего движения в мире, желающего достигнуть первого этапа социалистической революции,—захвата власти. Теория и практика захвата власти рабочим классом созданы также Лениным.

Я начал этим предисловием, которое, как вы увидите сейчас, не отражает содержания моего доклада, для того, чтобы подойти к теме, которая некоторым может показаться рискованной. Ну, хорошо, в рамках пролетарского движе-

---

[1] Доклад, читанный на торжественном заседании Социалистической, ныне Коммунистической Академии, посвященном памяти В. И. Ленина 10/II 1924 г.

ния Ленин—великий вождь. Но значит ли это, что все предшествующее ему революционное движение в России, хотя бы и не пролетарское, хотя бы мелкобуржуазное, по отношению к Ленину и к ленинизму—простая археология и больше ничего? Значит ли это, что это лишь предмет известных академических изысканий и что никакого подхода к ленинизму мы не получим, если подойдем с того конца?

Что представляет собой Ленин не как вождь пролетарской революции, а как завершитель русского революционного движения вообще? Я повторяю, товарищи, что я чувствую некоторую, если хотите, скабрезность, скользкость своего положения, и поэтому я должен в оправдание себе привести несколько цитат из писаний того самого Владимира Ильича, о котором мы собрались говорить. Прежде всего, Ленин был абсолютно чужд всякого цеховизма в вопросах культуры. Он откровенно признавался, что в культурном отношении коммунизм не есть нечто такое, что сочинено рабочим классом, впервые им открыто, а есть завершение длительной цепи развития, в которой люди участвовали задолго до возникновения пролетариата. Вот эта цитата: «Мы можем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества... Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества».

Итак, культурную преемственность со всей предшествующей историей Ленин понимал так, как только кто-либо понимал в нашей партии, понимал так же хорошо, как понимал ее Маркс. Но можно найти цитаты, еще более близкие к нашей теме. Одно время мне казалось лично, что Владимир Ильич относится без больших симпатий к нашим непосредственным предшественникам по революционному движению. Когда я предложил ему, помнится в 1906 году, отметить статьей в нашем центральном органе 25-летие 1 марта, память Желябова и Перовской, он отнесся к этому плохо и сказал: «Ну, что тут, они умерли. Честь им и слава, но зачем мы будем поднимать об этом разговор». Тогда мне показалось, что это признак известной холодности, известного разрыва морального с этой предшествующей ступенью революционного движения. Теперь я понимаю, что это было просто отражение известной тактики, нежелание в момент острой борьбы с эсерами восхвалять их метод борьбы, де-

лать хотя бы какие-либо загробные комплименты террору. Это было с его точки зрения неудобным, и поэтому он тогда отклонил мое предложение. Но из речи Надежды Константиновны на Съезде советов, а еще больше из превосходной биографии Ильича, которую дал т. Зиновьев еще в 1918 году по поводу покушения на него, видно, что действительное отношение Ленина к своим предшественникам было другое. Надежда Константиновна подчеркнула, что Ленин вышел из героического периода нашего революционного движения, каковым, несомненно, являлись «Народная воля» и то, что ей предшествовало. Зиновьев целую страницу, которую я не буду вам читать,—это слишком длинно и взяло бы много времени,—целую страницу посвятил изложению отношения В. И. к народовольцам, и рисует там это отношение как чрезвычайно теплое, почти восторженное. Желябов в его глазах, рассказывает Зиновьев, являлся самой крупной фигурой революционного движения до марксизма. Вы сами прочтете эту страницу, потому что брошюра т. Зиновьева широко распространена. И тактически Ленин не отмежевывался от этого предыдущего периода так, как может казаться. Я возьму выдержку из брошюры «Что делать», вышедшей в 1902 г.: «...Та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна была бы служить образцом, создана вовсе не народовольцами, а землевольцами, расколовшимися на черно-передельцев и народовольцев...». Прежде всего мы здесь находим чрезвычайно интересное историческое откровение. Та превосходная организация, которая была у революционеров 70-х годов и которая нам всем должна была служить образцом, создана вовсе не народовольцами, а землевольцами. Откровение заключается в том, что до сих пор все истории русского революционного движения возводили начало конспиративной организации именно к «Народной воле»,—отчасти, следуя в данном случае примеру Плеханова,—примеру в этом пункте плохому, не заслуживающему подражания. На самом деле, как мы знаем из воспоминаний Веры Фигнер и из автобиографии Тихомирова (извиняемся за сопоставление этих двух имен, но историку важны все и всякие источники), уже «Земля и воля» была той конспиративной и террористической организацией, какой представляли себе обыкновенно «Народную волю». В сущности говоря, раскол был между 2 частями: террористической организацией, в которой, как это после обнаружилось, террористическая и заговорщическая, конспиративная головка безусловно командовала, и пропагандистской частью, которая все более и более уходила на второй план. Это, повторяю, для нас стало ясно только теперь, на основании новых документов, а для Ильича было совершенно ясно еще в 1902 году,—что настоящими осно-

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

вателями конспиративной и боевой тактики 80-х годов были землевольцы, а не народовольцы. Я читаю дальше: «Только самое грубое непонимание марксизма, — пишет Ленин (или «понимание» его в духе «струвизма»),—могло породить мнение, что возникновение массового, стихийного рабочего движения избавляет нас от необходимости создать такую же хорошую, какая была у землевольцев, создать еще несравненно лучшую организацию революционеров...».

Таким образом, Ленин нисколько в данном случае не отрекался от революционного наследства предшествующего поколения, и через 12 лет в своей замечательной статье «Национальная гордость великороссов» он пишет: «Мы гордимся тем, что эти насилия (царизма) вызвали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов...» Он, таким образом, начиная с декабристов, соединяет все революционное движение в одну нить. Недаром лозунгом, эпиграфом, девизом, который мы читали на «Искре», были слова одного из декабристов: «из искры возгорится пламя». Таким образом Ленин не был в данном случае свалившимся с неба человеком, который упал на почву стихийного рабочего движения и стал что-то в нем делать. Ленин был человеком, который умел сомкнуть это рабочее движение с громадным революционным потоком, который несся даже не с половины XIX, а из XVIII столетия, ибо Радищев был современником Екатерины II.

И вот, в этой связи очень интересно взглянуть на Ленина, что он представляет из себя не в знакомом нам виде пролетарского вождя, которого нам придется еще целые годы и целые десятилетия изучать, и, в особенности, придется изучать всему миру, для которого Ленин важен именно в этом аспекте. Позвольте мне остановиться в своем докладе на Ильиче в русском революционном движении. Что он примыкал к его основному стволу, это я доказал достаточно его словами. На этот счет сомнений быть не может. Но это слишком уж обще. У Ильича не только родство со всем племенем русских революционеров, но там у него есть кузены, есть двоюродные, троюродные, есть более близкие родственники, есть менее близкие. Недавно т. С. И. Мицкевич установил, что у Владимира Ильича в дни его студенчества были связи с так называемыми русскими якобинцами. На этом основании он сделал даже вывод, по моему мнению, несколько поспешный, что Ленин находился под влиянием якобинцев, кое-что от них воспринял. Это было опровергнуто на вечере воспоминаний у старых большевиков одним из старейших членов нашей партии и старой якобинкой, т. Голубевой, которая категорически заявила, что учение якобинцев, мелкобуржуазное учение, в ленинскую идеологию

не вошло и не могло войти. Это верно, конечно. Не Ленину, конечно, учиться у русских якобинцев, как делать революцию. Приходится, однако, сказать, что одна проблема, и проблема, чрезвычайно характерная для Ленина, была подготовлена и развита впервые русскими якобинцами. Это—проблема захвата власти.

Обыкновенно вот как себе представляют революционное движение 60—70-х годов в очень грубых и общих чертах. Две струи: одна—пропагандистская струя, трудно ее, конечно, точно формулировать, она довольно пестра, но если мы употребим метод Фрейда и попытаемся построить ее бессознательную подоплеку, то мы обязательно откроем формулу: «пропаганда и агитация вызывают массовое движение, которое заставит самодержавие уступить». Вот одна формула. Другую формулу давали, главным образом, бакунисты. Она сводилась к тому, что это самое самодержавие, как вообще всякую государственную власть, нужно просто разрушить, без всяких дальнейших разговоров. Бакунин, как вы знаете, находил даже образование временного революционного правительства большим грехопадением, а уже о длительной диктатуре, вроде той диктатуры пролетариата, которая объявилась в России, Бакунин, конечно, и думать не хотел. Это с его точки зрения было бы извращением всей революции. Вот два движения: одно анархическое, другое конституционалистское. И вот тоненькой ниточкой пробивается среди этих массивов струя, где целью революции ставится захват власти и длительная диктатура захватившей власть партии, которая путем террора, путем самых решительных действий, заставляет старое буржуазное общество пересоздаться по новому образцу. Эта струя находит свой исток в одной известной, но плохо понимавшейся обыкновенно, и вдобавок только недавно напечатанной целиком, прокламации «Молодая Россия», вышедшей в мае 1862 г. Автор этой прокламации Зайчневский на старости лет проживал, если не ошибаюсь, в Орле (позже и в Москве) и был центром того якобинского движения, отклики которого доходили до Владимира Ильича в начале 90-х гг.

«Молодая Россия» во многих отношениях чрезвычайно пророческая прокламация. Я имел дерзость назвать ее в своих лекциях первым большевистским документом нашей истории, и мне кажется, что она заслуживает это название. Вы там найдете такие вещи, как общественные фабрики, национализацию промышленности, общественные лавки, национализацию торговли, полное и безусловное равноправие женщин,—целый ряд таких просветов в будущее, чрезвычайно интересных. Но в данном случае для нас интересно другое. Вот как рисует себе «Молодая Россия» то, что будет на другой день после переворота: «Мы... твердо убе-

ждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения политическую, а не административную, чтобы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в Национальное собрание должны происходить под влиянием правительства, которое тотчас же и позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка (если только они останутся живы)...». Дальше приводится пример из революции 48 года, как тогдашние революционеры позабыли это сделать и благодаря этому получили в результате Людовика-Наполеона Бонапарта.

Вы видите, что схема эта очень напоминает ту, по которой действовали мы: революционная партия, захватывающая государственную власть и держащая ее в руках до тех пор, пока новый строй не пустит глубоких корней в землю. Это не какое-нибудь маленькое, временное, революционное правительство на несколько недель, а прочная, долговременная диктатура. Зайчневский не говорил: «диктатура пролетариата»—он не был марксистом, и в его дни, в 62 году, говорить о пролетариате было бы слишком смело,—но самую схему он дал. Вы знаете, что ту же линию в 70-х гг. XIX века продолжал Ткачев, на котором я останавливаться не буду, потому что идеи Ткачева, его «Набат», слишком хорошо всем известны. В глазах большинства Ткачев является настоящим основателем якобинства, но все же основателем его был Зайчневский, а Ткачев прибавил еще одну черту. Некоторые из вас знают, а члены Социалистической академии все знают, великолепную статью «Набата», где Ткачев дал анализ процесса 50, для того чтобы доказать, что бакунистская тактика открытых революционных общин есть величайшая нелепость для партии, которая хочет произвести революцию, что тактика революционной партии, даже не в условиях только русского самодержавия, а в его условиях в 10 раз больше, — может быть только конспиративной тактикой, поэтому Ткачев проповедывал в этой статье строжайшую конспирацию во всей организации, сверху донизу. Обратимся к брошюре «Что делать», и там мы найдем: «...Конспиративность есть настолько необходимое условие такой организации, что все остальные условия (число членов, подбор их, функции и пр.) должны быть сообразованы с ним. Было бы поэтому величайшей наивностью бояться обвинения в том, что мы, социал-демократы, хотим создать заговорщическую организацию. Эти обвинения должны быть так же лестны для всякого врага экономизма, как и обвине-

ния в народовольчестве». Как видите, и в этом пункте Ленин примыкает к якобинской традиции, на этот раз в лице Ткачева.

Я еще раз, товарищи, категорически отмежевываюсь от той мысли, что Ленин не сам к этому пришел, под влиянием объективных условий революционного движения, что он был учеником Ткачева и Зайчневского (о котором он, быть может, и не слышал). Это было бы совершенно нелепой постановкой вопроса, но не приходится отрицать, что некоторые моменты русского революционного движения 60—70-х гг. влились в ленинскую тактику, были ею восприняты, независимо от того, что на это наталкивали известные объективные условия. В том-то и разница между анализом социологическим и историческим, что социологический анализ дает общую схему, и она нам скажет: без конспиративной революционной организации в России пролетариат не мог победить, поэтому Ленин и создал конспиративную организацию. Но исторический анализ скажет: он ее создал, между прочим, и потому, что на русской почве уже имелись известные образчики, которых Ленин не постыдился, на которые он ссылался, как на пример, достойный подражания, и которые облегчили в значительной степени овладение властью,—и одним из них была идея необходимости конспиративной организации. И если мы с этого конца, подчеркнув преемственную связь Ленина с предшествующим поколением революционеров, подойдем к ленинизму, то мы увидим, что это есть настоящий синтез всего революционного движения и что, как это всегда бывает с великими историческими фигурами и событиями, данное событие и данная фигура не только начинают новый период, но и заканчивают предыдущий. Если Маркс своим «Капиталом» закончил классическую политическую экономию, увенчал ее и сделал ненужной, то Ленин своей доктриной и вдохновлявшимся им революционным движением закончил и сделал ненужными все предыдущие формы революционного движения.

Нам кажется теперь до чрезвычайности естественным, как воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы пьем, что всякая революционная партия, занимающаяся пропагандой и агитацией, должна быть хорошо организована, в революционный период конспиративна, и что ее тактика должна быть боевой тактикой вооруженного восстания,—тактикой применения силы. Но только благодаря Ленину нам это кажется само собой разумеющимся. Если вы возьмете русское революционное движение 60—70-х гг., то вы увидите тогда картину создания мира, как его изображал римский поэт Лукреций, один из родоначальников современного материализма. Он так изображал сотворение мира, что сначала рождались чудища без головы, но с руками и ногами, затем—чудища с головой, но без рук и без ног. И вот, постепенно,

путем приспособления этих чудищ к жизни, путем борьбы их между собой и возник тот стройный мир организмов, который мы имеем сейчас перед собой. Если мы возьмем русское революционное движение 60—70-х гг., то мы, именно, получим картину, очень похожую на изображенную Лукрецием. Чрезвычайно теперь трудно представить себе, что пропагандисты и агитаторы составляли тогда две фракции, которые жестоко боролись между собой, до такой степени жестоко, что их споры,—печальный факт, товарищи, но этого скрывать не приходится,—ликвидировались иногда перед столиком допрашивавшего их жандармского офицера. Эти факты имели место по отношению к таким вершинам движения, как Нечаев, Натансон. Натансон потом сам рассказывал, что Нечаев фактически его выдал полиции, «но зато потом и я ему всыпал». Вот до какой остроты доходила фракционная вражда пропагандистов и агитаторов, которые в настоящее время заведуются одним и тем же отделом нашего ЦК, а тогда внутри Агитпропотдела шла ожесточенная борьба. Вот то, что тут сказано относительно заговора, это нам кажется совершенно элементарным, а в то время Ткачев был изгоем, от него шарахались, на него смотрели как на что-то незаконное. В глубине души, вероятно, соглашались, что по существу дела он прав, потому что землевольцы очень скоро после «Набата» усваивают себе именно эту тактику строжайшей конспирации, но Ткачев так и умер изгоем, не был признан за вождя.

Если мы возьмем эту первую конспиративную организацию, «Землю и волю», то увидим опять картину чрезвычайно своеобразную. У нее было две части: террористическая, конспиративная, организационная, это—аппарат, сидевший в Петербурге, и, с другой стороны, деревенщики, которые составляли пропагандистскую армию. Этот штаб, сидевший в Питере, должен был бы командовать этой армией и направлять ее действия. На самом деле эти несчастные деревенщики были тяжелой гирей на ногах, которая чрезвычайно тяготила террористов, сидевших в Петербургском центре. Деревенщики ныли, хныкали, что им не присылают литературы, не присылают денег. Не присылали потому, что деньги шли на террористическую деятельность. И вот, деревенщиков время от времени собирали в Питер, начинали умасливать, давали немного денег, снабжали литературой и отправляли назад в деревню, а сами начинали заниматься своим делом, т. е. подготовкой террористических актов. И в голову не приходило этим людям, что можно использовать эту пропагандистскую армию для общих целей. Нет, это было что-то ненужное, какой-то остаток старой традиции, которую не умели сразу отбросить. И так тянули эту канитель с деревенщиками, пока на Воронежском съезде не произошел эффект-

ный разрыв, который не был началом процесса, а был завершением того, что тянулось на протяжении больше года. И, наконец, когда народовольцы взялись за вооруженную борьбу с самодержавием в форме, которая нам, марксистам, кажется нерациональной, но которая в тогдашних условиях являлась единственно мыслимой, потому что группа приблизительно в 500 человек революционеров могла только или разговоры разговаривать, или вести партизанскую войну,—когда они взялись за эту борьбу, они забросили пропаганду и агитацию, за исключением Желябова, который был очень крупной фигурой, который охватил и эту сторону, вел агитацию среди рабочих, создал программу для рабочих членов партии «Народной воли» и т. д. Но он был единственным исключением, если не считать Халтурина, в котором террорист и рабочий вождь двоились, не сливались. Поскольку Халтурин был рабочим вождем, он не был террористом, поскольку он становится террористом, он перестает быть рабочим вождем. За исключением этих двух фигур масса террористов, занятая в своих лабораториях и подкопах, не занималась ни пропагандой, ни агитацией, и мало того, даже некоторые виды агитации считала вредными. Даже тот же Желябов советовал поменьше говорить об аграрном вопросе, потому что эго может испугать ту буржуазию, от которой «Народная воля» получает свои материальные средства.

И вот, взвесивши все это, вы начинаете себе ясно представлять, до какой степени синтетической фигурой был Ленин, который сумел координировать в одно стройное целое, стянуть всех этих забывших друг о друге и боровшихся друг с другом революционеров старого времени. Ленин был, как кажется нам на первый взгляд, гениальным агитатором, и в этом отношении у него было незаменимое для агитатора качество—чрезвычайная чуткость по отношению к своей аудитории. Ленин из-за границы, из Парижа слышит, как в России пролетарская трава растет, ибо он, несомненно, в эмиграции лучше угадывал настроение рабочих масс, чем многие работники здесь на месте. Это был несравненный по своей чуткости агитатор, умевший сказать аудитории именно то, что она хотела слышать, чго ей нужно было слышать. Это был человек чуткости необыкновенной, и поэтому он был великим, исключительным по своей силе, агитатором. Но рядом с этим мы имеем 21 том его сочинений, которые представляют собой такую пропагандистскую энциклопедию, подобной которой в мире не существует. Сочинения Маркса и Энгельса не могут итти в сравнение, ибо у них огромное место занимают чисто теоретические проблемы, разрешить которые было необходимо. У Ильича вы не найдете ни одной работы чисто теоретической, без пропагандистского подхода. Его знаменитый «Эмпириомонизм»—философская

работа, являющая собой образец огромной эрудиции и тонкости анализа, это чисто политический памфлет, направленный против Богданова и его учения—в этом ни для кого из нас не могло быть сомнения. Точно такими же пропагандистскими работами являются и все его статьи по аграрному вопросу, как ни много в них чисто теоретических откровений: он их бросал мимоходом. Он важен чисто теоретически и для историка и экономиста, но цель Ильича была всегда пропагандистская или агитационная.

Ленин, наконец, был (об этом мы последние годы, конечно, забыли, потому что не приходилось этого практиковать) несравненным конспиратором, одним из лучших, каких видела русская революция. В одной пьесе Луначарского, вышедшей в 1905 году, один из персонажей очень хорошо передает, как преломлялось конспиративное умение Ленина в обывательских мозгах. Он рассказывает, что Ленина никак нельзя поймать: то он молодой, то старый, то маленький, то огромный верзила, то мужчина, то женщина. Это, конечно, курьезно, но замечательный факт, что Ильич, много и часто рисковавший собой и постоянно державшийся около самого горнила революции, после 90-х годов, после лет своей неопытности, ни разу не попадал в руки царской полиции. Он с каким-то замечательным чутьем угадывал момент, когда надо уходить. Я присутствовал при его отъезде из Финляндии в ноябре 1907 года. Он сидел недалеко от Питера в Куокале, чуть не годами, весь 7 год. Так как мы жили и ничего не замечали и нам казалось, что положение не меняется, то мы не могли понять, почему Владимир Ильич во второй половине ноября 7 года вдруг заговорил об этеронефе. Кто читал «Красную звезду» Богданова, вышедшую как раз в этом году, тот поймет, почему такое название появилось. Говорил он шутя, лукаво прищуривая глаз, но тем не менее явно «выбирался». Затем он сел в «этеронеф»—это был курьерский поезд на Гельсингфорс—и отбыл. Примерно через несколько дней по нашей деревне гуляла полиция и водила толпами арестованных. Что Ленин был бы захвачен—это было совершенно ясно для всех. В первые минуты меньшевики над ним смеялись и издевались. Мартов пишет Аксельроду: «Ленин, конечно, уехал первым». Но—увы!—в следующем письме Мартова мы читаем: «и Дану пришлось бежать». Вот в этом-то и разница: Дан «бежал», а Ленин не «бежал», а просто уехал, и смог это сделать благодаря огромной конспиративной выдержке.

Мне хочется сделать еще одно сопоставление, которое нам, пожалуй, не приходит в голову. Когда мы видим нашу Красную армию, с ее танками, тяжелыми орудиями, аэропланами и т. д., нам не приходят в голову наши боевые дружины 1905 года, с их «бульдожками», браунингами и т. п.

А ведь перед образом этой боевой дружины того года, над которой так смеялись всякие благоразумные обыватели, Красной армии следовало бы отдать честь, не перед самой дружиной, ибо ее давно нет, а перед ее образом, ибо она— социальный предок нашей Красной армии. Откуда она вышла? Из той проповеди вооруженного восстания, которая была начата Ильичом в то время, когда эти обыватели с почтением взирали на земцев, видя в них чуть не зародыш Учредительного собрания. Вот в это время Ильич и писал о вооруженном восстании. Мне припоминается, что даже такое прочно-большевистское учреждение, как МК партии, еще летом 1905 года не без скептицизма относилось к проблеме вооруженного восстания как практической проблеме. А в декабре на улице Москвы уже строились баррикады и трещали винтовки и маузеры. И в этом отношении, в отношении вооруженной борьбы, Ленин впитал в себя лучшее, что было в практике предыдущего революционного периода,— и это он бросил как лозунг вперед, который докатился до наших дней и воплотился в нашу Красную армию.

Вот что я вам хотел сказать о Ленине в связи с русским революционным движением. Повторяю, что долго многие поколения людей будут в нем чествовать прежде всего вождя мирового пролетариата и гораздо реже будут вспоминать в Ленине величайшего р у с с к о г о революционера. Но было бы несправедливо по отношению к автору статьи «О национальной гордости великороссов» не положить на его могилу и этого скромного исторического венка.

Вестник Коммунистической академии, № 7, 1924.

ЛЕНИН И МАРКС КАК ИСТОРИКИ

И Маркс и Ленин были великими историками: это стало почти общим местом. Что марксизм насквозь историчен, что ленинизм немыслим без исторического подхода к действительности—об этом никто не спорит. Нет никакой надобности ломиться в открытую дверь, повторяя то, что было вполне удовлетворительно разъяснено тт. Быстрянским, Лелевичем и др., разъяснено на ряде цитат, сопоставлений и т. д. Для тех, кто хорошо читал Ленина, никакой надобности и в разъяснениях не было—ибо историзм Ленина слишком бьет в глаза. Несравненно больше изобретательности должен был бы проявить тот, кто вздумал бы доказывать, что Ленин неисторичен.

Но значит ли это, что, открыв в Ленине историка, мы уже знаем все, что нужно, по этой части? Едва ли опять-таки, нужно объяснять, что историзм Ленина не имеет ничего общего, например, с «исторической школой права». Одно так же похоже на другое, как белая гвардия на белое каление. «Историческая школа»—одна из самых контрреволюционных исторических концепций, одно из самых черносотенных пониманий истории, какие только существовали. Она доказывала, что нельзя отменить крепостного права, потому что оно создано историей, нельзя коснуться самодержавия, потому что оно имеет «глубочайшие исторические корни», и т. д. Опять-таки, едва ли даже знакомые с Лениным только по хрестоматиям не согласятся без всяких доказательств, что с ленинизмом такая «исгория» ничего общего не имеет.

Но значит ли это, что ленинское понимание истории адэкватно—во всем совпадает—с некоторым, более к нам близким пониманием истории, с таким ее пониманием, например, которое долго у нас называлось «марксистским»? Наши меньшевики очень любили писать историю, и теперь усердно ее пишут в «Социалистическом вестнике»,—но Ленин в одном из своих последних отрывков, когда ему уже совсем некогда было заниматься приличиями и церемониями, находил своевременным этих меньшевистских историков «объявить дураками». И тут уже, мне думается, без пояснений обойтись трудно, ибо в опасной близости с этим откровен-

ным заявлением у Ленина стоит имя Каутского, притом не Каутского 1923 года, а Каутского начала столетия.

Откуда пошло столь решительно осуждаемое Лениным историческое направление, свойственное русскому,—а как видно из упоминания Каутского, и не одному русскому,—марксизму? До известной степени от самого Маркса. Не пугайтесь, читатель: не от идей Маркса, само собою разумеется, а от одной его фразы. Начиная свое «18 брюмера Луи-Бонапарта», Маркс написал известные слова: «Люди сами делают свою историю, но они делают ее непроизвольно, не при свободно избранных, а при найденных ими, непосредственно данных, унаследованных условиях. Традиция всех умерших поколений как кошмар тяготеет над мозгом живущих».

Я бы охотно подчеркнул последнюю фразу, но, к сожалению, условия газетного набора не любят курсива. Но читателю и так ясно, на чем лежит ударение. Над мозгами меньшевистских историков, именно «как кошмар», тяготело это, по существу правильное, представление, что настоящее определяется прошедшим. И они шли вперед, поминутно оглядываясь назад. Всякий опытный пешеход знает, что нет лучшего средства попасть в яму.

Между тем, двумя страницами дальше Маркс дает великолепный комментарий к этим своим словам: «Социальная революция XIX века может почерпать для себя поэзию не из прошлого, а только из будущего. Она не может даже начаться, пока не вытравлены все суеверия прошлого. Прежние революции нуждались в великих исторических воспоминаниях, чтобы обмануть самих себя относительно своего истинного содержания. Революция XIX столетия, чтобы найти свое истинное содержание, должна предоставить мертвым погребать своих мертвецов».

Русские «марксисты», с которыми так жестоко обошелся Ленин, не поняли, что именно революция-то и есть тот момент, когда настоящее освобождается от кошмара прошедшего, сбрасывает с себя его иго. И даже короткое время, несколько лет без ига «традиции», на целый ряд поколений становится маяком, освещающим дорогу вперед. Они не поняли того, что прошлое внесет свое, будьте покойны, и без всякого содействия с нашей стороны. Нам заботиться приходится о том, чтобы его было как можно меньше.

Но у «марксиста» этого типа, вероятно, уже самое упоминание о «содействии с нашей стороны» историческому процессу вызовет улыбочку. Ибо, помимо ежеминутного оглядывания на прошлое,—одна черта,—у «марксистов» этого типа есть и другая черта, с первою тесно связанная: фаталистическое понимание исторического процесса.

И тут опять повинен, до некоторой степени, Маркс. Ибо если не у него самого, то у одного автора, чрезвычайно взятого им под свое покровительство, объявленного, так сказать, официально марксистом самим Марксом, есть фраза, способная внушить и фаталистические предрассудки. Во всем известном «Послесловии» ко 2-му изд. I тома «Капитала» Маркс цитирует И. И. Кауфмана, который писал, что, по Марксу, «переход от одного порядка к другому непременно должен быть сделан, все равно, думают ли об этом, или не думают, сознают ли это, или не сознают». А дальше, по поводу всего этого большого отрывка из Кауфмана, Маркс замечает, что последний «очертил удачно то, что он называет моим (Маркса) действительным методом».

Значит ли это, что сам Маркс был фаталистом? Конечно нет. Достаточно процитировать одно из его писем к Кугельману: «Творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов. С другой стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует также и такой «случай», как характер людей, стоящих вначале во главе движения».

Под «случайностями», которые Маркс недаром поставил в кавычки, следует разуметь, конечно, то, что можно назвать индивидуальной обстановкой событий. Эта обстановка, куда Маркс правильно вводит и индивидуальные особенности лиц, события совершающих, до крайности капризна—и говорить о какой бы то ни было предопределенности в каждый отдельный момент истории может только педант. Ни у одного разумного человека не может быть ни малейшего сомнения—сама буржуазия на этот счет нисколько не сомневается,—что капиталистический строй в более или менее близком будущем падет. Но человек, который на этом основании счел бы заранее обеспеченным успех любого революционного выступления против капитализма, был бы за это очень скоро и очень жестоко наказан.

Почему Маркс не оговорил этого точнее не в дружеской переписке, увидевшей свет только после его смерти, а в своих теоретических работах? Почему он ввел в заблуждение бесчисленное количество «малых сих», вообразивших, что можно жить, как обыватели, думать, как обыватели, действовать, как обыватели,—а социалистическая революция все-таки каким-то манером совершится?

Потому что у Маркса, в силу условий переживаемой им эпохи, толкование текущей истории отступало на второй план перед защитой основ марксистской социологии. Мы теперь так привыкли к историческому материализму, что начинаем его слегка забывать—домарксистские исторические построения начинают привлекать кое-кого из нас своей «новизной». А шестьдесят лет назад исторический материализм был самой свежей, до дерзости смелой новостью. Буржуазная история, буржуазная политическая экономия стояли еще во всем цвету, это был очередной идеологический враг, и Маркс бил по нем. Характерно, что его чисто-исторические работы (куда нужно отнести и корреспонденции о Восточной войне) относятся к революционному периоду, концу 40-х—началу 50-х годов, да к короткой революционной вспышке Коммуны. В промежуточные, органические, периоды социология, естественно, выступала на первое место, и к тому же обосновать ее было делом первейшей практической необходимости: без нее не было теоретической базы у всего движения.

Теперь нам становится понятно, в чем Ленин по этой линии дополнил Маркса. Ленину посчастливилось жить в период ярко революционный, будущие историки поставят его, вероятно, выше периода Великой французской революции. События шли так густо, как идет рыба в камчатских реках. Империализм, прорвавшись впервые в испано-американской войне 1898 г., делал гигантские успехи, ставя рабочую массу перед выбором: или превратиться в настоящих рабов, душой и телом принадлежащих хозяевам, думающих, как они, и кладущих живот свой, когда хозяевам требуется, или восстать. Никакие стабилизации этого положения в общем и целом не изменят.

Очередным делом было не создание новой социологии—она была уже создана и, в лице Плеханова, была достаточно популярна в наших революционных кругах, Ленин ничего не собирался в ней менять—в области социологии он последовательный ортодоксальный марксист, и только. Но социологии было мало, как мало было ее самому Марксу в 1848 и 1871 годах. Нужно было дать ключ к пониманию тех «случайностей», без которых живой истории не бывает. Нужно было научить массы пользоваться этими «случайностями». Наиболее исторический из всех периодов, какие видало человечество, требовал не социологического только, требовал исторического анализа, в этом была задача того, кто должен был вести революцию. И Ленину эту задачу пришлось разрешать.

Рамки газетной статьи не позволяют осветить во всей полноте индивидуальные особенности исторической манеры Ленина. Было бы шаблоном повторять, что она глубоко диа-

лектична. О диалектике очень любили говорить меньшевики в период нашей первой революции,—идя в этом случае за Плехановым, и очень гордые, что имеют на своей стороне такой классический образчик марксизма. Но для Ленина именно Плеханов-то и «не обратил внимания» на «суть дела»—на то, что «диалектика и есть теория познания марксизма» (отрывок о диалектике в «Большевике», 30 марта 1925 г.). Если бы меньшевики знали о такой ереси своевременно, они бы вторично предали Ленина партийному суду. Как? Плеханов не диалектик?!

А между тем, Ленин был совершенно прав: меньшевистское понимание исторической диалектики совершенно не схватывало настоящей диалектики истории. Для меньшевиков, например, появление в России конституции после 1905—1907 гг. было концом буржуазной революции: самодержавие превратилось в буржуазную монархию, революционные методы борьбы больше неприложимы, революционное подполье нужно ликвидировать. А для Ленина «переход от одной формы к другой нисколько не устраняет (сам по себе) господства прежних эксплоататорских классов при иной оболочке». И, перечислив ряд изменений, которые на протяжении веков пережила оболочка дворянского самодержавия, Ленин, чтобы у самого непонятливого читателя не осталось недоразумения, заканчивает: «На новом поприще, при учреждениях бонапартистской монархии, на более высокой ступени политического развития борьба начинается опять с устранения прежнего врага, черносотенного самодержавия». Диалектика формы нисколько не закрыла от Ленина устойчивости внутреннего содержания. Форма-то сделалась конституционной, а самодержавие-то осталось черносотенным.

Этот настоящий, подлинный диалектизм Ленина делал его непримиримым врагом всяких однобоких, «непримиримо-последовательных» схем и положений. Никто лучше Ленина не сумел выяснить сущности империализма и железной необходимости империалистской политики. Никто лучше и убедительнее его не доказывал, что война 1914 г. есть война империалистская. Но когда на этом основании некоторые прямолинейные люди стали утверждать, что «в эру разнузданного империализма не может быть более никаких национальных войн», Ленин им ответил: «Спрашивается: из того, что передовой европейский (и американский) капитализм вступил в новую эпоху империализма, вытекает ли, что войны теперь возможны лишь империалистские? Это было бы нелепым утверждением, неумением отличить данное конкретное явление от всей суммы разнообразных явлений эпохи. Эпоха потому и называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн как типичных, так и

нетипичных, как больших, так и малых, как свойственных передовым, так и свойственных отсталым странам».

И как живо и конкретно понимал Ленин эпоху империализма, с учетом всех скрывающихся в ней противоречий, так же живо и конкретно понимал он и эпоху антиимпериалистической социалистической революции. «Последовательные» люди и тут утверждали: коли социалистическая, значит никакой буржуазной революции быть не может. Ленина ничем нельзя было так рассердить, до 1917 года, как заявлением: «в России буржуазная революция невозможна». Такой фразой можно было сразу потерять всякий кредит в его глазах. Но он ставил дело шире, чем только для России. Тут приходится процитировать довольно длинный отрывок. «Социалистическая революция в Европе не может быть ни чем иным, как взрывом массовой борьбы всех и всячески угнетенных и недовольных. Части мелкой буржуазии и отсталых рабочих неизбежно будут участвовать в ней—без такого участия невозможна массовая борьба, невозможна никакая революция—и столь же неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки. Но объективно они будут нападать на капитал, и сознательный авангард революции, передовой пролетариат, выражая эту объективную истину разношерстной и разноголосой, пестрой и внешне раздробленной массовой борьбы, сможет объединить и направить ее, завоевать власть, захватить банки, экспроприировать ненавистные всем (хотя по разным причинам) тресты и осуществить другие диктаторские меры, дающие в сумме ниспровержение буржуазии и победу социализма, которая далеко не сразу «очистится» от мелкобуржуазных шлаков».

Это—программа на будущее, и конец осуществления этой программы увидит не наше поколение. А набросана эта программа в 1916 году. Нет места,—да и нет особой надобности, благо т. Кржижановский недавно об этом напоминал,—цитировать другое «историческое пророчество» Ленина, описание им нэпа в «Государстве и революции», написанном за 4 года до нэпа. Исторический анализ в лице Ленина уже дает то, для чего существуют все исторические анализы, для чего существует и сама история: дает возможность «по прошедшему угадывать будущее». Социология указывает только направление, в котором мы должны итти. Это—схематическая карта, где нет ни гор, ни болот, ни лесов, ни оврагов. Нанести все это на карту—дело конкретного, исторического анализа. Но было бы совершенно антиленинским делом, взяться предсказывать все препятствия в начале съемки. Ленин дал нам метод, как это делается,—в этом его великая заслуга как историка; воспользоваться этим методом—дело наше.

«Правда» № 92, 22 апреля 1926.

ЛЕНИН И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА [1]

Многогранность Ленина, изумительная многогранность, то, что он является еще до сих пор в значительной степени неоткрытым, что мы его изучаем, как некоего гиганта, палец за пальцем, один сустав за другим,—только это дает мне смелость выступить с докладом, весьма несовершенным, недоделанным о Ленине и внешней политике. Сказать об этом мне хотелось бы очень много, но сказать я сумею очень немного, не только потому, что вы не выдержите, но и потому, что я не мог собрать материала, достаточно обширного, чтобы осветить все стороны этого вопроса. А между тем, товарищи, тема «Ленин и внешняя политика», которая принадлежит не мне, а была мне подсказана М. И. Ульяновой, эта тема меня страшно интересует, и я думаю, что она должна интересовать всех в настоящее время. Дело в том, что сейчас, как в прошлом, в 1910—14 гг., мы опять вступаем в полосу интенсивного интереса к внешней политике. Наша партия не всегда этим интересом отличалась, и, например, в первую революцию 1905—07 гг. внешняя политика в образе японской войны, которая тогда шла, была для нас просто агитационным мотивом. Мы от этой печки танцовали, когда нужно было ругать царизм. Но суть дела была в том, чтобы обругать царизм возможно хлеще, дать иллюстрацию, показать его неспособность, глупость, гнусность и т. д. А сама по себе внешняя политика так мало нас интересовала, что редко кто говорил и думал об Алжезирасской конференции, хотя в известной степени от нее зависела судьба нашей революции, потому что, если бы Николай не поддержал Франции на Алжезирасской конференции, он бы не получил тех миллионов, которые были ему нужны для удушения нашей революции. Еще меньше тогда думали об англо-французском сближении, а между тем англо-французское сближение тех дней было началом Антанты, т. е., по сути дела, началом империалистской войны. Вот как мы были невнимательны к внешней политике. Дальше я покажу, что Ленин был внимателен, но мы-то были невнимательны. И только после 1910 г., когда уже слышался вдали гул будущей канонады,

---

[1] Доклад на Курсах марксизма при Комм. академии 22 января 1927 г.

когда военные приготовления можно было ощупать руками, только тогда мы стали интересоваться внешней политикой. Тут и резолюция Базельского конгресса, и наши споры, и статьи в эмиграции и отчасти в здешней литературе, и т. д., и т. д.

И вот теперь, после довольно длинного промежутка, когда мы тоже были заняты преимущественно внутренними делами, опять внешняя политика властно требует к себе внимания, опять она стоит в центре всего, и опять чувствуется гул приближающейся канонады. Этого можно было ожидать. Начинающееся предвоенное оживление, которое несомненно, как бы мы на это ни смотрели,—готовится ли эта канонада непосредственно против СССР или против чего-нибудь другого сначала, но до нас, вероятно, дойдет,—это есть оборотная сторона той самой стабилизации, о которой мы так много слышим. Буржуазия, как всякое меньшинство, тиранически господствующее над большинством, всегда занята или борьбой внутренней, или, если внутренней борьбы нет, начинает борьбу снаружи. Мнение о пацифизме буржуазии, это есть гнилое мнение. История, вероятно, скажет, что это был самый воинственный класс на земном шаре, куда более воинственный, чем средневековые рыцари. Буржуазия всегда дерется. Иногда она дерется со своими собственными рабочими, и тогда ей некогда драться со своими соседями. В период, когда буржуазный строй не стабилизирован, когда он качается, буржуазия обыкновенно настроена «мирно». Возьмите, напр., Францию и Англию в 30—40-х гг. XIX века, Францию, которая была беременна 48 годом, в которой все кипело внутри, в короля которой стреляли из всевозможных орудий, включая и предшественника теперешнего пулемета, который тогда называли «адской машиной», когда восстания на улицах Парижа разражались регулярно каждые два года,—в это время Франция была сравнительно мирной страной. Правда, она завоевала в то время Алжир, но это было в колонии. Чрезвычайно характерно, что, когда буржуазия находится в мирном состоянии по отношению к своим соседям, она всегда грабит и бьет кого-нибудь в колониях, и этим, так сказать, отводит душу. Душа буржуазная просит драки, но с соседями драться нельзя, это опасно, рабочие напирают с тылу, поэтому, давай, я буду колотить желтых, серых, синих, кого угодно, но в колониях. Возьмем Англию в это же самое время. Это как раз разгар чартизма, опять ей некогда заниматься войной в Европе, но она в это время исподтишка завоевала Индию. Индия как раз была окончательно завоевана в эти годы. Кончается все это, чартизм подавлен, революция 48 года разразилась, рабочие Парижа расстреляны в июне 48 года, буржуазия вздохнула полной грудью, и Англия и Франция, вместе, через два года инсце-

нируют крымскую войну. Затем идут дальше франко-австрийская война, австро-прусская война, франко-прусская война, и все это заканчивается Коммуной. Грозный красный призрак снова встает перед буржуазией, и снова она поджимает хвост на 20 лет.

Это, повторяю, эмпирический закон. Я привел один пример, вы можете его сопоставить со многими другими. Это оборотная сторона, или, если хотите, последствие той стабилизации капитализма, о которой сейчас так много говорится. Как она ни временна, ни условна, но результатом этой стабилизации должен был явиться военный задор буржуазии и ее военные проекты. Что она, вообще говоря, готовится к войне, это мы знаем не только из телеграмм о движении английских морских сил к Китаю, потому что это подходит под категорию колониальных войн, которыми буржуазия отводит душу в мирный период, но это видно из вот какого маленького газетного факта, взятого мелким шрифтом в хронике. За прошлый год в английском воздушном флоте было 176 катастроф, стоивших англичанам 72 человек. Английский военный флот в мирное время—это 800 аппаратов. Другими словами, почти 25% этого флота потерпело аварию. Что может это значить, товарищи? Летать, что ли, разучились англичане? Нет, это значит, что они, следуя примеру американцев, производят у себя маневры в почти боевой обстановке, почти не отличающейся от боевой, а местами и совсем не отличающейся, и проводят это, рискуя всем, не жалея ничего, ни своих летчиков, ни своих аппаратов, для того, чтобы в случае столкновения с Францией занять первое место, первыми сделать налет на Париж, на крупные железнодорожные узлы, склады и, таким образом, парализовать Францию с самого начала. Вот что это означает. Этого одного примера достаточно, чтобы показать, что мы находимся сейчас в предвоенной зоне. Я лично не думаю, чтобы опасность непосредственно грозила СССР. Я не буду на этом останавливаться, это не входит в мой доклад, я не буду разбирать вопроса, насколько война непосредственно угрожает нам. Но ясно, что раз будет мировая война, а теперь кроме мировой войны представить себе войны нельзя, мы несомненно будем втянуты. Мы в стороне, в виде острова блаженных, остаться не можем. Может быть, действительно нас война заденет раньше, чем других; может быть, нет, но не в этом дело. Дело в том, что в мировом масштабе война приближается, и с этой точки зрения то, что нет у нас и над нами Ленина, является, конечно, особенно тяжелым и особенно чувствительным.

Ибо прежде всего другого Ленин,—это мы редко читаем в газетах и об этом, мне кажется, редко говорят в речах, может быть потому, что сюжет от нас далекий и вообще

мы редко обращаемся к внешней политике,—Ленин есть величайший дипломат нашего времени, в буквальном смысле этого слова, и это я постараюсь показать. Вы читали, наверно, фельетон Осинского, где цитируется Каутский, сравнивавший Ленина с Бисмарком. Это сравнение, конечно, нелепо как сравнение двух исторических величин. Ибо величайший прусский юнкер в свое время сумел построить лишь что-то довольно убогое, что уже теперь, через 30 лет после его смерти, перестало существовать, в то время как Ленин стоит во главе мировой эпохи, и, как я уже сказал в своем маленьком вступительном слове о 9 января, новые стороны самого Ленина все более и более открываются. Я нисколько не был бы удивлен, хотя и удивляться нечему, если через 200—300 лет, когда все будет механизировано и электрифицировано, Ленину будут ставить памятники, между прочим, и как отцу электрификации, как одному из апостолов электрификации. Так что Ленин—это неизмеримая, многогранная фигура, с которой как исторической фигурой ни в какое сравнение Бисмарк не идет. Но по отдельным линиям можно сравнивать Ленина с другими. Можно сравнивать его как писателя с другими писателями, и тут не будет никакой обиды для Ленина, если сравнивать, например, стили Ленина и Плеханова. Так вот в одном отношении Ленин и Бисмарк—подходящее сравнение. Бисмарк, безусловно, крупнейший дипломат второй половины XIX века, это всеми признанный величайший мастер дипломатической игры, какой только был, который чрезвычайно ловко, верхним чутьем угадывал назревающие международные комбинации и все их сумел использовать для достижения своей весьма невысокой цели, доставления юнкерской Пруссии гегемонии сначала в Германии, потом во всей центральной Европе, а косвенно и в Европе вообще. Этого он достиг, в этом оказался победителем. Это был действительно крупнейший дипломат своего времени. Но на что опирался это крупнейший дипломат? Он опирался, во-первых, на сильное, молодое, растущее промышленное государство, экономическое развитие которого шло по восходящей. Пруссия бешено развивалась в хозяйственном отношении именно в эру Бисмарка. Он опирался, во-вторых, на самую совершенную технически армию в Европе. Прусская армия первая ввела у себя казнозарядное оружие и благодаря этому несла потери в боях втрое меньше, чем ее противники. Нам это кажется пустяком—откуда же и заряжать винтовку, как не с казны?—но тогда это был громадный шаг вперед. И этот шаг сделала именно прусская армия. Вот опираясь на какие возможности, экономические и технические, Бисмарк достиг своей скромной цели.

В чем была задача Ленина? В создании Союза ССР. Достиг он этой цели? Достиг, товарищи, есть Союз ССР,

существует, растет, развивается, мы сами в нем живем. На что опирался он, достигая этой цели? Сначала, в самое трудное время, на минус-армию, если можно так выразиться. Потому что те разрозненные кучки несчастных беглецов из окопов, которые встречали каждого, кто подъезжал к фронту в декабре, январе 1917—18 гг.,—это была минус-армия, это была помеха для войны, но не орудие для войны. Надо было избавиться от этих беглецов, надо было сплавить их в их деревни для того, чтобы начать строить новую армию. А что касается экономики, то не мне вам рассказывать, что наша экономика шла в противоположном направлении с прусской. Там была круто восходящая кривая кверху, а у нас круто падающая кривая. И Ленин достиг при этих условиях своей цели, СССР был создан. Вот маленькое сравнение Бисмарка с Лениным. Кто из них крупнее? Что Ленину приходилось при этом вести дипломатическую игру, это опять-таки почему-то, к сожалению, не то что замалчивается, но на это как-то не обращается внимания. А между тем его переговоры с Робинсом в 1918 г. и переговоры с Булайтом в 1919 г., это были мастерские дипломатические ходы, мастерские удары. Я не буду говорить о Брестском мире, о политике Ленина во время Брестского мира, об этом гениальном плане прикрыться одним империалистическим фронтом от другого фронта, устроить из Германии завесу. Это опять-таки был великолепный шаг, испорченный только тем, что не Ленин руководил тогда непосредственно нашей внешней политикой.

К сожалению, я не имею данных для того, чтобы осветить вам дипломатию Ленина в другой критический момент, в момент переговоров наших в Генуе и в Гааге. Я только могу догадываться по некоторым признакам, какая тут велась мастерская игра, которая предотвратила объединение сил империалистических государств против нас. Я долго на этой стороне деятельности Ленина как дипломата-практика останавливаться не буду. Это, так сказать,—всецело глава будущего. Она несомненно будет когда-нибудь написана. Но крайне курьезно, что основные документы по этой главе, которые делают величайшую честь Ленину, эти документы приходится опубликовывать кустарным способом, притом в переводе с иностранных языков. Это крайне странно и это есть известное отражение нашей невнимательности к внешней политике вообще, в том числе невнимательности к этой стороне деятельности Ленина. Я думаю, что тут имеет место и некоторое обывательское отношение к самому пониманию внешней политики. Конечно, внешнюю политику с империалистическими державами вести так, как мы ведем у себя внутреннюю политику по отношению к рабочему классу и крестьянству, нельзя. Отношения нашей большевистской дипломатии к буржуазной дипломатии или к буржуазным госу-

дарствам вполне точно, только в мировой проекции, воспроизводят наши с вами старые отношения к жандармам. Что, мы с жандармами откровенничали? Разве мы чувствовали стыд, когда мы жандармам не давали «откровенных показаний»? Наоборот, стыд был тому, кто с жандармами откровенничал. И если Ленин вел иногда «дипломатическую игру», то сам он этого никогда не скрывал, не скрывал даже в статье, которую он опубликовал в «Правде», когда он говорил о переговорах с Робинсом, не называя только последнего по имени.

Вот что он писал в «Правде» совершенно открыто: «Всякий здоровый человек скажет: добыть куплей оружие у разбойника в целях разбойных есть гнусность и мерзость, а купить оружие у такого же разбойника в целях справедливой борьбы с насильником есть вещь вполне законная. В такой вещи видеть что-либо «нечистое» могут только кисейные барышни да жеманные юноши, которые «читали в книжке» и вычитали одни жеманности. Кроме этих разрядов людей, разве еще заболевшие чесоткой могут впасть в подобную «ошибку» [1]. Ленин сам открыто в «Правде» говорил эти вещи, нисколько не скрывая и не замазывая ничего. Вот почему и эту сторону деятельности Ленина надо изучать, не уподобляясь кисейным барышням. Мы знаем ее отвратительно, почти не знаем. А не знать ее, это значит не знать крупной стороны этой гигантской фигуры, фигуры, которая является гигантской и в этом отношении. Ленин, несомненно, был самым крупным дипломатом нашего времени, не исключая Бисмарка, которого пришлось привести для сравнения, потому что это наиболее крупная фигура в их, буржуазном, лагере.

Это относительно Ленина—дипломата-практика. Но Ленин тем и отличался от всех других практиков, что он умел свою практику осмыслить, чего великий Бисмарк не умел совершенно. Кто читал мемуары Бисмарка, тот наверное пережил такое же разочарование, как я. Найти там объяснение политики Бисмарка нельзя. Там есть масса интересных фактов, огромный материал для историка, который захочет объяснить политику Бисмарка, но сам Бисмарк не объясняет своей политики. Если брать мемуары Бисмарка буквально, то выходит, что он руководствовался разными мелкими случаями и т. д. На самом деле это, конечно, не так. Он руководился верхним чутьем, которое у него было очень сильно. Он многое угадывал, но сам не понимал, как угадывал. Меньше всего этот великий практик был теоретиком. Наш великий практик тем и отличался, что он был теоретиком в то же время, великолепно умел объяснять свою политику

---

[1] Статья о «Чесотке революционной фразы».

и самому себе, т. е. построить схему для себя, и другим. И вот, гораздо больше, чем мы знаем о Ленине-дипломате, мы знаем, конечно, о Ленине-публицисте, освещавшем вопросы внешней политики. Я не буду вам воспроизводить той общей схемы, которую дал Ленин в своем «Империализме», ибо «Империализм» принадлежит к политминимуму, и все политминимумцы должны знать «Империализм». А аудитория, перед которой я выступаю, гораздо выше политминимума. Но помимо этой общей схемы чрезвычайно интересен подход Ленина к отдельным вопросам внешней политики, внешнеполитической истории. Ленин ведь говорил: мы, публицисты, пишем историю современности. Это интересно с методологической стороны, ибо дает великолепный урок всем нам, пишущим о внешней политике; это интересно и как образчик того, что можно назвать прозрением Ленина. Ленин схватывал тоже своего рода верхним чутьем много таких вещей, до которых мы докапываемся только путем анализа документов. Позвольте на нескольких примерах то и другое иллюстрировать.

Прежде всего относительно общей постановки. Только у Ленина, если не считать, конечно, Маркса, мы найдем то уменье переводить национальные столкновения в классовую плоскость, которое должно составлять отличительную особенность всякого хорошего марксиста и без которого нет марксистского изучения внешней политики. Борьба между нациями и государствами есть тоже классовая борьба. Как общее место, это известно всем. Но поглядите, умеем ли мы пойти дальше общего места в наших анализах? Обыкновенно не умеем. Мы или подходим к вопросу грубо идеологически и ставим дело так: если буржуазное государство,— значит, конечно, против социализма и против социалистического государства. Если феодальное—против буржуазного. Вам сейчас приведут массу примеров, что на практике это вовсе не так, что типичный представитель феодального самодержавия, Николай I, был в двух вершках от союза с Французской республикой Кавеньяка. Конечно, Кавеньяк не очень симпатичная фигура, но что это фигура буржуазного мира, торжествовавшего над парижскими рабочими, это не подлежит никакому сомнению. И типичнейший феодал, Николай I, писал ему комплиментарные письма и был в двух вершках от союза с ним, причем этот союз не состоялся больше по вине с французской стороны,—Кавеньяк не удержался,— чем с русской стороны. Николай был очень огорчен, когда Кавеньяк провалился на выборах в президенты Франции, а выбран был Луи-Наполеон. Вот вам образчик того, что нельзя так просто рассуждать, что если феодалы, то всегда против буржуазии.

То же самое насчет буржуазии и социализма. Нас Ллойд-Джордж звал в Геную, звал раньше на Принцевы острова. Буржуазия шла на нас не с дубьем, а в известный момент с рублем, только предлагая этот рубль на таких условиях, на каких мы принять его никоим образом не могли,—не сошлись, не столковались, но попытка столковаться несомненно была. С другой стороны, современная Турция, это социалистическое государство или буржуазное? Буржуазное. Помогали ему мы, социалисты? Помогали. Гоминдан—коммунистическая партия? Нет, в сущности буржуазная, революционно-буржуазная партия. Помогали мы ему? Помогали. Если мы будем так подходить, то из этого ничего не выйдет. Ничего мы таким путем не поймем.

Или мы так подходим к этому вопросу, грубо идеологически, или мы трафаретно повторяем национальные характеристики, которые дает буржуазная литература, и говорим о вражде французов с немцами, англичан с французами, итальянцев с сербами и т. д., и т. д., забывая, что под каждым решительно национальным столкновением неизбежно скрывается классовое столкновение. Всякая война имеет определенный классовый смысл.

И вот вскрывать классовый смысл различных войн Ленин был величайший мастер. Никто как Ленин объяснил разницу между буржуазными войнами, когда буржуазия шла по восходящей, когда она вела за собой всю массу, включая иногда, по грехам, даже пролетариат, и когда эти войны носили прогрессивный характер, почему Маркс и Энгельс иногда к этим войнам относились положительно, а не отрицательно, и войнами упадочной империалистической буржуазии, загнивающей буржуазии, которые носят резко реакционный характер, когда буржуазия уже не ведет за собой массы, а давит и уничтожает эти массы во имя буржуазного Молоха: и к этим войнам все рабочие могут относиться только отрицательно. Этот подход Ленина чрезвычайно характерен. Это целая картина, которая открывается перед нами, картина международных отношений, которой до Ленина не было потому, что и Маркс не мог дать целиком этой картины. Маркс как раз и вводил в соблазн некоторых последующих марксистов тем, что положительно относился к некоторым войнам и ставил вопрос: что хорошо—эта страна победит или та? Этим козыряли меньшевики во время империалистической войны, в период оборонческой кампании. Они говорили: как же Маркс и Энгельс относились положительно к франко-прусской войне, считали, что будет лучше, если победит Германия. Маркс и Энгельс говорили это потому, что то была война буржуазии восходящей, буржуазии становящейся, ведшей вперед народное хозяйство. А сейчас это войны загнивающей буржуазии, буржуазии, которая тянет

назад все за собой, которая обрастает самыми реакционными элементами, благодаря чему от всей ее военной идеологии идет нестерпимая вонь, которую Ленин ощущал лучше, чем кто-нибудь другой: «На место борьбы поднимающегося вверх, национально-освобождающегося капитала против феодализма стала борьба реакционнейшего, отжившего и пережившего себя финансового капитала, идущего вниз, к упадку,—против новых сил. Буржуазно-национальные рамки государств, бывшие в первую эпоху опорой развитию производительных сил человечества, освобождающегося от феодализма, стали теперь, в третью эпоху, помехой дальнейшему развитию производительных сил. Буржуазия из поднимающегося передового класса стала опускающимся, упадочным, внутренне-мертвым, реакционным. Поднимающимся—в широком историческом масштабе—стал совсем иной класс».

Это общая его установка. Я хотел бы остановиться на некоторых установках частного характера, меньше известных, резко идущих вразрез с обычными определениями. Скажем, война Сербии и Болгарии с Турцией, первая балканская война, которая открыла, в сущности говоря, империалистическую войну, была прологом к империалистической войне. Как мы ее понимали и понимаем до сих пор? Национальная борьба за объединение болгар и сербов против Турции, под властью которой оставалась добрая доля сербов и болгар. Поглядите, как Ленин подходит: «Победы сербов и болгар означают подрыв господства феодализма в Македонии, означают создание более или менее свободного класса крестьян-землевладельцев, означают обеспечение всего общественного развития балканских стран, задержанного абсолютизмом и крепостническими отношениями. Буржуазные газеты, начиная «Новым временем» и кончая «Речью», толкуют о национальном освобождении на Балканах, оставляя в тени экономическое освобождение. А на деле именно это последнее есть главное. При полном освобождении от помещиков и от абсолютизма, национальное освобождение и полная свобода самоопределения народов были бы неизбежным результатом. Наоборот, если останется гнет помещиков балканских монархий над народами, останется непременно в той или иной мере и национальное угнетение».

Видите, как мастерски в 10 строках национальное переведено в социальное, и в сущности дана такая схема балканской войны, которая ни одному буржуазному публицисту не приходила в голову и, по грехам, не всегда приходит в голову и новейшим марксистским историкам. Я не говорю о том, как мастерски Ленин умел раскрыть социальный смысл нашествия на нас немцев перед Брестским миром. Все его подчеркивания того, как буржуазия радовалась немецкому

нашествию, яснее ясного показывают, что по сути дела это немецкое наступление было интервенцией, а интервенция—это война социальная, война между классами. И этот мастерской перевод национального в социальное и обратно, если понадобится,—потому что Ленин не думал отрицать наличность национальных войн, он и македонскую войну понимал как национальную, только переводил на социальный язык,—это дает ключ к невероятно смелой гипотезе, которую Ленин выставил в начале империалистической войны, к ужасу всех, о переводе борьбы между народами в борьбу между классами. Это казалось тогда безумно смелой гипотезой. Как, всякая классовая борьба придушена, побеждает «гражданский мир», а он толкует о том, что эта война перейдет в войну между классами. А между тем был великолепный пример в прошлом, Парижская коммуна. Как раз то же самое, превращение энергии национальной борьбы в энергию социальной, классовой борьбы. А затем, это оправдалось. Действительно, в конце концов, империалистическая война привела к классовой войне, к революции в России, к революции в Германии. Так что эта казавшаяся нам осенью 1914 года безумно смелой гипотеза оказалась современем просто рабочей гипотезой.

Вот вам образчик ленинского метода в изучении международных отношений, ленинского умения переводить национальное в социальное, не давать себя обмануть, втереть себе очки национальными терминами, которые, повторяю, многие принимают не только за термины, за оболочку, но за самую сущность движения. Ленин, признавая национальные войны, предсказывая их, поддерживая их в позднейший период (поддержка Китая и Турции), тем не менее никогда не давал себя обмануть, втереть себе очки.

И естественно, что человек, владевший таким совершенным методом анализа международных отношений отличался чрезвычайной прозорливостью. Некоторые его пророческие статьи я бы хотел вам напомнить. Эти статьи относятся к тому времени, когда, как я уже упомянул, никто не говорил о внешней политике, эта внешняя политика считалась делом не нашим, нас не касающимся. Относятся они к 1908 г. В 1908 году в связи с аннексией Боснии и Герцеговины впервые в газетах всплыли международные вопросы, и Ленин посвятил этому статью «Горючий материал в мировой политике». Я не буду излагать всей этой статьи, приведу только одно пророческое место. Это раньше китайской революции, которая разразилась, как известно, в 1911 году. А Ленин еще в 1908 писал: «Шаг вперед всего международного социализма, наряду с обострением революционно-демократической борьбы в Азии, ставит русскую революцию в особенные и особенно трудные условия. У русской революции

есть великий международный союзник и в Европе и в Азии, но вместе с тем именно вследствие этого у нее есть не только национальный, не только российский, но и международный враг».

Теперь прочтите все статьи английских твердолобых по поводу России, все речи сейчас. В конце концов, за что английские консерваторы больше всего сейчас озлоблены на СССР? За помощь горнякам? Нет, за помощь Китаю, Гоминдану. Это главное, в этом суть дела. Тут эти самые международные враги выступают перед нами со своей физиономией потому, что там не одни англичане, там и японцы и американцы. То, что помогали горнякам, это нам простили, ничего, «пущай себе». А то, что мы Гоминдану помогали, этого простить нельзя. Разве это не оправдание ленинских слов, что мы наживаем международного врага потому, что у нас есть международный союзник—в Азии? Вот вам один образчик, который относится к 1908 году.

Дальше идет статья «Воинствующий милитаризм», написанная в том же 1908 году.

Прежде всего Ленин ставит вопрос, с которого мне пришлось начать. Как случилось, что в мировой политике, в международных отношениях происходит несомненно большое оживление, а между тем с.-д. совершенно не готовы к этому? «На первый взгляд—странное явление: при такой очевидной важности этого вопроса, при таком явном, бьющем в лицо вреде милитаризма для пролетариата трудно найти другой вопрос, по которому существовали бы такие шатания, такая разноголосица в среде западных социалистов, как в спорах об антимилитаристской тактике».

И дальше Ленин приводит вещи чрезвычайно любопытные просто фактически, тут никакого особого откровения Ленина нет, но я позволю себе эти факты вам процитировать, просто, как «пророческие» факты. «На одном полюсе стоят немецкие соц.-демократы типа Фольмара. Раз милитаризм—детище капитализма,—рассуждают они,—раз войны суть необходимый спутник капиталистического развития, то никакой специальной антимилитаристской деятельности не нужно. Так именно Фольмар и заявил на партейтаге в Эссене. В вопросе же о том, как вести себя с.-д. в случае объявления войны, большинство немецких с.-д. с Бебелем и Фольмаром во главе упорно стоят на той позиции, что с.-д. должны защищать свое отечество от нападения, что они обязаны принять участие в «оборонительной» войне. Это положение привело Фольмара в Штуттгарте к заявлению, что «вся любовь к человечеству не может нам помешать быть хорошими немцами», а с.-д. депутата Носке—провозгласить в рейхстаге, что в случае войны против Германии «с.-д. не отстанут от буржуазных партий и вскинут ружья на плечи»; а отсюда

Носке осталось сделать лишь один шаг, чтобы заявить: «Мы желаем, чтобы Германия была насколько возможно вооружена». В 1908 году это было, товарищи. Что же удивляться тому, что произошло в 1914 году? Оказывается, все это было уже в 1908 году.

Но это факты. А тут вот мы опять начинаем подходить к методу Ленина. Вы помните, что когда разразилась война, все время вопрос о «виновности» вертелся около событий июля 1914 года, событий, непосредственно предшествовавших взрыву, и тех дипломатических комбинаций, которые в это время были. И в 1908 г. по этому поводу Ленин писал: «Не меньшим оппортунизмом проникнуто убеждение Фольмара и его единомышленников, что с.-д. обязаны принять участие в оборонительной войне. Блестящая критика Каутского не оставила камня на камне от этих взглядов. Каутский указал на полную невозможность подчас разобраться, особенно в моменты патриотического угара, вызвана ли данная война оборонительными или наступательными целями (пример, который приводил Каутский: нападала или оборонялась Япония в начале русско-японской войны?). С.-д. запутались бы в сетях дипломатических переговоров, если бы вздумали в зависимости от этого признака устанавливать свое отношение к войне».

Итак, не только комбинация 1914 года рисовалась Ленину совершенно отчетливо уже в 1908 году, но он уже в 1908 году предвидел возможность жалкого барахтанья около вопроса о «виновности», которому будет предаваться Каутский еще в 1918 году. Не предвидел только, что барахтаться будет именно сам Каутский...

Совершенно понятно, что человек, который так остро понимал сущность международных отношений, схватывал независимо от документов очень многое из того, что впоследствии нам стало ясно только на основании документов. Я не могу не сопоставить с этой замечательной проницательностью Ленина, который поставил вопрос о надвигающейся войне и о том, как с.-д. встретят ее, уже в 1908 г., взгляда Жореса, который защищал союз Франции и Англии с Россией, смотрел на этот союз, как на гарантию мира, и приветствовал этот факт. Вот маленькое сравнение. Я сравнивал Ильича с Бисмарком, теперь позвольте сравнить Ильича с Жоресом. С одной стороны, Ленин, который представлял себе буквально всю комбинацию войны 1914 г., и, с другой стороны, Жорес, который наивнейшим образом воображал, что союз России с Англией и Францией приближает эру мира и является торжеством пацифизма.

Но я хотел не об этом говорить. Я хотел говорить о другом. Прежде всего, многие ли думали в течение империалистической войны, что под русско-германским столкновением,

на самом дне всей этой империалистической комбинации, продолжает существовать русско-английский конфликт? Казалось бы, что русско-английский конфликт соглашением 1907 г. снят окончательно и что война 1914 года, в которую Россия и Англия вступили рука об руку, сделала невозможным его возобновление. И только при свете секретной переписки русской и других дипломатий, переписки, попавшей в наши руки в 1917 году, нам удалось установить, что англо-русский конфликт из-за проливов и Константинополя все время империалистической войны грозил вскрыться ежеминутно [1]. И вот я беру статью Ленина о сепаратном мире, относящуюся к самым последним месяцам 1916 года, и там мы читаем: «Наряду со столкновением разбойничьих «интересов» России и Германии существует не менее—если не более—глубокое столкновение между Россией и Англией. Задача империалистской политики России, определяемая вековым соперничеством и объективным международным соотношением великих держав, может быть кратко выражена так: при помощи Англии и Франции разбить Германию в Европе, чтобы ограбить Австрию (отнять Галицию) и Турцию (отнять Армению и особенно Константинополь). А затем при помощи Японии и той же Германии разбить Англию в Азии, чтобы отнять всю Персию, довести до конца раздел Китая и т. д. И к завоеванию Константинополя и к завоеванию всей большей части Азии царизм стремится веками, систематически проводя соответствующую политику и используя для этого всяческие противоречия и столкновения между великими державами. Англия выступала более долго, более упорно и более сильным противником этих стремлений, чем Германия. С 1878 года, когда русские войска подходили к Константинополю, и английский флот появился перед Дарданеллами с угрозой расстрелять русских, как только они покажутся в «Цареграде», до 1885 г., когда Россия была на волосок от войны с Англией из-за дележа добычи в Средней Азии (Афганистан; движение русских войск вглубь Средней Азии угрожало господству англичан в Индии), и до 1902 года, когда Англия заключила союз с Японией, подготовляя войну ее против России,—за все это долгое время Англия была сильнейшим врагом разбойничьей политики России, потому что Россия грозила подорвать господство Англии над рядом чужих народов... Если бывший социалист г. Плеханов изображает дело так, будто реакционеры в России хотят вообще мира с Германией, а «прогрессивная буржуазия»—разрушения «прусского милитаризма» и дружбы с «демократической» Англией, то это детская сказка, приноровленная к уровню политических младенцев. На деле и царизм, и все реакционеры

[1] См. мою брошюру «Царская Россия и война», Гиз, 1924 г.

в России, и вся «прогрессивная» буржуазия (октябристы и кадеты) хотят о д н о г о: ограбить Германию, Австрию и Турцию в Европе, побить Англию в Азии (отнять всю Персию, всю Монголию, весь Тибет и т. д.). Спор идет между этими «милыми дружками» только из-за того, к о г д а и к а к повернуть от борьбы против Германии к борьбе против Англии. Только из-за того, когда и как».

Схема неожиданная, кажущаяся совершенно фантастической для 1916 года, когда, повторяю, Россия и Англия были союзниками. Но сейчас у нас есть документ, который прежде всего освещает вопрос об уступке Англией России Константинополя, и мы знаем, с каким скрежетом зубовным Англия уступила России Константинополь даже на бумаге и приняла все меры к тому, чтобы на практике не уступить, начав атаку Дарданелл в самом спешном порядке, чтобы придя в Константинополь, русская армия встретила на улицах солдат в хаки, своих «союзников». И тот англо-русский конфликт, который Ильич прозревал через неимоверную массу чепухи и вранья в прессе, в буржуазных газетах, вылавливая из этого мусора отдельные жемчужины, совершенно подтверждается теми документами, которые мы сейчас имеем. Методология Ильича позволила ему среди невероятной путаницы, среди самого гнусного вранья вскрыть настоящую подкладку международных отношений в течение империалистской войны, подкладку, которая выражалась в том, что конфликт Англии с Россией вовсе не был снят, а так сказать, лежал только на дне, покрытый русско-германским конфликтом. Причем Ильич предусмотрел и тот случай, что в течение самой войны Россия будет на этой почве шантажировать Англию. Он пишет: «Кончится ли данная война таким образом в очень близком будущем, или Россия «продержится» в стремлении победить Германию и побольше ограбить Австрию несколько дольше, сыграют ли переговоры о сепаратном мире роль маневра ловкого шантажиста (царизм покажет Англии готовый проект договора с Германией и скажет: столько-то миллиардов рубликов и такие-то уступочки или гарантии, а не то я подпишу завтра этот договор)— в о в с я к о м с л у ч а е империалистическая война н е м о ж е т кончиться никаким иным, кроме как империалистским, миром». И этот шантаж опять-таки несомненный факт, теперь нам известный из документов: в период переговоров о Константинополе русское правительство форменно шантажировало Антанту, в частности Англию (повидимому, Франция в этот шантаж была посвящена), собираясь, якобы, заключить мир с Австрией. Ильич ошибся лишь в том, что пишет о договоре с Германией. Что означало заключить мир с Австрией? Это означало, что Германия будет отрезана от Константинополя и что Константинополь станет легкой русской

добычей, поскольку немцы не в состоянии будут помочь туркам защищать его. Так что и это было угадано Ильичом. Вы скажете, что он это прочел в газетах. Конечно, прочел, но мы все читали газеты, а никому, кроме него, не пришла в голову такая комбинация. Несомненно, в газетах кое-что было, но там была целая куча всевозможнейшей чепухи, и из этой кучи по крупинкам нужно было выбирать исторически ценное.

Совершенно так же и в той же самой плоскости в другой статье он предугадал ту характеристику, которую мы в настоящее время даем русскому империализму. Как известно, последним словом науки в этой области является открытие, сделанное товарищем, принадлежащим к Комм. академии, и заключающееся в том, что по сути дела не было русского национального империализма, что по сути дела русский империализм, это был англо-французский империализм, опиравшийся на русские силы, на русские средства и оперировавший на русской территории. Это, так сказать, последний вывод нашей науки в этом отношении; т. Ронин обосновал это в своей книге «Заграничный капитал и русские банки», а к т. Ронину присоединился в своем предисловии т. Крицман. И вот, раскройте теперь во 2-м дополнительном томе сочинений Ленина стр. 78 и вы там прочтете: «Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англо-французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию. Гучков, Львов, Милюков—наши теперешние министры—не случайные люди. Они—представители и вожди всего класса помещиков и капиталистов. Они связаны интересами капитала. Капиталисты не могут отказаться от своих интересов, как не может человек сам себя поднять за волосы. Во-вторых, Гучков-Милюков с К⁰ связаны англо-французским капиталом. Они на чужие деньги вели и ведут войну. Они обещали за занятые миллиарды платить ежегодно процентов сотни миллионов и выколачивать эту дань с русских рабочих и русских крестьян». «Поэтому обращение к гучковско-милюковскому правительству с предложением заключить поскорее честный, демократический, добрососедский мир есть то же самое, что обращение доброго деревенского «батюшки» к помещикам и купцам с предложением жить «по-божецки», любить своего ближнего и подставлять правую щеку, когда ударят по левой. Помещики и купцы слушают проповедь, продолжают утеснять и грабить народ и восторгаются тем, как хорошо умеет «батюшка» утешать и успокаивать «мужичков». И эта роль Гучкова и Милюкова как агентов антантовского финансового капитала не есть для Ленина вывод из наблюдений над деятельностью этих почтенных граждан как министров «республиканской» России. Эту их роль он впол-

не предвидел еще при Николае II. В статье «Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический», написанной еще до Февральской революции, Ленин говорит: «Сепаратный мир мог быть заключен между Николаем II и Вильгельмом II тайно. История дипломатии знает примеры тайных договоров, о которых не знал никто, даже министры, за исключением 2—3 человек. История дипломатии знает примеры, когда «великие державы» шли на «общий европейский» конгресс, предварительно договорив тайком главное между главными соперниками (например, тайное соглашение России с Англией насчет грабежа Турции перед Берлинским конгрессом 1878 года). Не было бы ровно ничего удивительного в том, если бы царизм отверг формальный сепаратный мир правительств, между прочим, по соображению о том, что при теперешнем состоянии России ее правительством могли бы тогда оказаться Милюков с Гучковым или Милюков с Керенским, и в то же время заключил тайный, не формальный, но не менее «прочный» договор с Германией о том, что обе «высокие договаривающиеся стороны» ведут совместную т а к у ю-т о линию на будущем конгрессе мира».

История знает такие тайные соглашения. Например, в 1809 году Россия воевала с Австрией в качестве союзницы Франции, но действовала так удачно, что столкновений с австрийскими войсками почти не было. Так что такие случаи, что война на бумаге есть, а на самом деле никаких серьезных военных действий не происходит, могли быть. При этом для большей реальности местами могли и стрелять и убивать (что считаться с жизнью каких-то крестьян и рабочих, если даже несколько тысяч их и перебьют?), но настоящая война не велась. Ильич понимал возможность таких тайных договоров, говоря, что бывают договоры, которые известны только 2—3 человекам, они не только не опубликовываются, но почти никому неизвестны. Тем не менее Россия будет вести себя так, чтобы не стеснять Германию военными действиями, но когда война кончится, Германия и Россия выступят вместе с теми или другими требованиями. Но что удерживает Николая от этого? Удерживает несомненно перспектива, что тогда власть перейдет в руки Гучкова и Милюкова. Таким образом, Гучков, Милюков и Керенский как форменные англо-французские агенты представлены в статье Ленина, написанной перед Февральской революцией, еще в конце 1916 г. А между тем такой прогноз Ленина теперь совершенно оправдывается и политически и экономически. Мы знаем теперь вполне определенно, что действительно русский империализм был на содержании в буквальном смысле слова у Антанты, у англичан и французов, и что действительно не только Гучков и Милюков, но и хвастунишка Керенский были фактически агентами Антан-

ты. Установить это как факт прошлого, путем анализа исторических событий, имея в руках документы, это одно—это легко. Но установить это как факт современный, к которому приходится приглядываться сквозь тусклое стекло газетной лжи, для этого нужен особый, гениальный и специфически ленинский подход к вопросам внешней политики. Вот почему иногда неожиданно открываешь, что ты больше ленинец, чем кажешься самому себе, потому что нам, изучив документы, приходится, как ученикам, повторять эти старые ленинские установки. В конце концов, содержание всех наших писаний о внешней политике великолепно можно извлечь из сочинений Ленина. Сделать это легче всего в форме эпиграфов. Я берусь найти эпиграфы из Ленина к любой из глав нашей внешней политики.

Вот другая сторона Ленина. Не Ленин-дипломат, а Ленин-историк внешних политических отношений. В этом отношении он также является учителем, громадной величины учителем, от которого мы никуда не уйдем, потому что всякое новое открытие новых исторических документов будет оправдывать «новые», и «новые»—для нас—точки зрения Ленина.

Вот почему, товарищи, приходится нам оплакивать Ленина именно теперь. Именно сейчас мы подходим к тому моменту нашей истории и мировой истории, когда такой гений как Владимир Ильич, с его методом изучения международных отношений, был бы для нас необычайно ценен, ибо нам в этой плоскости угрожают всевозможные опасности. Уже в 1920 году война с Польшей показала, как легко нам скатиться в болото вульгарного национализма. Я до 1922 года, примерно, поднимаясь по лестнице Наркомпроса, читал на стене лозунг «Смерть польской шляхте». Тут, пожалуй, есть классовый момент. Но ведь и солдаты, которые шли в 1863 году «усмирять» польское восстание, пели: «Взбунтовалась польска шляхта». Этого слишком мало. Мы должны помнить, что всякое наше будущее столкновение—это будет прежде всего столкновение социалистического мира с буржуазным. Это в особенности потому нам надо помнить, что многомиллионная масса мелкой буржуазии, которая у нас есть, конечно, будет тянуть нас в националистическое болото. Не подлежит никакому сомнению, что будущее столкновение с той же Польшей может облечься в форму войны русских с поляками, со всеми психологическими сопровождениями этого. И дело нас, марксистов, студентов и работников Коммунистической академии,—твердо держать в этом отношении знамя Ильича, ни в коем случае не отступать от его мастерского классового анализа всякой войны,

прежде всего вскрыть классовый смысл столкновения: кто против кого борется, какой класс против какого, и потом давать оценку всей войне, ту оценку, которая даст в конце концов совершенно ясное понимание отдельных перипетий борьбы, которая не дает себя запутать никакими дипломатическими документами, никаким газетным враньем, ничем другим. Вот отчего я говорю, что приходится жалеть, что Лениным-дипломатом, Лениным-историком внешней политики мы занимались слишком мало.

«Вестник Коммунистической академии», № 19, 1927 г.

КАК РОЖДАЛСЯ «ИМПЕРИАЛИЗМ»

Что Ленин великий вождь, величайший теоретик марксизма после самого Маркса—об этом нет надобности напоминать, потому что это постоянно присутствует в памяти каждого, как таблица умножения. А вот о том, что Ленин был самым терпеливым человеком на земном шаре, что Ленин умел вести свою политическую линию среди самых ужасных, самых невыносимых условий, ни минуты не теряясь, не выходя из равновесия и не отступая ни на иоту от этой линии,—об этом полезно вспомнить нам, нам благодаря Ленину работающим в комфортабельнейших условиях, не имея понятия и о сотой доле тех препятствий, какие стояли на его пути, и теряющим равновесие поминутно.

Передо мной пачка швейцарских открыток. Они совсем не старые—последней из них по времени только что минуло десять лет. Меньше года отделяет эту переписку от Октября! Меньше, чем через год, Ленин был председателем Совета народных комиссаров. А в это время он был, как и все мы, одним из узников империалистской войны, и, как полагается арестанту, «подавал» все письма открытками—найдя в этом остроумный способ оштрафовать империалистов. Вы хотите читать все письма всех граждан? Превосходно—читайте! Но за что же я буду платить лишнее и обременять вас лишними трудами по вскрытию конверта? А ленинским бисерным почерком и ленинским изумительным стилем и на открытке можно было написать больше, чем другой напишет на четырех страницах.

Но прежде два слова о поводе этой переписки,—чтобы было понятно читателю. Весною 1916 года я получил в Париже письмо от М. Горького, где мне предлагалось организовать, силами заграничных литераторов, серию брошюр под названием «Европа до и во время войны». Серия должна была дать понятие «самым широким кругам» (читай: рабочим) о том, кто такие наши союзники и наши противники в войне. И понятие о смысле самой этой войны, конечно: об этом в письме, прошедшем военную цензуру, сказано не было, но это было ясно из всего его содержания.

Я до сих под помню, как будто это было вчера, впечатление, произведенное на меня этим письмом. До этого

момента я дышал русским воздухом только через вонючую яму, именовавшуюся «патриотической печатью». Патриотические миазмы заглушали все. Изредка приходили письма—унылые, написанные эзоповским языком, косвенно, собственно, подтверждавшие, что весь мир превратился в кучу нечистот. В письмах от товарищей-литераторов и издателей тянулась одна нота: «ничего печатать нельзя, кроме...». Ну, значит, для нас просто ничего печатать нельзя. И вдруг оказывается, что печатать не только можно вообще, но можно печатать нашу пропагандистскую литературу. Ибо письмо не оставляло тени сомнения, что под заграничными литераторами никак нельзя было разуметь ни Плеханова, ни Алексинского, да и обращение ко мне в таком случае было бы верхом нелепости. Нет, писать и печататься приглашали нас, «пораженцев». На этот счет не могло быть, повторяю, тени сомнения. Что-то там, на родине, сдвинулось, что-то пошло... Вместо миазмов первый раз за два года легкие глотали чистый воздух.

Мы живо разобрали конкретные темы—характеристики отдельных стран. А. В. Луначарский должен был писать об Италии, т. Зиновьев об Австро-Венгрии, я вместе с т. Лозовским о Франции; Англию пытались взвалить на А. Ф. Ротштейна, но он отказался, и брошюру написал Херасков, чуть было не сказал: «покойный». Тогда это был казавшийся очень стойким большевик, а теперь сотрудник «Современных записок»... Для Германии в самом письме указывался т. Ларин, но до него очень трудно оказалось добраться, и мы списались окончательно только перед самой Февральской революцией, которая, конечно, упразднила всю серию. Теперь можно и нужно было писать не о том и не так...

Брошюры, впрочем, вышли (к ним присоединились еще брошюры т. Павловича о внеевропейских странах), и даже переиздавались потом уже советскими издательствами.

Но сразу стал вопрос об общем введении—о вводной брошюре, дающей смысл и освещение всей серии: брошюре об империализме. И ясно было с первого же взгляда, что кроме Ленина некому ее писать. У меня не сохранилось открытки с согласием Владимира Ильича взять на себя эту работу—возможно, что ее и не было, так как сношения с «Социал-демократом» во время войны я вел через т. Зиновьева. Как бы то ни было, первая открытка моей серии, помеченная 6 июня 1916 года, говорит уже об отсрочке. «Я работаю усиленно,—писал В. И.,—но в силу сложности материала и болезни опаздываю. Очень боюсь, что не успею к этому предельному сроку» (половине июля).

Само собою разумеется, что к предельному сроку Ленин поспел раньше других. Уже открытка от 2 июля извещала, что одновременно с нею идет заказной бандеролью рукопись

«Империализма». Перед этим я, очевидно, смутил Ильича письмом, где упоминалось, что издательство, испугавшись собственного размаха, вдруг предложило сократить объем брошюры с 5 листов до 3. «Весь материал, план и большая часть работы были уже окончены по заказанному плану на 5 листов (200 страничек рукописи), так что сжать еще раз до 3 листов было абсолютно невозможно»,—писал Ленин. «Ужасно обидно будет, если не издадут! Нельзя ли хоть ходатайствовать тогда о помещении в журнале того же издателя?» [1]. «Что касается до имени автора, то я предпочел бы обычный свой псевдоним, конечно. Если неудобно, предлагаю новый: Н. Ленивцын. Хотите, возьмите любой иной. Насчет примечаний—очень и очень просил бы оставить их; вы увидите из № 101, что они для меня сугубо важны; затем в России читают ведь и студенты etc: им указания литературы нужны. Я нарочно выбрал архиэкономную (в смысле места, бумаги) систему. При мелком шрифте 7 страничек рукописных—это каких-нибудь две странички печатных. Очень прошу оставить примечания или исходатайствовать перед издателем об оставлении их. Насчет заглавия: если неудобно данное [2], если слова империализм желательно избежать, тогда поставьте: «основные особенности новейшего капитализма» (подзаголовок «попул. очерк», безусловно необходим, ибо ряд «важных материй» изложен применительно к такому характеру работы). Первый листочек с перечнем глав, из коих некоторые озаглавлены, может быть, не совсем удобно, с точки зрения строгости, посылаю для вас: ежели удобнее и безопаснее, оставьте его у себя, не посылайте дальше». Письмо кончалось постскриптумом: «Изо всех сил применялся к «строгостям», трудно для меня это ужасно, чувствую, что неровностей тьма из-за этого. Ничего уж не поделаешь!».

Я нарочно выписал почти все письмо. Во-первых, из него видно, как много мог написать Ленин на открытке. Во-вторых, с какой он, предвещающей будущего председателя Совнаркома, тщательностью предусматривал точнейшим образом все деловые мелочи, до бумаги и шрифта включительно. И в-третьих, в каких условиях приходилось работать величайшему революционеру нашего времени с небольшим за год до его полнейшего торжества. «Походатайствуйте перед издателем...» А через год ходатаем выступал уже сам издатель.

И, конечно, опасения Ленина насчет издателя,—точнее: «издательства», ибо Алексей Максимович был, к сожалению

[1] Имеется в виду «Летопись», издававшаяся М. Горьким.—*М. П.*

[2] Т. е. «Империализм». Цензура не любила, чтобы его величество фамильярно называли по имени.—*М. П.*

не один,—оказались правильными. Именно 101-е примечание и подвело—недаром Ильич о нем так заботился. Если вся брошюра была прототипом знаменитого «Империализма», то примечание были зародышем не менее знаменитой брошюры о «ренегате Каутском». Впервые позиция бывшего идеолога левого крыла германской социал-демократии была здесь, в десятке строк, охарактеризована в прямых и точных выражениях. И, конечно, это делало примечание совершенно неприемлемым для издательства. Тут не в цензуре было дело,—цензура позволила бы ругать немца Каутского сколько душе угодно, а в. с позволения сказать, «общественном мнении», общественном мнении будущей «Новой жизни». Как «величайший теоретик марксизма» никуда не годится?! Как, пацифист Каутский—«ренегат»?! Не забудьте, дорогой читатель, что ведь это в 1927 году в СССР «пацифист» есть бранное слово, а во время войны в России на всякого, не кричавшего «ура» или хотя бы и кричавшего, но вполголоса и прикрыв рот рукой, смотрели с уважением. Нет. Напечатать этого «приличное» издательство не могло. И через пару месяцев, списавшись с Питером (тогда это требовало не меньше!), мне пришлось извещать Владимира Ильича, что брошюра пойдет без примечаний, как ни экономно они составлены.

В промежутке оба корреспондента пережили ряд типично-«военных» треволнений, когда казалось, что «Империализм» пропал. Французская цензура долго читала рукопись, переписанную несравненно убористым почерком Надежды Константиновны, и я получил бандероль недели три спустя после открытки. Тем временем и туда и оттуда летели открытки и даже телеграммы: где? когда послали? да получили ли, наконец?—Справьтесь на почте и т. д., и т. д. Не могу не привести выдержки из одной открытки этого тревожного периода,—как образчика ильичова юмора. «Ужасно грустное известие о пропаже заставило автора известного вам плехановского по духу произведения прибегнуть к способу Г. З. (ах, эти немцы! Ведь они виноваты в пропаже! Хоть бы французы их побили!)» [1]. Читатель догадывается, что «плехановское по духу произведение» это и есть «Империализм».

И только уже 21 декабря на мое конфузливое извещение о судьбе «примечаний» я получил ответ—более мягкий, чем ожидал. Попеняв мне, что я дал свое, редакторское, согласие на ампутацию («Не лучше ли попросить издателей: напечатайте, господа милые, прямиком: мы, издательство, удалили критику Каутского. Право, так бы надо сделать...»), В. И. заканчивал: «Вы пишете: «не вздуете?», т. е. я вас

[1] Что за способ Г. З. (т. е. т. Григория Зиновьева), не могу вспомнить.—*М. П.*

за согласие выкинуть сию критику? Увы, увы, мы живем в слишком цивилизованном веке, чтобы так просто решать дела... Шутки в сторону, а грустно, чорт побери... Ну, я в другом месте посчитаюсь с Каутским».

Я не видел первого русского издания «Империализма», но, кажется, он вышел в неизуродованном виде, ибо случилось это уже после Февральской революции и, если не ошибаюсь, даже независимо от «издательства». Все это было без меня—я вернулся в Россию только в начале сентября 1917 года. И у меня осталось только воспоминание, что однажды в жизни я был редактором Ильича,—как видит читатель, не совсем удачно...

«Правда», 21 января 1927 г.

ОКТЯБРЬ

ПРОЛОГ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

27 февраля (12 марта) 1917—1921 гг.

Четыре года Россия республика... Теперь ничье сердце не забьется при этом слове: чем же быть РСФСР, как не республикой?—Это само собой разумеется. Восторг по этому поводу был бы такой же смешной наивностью, как те восторги по поводу железных дорог, которые вызывают у нас улыбку, когда мы перелистываем журналы 1830-х годов. Где-то на свете существуют какие-то «монархи»: мало ли странных старых обычаев! Но когда речь идет о переговорах с Англией, говорят о Ллойд-Джордже—и едва ли один читатель газеты из тысячи вспомнит по этому поводу, что ведь в Бекингемском дворце все еще сидит двойник Николая Романова, Георг V.

Эта устарелость вопроса о монархии и республике чрезвычайно характерна для наших дней—дней последнего и решительного боя старого мира с новым. Ни тому, ни другому миру не до «форм правления». Буржуазия всех стран с величайшей охотой отдаст все династии за прочную гарантию от «большевизма». И недаром самая передовая изо всех буржуазий, американская, пророчески предлагала, за несколько месяцев до нашей Февральской революции, отречься от монархии (осужденной почти открыто, насколько позволяли дипломатические приличия, в известной декларации Вильсона, в конце 1916 года). Правда, отрекаться было уже поздно, этим уже ничего нельзя было спасти и предупредить, но известное чутье американцы все же обнаружили.

Республика в России до такой степени носилась в воздухе с самого начала войны 1914 года, что ее определенно предсказывали еще за два года до революции. В одном рефе-рате, который был прочитан среди русской эмиграции в мае 1915 года в парижском «клубе интернационалистов», не только определенно указывалось, что ближайшая революция в России приведет к республике, но и еще с большей определенностью подчеркивалось, что прежде, чем рабочие завоюют настоящую республику, нам придется пройти через «призрачную республику» кадетов—нечто в роде «призрачной конституции», которую Россия получила в октябре 1905 года от Николая II. Докладчик определенно предостерегал товари-

щей от увлечения этой республикой, которую мы должны будем разрушать своими руками, чтобы расчистить дорогу республике пролетарской. Думал ли он тогда, что ему придется самому принимать участие в этом разрушении?

Плеханов сказал, что революция в России может победить только как рабочая революция. Он не договорил, что рабочая революция может быть только антимонархической, только республиканской.

Взяв власть в руки, рабочий, несомненно, освободится от фабриканта—это было совершенно ясно. Но не менее ясно было, что рабочий не оставит царя. Ибо царь, король, император есть последнее прибежище фабриканта.

Французской буржуазии позволяла играть в республику крайняя слабость французского пролетариата да наличность во Франции сильного, многочисленного, крепкого кулацкого крестьянства; недаром гарнизон Парижа всегда пополнялся новобранцами из самых отсталых крестьянских местностей, а во время войны «порядок» в столице французской республики поддерживали прямо таки аннамиты[1]. Но более развитые капиталистически Англия и Германия удерживали (первая и до сих пор удерживает) «возлюбленного монарха» до последней возможности. Той беспрекословной, слепой дисциплины, которая нужна буржуазии для войска, полиции, чиновничества, не построить на всеобщей подаче голосов. Тут нужно что-то «божественное», что выше всяких парламентов и при помощи чего, в случае крайней нужды, можно разогнать даже и парламент, если в нем большинство окажется в руках социалистов, например.

Монархия нужна была буржуазии всегда, но в одни периоды развития капитализма больше, а в другие—меньше. Абсолютизм нового времени, как Людовика XIV, так и нашего Петра, создан торговым капиталом, которому нужна была «железная рука» как для того, чтобы вымогать прибавочный продукт из самостоятельного, юридически, мелкого производителя, так и для завоевания торговых путей, рынков и колоний. С развитием промышленного капитализма эта необходимость в «железной руке» ослабела: внутри страны «экономическое» принуждение сменило «внеэкономический» гнет—рабочего стали подчинять капиталисты не молотом, как крестьянина, а голодом.

На внешних рынках первые промышленно-капиталистические страны почти не встречали конкурентов. В самом начале XIX века Франция на этом пути вздумала было соперничать с Англией, но разгром Наполеона быстро отучил от

---

[1] Туземцы из французской колонии Аннама, принадлежащие к желтой расе, которую французские капиталисты считали надежной по ее «дикости». Вероятно очень ошибались.

этого, а позже обе страны удачно размежевывались. Фактически Англия была монополисткой почти во всех областях, исключая производств предметов роскоши, и так шло до выступления германской промышленности в последней четверти XIX века.

На почве английской монополии развился английский либерализм, обошедший все страны вместе с английскими товарами. Капитал—экономный хозяин: кто не нужен, сейчас же уволят или, по крайней мере, переведут на голодный рацион. С монархией случилось последнее. Совсем убрать корону с фасада буржуазного здания было неудобно—мы уже видели почему. Но давать волю рукам коронованного автомата тоже было не к чему. В Англии дело упрощалось еще тем, что автомат был все время женского пола. Виктория царствовала там более 60 лет. Все это время Англией управляли ставленники капитала — Пальмерстоны, Биконсфильды, Гладстоны, и в Европе привыкли думать, что английский король существует только «для парада».

Но вот Виктория умерла (в 1901 году), престол занял ее, уже весьма пожилой, сын и картина резко изменилась. Эдуард VII начинает «делать политику». Все переговоры с иностранными государствами он ведет лично и англо-русский союз 1907 года, точно так же, как и англо-французский союз, дело его рук. В чем же дело. Только ли потому, что на троне оказался мужчина? Вовсе нет, конечно. Но английская монополия на мировом рынке была поколеблена—германский капитал самое Англию стал заваливать своими товарами. И английскому промышленному капиталу все чаще и чаще приходилось думать о «внеэкономическом принуждении» во внешней политике: с первых лет XX столетия Англия готовится к войне с Германией и ищет себе союзников. А с другой стороны, в Англии, под влиянием растущей именно благодаря неудачам мировой конкуренции дороговизны, начинает все шире и шире развертываться рабочее движение[1]. Железная рука понадобилась и внутри страны. Наступила эра борьбы за мировую монополию и за сохранение путем прямого насилия капитализма, пережившего себя как система хозяйства. Словом, эре империализма сильная центральная власть была опять нужна.

Особенности русского развития заключались в том, что здесь намеченные сейчас фазы развития капитализма (торговый капитализм, промышленный капитализм) чрезвычайно быстро следовали одна за другой. До 1861 года у нас торговый капитал царил—самодержавие Николая I и крепостное

---

[1] В 1901—1907 гг. в Англии бывало ежегодно по 469 стачек и локаутов, захватывавших в среднем по 157 тыс. рабочих; в 1910 г. первых было 506, а рабочих было ими захвачено около полумиллиона; в 1912 число стачечников перевалило за миллион.

право были его орудиями. Освобождение крестьян было первой уступкой промышленному капиталу, нуждавшемуся во внутреннем рынке и «резервной армии труда». Но не успел расцвести у нас неизбежный политический спутник промышленного капитала—либерализм, как и у нас начинается с 90-х годов прошлого века, рабочее движение, и у нас начинается борьба за монополию, правда, не мировую, как у Германии с Англией, а местную (сначала на Дальнем Востоке с Японией, в 1903—1905 гг.),—словом, и для России наступила эра империализма. И русский либерал очутился между двух стульев. С одной стороны, он вопил о произволе Плеве, о необходимости правового порядка,—с другой, уже в 1904 году он же заявлял о необходимости вернуть Николая, ежели он бежит в Данию, а когда рабочее движение приняло форму рабочей революции, в октябре 1905 года, буржуазный либерализм у нас всецело поддержал министерство Витте, «усмирявшего» рабочую революцию,—не решившись, однако, вступить в него формально.

Рабочее движение было подавлено самодержавием при помощи заграничного капитала—этим сразу наметился, еще в 1906 году, международный характер будущей русской революции. Не принимавшая в этом подавлении формального участия русская либеральная буржуазия не получила и, хотя бы кусочка, власти. Она должна была удовольствоваться тем, что ее терпели. Зато фактическую власть все больше и больше захватывал иностранный, финансовый, банковый капитал, милостями которого жило самодержавие. Участие России в войне 1914 года диктовалось гораздо больше интересами этого чужого, англо-французского империализма, нежели очень еще слабо намечавшегося русского—«национального». И тут опять судьбы России решались в международной плоскости.

А в международной плоскости дело шло на решительное столкновение пролетариата и буржуазии. Стоя на самой опушке леса, видишь только отдельные деревья: у нас все, что происходило между 1907 и 1914 годами, не сливается еще в одну общую картину, нам видно слишком много подробностей, разрозниваюших впечатление. Но историки ближайшего будущего не затруднятся объединить в одно целое большую французскую железнодорожную забастовку 1910 года, большие германские стачки в Вестфалии и в самом Берлине в ближайшие к этому годы, английское забастовочное движение, достигшее своей высшей точки в 1912 году, с одной стороны,—ленский расстрел того же года и все, что за ним последовало, до огромного петербургского движения летом 1914 г.,—с другой. Мировой большевизм нарождался уже за пять лет до начала русской революции.

Процесс мог затянуться и на 10 лет—война явилась акушером истории, ускорив роды. Что война была не только вооруженной дракой двух групп финансового капитала, англо-франко-американской и германо-австрийской, но и вооруженной самообороной капиталистов каждой из этих сторон против собственного пролетариата, факт слишком общеизвестный, чтобы стоило на нем настаивать. Давно отмечено, что вступление в войну каждого нового государства предварялось введением внутри этого государства осадного положения. Простоватых читателей газет уверяли, что это «всегда так бывает», что «так нужно». Это голый вздор: во Франции во время франко-прусской войны 1870—1871 гг., даже когда пруссаки занимали почти половину страны, осадное положение существовало лишь в департаментах, близких к фронту; во всей остальной части страны конституцию и не думали отменять. Но теперь войну хотели использовать, чтобы подавить слишком широко развертывавшееся рабочее движение, чтобы придушить становившиеся слишком сильными рабочие организации. Достигли даже большего, чем хотели: «испытанные бойцы социализма», вожди партии II Интернационала и профсоюзов, напуганные осадным положением, приманенные надеждой на кусочек власти, прямо перебежали в буржуазный лагерь, став агентами воюющего империализма при пролетарских массах.

Так или иначе, уже в 1914 г. друг против друга стояли две международные силы—буржуазия на одной стороне, пролетариат—на другой. Взрыв мог произойти всюду, и всюду немедленно он отлился бы в форму социалистической революции. В России и Германии—отчасти и в Италии—мы имеем уже фактические доказательства этого. Но почему дело началось с России?

Ответом на это служит то, что мы говорили выше о характере и темпе (степени скорости) русского экономического развития. У нас фазы развития капитализма находили одна на другую, промышленный капитал был налицо, когда еще не увял торговый, а империализм захватил промышленный капитализм еще в период роста. Это имело определенное влияние на состав русской буржуазии. В настоящих империалистских странах, как Англия или Германия, банковый капитал в кругу буржуазии имел уже определенную гегемонию—все неимпериалистские интересы должны были смолкнуть перед ним. У нас только в самые первые месяцы войны буржуазии удалось достигнуть такого единства. Это потому, что тогда думали еще, что и сама война ограничится немногими месяцами. Как только стало ясно, что война затягивается, что проиграна не только «хлебная кампания» 1914 года, но придется пожертвовать и 1915 г., торговый капитал, в сущности, на-

чавший войну (Дарданеллы нужны были в первую голову ему—он наживал на хлебном вывозе и желал иметь в кармане «ключи от собственного дома»), стал скучать. Наоборот, капитал промышленный, сначала весьма неохотно втягивавшийся в авантюру, ему собственно еще не очень нужную, по мере роста военных заказов получал все больше и больше аппетита к войне. Наверху, где интересы торгового капитала были виднее и понятнее—на торговом-то капитале ведь и выросло российское самодержавие,—где он имел сильных адвокатов в лице крупных помещиков, заинтересованных в хлебном вывозе, начали колебаться именно в то время, когда в среде фабрикантов и заводчиков всякие колебания прекратились.

Милюков в своей истории русской революции весьма прозрачно намекает на какое-то шушуканье с немцами Николая II и его министров с осени 1916 года. У нас есть косвенные указания и с противоположной германской стороны. Правительству того же Милюкова его швейцарский осведомитель сообщал в апреле 1917 года, со слов «одного известного берлинского банкира», что «в германских руководящих сферах русская революция произвела сначала удручающее впечатление вследствие того, что в Берлине уже были совершенно уверены в близком сепаратном мире с Россией. Русские события разрушили эту надежду, и разочарование было страшное». В доставшихся нам бумагах Николая Романова никаких документальных следов его переписки с немцами о сепаратном мире не нашлось. Но в его дневнике сохранились две записи, объясняющие, почему именно в его бумагах и бесполезно было бы эти документы искать. 9 марта он приехал—уже бывший император—в Царское Село, а 10 марта записал: «просматривал, приводил в порядок и жег бумаги»; 11 марта, «продолжал сжигать письма и бумаги».

Характерно, что милюковское правительство, которое могло с первой же минуты—казалось бы, должно было—опечатать бумаги Николая, ничего подобного не сделало. Монархия, как сейчас увидим, слишком была нужна даже промышленной буржуазии, олицетворявшейся кадетами. Устраивать «скандал» Николаю, разоблачая его шашни с немцами, Милюкову не было расчета. Но Николай, вероятно, помнивший процесс Людовика XVI и прекрасно знавший, что в Питере, кроме правительства Милюкова, есть еще какой-то, как он выражался, «рабочий комитет» (в одном месте Николай прямо называет его «социал-демократическим»), считал меры предосторожности не излишними.

Для чего нужно останавливаться на этих мелочах? А для того, чтобы понять, почему в России буржуазия не встретила рабочую революцию сплошным фронтом, как это было полу-

тора годами позже в Германии. Промышленному капиталу было выгодно в лице Николая сковырнуть торговый капитал и затянуть войну. Милюков нисколько и не думает этого скрывать. Говоря о настроении «парламентских кругов» (читай «прогрессивного блока»), он так объясняет это настроение: их («парламентских кругов») главным мотивом было желание довести войну до успешного конца в согласии с союзниками, а причиной их оппозиции—все возраставшая уверенность, что с данным правительством и при данном режиме эта цель достигнута быть не могла. «Против идеи достигнуть цели революционным путем парламентское большинство боролось до самого конца. Но видя, что насильственный путь будет все равно избран и помимо Государственной думы, оно стало готовиться к тому, чтобы ввести в спокойное русло переворот, который оно предпочитало получить не снизу, а сверху» [1].

Последнее слово отнюдь не должно понимать в том смысле, что кадеты питали наивную надежду, будто Николай «добром уйдет». Ничего подобного. «Сверху»—это значит через дворцовый переворот, а не посредством народной революции. Тот же Милюков страницею раньше откровенно рассказывает о заговоре с целью именно дворцового переворота. Во главе этого заговора стоял Крымов, застрелившийся после неудачи корниловского предприятия, а кадетская партия имела в заговоре своих представителей в лице Некрасова и Терещенко, чем и объясняется появление этого последнего в составе министров «временного революционного правительства»—ко всеобщему изумлению, ибо о Терещенко до тех пор никто ничего не слыхал.

Когда трон Романовых затрещал под ударами народной революции, у кадетов была одна забота—на этом великом пожаре не пропустить случая сварить свой суп. Материалы были готовы. Сейчас же вытащили из кармана кн. Львова (премьера, запасенного на случай дворцового переворота—и о котором никто, конечно, из делавших революцию на улицах Петербурга и не вспоминал) и начали готовить под соусом «временного революционного правительства» то, что раньше называлось «правительством народного доверия». К счастью, народ был теперь на сцене самолично: первое, что он сделал, было громко и внятно выразить свое недоверие кадетской компании. Когда Милюков (фактический премьер) выступил перед собравшимися в Таврическом дворце, он услыхал вопрос: «кто вас выбрал?», а когда он заговорил об «общественности», его поправили: «цензовой». Милюков вздумал было уверять, что другой нет—и это было явной ложью: представители партий революционных, или хотя бы просто

---

[1] Милюков, История второй русской революции, I, стр. 20.

демократических, были налицо, и было совершенно очевидно, что восставший народ слушается именно их. Когда Родзянко (председатель Государственной думы) захотел поехать к Николаю, железнодорожники ему не дали поезда, и он должен был послать своего адъютанта просить поезд у только что образовавшегося исполкома Петербургского совета рабочих депутатов.

Казалось бы, до очевидности было ясно, где настоящая власть. Как ни зачаточна, как ни импровизирована была первая рабочая организация, возникшая на еще пылающих обломках романовской монархии, масса слушалась именно ее. Что касается отношения этой массы к монархии, то упоминание о последней Милюкова привело уже к настоящему скандалу—и долго после взволнованные толпы ходили по Таврическому дворцу, требуя от представителей настоящей, подлинной власти удостоверения, что монархия более не вернется. Настроение массы было столь очевидно и грозно, что вынутый из кармана вместе с кн. Львовым «император народного доверия», Михаил, поспешил отречься.

Как видим, тот эпизод, в оболочке которого всем отдаленным от Петербурга современникам переворота, в том числе и нам, эмигрантам,—только и стало известно о революции, поездка Гучкова и Шульгина к Николаю и отречение последнего, были одною из самых несущественных подробностей. Отречение для Николая было просто-напросто билетом для проезда по железной дороге—без этого не пускают; он сидел в тупике. Когда он подписал отречение, ему позволили уехать в Могилев.

Но—его дневник не оставляет в этом никакого сомнения—властью он не пользовался ни в малейшей степени уже накануне. Его запись в среду 1 марта кончается словами: «Стыд и позор. Доехать до Царского не удалось». А дальнейшую запись от четверга 2 (день отречения) стоит привести целиком. Николай ночевал в Пскове. «Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший доклад о разговоре по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. (!) Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К $2^1/_2$ часам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест».

В этом отрывке—о важности которого не приходится говорить, это все записано вечером того же дня, под самым свежим впечатлением: моментальная фотография, словом,—интересны четыре вещи. Во-первых, Гучков и Шульгин приехали даже не к шапочному разбору, а к пустым комнатам: отречение было уже решено окончательно, когда еще они садились в поезд на Варшавском вокзале. Во-вторых, проект отречения так же лежал наготове в кармане, как кн. Львов и Михаил: комбинация, заготовленная на случай дворцового переворота, использована до последней черточки. Самая маленькая вещь не пропала. Но мотивировка была совершенно не та, к которой готовились. Николай признается себе и близким,—едва ли ему приходило в голову, что его дневник так скоро попадет в чужие руки,—что отрекаться ему приходилось для «удержания армии на фронте». Иными словами, революция не ограничивалась уже Петербургом, и малейший признак борьбы за власть «старого деспота» (так назвал Николая Милюков в своей речи) привел бы к тому, что солдаты массами хлынули бы на защиту революции, бросив фронт. На самом фронте это было так очевидно, что все главнокомандующие ответили на телеграмму Алексеева почти тождественно. Наконец, со всей очевидностью выступает перед нами, в ком Николай видел силу, сбросившую его с престола и командовавшую теперь и Питером и фронтом. Это был Петроградский совет рабочих депутатов. О Милюкове, кадетах, прогрессивном блоке никто и не думал в царском поезде: там видели только «рабочий комитет», олицетворяющий революционный социализм. Декабрьские баррикады 1905 года воскресли перед Николаем—и заставили его бежать.

Как, при каких условиях м о г л о появиться на сцене правительство Львова—Милюкова. Один из создателей этого правительства чрезвычайно наглядно изобразил главу его н а к а н у н е того дня, когда оно стало у власти. «По Екатерининской зале в одиночестве ходил П. Н. Милюков, центральная фигура буржуазной России, лидер единственного в данный момент официального органа власти в Петербурге... Он также находился в состоянии бездействия. В с я е г о ф и г у р а говорила о том, что ему нечего делать, что он вообще не знает, что делать. К нему подходили разные люди, заговаривали, спрашивали, сообщали. Он подавал реплики, видимо, неохотно и неопределенно. Его оставляли, и он снова ходил один»[1].

Кому могло бы прийти в голову, что перед ним «фактически глава первого революционного правительства» (слова, которые мы пропустили в процитированном сейчас отрывке)?

---

[1] С у х а н о в Н п к., Записки о революции, I, стр. 80.

А вот, представьте себе, группе интеллигентов, командовавших в первом исполкоме Петросовета, это именно в голову и пришло. Они ни на минуту не остановились над мыслью, как организовать свою власть,—власть, которую восставшая масса признавала. Нет, они задались гораздо более трудной задачей: как заставить признать власть, которая беспомощно расхаживала по Екатерининскому залу. Ибо им, интеллигентам, было ясно, что «власть, идущая на смену царизма, может быть только буржуазной». Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы думского «прогрессивного блока». На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся, и революция погибнет»[1].

Мы не станем останавливаться на частных и случайных причинах того умопомрачения, в которое впали действительные тогда, в марте 1917 года, обладатели власти. Вполне возможно, конечно, что отсутствие на сцене старых и авторитетных вождей революционных партий сыграло тут свою роль, налицо были люди, или неопытные именно в деле революции, или хотя бы и старые революционеры, но не знакомые массе, и потому для нее не авторитетные. Но и тут важна была не столько личная авторитетность, сколько известный групповой недостаток: на месте не было революционной интеллигенции, и революцию вела интеллигенция легальная.

Революционная интеллигенция даже в самых отсталых ее слоях (меньшевики-интернационалисты, эсеры «центра») была все же организующей силой народной, в первую голову пролетарской, массы. Легальная интеллигенция даже в наиболее радикальных ее группах (журналисты из «Летописи», думские меньшевики) была организующей силой капиталистического производства. Тут, конечно, важно не персональное положение в производстве того или иного интеллигента,—а невидимые, неразрывные психологические узы, связывавшие его, в одном случае, с революционным рабочим и восставшим солдатом, в другом—с капиталистом, против которого восстали этот рабочий и этот солдат. Это со всею яркостью сказалось на коренном вопросе Февральской революции—на вопросе о войне и мире.

Корреспонденты антантовской печати по всему свету разнесли ложь, будто Февральская революция была оборонческой. И тут пригодился запас, приготовленный на случай «патриотического» дворцового переворота кадетов». Здесь даже этот трафарет был более кстати, чем где бы то ни было. Я помню, какое кошмарное впечатление произвели на нас первые телеграммы о революции за границей, помню,

---

[1] Суханов Ник., Записки о революции, стр. 17.

как один из нас с отчаянием бросил газету, воскликнув: «паршивая революция». Только примерно через неделю, вылавливая понемногу из моря лжи крупицы истины, стали мы понимать, что действительно произошло в «Петрограде» Николая II. На самом деле, как свидетельствует меньшевик Суханов,—правдивости его можно поверить, ибо ни один человек не сумел бы написать о самом себе худшего в политическом смысле, чем он в своих «Записках о революции»,—революция целиком шла под знаком мира.

Характеризуя политические настроения, выявлявшиеся понемногу в стихийном движении масс, Суханов говорит: «Конечно, традиционный, можно сказать, наш старый национальный лозунг «долой самодержавие» был на устах у всех многочисленных уличных ораторов из социалистических партий. Но это было еще не политической программой. Это было само собою разумеющимся отрицательным понятием. Проблема же власти совершенно не ставилась перед массами. И, в частности, лозунг «Учредительного собрания», будучи не очередной проблемой дня, а лишь общим программным положением всех социалистических партий, оставался совершенно в тени в эти дни. Но зато во всю ширь развертывался перед массами в уличной агитации другой лозунг, заключавший в себе крайне существенное и ответственное содержание. Это был лозунг: «долой войну», под которым и проходили все митинги февральских дней»[1].

Но нам не нужно мемуаров, чтобы установить этот факт: у нас есть документы. Я не знаю, было ли напечатано и где напечатано письмо Керенского к Ллойд-Джорджу за две недели до Октябрьской революции—по вопросу о реорганизации русской армии (по проекту Верховского). Давая там ретроспективный обзор своих попыток воскресить на фронте оборонческие настроения, Керенский говорит буквально: «Как бы трудно ни было положение России с точки зрения общего дела (читай: шансов на победу Антанты), мы можем утверждать, что оно лучше, чем было прошлою весною (т. е. немедленно после Февральской революции). Тогда на нашем фронте установилось фактически состояние перемирия — результат пропаганды «братанья» и упадка военной дисциплины. Это положение тем больше внушало беспокойство, что немцы с ним считались, воздерживаясь от всяких военных действий на нашем фронте, в надежде использовать освобождающиеся таким путем военные силы против наших союзников. Признавая всю опасность положения, Временное правительство решилось положить ему конец во что бы то ни стало. Наше наступление, несмотря

---

[1] Суханов Ник., Записки о революции, стр. 22 — 23. (Разрядка наша. — *М. П.*).

на успех вначале, кончилось неудачей. Тем не менее, его главная цель—положить конец состоянию перемирия и возобновить войну—должна была рассматриваться, как достигнутая ценою великих жертв...».

Мировой пожар начал тухнуть на востоке в марте 1917 года и надо было во что бы то ни стало «ценою великих жертв» его разжигать. Почему русский рабочий не только первый восстал против капитала, но и первый всею массой выступил с лозунгом «долой войну»? Цитировавшийся нами свидетель мартовских дней объясняет это «циммервальдским воспитанием» русского пролетариата. Объяснение, конечно, чересчур «педагогическое». Циммервальдская пропаганда была столь же интенсивной и в Германии, но германский рабочий встал всею массой лишь после того, как стало ясно, что война проиграна. Для России индивидуально было ясно, что война проиграна, уже осенью 1915 года—с этого времени приходилось рассчитывать только на победы, «дорогих союзников». Почему русский пролетариат тогда не шелохнулся (чего ждали многие и были горько разочарованы)?

Потому что русский рабочий совершенно не был заинтересован в победе родного империализма. Судьба русского рабочего ни в малой степени не зависела от того, возьмем «мы» Дарданеллы или нет. Тогда как немецкий или английский рабочий—не-социалист (а не-социалистов в рабочей массе и там большинство)—всю свою судьбу связывал с победой «своих», и с узкожелудочной точки зрения он был совершенно прав.

Владея мировой монополией, капиталист мог подкармливать своего рабочего[1], приплачивая ему из своей сверхприбыли. Надежда на монополию своей страны была надеждой на улучшение материального положения, а потеря этой монополии ставила вопрос о социализме, что понимала и принимала одна сотая, если не одна тысячная всей рабочей массы. Русский же рабочий уже был в том положении, в которое английского или германского могло привести только поражение его страны. Заработная плата, как и наша промышленность, росла у нас пока еще на внутреннем рынке (с 1905 по 1910 год заработная плата в России повысилась на 22%), и русский рабочий был гораздо больше заинтересован в том, чтобы у крестьянина была земля, чем в том, чтобы русский царь завоевал себе новые земли.

Итак, «циммервальдский» характер первой русской революции был совершенно ясен с первого ее дня. Что же

---

[1] Великолепной иллюстрацией является сравнение роста цен и заработной платы в Англии: приняв заработную плату в 1850 г. за 100, мы имеем в 1900 г. (самое начало германской конкуренции) 178, а для цен на съестные припасы соответствующие цифры будут 100 и 97.

делали русские циммервальдцы, которым, в качестве членов первого питерского исполкома, фактически принадлежала власть? Мы видели, что для них весь вопрос был в том, «возьмет» или «не возьмет» власть фактически совершенно бессильный Милюков—и только, когда этот последний с «торжественным видом и сдерживаемой улыбкой на губах» (то-то смеялся он внутренно над стоящими перед ним простаками) объявил «циммервальдцам» решение кадетов: «мы берем власть», «циммервальдцы» вздохнули свободно.

Наконец-то спасены Россия и революция. А затем на любезность отвечали любезностью. В ответ на любезное согласие Милюкова сесть в министерское кресло, услужливо принесенное ему из Совета рабочих депутатов, этот последний (читай: управлявшие им «циммервальдцы»), с своей стороны, не только не выдвинул проблемы войны на первый план, но снял с очереди, свернул и аннулировал все военные или, точнее, антивоенные лозунги, которые были развернуты в самом начале движения и которые привели бы при своем форсировании в данный момент к неизбежному срыву «правительственной комбинации».

Было ли это предательство? Повторяем еще раз: нет—это был объективно неизбежный выход из положения для не-революционной интеллигенции.

Правительство Николая и втихомолку сотрудничавшая с ним буржуазия отлично знали, что делали, ссылая в Сибирь или вышибая за границу всех активных руководителей революции 1905—1907 годов. Их самих это не спасло, но их противникам испортило организаторскую работу. Вернувшаяся постепенно из изгнания или ссылки революционная партийная интеллигенция должна была распутывать завязавшийся узел. Восемь месяцев ушло на завоевание того, что само шло в руки уже в марте 1917 года.

В этом роковом для буржуазии марте уже начиналась всемирная пролетарская революция. Теперь это ясно всем. Тогда это никому не было ясно в России—и очень немногим вне ее. Вот почему вопрос о «форме правления» поблек так быстро у нас в остальном мире. Вспоминая февральско-мартовские дни, мы вспоминаем пролог Октябрьской революции.

«Вестник агитации и пропаганды», № 7—8, 1921 г.

12 МАРТА 1917 ГОДА

«В половине девятого утра, едва вставши с постели, я слышу странный продолжительный шум, доносящийся как будто от Александровского моста. Я смотрю: мост, столь оживленный обыкновенно, пуст. Но почти тотчас же у входа на мост с противоположной стороны Невы появляется беспорядочная толпа с красными знаменами,—а с другой стороны, навстречу ей, спешит полк. Сейчас, кажется, произойдет столкновение. Ничего подобного,—две массы сливаются. Армия братается с мятежом» [1].

Так один из посланников Антанты был очевидцем начала конца «восточного фронта». Что кончался восточный фронт, сомнения не могло быть с первых же дней. Уже 13 в толпе, окружившей Палеолога и его английского коллегу Бьюкенена, к крикам: «Да здравствует Франция! Да здравствует Англия!» неприятно примешивались крики: «Да здравствует Интернационал! Да здравствует мир!». Две недели спустя к французскому послу приходил его старый знакомый А. Н. Бенуа—известный художник и историк искусства—приходил нарочно, чтобы убеждать его, что «война не может больше продолжаться. Надо заключить мир как можно скорее». А еще через пару недель Палеолог мог слышать это уже из уст своих светских знакомых. «Не создавайте себе иллюзий,—говорила ему одна из вчерашних «придворных дам»,—несмотря на все официальные фразы, война умерла. Одно чудо могло бы ее воскресить».

Мы увидим, как Палеолог надеялся найти—и на минуту нашел—чудотворца. На это ушло больше месяца времени. В первые же дни ясно было одно, что монархия умерла так же прочно, как и война. Это одна из выдумок издыхавшей буржуазной прессы, будто 12 марта пало «самодержавие». Дело шло гораздо дальше. «Великий князь Михаил Александрович,—рассказывает в своих воспоминаниях Родзянко,—поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно... Даже увезти его тайно из Петрограда

---

[1] Палеолог, Царская Россия во время войны. Запись под 12 марта 1917. Французское посольство помещалось на берегу Невы, недалеко от Литейного проспекта.

не представлялось возможным: ни один автомобиль не был бы выпущен из города, как не выпустили бы ни одного поезда из него. Лучшей иллюстрацией может служить следующий факт. Когда А. И. Гучков вместе с Шульгиным вернулись из Пскова с актом отречения Николая II в пользу своего брата, то Гучков отправился немедленно в казармы или мастерские железнодорожных рабочих, собрал последних и, прочтя им акт отречения, возгласил: «Да здравствует император Михаил!»—но немедленно же был рабочими арестован с угрозами расстрела, и Гучкова с большим трудом удалось освободить при помощи дежурной роты ближайшего полка». Через два дня после этого Палеолог был у Милюкова, которого он нашел «постаревшим на десять лет». Лидер кадетов уверял французского посла, что ни он, ни его друзья вовсе не желали этой революции. «Я даже ее не предвидел,—сказал Милюков (драгоценное признание!).—Но народные страсти так разгорелись (!) и положение так ужасающе трудно, что придется сделать немедленно большие уступки народной совести». В числе этих уступок значился на первом месте арест царских министров и генералов, а на одном из следующих—«разрушение всех императорских эмблем».

«Итак, династия Романовых пала?» спросил Палеолог.

«Фактически да; юридически еще нет. Только Учредительное собрание имеет право изменить русскую конституцию».

Милюков тут же выразил надежду, что это Учредительное собрание удастся еще, может быть, оттянуть. «Но,—прибавил он,—социалисты требуют немедленных выборов. А они так сильны, и положение так трудно, так трудно!»[1].

Если бы он знал, что «социалисты» ничего так не боялись в эту минуту, как того, что Милюков может отказаться от власти! «Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы «прогрессивного блока»,—писал (и еще в 1919 году!) Н. Н. Суханов. «Иначе переворот не удастся, и революция погибнет».

Очевидно, что «социалисты» были сильны не своей, а чьей-то чужой силой. Чьей—на это достаточный ответ дает уже случай с Гучковым. На месте, мало-мальски наблюдательному человеку, даже иностранцу, это было очевидно буквально с первого дня. Уже 12 числа Палеолог записал, что «республиканская идея популярна в рабочей среде Петрограда и Москвы». Если эта идея победила, мы обязаны этим, конечно, не робким «социалистам» первого петроградского исполкома, а тем, кто на возглас: «Да здравствует конституционный царь!» ответил тысячью возгласов: «К стенке его!».

---

[1] Палеолог, Царская Россия во время войны. Запись под 17 марта.

Смертельный удар монархии нанесла та масса, которую монархия расстреливала 9 января 1905 года. «Кровавое воскресенье» не было простой ошибкой: то была отчаянная попытка царизма из пулеметов и винтовок расстрелять свою смерть. Пустое занятие—от смерти не отстреляешься.

Теперь, следя за бегом исторических событий на протяжении 20 лет, легко прощупываешь скелет истории. Рабочий класс существовал в России сто лет. Всегда его ненавидел царизм и всегда боялся. Но была одна группа, которой судьба вложила в руки заступ могильщика—и царизма и буржуазии. И, как нарочно, эта группа жила и росла у самого порога царского дворца.

Давно установленный факт, что во главе революционной рабочей массы шли, во-первых, металлисты, во-вторых, рабочие крупнейших предприятий. В то время как текстили в 1905 г. дали на 708 тысяч рабочих 1 296 тысяч бастовавших, металлисты на 252 тысячи рабочих дали 811 тысяч забастовщиков: каждый металлист бастовал в этот год 3½ раза, а не каждый текстильщик бастовал и 2 раза. В то же время рабочие предприятий, занимавших не более 100 человек каждое, дали 109 проц. забастовщиков, а рабочие предприятий свыше, чем с 1 000 рабочих каждое,—232 проц. бастовавших, почти в 2½ раза больше.

Промежуток между первой и второй революцией отмечен бурным ростом русской металлургии (со 171 млн. пудов чугуна в 1908 году до 282 млн. пуд. в 1913 г.), быстрым укрупнением предприятий именно петербургского округа (число предприятий более, нежели с 1 000 рабочих, выросло за 1910—14 гг. в петербургском округе на 40 проц.) и колоссальным усилением политического стачечного движения: в 1905 году на миллион 800 тысяч политических забастовщиков пришлось еще более миллиона экономических. А в 1914, за неполный год, вторых было всего 278 тысяч, а первых, политических, более миллиона (1 059 111). В 1905 году на одного «экономического» забастовщика приходилось 1,8 политических, а в 1914 г. на одного «экономиста» пришлось даже более 3 «политиков».

Война гнала движение все дальше и дальше по тому же пути. В марте 1914 года в Ленинграде считалось 208 000 рабочих, в сентябре 1915 г. уже 248 000, в октябре 1916 г. уже до 400 000 человек. Из них на предприятиях с числом рабочих более 1 000—76,7 проц. И 62 проц. всех этих рабочих были металлисты.

Так неуклонно, все быстрее и быстрее рос железный кулак, который должен был обрушиться на голову «Романовых». Трудно найти лучший образчик исторической диалектики: помещичье имение вызывает к жизни железную дорогу, чтобы добраться до наиболее выгодного, широкого европей-

ского рынка; железная дорога родит металлургию; металлургия создает наиболее революционный отряд пролетариата, хоронящий прадеда всей системы—помещичье имение. Что конец «Романовых» означает конец крупного землевладения в России, этого с первой же минуты не поняли, кажется, только одни эсеры. «Заинтересованные лица» это понимали прекрасно. Уже 20 марта Палеолог в самом светском кругу, какой только можно было найти в «Петрограде», всюду встречал «одно беспокойство, один и тот же страх во всех умах: раздел земель».

«На этот раз не увернешься,—говорили князь Б., генерал С. и щебетавшие вокруг них светские красавицы.—«А что мы будем делать без доходов с наших имений?».

И только новый посетитель—кавалергардский поручик «с огромным красным бантом на груди»—несколько рассеял панику, напомнив, что на первый случай есть земли самой династии Романовых, а потом земли церквей и монастырей: пока-что их хватит, чтобы заткнуть мужицкую глотку. Это рассуждение, столь же верноподданическое сколь благочестивое, успокоило честную компанию.

Тем временем она успела уже вполне усвоить себе демократическую идеологию, выражавшуюся не только в красных бантах. Граф Кутузов точно подсчитал количественное отношение пролетариата к непролетарским элементам населения России и пришел к чрезвычайно утешительным выводам: на 178 миллионов крестьян, казаков, купцов, чиновников и дворян граф насчитал всего 1 200 000 рабочих. «Эти миллион двести тысяч рабочих не вечно же будут нашими господами».

Граф занимался этими исследованиями еще 18 марта. Как видим, диктатура пролетариата у нас старше, чем обыкновенно считают,—тем, на чью голову она обрушилась, можно поверить. На своей шкуре чувствовали! И диктатура определенного класса естественным образом вела за собою диктатуру определенной партии.

В среду 18 апреля Палеолог встретил Милюкова, уже не постаревшего, а помолодевшего на 10 лет. С сияющим видом он сообщил французскому послу, будто «Ленин потерпел полное поражение вчера перед Советом. Он защищал пацифистские лозунги с такими преувеличениями, с таким бесстыдством, так неловко, что должен был замолчать и вышел освистанный... Ему не подняться».

«Я ответил по-русски: дай-го бог».

«Но я боюсь,—прибавляет Палеолог,—не обманывает ли Милюкова его оптимизм. Приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому только могла подвергнуться русская революция».

Опасения трезвого француза оказались основательными. Уже 21 апреля ему пришлось записывать: «Когда Милюков

уверял меня намедни, что Ленин безвозвратно скомпрометировал себя перед Советом своим утрированным пораженчеством, он лишний раз стал жертвою своего оптимизма; наоборот, авторитет Ленина очень вырос в последние дни. В чем нет сомнения, это, что ему уже удалось объединить вокруг себя и под своей командой всех наиболее отчаянных революционеров, и он превратился теперь в страшного вождя».

Палеологу пришлось скоро уехать из России: приехавшие помогать стрясшейся с Антантою беде французские «социалисты» (во всяком случае, более храбрые, чем их российские собратья) нашли завсегдатая петроградских салонов слишком старомодным типом для того, чтобы представлять республиканскую Францию перед республиканской Россией. Он не мог, таким образом, записать в свой дневник точной характеристики «отчаянных революционеров». Они собрались в Питере 30 мая и—первое собрание в России!—приняли подавляющим большинством голосов (335 из 421) резолюцию Ленина и Зиновьева. То была первая конференция фабзавкомов. Несмотря на свист и улюлюканье справа и слева, пролетариат твердой стопой шел к своему вождю.

Остановить революцию было нельзя,—но можно было вставить ей несколько палок в колеса. Палеолог с гордостью мог отметить, что самую крепкую нашел все же он, как ни плохо его ценили Альберт Тома с братией. Уже 15 марта, в самый день отречения Николая, он писал о «молодом депутате Керенском, самом активном и решительном из организаторов нового режима. Он имеет большое влияние на Совет. Мы должны попытаться завоевать этого человека для нашего дела. Он один может внушить Совету, что необходимо продолжать войну и поддерживать союз (с Антантой. *М. П.*). Я, поэтому, телеграфирую Бриану (тогдашний французский премьер. *М. П.*), чтобы внушить ему мысль о немедленном обращении французских социалистов, через Керенского, к социалистам русским с воззванием к их патриотизму».

«Керенщину», как видим, не труднее было предугадать и понять, чем диктатуру пролетариата, социализацию земли и приход к власти Ленина. Нужно было только смотреть не глазами обманутого буржуазными газетами обывателя, а глазами человека, профессия которого состояла в том, чтобы обманывать других.

Диктатура пролетариата «де-факто» была уже налицо в Петербурге 12 марта 1917 г. Ей восемь месяцев понадобилось, чтобы завоевать себе «де-юре» и подчинить себе всю страну. Но зато это «де-юре» она сама себе создала, не обращаясь к кадетским учебникам.

«Правда», № 59, 12 марта 1924 г.

ДВА ОКТЯБРЯ

Двадцать лет прошло с первой революции, восемь лет—со второй. Как странно писать их историю нашему поколению, выросшему под знаком ожидания революции.

Но любопытно сравнить—чего мы ждали и что осуществилось.

Любопытно не только нам; современное поколение тоже ждет—иметь мерку для человеческих ожиданий и ему не мешает.

После революции—ожидали мы—Россия станет Европой. Что же это значит? Те из нас, кто бывал в Европе, видели там вокруг богатых дач и парков высокие каменные стены, утыканные наверху острыми осколками стекла или не менее острыми гвоздями; где не было каменных стен, а простой легкий заборчик, на нем красовалась зловещая надпись: «здесь расставлены капканы для волков». Горе тому, кто перелезет через заборчик, нарушив «священное право собственности».

А на перекрестках улиц красовались синие фигуры (почему-то полиция всех европейских стран ходила в синем), напоминавшие, что «священная собственность» охраняется не только гвоздями и капканами: есть и живая сила. Опытные люди рассказывали, что кулаки у этой живой силы в полном порядке: попадешь к ней в переделку, вернешься, точно в самом деле в волчьем капкане побывал.

А по всем этим странам прошла революция. Что же она оставила? А вот—не осталось царей, или, если остались, когти у них сильно обрезаны. Есть всякие свободы—печати, собраний, совести.

Правда, даже и неопытным людям было ясно, что «злоупотреблять» этими свободами никак нельзя. Напасть, например, открыто на «священную собственность» в газете или сказать в ней слишком откровенное—и потому очень обидное—слово о синих фигурах на перекрестках, от этого пахло тюрьмой, а то и каторгой: последнего рода случай был с известным потом социал-патриотом Густавом Эрве, когда он был еще приличным человеком. Опытные же люди советовали и свободой собраний не увлекаться: при выходе того и гляди какой-нибудь провокатор устроит «беспорядок» и даст случай полицейским посчитать вам ребра. Да и по части сво-

боды совести только в бесшабашной Франции можно было предаваться ей до полного отделения от «господа бога»; в Англии это значило уже вычеркнуть себя из списков «порядочного общества», а в Германии за слишком откровенный атеизм можно было и под суд попасть.

Словом, ясно было, что от революции не получится ничего больше «упорядочения буржуазного общежития», при котором можно будет, осторожно выбирая выражения, проповедывать «открыто» социализм. Вот и все. Конечно, ходить в православную церковь, да и вообще в какую бы то ни было церковь, будет необязательно. Конечно, можно будет вдосталь ругать начальство, но что начальство будет чужое, буржуазное, «синее», на этот счет не было никаких сомнений.

И когда Ленин стал писать о национализации земли как ближайшей задаче русской революции, это, не будем теперь греха таить, смутило многих и очень многих большевиков,—а большевик и тогда уже (в 1905 г.) был среди русской «революционной» интеллигенции человеком, не то отверженным, не то просто рехнувшимся. А если бы кто договорился до национализации фабрик и заводов,—т. е. до того, что теперь стало для нас обыденной действительностью,—насчет состояния умственных способностей такого человека ни у кого бы и сомнений никаких не было.

И еще большее сострадание добрых людей возбудил бы тот, кто стал бы уверять, что по части упразднения заборов с гвоздями теперешние страны СССР, тогдашняя Россия, пойдут первыми. Ибо казалось истиной самой очевидной, что социализм может к нам притти только после Западной Европы и Америки: иного пути эта Западная Европа просто не допустит, помимо всего прочего. Сосуществование социалистической России и буржуазной Европы просто невозможно,—учил тогдашний «здравый смысл» и прочие авторитеты. Если бы кто-нибудь нарисовал картину, опять-таки для нас ставшую обыденной, к этому перед 1905 годом, отнеслись бы так же, как к предложению ходить на голове, ногами кверху.

Революция представлялась как борьба за республику, а из-за этого всего меньше пришлось бороться, еще не пришлось в 1905 г., уже не пришлось в 1917 г. С характерным для интеллигента формальным подходом к делу мы не понимали, что в революции массы борются не за формы, а за содержание, не за этикетки, а за подлинную действительность, за землю, за власть класса, а не за статьи конституции. А раз власть взята, победивший класс уже сумеет облечь ее в «статьи»—это дело второй очереди.

Непонимание того, что борьба идет за власть, за низвержение старой власти, а не за уступки с ее стороны, что при этом речь идет о старой власти в классовом смысле,

а не в личном (не в постановке: царь или вообще династия—и республика, а в постановке: буржуазия и помещики—или рабочие и крестьяне), непонимание этого составляло главную ошибку ожидавших революции. А между тем, если теперь, задним числом, проанализировать составные элементы движения, становится до очевидности ясным, что, если этому движению суждено было достигнуть размеров революции, то это потому, что выбора не было, кто-то должен был оказаться наверху, кто-то внизу.

Колоссальный размах борьбы определяется, прежде всего, тем, что нигде ранее противоположности старого и нового не были так резки, расстояние между старым и новым так громадно, как это было у нас. Революция заставала другие европейские страны на гораздо более низком уровне экономического развития. Не говоря уже о Франции 1789 года, с ее знаменитыми двумя паровыми машинами на всю страну, даже Пруссия 1848 года, с решительным преобладанием ремесленного и кустарного производства в промышленности, с выплавкой чугуна, уступавшей даже России того времени (в 1850 г. Россия имела 228 тысяч тонн, Пруссия только 208) ни в какое сравнение не шла с Россией начала XX века. Россия этого времени была, в отношении промышленности, такою же развитой страной, как Пруссия конца 1870-х годов (1879 год Пруссия 2 227 тысяч тонн, Россия 1898—2 228 тыс. тонн чуг.). В то же время крепостническое государство нигде, даже во Франции 1789 года, не являлось в таком устарелом, истинно «средневековом» виде. Нигде крестьяне не являлись форменно «низшей расой», сословием, юридической перегородкой наглухо отделенным от верхушки общества, людьми «лишенными всех особых прав состояния», по остроумному выражению одного тогдашнего юриста: людьми, подлежавшими телесному наказанию, от которого «благородные» были освобождены еще в 1785 году. Нигде не было уже перед революцией специально крестьянского начальства, какими были у нас земские начальники, и нигде самодержавие не было более абсолютным, менее ограниченным: опять-таки во Франции перед 1789 г. все-таки была хоть на бумаге какая-то конституция, созванные в этом году «государственные чины» не были, юридически, какой-то новостью—формально их никто никогда не упразднял,—тогда как у нас одна мысль о конституции в 1895 году объявлялась «бессмысленным мечтанием».

Западные революции били из старых гладкостенных пушек по зданию, которое до некоторой степени было уже приспособлено к тому, чтобы выдерживать артиллерийский огонь. У нас пришлось бить по самому древнему рыцарскому замку, какой только остался в Европе, из современных осадных орудий, в несколько часов способных разнести вдребезги

любую каменную стену. Не мудрено, что там получилось только несколько более или менее крупных дыр, а у нас на месте замка осталась только груда мусора.

И этот средневековый вид романовского государственного здания заранее обеспечил львиную долю участия в его разрушении именно крестьянству, ибо русское крепостничество корнями глубоко уходило в деревню. Представим себе, что в городских центрах пролетариат захватил бы власть, но помещик прочно сидел бы еще в своей усадьбе: повторилась бы история Парижской коммуны 1871 года. «Деревенщина» при помощи французских денег легко справилась бы с восставшими городами—взяв их «голодной блокадой».

Но гигантский, неслыханный в Западной Европе, размах борьбы имел и свою оборотную сторону. Застоявшиеся феодальные отношения создавали и застойную идеологию. Подниматься приходилось с гораздо более низкого уровня, чем на Западе. Там еще живы были предания городских вольностей, парижский ремесленник впервые увидал баррикады не в 1789 году, а гораздо ранее, даже прусский мельник знал, что «есть судьи в Берлине», у которых можно найти управу и на самого короля. У нас средневековая идеология господствовала без всяких уступок. То, что коронованная верхушка крепостнического общества была так далека от народной массы, помогало этой массе строить и сохранять всяческие иллюзии. Даже рабочим Петербурга в 1905 году трудно было отвыкнуть от мысли, что царь есть всеобщий отец; чтобы рассеять эту иллюзию, Николаю II пришлось применять сильные меры... И даже после 9 января в провинции рабочие шарахались при возгласе: «долой самодержавие!». А до крестьянства 9 января дошло еще гораздо позже—дошло после разгона двух дум, на которые во всей России одни крестьяне серьезно надеялись, после карательных экспедиций, раскрывших крестьянину глаза на то, что царь и помещик—одно.

И лишь там, где царь и помещик физически сливались, республиканские настроения легко и быстро проникли в крестьянскую среду. В Шенкурском уезде Архангельской губернии, где крестьянам приходилось иметь дело не с частными владельцами, а с «удельными», т. е. царскими имениями, уже в ноябре 1905 года заговорили, что царя совсем не надо, а землей должен управлять «выборный». И огромный сдвиг должен был произойти в сознании не только крестьянина, а и рабочего, чтобы он решился поднять руки на царя и его чиновников не во имя другого (более «истинного») царя, как это было при Пугачеве, а во имя низвержения всего царского государства.

В этом сдвиге весь смысл революции 1905 года и, в частности, октябрьской забастовки. Царизм остался на своем

месте. «В 1905—1906 годах крестьяне, собственно, только попугали царя и помещиков», писал Ленин в 1910 году в «Рабочей газете», оглядываясь на нашу первую революцию. Но еще больше, чем попугали они царя, они научились не бояться сами.

В этом колоссальное воспитательное значение первой революции.

Это был предметный урок, без которого невозможен был бы подъем 1917 г.

Подходя ко второму Октябрю, не только рабочий—его массовая партия именно и выросла в первую революцию и на ее основе,—но и крестьянин твердо знал, где у него друзья и где враги. Только один еще предметный урок был необходим для окончательного просветления умов—империалистская война: и на него не поскупился царизм. И этим он устранил последнее препятствие, лежавшее на пути революции в 1905 году. Военная сила и тогда была уже ненадежна для царизма, и чем ближе к театру тогдашней японской войны, тем она была ненадежнее. Но война была далеко, мобилизовано было лишь незначительное меньшинство населения, кадровые войска сидели в казармах, там дисциплина еще держалась, крестьянские иллюзии насчет царя еще прочно сидели и в солдатских головах. В 1914—1917 годах мобилизованы были все, фронт, в сущности, проходил под «Петроградом», и ужасы этого фронта ни в какое сравнение не шли с тем, что видали солдаты на полях Манчжурии[1]. И если манчжурский запасной 1905 года мог показать царю кулак только издали, в 1917 году царь и солдатский кулак оказались в самом непосредственном соседстве.

Но сбить царя и оставить помещика это, мы видели, было бы явной нелепостью. Масса инстинктивно понимала то, о чем Ленин писал в 1910 году—что их обоих надо не пугать, надо уничтожить. Это великолепно понимали и сами помещики—французскому послу Палеологу в петербургских гостиных уже после февраля 1917 г. поминутно приходилось слышать, что теперь дворянскому землевладению пришел конец. Этого не понимали за суетой только тогдашние, лета 1917 г., правители России, меньшевики и эсеры—слишком они были увлечены мыслью, как бы угодить своим заграничным заказчикам и как бы не проморгать Константинополя и проливов.

И нанести последний удар деревенскому феодализму, проделать последний этап буржуазной революции, по существу дела, пришлось уже второму Октябрю.

---

[1] В Японскую войну русская армия потеряла 70 000 убитыми, в империалистскую—2 700 000.

Но этот последний акт буржуазной революции был и первым актом революции пролетарской. «Национализация в России, с точки зрения буржуазно-демократической, является необходимой»,—говорил Ленин в апреле 1917 года. «Но она необходима и потому, что является гигантским ударом для частной собственности на средства производства. Думать, что после отмены частной собственности на землю в России все останется по-старому,—это просто нелепость».

Нам теперь кажется это вещью, само собой разумеющейся; то, о чем не осмеливались мечтать перед 1905 годом, стало бытом,—а еще в апреле 1917 года это приходилось доказывать.

«Спутник агитатора», № 18, 1925, изд. «Новая Москва».

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФЕВРАЛЯ

(Царизм и буржуазия в Февральской революции)

Десять лет тому назад пало самодержавие.

Десять лет тому назад возродились Советы рабочих депутатов, с тех пор непрерывно существующие как новая форма власти, как новая форма демократии, сменившей демократию буржуазную.

Казалось бы, не подлежит сомнению, что второе из этих событий неизмеримо важнее, чем первое. И, тем не менее, 12 марта (27 февраля ст. ст.) мы празднуем десятилетие низвержения самодержавия. Это вы прочтете во всех календарях.

Правильно ли это? Стоит ли праздновать тот день, когда железнодорожные рабочие поставили последнего самодержца «в тупик» в самом прямом и буквальном смысле этого слова? Не есть ли это просто отрыжка 1905 года, с его лозунгом: «долой самодержавие»?

Некоторым молодым товарищам крепостническое самодержавие показалось, для начала XX века, такою устаревшею ветошью, что они решили его подновить, объявив его представителем промышленного капитализма. Удар по самодержавию, при таком понимании дела, являлся ударом по капитализму. Февральская революция 1917 года—и даже революция 1905 года—являлись началом социалистической революции.

Это, конечно, не ленинская точка зрения. Для Ленина самодержавие накануне 1905 года отнюдь не было устаревшей ветошью. «У нас перелом круче, у нас между самодержавием и политической свободой не было и нет никаких промежуточных ступеней (земство не в счет), у нас деспотизм азиатски-девственен»,—писал он в самом начале этого года[1]. И социальное содержание самодержавия для него даже в 1917 году то же, какое было всегда. И в 1917 году для него «царская монархия» есть, прежде всего, «глава крепостников-помещиков» [2]. Ни о каком «социальном перерождении» самодержавия Ленин не говорил, и то место его

---

[1] Ленинский сборник, стр. 440. Разрядка моя.—*М. П.*

[2] Сочинения, т. XX, ч. 2, стр. 551. Первое «письмо издалека».

сочинений, на которое ссылались иногда в доказательство этого, на самом деле, если читать его внимательно и без пропусков, говорит о прямо противоположном—об изменении внешней формы власти при сохранении ее социальной сущности[1].

Эта внешняя форма при Столыпине была уже не та, что при Плеве—это бесспорно. И только новейшие, после революции, публикации вскрыли нам, до какой степени болезненно ощущалось самодержавием даже это изменение формы. Спасший, ценою формальной уступки, самодержавие в 1906—1907 годах Столыпин был предметом ненависти для Николая и диких помещиков из «объединенного дворянства». «В сущности Столыпин умер политически задолго до своей физической смерти»,—показывал Гучков «Чрезвычайной следственной комиссии» 1917 г. «Борьба в этих кругах велась не с радикальными течениями, а, главным образом, с целью свергнуть Столыпина, а с ним вместе и тот минимум либеральных реформ, который он олицетворял собою. Как вы знаете, убить его политически удалось, так как влияния на ход государственных дел его лишили совершенно, а через некоторое время устранили его и физически...». «После исчезновения Столыпина, там, наверху и в придворных сферах, раздался как бы вздох облегчения—отделались от назойливого и властного человека, который все-таки напоминал о данных обещаниях и угрожал грядущими бедами». И обратное изменение формы все время носилось в воздухе. Зимою 1913—1914 гг. возникал определенный план восстановления булыгинской конституции—превращения думы в «законосовещательную» (царю должны были представляться мнения как большинства, так и меньшинства думы, и он утверждал любое, по своему выбору). 4-ю думу строили так, чтобы получить состав, от которого можно было бы добиться этого миром,—а не достигнув этого, перед самою уже революцией готовили соответствующим образом выборы в 5-ю думу[2]. Война, фактически восстановив самодержавие не в одной России, впрочем, очень смягчила вопрос о форме, позволяя оттянуть это решение до заключения мира.

Весною 1917 года было что низвергать и помимо промышленного капитала, находившегося, вплоть до самого Февраля, в оппозиции, а не у власти. При несомненно далеко большей важности появления Советов, падение самодержавия вовсе не такая маловажная дата, чтобы ее стоило только забыть. Но, весьма еще далекое от даже приблизительного воплощения «буржуазной монархии» (какой пред-

---

[1] Сочинения, т. XI, ч. 1, стр. 203.

[2] См. «Монархия перед крушением». Из бумаг Николая II. Гиз, 1928, стр. 223 и сл.

ставляли себе самодержавие меньшевики,—откуда и вытекала, довольно последовательно, их оборонческая позиция во время войны), помещичье самодержавие не было и отделено от буржуазии непроницаемой переборкой. Представлять себе самодержавие и буржуазию в феврале 1917 года, как две непримиримо враждующие силы, значило бы упускать из виду одно из основных своеобразий нашей буржуазной революции,—то своеобразие, которое Ленин подчеркнул своей известной формулой, что в России победа буржуазной революции никоим образом не означает победы буржуазии. Эта формула, выставленная им по поводу 1905 года, вполне приложима и к февралю 1917. И тогда и теперь буржуазия ничего так не боялась, как полной победы революции. И тогда и теперь приближение этой полной победы бросило буржуазию в объятия царизма, от которого требовали для полного союза малюсенькой уступки, почти буквально фигового листка для прикрытия феодальной наготы. Тогда, в 1905 г., самодержавие отказало даже и в фиговом листке,—теперь оно готово было надеть целую небольшую тунику, но революция шла слишком быстро, и для маскарадных переодеваний не оказалось времени. Только это лишило Россию счастья иметь в своей истории хотя бы короткий период настоящей буржуазной монархии и заставило все партии, вплоть до черносотенцев (об этом свидетельствует Милюков), с молниеносной быстротой перекраситься в «республиканцев».

В дальнейшем я буду итти, как по основному источнику, по «Делу штаба главнокомандующего армиями северного фронта об изменении государственного строя России». Целиком это «дело» еще никогда не было опубликовано, хотя отдельные документы, в него вошедшие, неоднократно появлялись в печати,—отчасти из других «дел», где они или их копии также имеются. Я очень жалею, что не могу дать «дела» полностью; об этом, надо надеяться, позаботится Центрархив. Ибо, пожалуй, самое интересное в «деле» это та общая связь, в какой появляются отчасти уже знакомые исследователям документы. Никакими цитатами не передашь этого буквально с каждым часом нарастающего вихря событий. Иногда кажется, что прошли недели, так изменилась ситуация, а на самом деле прошла одна ночь. Но для характеристики отношений агонизирующего царизма с мечущейся в предсмертной тоске буржуазией достаточно и цитат. Великолепным дополнением к последним могут служить стенограммы «Чрезвычайной следственной комиссии», опубликованные в 6 вышедших до сих пор томах «Падения царского режима». Опубликованы они со всеми ошибками стенографисток и машинисток (известный Кутепов, например, является в них «героическим» кавалером вместо «георгиевского»), но

это не мешает им быть ценнейшим источником, далеко не вполне использованным нашими историками.

Прежде всего, оба наши источника в корне разрушают легенду о якобы пассивности Николая перед надвинувшейся революцией. Непредусмотрителен он был до последней степени,—это верно, но пассивен он не был. Он начал с использования прекрасно им усвоенных уроков 1905 года. Вслед за известной телеграммой: «Повелеваю прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией»—телеграммой, которую петербургский главнокомандующий Хабалов правильно расшифровал: «царь велел—стрелять надо»—шла практическая директива Алексеева, гласившая: «Государь император велел назначить сверх войск, высылаемых в Петроград согласно предшествовавшей моей телеграмме, еще по одной конной батарее от каждого фронта, имея на орудие по одному зарядному ящику и сделав распоряжение о дополнительной присылке снарядов в хвосте всего движения назначенных войск».

«Петроград» предполагалось разгромить, как Пресню в декабре 1905 года. Если директива опаздывала на двое суток (была дана лишь 13 марта (28 февраля), когда в сущности все было уже кончено), в этом виноват был, прежде всего, военный министр Беляев, только 12 марта (27 февраля) к вечеру решившийся донести, что «положение Петрограда становится весьма серьезным» (!), и совершенно не заготовивший снарядов в самом Петрограде: на две батареи, находившиеся в его распоряжении у Зимнего дворца, было снарядов всего 8 штук (показание Хабалова «Чрезвычайной следственной комиссии»). А, во-вторых, и самое главное, поведение петербургских рабочих и фронтовых солдат. Дружное восстание Выборгской стороны отрезало Беляева и Хабалова от пороховых складов («...прибывшая 3-я рота Преображенского полка оказалась без патронов, достать же патронов невозможно, потому что бастующая толпа занимает Выборгскую сторону»—то же показание Хабалова). А вне Петрограда батареи «отказывались грузиться для следования в Петроград» «следующая телеграмма Алексеева от того же числа по поводу «батареи, вызванной из Петергофа»). Вот отчего принимавшиеся Николаем и его генералами «беспощадные меры» (подлинные слова того же Алексеева) не оправдали «уверенности» Беляева «в скором наступлении спокойствия».

Цитировавшаяся телеграмма Алексеева насчет конных батарей и снарядов пошла, по всей видимости, в самом начале 28 числа, тотчас после полуночи—потому что уже к утру этого дня в ставке знали, что «число оставшихся верными долгу уменьшилось до шестисот человек пехоты

и пятисот всадников при пятнадцати пулеметах и двенадцати орудиях, имеющих всего 80 патронов». Петроград был в руках революции. Приходилось сдаваться. Еще накануне Фредерикс слышал от Николая, что «этот толстяк Родзянко написал» ему «разный вздор», на который он, Николай, «не будет даже отвечать», а 14 (1) марта «толстяку Родзянке» говорили по прямому проводу: «Сегодня около 7 часов вечера прибыл во Псков государь император. Его величество мне (говорил Рузский) высказал, что ожидает вашего приезда. К сожалению, затем выяснилось, что ваш приезд не состоится, чем (Николай) был глубоко опечален. Прошу разрешения говорить с вами с полной откровенностью; этого требует серьезность переживаемого времени. Прежде всего я просил бы вас меня осведомить для личного моего (Рузского) сведения об истинной причине отмены вашего прибытия во Псков».

«Истинная причина» заключалась, как известно, в том, что петербургские рабочие не дали Родзянке поезда. Само собою разумеется, что об этой истинной причине Родзянко умолчал, приведя две неистинные: «во-первых, эшелоны, высланные вами в Петроград, взбунтовались», а, во-вторых, «невозможность оставить разбушевавшиеся народные страсти без личного присутствия» (!). Но, не выдавая некоторых неприятных для своего самолюбия конкретных подробностей, Родзянко тем ярче рисовал общую картину. «Настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так-то легко... Если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну», то последует что-то страшное, что застряло у Родзянки в горле,—фраза не окончена. Но дальше следовал факт, красноречивее всяких фраз: «вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая участь постигнет и меня...». Это был уже вопль души.

Для Рузского—и Николая—раскрывшаяся картина была, несомненно, в значительной степени новостью: исправные чиновники, Беляев и Хабалов, все время держали царя под впечатлением, что «все наладится», по обычаю всех чиновников мира. Истинное положение вещей Николай угадывал больше по своим путевым впечатлениям, столь ярко свидетельствовавшим, что на железных дорогах господствует, во всяком случае, не «законная власть». Эти впечатления и толкнули Николая на первую уступку. Как видно из разговора Рузского с Родзянкой, эта уступка прошла за несколько часов две стадии. Сначала Николай думал удовлетвориться личной переменой—назначить Родзянку вместо Голицына премьером, на обычных условиях. Еще до раз-

говора с Родзянкой он убедился,—или Рузский его убедил,—что этого, во всяком случае, мало: и к прямому проводу Рузский подошел уже с новой редакцией проекта—«дать ответственное перед законодательными палатами министерство».

Буржуазии предлагали парламентарную монархию,—трагедия буржуазии была в том, что этой уступки она уже не могла принять: именно не могла, а не не хотела. «Государственной думе вообще, а мне в частности, оставалось только пытаться взять движение в свои руки и стать во главе для того, чтобы избежать такой анархии при таком расслоении, которое грозило гибелью государству»,—говорил Родзянко. «К сожалению, это мне далеко не удалось, народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно... Считаю нужным вас (Рузского) осведомить, что то, что предлагается вами, уже недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром; сомневаюсь, чтобы возможно было с этим справиться».

На дальнейшие вопросы ошеломленного этими сведениями Рузского, Родзянко только еще настойчивее повторял, что «ненависть к династии дошла до крайних пределов» и что он, Родзянко, сам «висит на волоске» и «власть ускользает» у него «из рук». «Я вынужден сегодня ночью назначить Временное правительство»,—признавался он. Уже в ночь с 14 (1) на 15 (2) марта революция шла под лозунгом республики, и начиналась защитная перекраска всех, вплоть до черносотенцев, в республиканцев.

Революцию нельзя было больше взять силой,—ее можно было взять только обманом, отложив силу на вторую очередь, когда обман уже сделает свое дело. А чтобы обман мог иметь хотя бы кратковременный успех, силу в данный момент нужно было убрать со сцены: «прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут»,—говорил Родзянко. Но что войска «действовать против народа не будут»,—в этом Николая уже удалось убедить: «государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма уже два часа тому назад вернуть на фронт все, что было в пути»,—отвечал Рузский.

Но это было лишь предварительное условие—для полного успеха обмана этого было мало. Нужна была какая-нибудь конкретная перемена наверху—нужно было осуществить, по крайней мере, крестьянский лозунг 1905 года: «переменить царя». «Грозные требования отречения в пользу сына при регентстве Михаила Александровича становятся определенным требованием»,—говорил Родзянко. Сам же он признавался перед этим, что вопрос стоит «династический», т. е. о монархии. Но на худой конец—пусть хотя бы Нико-

лай уйдет. Ценой этой уступки Родзянко брался уладить дело. «Не забудьте,—говорил он Рузскому,—что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней» .

Буржуазия самым форменным образом брала на себя роль маклера между революцией и царизмом. Брала, притом, вовсе не в припадке паники, как может показаться читающему разговор по прямому проводу между Рузским и Родзянко ночью 1—2 марта (ст.ст.) 1917 года. План был намечен давным давно—вот как излагал его Милюков в своих показаниях перед «Чрезвычайной следственной комиссией»: «Одним словом, к концу 1916 года уже вполне сложилась вся обстановка открытой и притом вполне легальной борьбы с правительством. Чувствовалось, что событие 30 (17) декабря [1], только первое в ряде событий, чувствовалось, что-то должно произойти, все об этом говорили, и очевидно было, что предстоят дальнейшие катастрофы. В это время представитель земского и городского союзов, военнопромышленного комитета и члены блока вступили друг с другом в сношения на предмет решения вопроса, что делать, если произойдет какое-нибудь крушение, какой-нибудь переворот, как устроить, чтобы страна немедленно получила власть, которую ей нужно. В это время в этих предварительных переговорах и было намечено то правительство, которое явилось в результате переворота 12 марта (27 февраля). Назначен был, как председатель совета министров, кн. Львов, затем частью намечались и другие участники кабинета. Тогда же, я должен сказать, было намечено регентство Михаила Александровича, при наследии Алексея. Мы не имели представления о том, как, в каких формах произойдет возможная перемена, но на всякий случай мы намечали такую возможность».

Из всей этой программы меньше всего встретила возражений со стороны Николая замена Родзянки кн. Львовым. Буржуазные юристы, оказывается, не напрасно искали юридической спайки между старым режимом и Временным правительством: председатель первого Временного правительства, несомненно, был назначен Николаем, хотя в свое время никто об этом не знал. На телеграмме временного комитета Государственной думы с именем Львова, посланной 2 марта, еще до отречения, стоит надпись Рузского: «представляя вашему величеству, испрашивают разрешения»—очевидно, думский комитет (который однажды, оговорившись, Родзянко назвал даже «верховным советом») «испрашивает». И дальше в самой телеграмме стоит: «испрашиваю разрешения вашего величества исполнить». Можно бы отнести это

---

[1] Убийство Распутина.

насчет путаницы в главной квартире Северного фронта, но Гучков, в своих показаниях перед «Чрезвычайной следственной комиссией» настаивал, что кн. Львов был назначен именно Николаем II. «Мы подали совет государю»,—говорил он,—«указав ему лицо, которое могло бы объединить и пользоваться доверием,—указали кн. Львова. Так что князь Львов был назначен государем, я так считал, а не комитетом»[1].

Переряженные республиканцы у себя дома, сняв маскарадное платье, оставались добрыми монархистами. Еще пикантнее, что и российский Кавеньяк—генерал Корнилов—тоже был назначен Николаем. В той же телеграмме комитета говорилось: «Для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии необходимо командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной думы признает таким лицом доблестного, известного всей России героя, командира двадцать пятого армейского корпуса генерал-лейтенанта Корнилова. Во имя спасения родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимые жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно командировать генерала Корнилова в Петроград». И на это Рузский «испрашивал разрешение» Николая, и это разрешение тоже было, разумеется, дано.

Все это было легко и просто. Но уже уламывать Николая на ответственное министерство пришлось целую ночь—только к 2 часам 15 (2) марта он согласился, и тогда Рузский пошел говорить с Родзянкой. На отречение же его уломать никак не удавалось—ни напоминанием, что «существование армии и работа железных дорог находятся фактически в руках петроградского Временного правительства», ни угрозами, что «вся царская семья находится в руках мятежных войск». Пришлось прибегнуть к давлению фронта и инсценировать всем известные телеграммы главнокомандующих Николаю с требованием отречься. Увидав, что поддержки абсолютно ниоткуда ждать нельзя, Николай «решился» и произошла тоже всем известная комедия отречения, с участием Гучкова и Шульгина. Комедией это было не только в том смысле, что это была часть заранее условленного маневра,—но и в более прямом, ибо приехавшие «уговаривать» Николая Гучков и Шульгин имели перед собою уже сделанное дело.

С отречением начинался уже новый режим, где открытую силу сменило одурачивание масс. Самый акт отречения был уже началом такого одурачивания. Николай был, в сущ-

---

[1] «Падение царского режима», т. VI, стр. 271.

ности свергнут. Его оставалось только арестовать и отвезти в Петропавловку к его министрам, которых вынужден был посадить туда Родзянко. Вместо этого было инсценировано «добровольное» отречение. Как крупных чиновников царского времени, Николая заставили «подать в отставку по домашним обстоятельствам». Дальше дело усложнялось. Царя, видимое дело, народные массы не выносили. Надо было устроить так, чтобы царь был по возможности незаметен: кандидатура Алексея это устраивала,—что ж с мальчугана возьмешь? Всякий видит, что управлять мальчуган не будет. Управлять будет регент. А регент не царь; вообще, что такое «регент» (фигура, не появлявшаяся в русской истории со времени Бирона—больше 150 лет),—кто же это знает, рабочие и солдаты всего менее. По нужде, регента можно было даже выдать за нечто вроде президента республики.

Но Николай все время отставал от событий и этой махинации своих друзей—и ставленников—разобрать сразу не умел. Назначив премьера первого «республиканского» кабинета, назначив будущего усмирителя революции, он решил, что отчего не пойти до конца, и назначил царя. Что он действовал юридически последовательно, это едва ли можно отрицать. А что он срывает этим всю игру Родзянки и К°, он, по простоте души, не понял.

Когда в «Петроград» пришел манифест о передаче престола Михаилу Александровичу, в «верховном совете» начался невероятный переполох. Только что царя от греха убрали в детскую, а он тут как тут. Настроение же масс все поднималось—ясно было, что Родзянко перехвастнул, обещав обойти революцию такими простыми мерами, и неизвестно было, окажется ли достаточно прочным убежищем для монархии даже и детская.

Тут разговор по прямому проводу между Петроградом и Псковом поднялся до трагизма. Революция обгоняла всякие соглашения буржуазии с царизмом. «У аппарата Родзянко,—бежала юзовская лента,—дело в том, что депутатов (Гучкова и Шульгина, которые должны были втолковать Николаю, в чем, собственно, дело) винить нельзя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел,—и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики, и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь же заявить. Только и слышно было в толпе: земли и воли! Долой династию, долой Романовых! Долой офицеров! И началось во многих частях избиение офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. После долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось притти только к ночи сегодня к некоторому соглашению, которое заключалось в том, чтобы было созвано через некоторое время Учредитель-

ное собрание для того, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно. Войска мало-по-малу в течение ночи приводятся в порядок. Но провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить; мы потеряем и упустим из рук всякую власть,—и усмирить народное волнение будет некому. При предложенной форме (т. е. малолетнем императоре и регентстве) возвращение (?) династии не исключено,—и желательно, чтобы примерно до окончания войны продолжал действовать верховный совет и ныне действующее Временное правительство. Я вполне уверен, что при этих условиях возможно быстрое успокоение, и решительная победа будет обеспечена, так как, несомненно, произойдет подъем патриотического чувства, все заработает в усиленном темпе, и победа, повторяю, может быть обеспечена».

Я нарочно привел этот отрывок юзограммы полностью. Здесь вся программа первого временного правительства: и обман династический (всучить-таки свергнутых Романовых снова народу,—как характерна эта обмолвка о «возвращении династии»!), и обман патриотический, которым надеются подпереть первый, и признание в полном, в сущности, бессилии,—признание, что настоящими хозяевами «Петрограда» являются рабочие. Дальнейшая телеграфная переписка наполнена перекорами насчет того, «почему же не объяснили», и попытками задержать опубликование злосчастного манифеста о Михаиле. В конце концов пришлось взять простейший выход: вновь назначенный царь отрекся, не «вступив в управление». Знаменитый разговор Михаила с Родзянкой, четко обрисовавший и меру власти последнего и действительное соотношение сил («Гарантируете ли вы мне жизнь, если я воцарюсь?»—«Никак не могу, ваше императорское высочество!»), всем хорошо известен. Династия не «вернулась»—не спасла ее детская.

Самодержавие не было представителем промышленного—и банковского—капитализма, но этот капитализм, в борьбе с рабочими, не прочь был прикрыться даже и лохмотьями «изъеденной молью царской порфиры». Если это не удалось, то лишь потому, что «мозолистая рука миллионов рабочего люда» была слишком сильна, чтобы средневековая ткань могла выдержать ее прикосновение. И лишь появления на сцене этой роковой руки боялось всерьез самодержавие. Вся ошибка Протопопова,—в которой он каялся сам перед «Чрезвычайной следственной комиссией»—состояла в том, что сначала он «не ожидал сильного движения среди рабочих», а потом, когда это движение началось, тщетно надеялся

на то, что «движение не сорганизовано» и что «вожаков у них нет». А в буржуазии, наоборот, видели возможного союзника даже когда та была, казалось, в яростной оппозиции. Разрабатывая, в 1916 году, план выборов в 5-ю думу, на своей стороне, вместе с деревенскими кулаками и попами, самодержавие считало и 50—70 мест для банков (здесь, под флагом отделений банков, пройдут и торгово-промышленные круги),—только эти банковские депутаты и обещали перевес над «интеллигенцией», заранее крамольной.

«Победа буржуазной революции у нас невозможна, как победа буржуазии. Это кажется парадоксальным, но это факт»[1].

После 1917 года это уже никому не кажется парадоксальным. Это просто факт, как и многое, о чем Ленин говорил в будущем времени.

«Пролет. рев.», № 2—3 (61—62), февр.-март, М.-Л., 1927 г.

---

[1] Ленин, т. XI, ч. I, стр. 78.

БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ БУРЖУАЗИИ

Если приглядеться к настроениям верхнего этажа «надстройки» накануне Февраля, поражают два факта. С одной стороны, полная беззаботность тех, кому Февраль угрожал в первую голову. Самодержавие—в тысяче верст от мысли, что бьет его последний час: Александра Федоровна, когда революция уже началась, с презрением пишет о мальчишках и девчонках, которые бегают по улицам и шумят, потому что на дворе тепло: будь похолоднее, сидели бы дома. В дневнике Николая первая запись о «волнениях в Петрограде» появляется 27 февраля,—когда фактически он был уже свергнут.

Но если самодержавие впало в предсмертную сонливость, у буржуазии была хроническая бессонница. Не то, чтобы она предвидела революцию,—этого комплимента ей сказать нельзя. В особенности, она не предвидела революции в той форме, в какой она произошла, и в тот момент, когда это случилось. Этого в «верхнем этаже» никто не предвидел. Премьер Голицын узнал о революции только тогда, когда шофер повез его не по Невскому, как всегда возил, а кружным путем, боковыми улицами. Только из этого факта последнему премьеру Николая II стало известно, что в городе началась революция. Его противник, глава «оппозиции его величества» не был проницательнее. «Я ее (революции) не предвидел»,—чистосердечно признался Милюков французскому послу Палеологу.

Но боялась этой непредвиденной случайности буржуазия до обморока. «Будем откровенны: в нашей среде есть много таких, кого пугает призрак революции, кто в революции видит одну только пугачевщину»,—говорил левый кадет Мандельштам, уговаривая не бояться «крайних левых». Но и для Мандельштама «центр тяжести» был в ответственном министерстве,—выше и его фантазия подняться не могла. Вождю правых кадетов (тогда!) Милюкову было не трудно показать, что для этой цели «крайних левых» отнюдь не нужно, что они могут только помешать.

Позже, когда «беда» пришла, этот озноб паники пытались выдать за лихорадку пророческого вдохновения. Послушать Гучкова, как он «показывал» перед «Чрезвычайной

следственной комиссией» (муравьевской, летом 1917 г.), так буржуазия все знала наперед чуть не за пять лет. Но покаянный тон, в который тут же впадает «пророк», ясно показывает, что гучковская буржуазия была ничуть не проницательнее милюковской. «Вина, если говорить об исторической вине русского общества, заключается именно в том, что русское общество в лице своих руководящих кругов недостаточно сознавало необходимость этого переворота и не взяло его в свои руки, предоставив слепым стихийным силам, не движимым определенным планом, выполнить эту болезненную операцию»,—говорит Гучков. Говорил он это, нужно прибавить, 2 августа (ст. ст.)—в момент, казалось бы, наивысшего торжества буржуазной реакции 1917 г., когда большевики только что были загнаны в подполье после июльских дней, накануне знаменитого «государственного совещания» в Москве. Но Гучков был достаточно умен, чтобы понимать непрочность торжества,—понимать, что настоящий момент буржуазия, в сущности, прозевала.

Буржуазия не была предусмотрительнее Романовых и их слуг, но б о я л а с ь революции она гораздо больше, чем царь и его компания. Есть афоризм: «сделал тот, кому было выгодно», и есть краткое и меткое изречение русской народной мудрости, до некоторой степени этому афоризму соответствующее: «знает кошка, чье мясо съела». Были какие-то мотивы у буржуазии дрожать перед восстанием народных масс гораздо более, чем дрожало даже самодержавие. То привыкло, что народ его ненавидел, и ободренное декабрем 1905 года думало, что это не страшно: нужно только начать стрелять во-время. У буржуазии этой привычки не было,—а что ее стоит ненавидеть не меньше, чем самодержавие, это буржуазия хорошо понимала, хотя не признавалась в этом, вероятно, даже самой себе.

Мы ничего не поймем в Февральской революции 1917 г., если позабудем, что ее исходной точкой была война. Если читатель удивится такому «открытию Америки», надо ему сообщить, что в наши дни некоторые молодые товарищи под влиянием неверно понятых слов Ленина о «добросовестном оборончестве» склонны отодвигать войну в ряду причин революции на самое последнее место. Рабочие, видите ли, все время войны были «добросовестными оборонцами», за исключением единично распропагандированных большевиками. Но окраску движению давали не эти единицы. Революция была направлена только против самодержавия,—в назидание приводятся цитаты из Ленина, свидетельствующие, что Ленин считал Февральскую революцию «буржуазной»,—движение против буржуазии началось лишь во второй половине лета

под влиянием кризиса, закрытия фабрик и т. д. Оттого социалистическая революция и могла произойти только осенью. За восемь месяцев ранее для нее не было никакой почвы.

Что Февральская революция не была социалистической, это, конечно, совершенно правильно. Но из этого отнюдь не следует, что она не была эпизодом борьбы пролетариата с буржуазией, ибо не всякое столкновение этих двух классов есть непременно социалистическая революция,—таким является только последнее и решительное их столкновение. А как эпизод борьбы пролетариата с буржуазией, Февральская революция не может быть отделена непроницаемой переборкой от Октябрьской. Нельзя сказать: в феврале была только буржуазная революция, а в октябре только социалистическая; это просто неверно, ибо Октябрь был завершением буржуазной революции (декрет о земле), а Февраль был зародышем Октября, поскольку речь шла о переходе власти к рабочему классу. И в этом смысле нельзя, конечно, сказать, что февральская победа рабочих «неизбежно была» социалистической революцией, но можно сказать, что она «неизбежно вела» к социалистической революции.

Как Ленин представлял себе переход от буржуазной революции к социалистической? На этот счет мы имеем один из классических его текстов—в послесловии к «Двум тактикам».

«Полная победа теперешней (1905 года.—*М. П.*) революции будет концом демократического переворота и началом решительной борьбы за социалистический переворот. Осуществление требований современного крестьянства, полный разгром реакции, завоевание демократической республики будут полным концом революционности буржуазии и даже мелкой буржуазии,—будут началом настоящей борьбы пролетариата за социализм. Чем полнее будет демократический переворот, тем скорее, шире, чище, решительнее развернется эта новая борьба. Лозунг «демократической» диктатуры и выражает исторически-ограниченный характер теперешней революции и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплоатации. Другими словами: когда демократическая буржуазия или мелкая буржуазия поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции,—тогда мы «подменим» (может быть, при ужасных воплях новых будущих Мартыновых) лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, т. е. полного социалистического переворота»[1].

---

[1] Соч., т. VI, изд. 1922 г., стр. 393; там же стр. 360: «Мы все противополагаем буржуазную революцию и социалистическую, мы все безусловно

Никаких непроницаемых переборок между буржуазной и социалистической революциями, никаких «антрактов» между ними Ленин не ставил: конец буржуазной революции и начало борьбы за социализм, это—один акт. Это первое, что нужно вспомнить тем, кто отделяет Февральскую и Октябрьскую революции глухой стеной.

А, во-вторых, и в этой связи нужно вспомнить то, что Ленин говорил о значении войны в Февральской революции. В первом «письме издалека», определив войну как «всесильного режиссера» революции, он говорит: «Империалистская война с объективной неизбежностью должна была чрезвычайно ускорить и невиданно обострить классовую борьбу пролетариата против буржуазии, должна превратиться в гражданскую войну между враждебными классами. Это превращение начато февральско-мартовской революцией 1917 года».

Эта характеристика ничего не теряет в своем методическом значении оттого, что Ленин, как видно из дальнейшего, на основании первых, злостно-фальсифицированных телеграмм Родзянко и К°, представлял себе тогда российскую буржуазию не тем, чем она в действительности была,—весьма нечестным маклером между революцией и царизмом,—но одной из революционных сил. Ибо, что тут действуют «совершенно разнородные классовые интересы, совершенно противоположные (разрядка везде Ленина) политические и социальные стремления», это он умел разглядеть даже и сквозь родзянковские телеграммы.

Остается не доказать,—в этом нет надобности,—но иллюстрировать «объективную неизбежность» крайнего обострения классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией к 1917 г. Это можно сделать несколькими цифрами.

Война была колоссальным ускорителем не только революционного движения в России, но и развития русской крупной индустрии. Эта, совсем особого рода, «индустриализация» шла в годы войны исключительно быстрым темпом. Если возьмем основную отрасль—металлургию, мы получим такие цифры: к началу войны основной капитал всех русских металлургических предприятий составлял круглым счетом 400 млн. руб., уже к началу 1916 г. эта сумма дошла до 750 млн. руб, т. е. основной капитал русской металлургии за полтора только года войны увеличился почти вдвое. «Однако и в 1916 г. заводы продолжали увеличивать свое оборудо-

---

настаиваем на необходимости строжайшего различения их, а разве можно отрицать, что в истории отдельные, частные элементы того и другого переворота перелетаются? Разве эпоха демократических революций в Европе не знает ряда социалистических движений и социалистических попыток? И разве будущей социалистической революции в Европе не осталось еще многого и многого доделать в смысле демократизма?».

вание». И как было не увеличивать, когда продукция металлургических предприятий росла в такой прогрессии: «По средним данным для 10 предприятий, отпуск всех изделий, по сравнению с первой половиной 1914 г., увеличился для второй половины того же года на 28,3 проц., для первой половины 1915 г.—на 78,3 проц., для второй половины 1915 г.—на 178 проц., т. е. почти утроился. Выделяя из всего числа изделий предметы непосредственно военного снаряжения, мы получаем для них: увеличение, по сравнению с первой половиной того же года, для второй половины 1914 г. на 27,4 проц., для первой половины 1915 г.—на 179 проц., для второй половины 1915 г.—на 234 проц.». По отдельным предметам обороны увеличение доходило—всего только за первые полтора года войны—до 500 проц.[1].

По росту основного капитала всех вообще промышленных предприятий 1916 г. стоит на втором месте в пятилетии 1912—1916 гг.; его рекорд был побит только 1913 годом,—годом наивысшего промышленного подъема после первой революции. В этом году общая сумма основных капиталов увеличилась на 403 млн. руб., а в 1916 г.—на 373 млн., т. е. лишь на 36 млн. (7,5 проц.) меньше. Война действовала не хуже самого блестящего промышленного подъема!

По числу вновь открывшихся промышленных предприятий мы имеем ту же картину: 242 в 1913 г., 224 в 1916 г. Всего за первые два года войны открылось 164 новых акционерных компании с основным капиталом в 211 млн. руб., не считая увеличения основного капитала уже ранее существовавших предприятий. Отношение всего этого благополучия к войне выражается в таком распределении вновь нароссшего основного капитала между отдельными группами предприятий.

Число акционерных компаний, вновь возникших в 1916 г. и увеличивших свои капиталы

Группы	Число компаний		Увеличение капиталов (млн. руб.)	
	Новых	Существ.	Новых	Существ.
Текстильная	3	12	2,6	31
Металлическая	17	21	25,5	38,5
Горная	20	23	45,0	63
Химическая	7	10	14,4	6

Как видим, максимум увеличения падает опять-таки на металлургию и то, что с ней связано,—горное дело; затем идет новое оружие войны—химия. Обслуживавшая рынок

[1] «Народное хозяйство в 1916 г.», вып. IV, стр. 50.

широкого потребления ткацкая промышленность «обновилась» всего меньше[1].

Так росла русская промышленность в годы войны. А вот как изменилось положение русского промышленного пролетариата за те же годы.

По московскому промышленному округу мы имеем такой рост заработной платы:

Годы	Все производства	Металлисты	Текстильщики
	(Рублей в год)		
1913	218	334	210
1914	221	324	202
1915	248	445	221
1916	406	706	320

Заработная плата с уровня 1913 г. у металлистов поднялась к 1916 г. на 98 проц., у текстилей—на 65,6 проц. А товарные цены в первой половине 1916 г. относились к первой половине 1914 г., как 238 : 100 (во втором полугодии уже, как 398:100). В частности молоко поднялось в цене на 150 проц., белый хлеб—на 500 проц., копченая колбаса—на 660 проц., селедки—на 360 проц., огурцы—на 500 проц., грибы—на 1 000 проц.; сапоги высокие—на 400 проц., брюки—на 500 проц., калоши—на 600 проц., детская обувь—на 500 проц., рубахи полотняные—на 400 проц. и носки простые—на 500 проц.[2].

Проще говоря, реальная заработная плата русского рабочего уменьшилась слишком вдвое, в то самое время, когда основной капитал российской металлургии увеличился почти вдвое. Классовые интересы буржуазии и пролетариата по отношению к войне были диаметрально противоположны. Для капиталиста война была живой водой, для рабочего—водой мертвой. Это—беря только «количественные показатели» и не считаясь с колоссальным ухудшением правового положения рабочего даже по сравнению с 1914 г. (почти полное исчезновение профессиональных организаций, совсем полное—рабочей печати, прикрепление к фабрике, постоянно висевшая угроза милитаризации и т. д.). Если и при этих условиях российский рабочий продолжал оставаться до 1917 г. «добросовестным оборонцем», то, нужно сказать, это был совершенно исключительный «патриот своего отечества».

---

[1] «Народное хозяйство в 1916 г.», вып. II, стр. 81—82. Мы взяли не все отрасли промышленности, а только наиболее показательные, и только один 1916 г.

[2] Все эти цифровые данные заимствую из неизданной пока работы т. К. Сидорова. Инст. красн. проф.

На самом деле рабочий в феврале 1917 г., конечно, оборонцем не был. Это до такой степени бросалось в глаза, что полиция Николая II на классовом расслоении революции строила определенные практические предвидения и надежды: «Буржуазные круги требуют только смены правительства и стоят на точке зрения продолжения войны до победного конца,—писал один «сотрудник» накануне смерти царской охранки, 26 февраля 1917 г.,—а рабочие выдвигают лозунг: «Хлеба, долой правительство и долой войну». Этот последний пункт вносит разлад между пролетариатом и буржуазией, и только в силу этого они друг друга не желают поддерживать. Эта рознь взглядов является тем хорошим для правительства обстоятельством, которое дробит силы и распыляет начинания отдельных кругов».

Это не оказалось «хорошим» обстоятельством для Николая II,—для него вообще уже ничего хорошего в запасе у истории не было. Но это было очень нехорошее обстоятельство для буржуазии. Демократическая революция, поскольку ее исходным моментом была война, неизбежно с самого начала должна была принять антибуржуазный характер, хотя непосредственно она и не выходила еще за рамки капиталистического строя. «Полная» ее «победа», о которой говорил Ленин в 1905 г., могла быть выиграна только против буржуазии, а это неизбежно делало конец демократической революции началом борьбы за социализм.

«Известия ЦИК СССР», № 59 (2093), 12 марта 1927 г.

ПРОТИВОРЕЧИЯ Г-НА МИЛЮКОВА

(Милюков П. Н., История второй русской революции, том I, выпуск 1: «Противоречия революции». Российско-болгарское книгоиздательство, София, 1921 г.).

С пролетарским периодом русской революции грозит повториться то, что уже случилось с демократическим ее периодом. Историю движения 1905—1907 гг. описали не те, кто делал тогда революцию, а те, кто мешал ее делать. У нас есть меньшевистская история первого восстания русской народной массы против романовского режима, есть попытки кадетской истории,—а со стороны большевиков не было даже и попыток, сколько-нибудь выдержанных и последовательных. Пройдет 20 лет—и нас «откроют», конечно. Но мы могли бы избавить наших детей от этого гробокопательства и сберечь их время для более производительной работы.

Нашим извинением было то, что в эмиграции и ссылке—по этим двум группам делился почти весь «генеральный штаб» большевистской революции, начиная с 1908 г.—слишком трудно было организовать свою «революционно-историческую комиссию». Оставшиеся крохи партийных сумм были слишком дороги, чтобы тратить их на издание исторических книжек. Едва хватало на непосредственную революционную работу. Искать же буржуазного издателя для такой цели было бы утопией из утопий.

Нужно признаться, что все эти извинения—среднего достоинства. Милюков тоже в изгнании, однако первое, за что он принялся—это писать свою историю революции. А так как нашей еще нет, то есть большая опасность, что вне России будут знакомиться с большевистскими делами по кадетским словам. Что из этого получится, мы увидим ниже. Сейчас важно, что для нашего молчания нет уже ровно никаких извинений. Комиссия по истории Октябрьской революции уже есть (она носит не совсем отражающее ее задачу имя «Истпарт», ибо Совнарком сочетал ее в одно целое с комиссией по истории Российской коммунистической партии), средства у нее должны быть, людей ей должны дать, типография и бумага для нее должны найтись и притом «вне всякой очереди». Если этого не окажется, мы будем

посрамлены Милюковым, и притом вдвойне. Во-первых, он посрамит нашу леность и непредприимчивость своей энергией, во-вторых, он осрамит нашу революцию той клеветой, которую он будет распространять на наш счет безнаказанно, ибо его голос будет звучать на весь мир, а нашего не будет слышно даже в России.

Так как—это приходится заявить с самого начала—«История» г. Милюкова есть не что иное, как продолжение, более «солидными» средствами, той клеветнической кампании против октябрьских революционеров, которую начали еще с 1917 г. кадетские газеты по горячим следам, не дожидаясь, пока для событий наступит история. Собственно, как образчик исторического исследования книга Милюкова очень недорогого стоит. Не говоря уже о том, что у него не было под руками самых основных документов—тут его эмигрантское положение все же сказалось очень для него невыгодно, и он, не подозревая того, пользуется показаниями или уже опровергнутыми, или такими, которых он сам, наверное, поостерегся бы касаться, знай он их в их документальной форме—не говоря уже об этом, его историческое миросозерцание отстало не только от науки, оно ухитрилось отстать от эволюции самого г. Милюкова. Коренное отличие его «новой тактики», основное расхождение его с большинством кадетской партии в настоящий момент сводится, как известно, к тому, что большинство твердо стоит за «надклассовый» характер партии к.-д.,—а г. Милюков считает, что ее опорой должны быть определенные классы: крестьяне-собственники и городская мелкая буржуазия [1]. Между тем возьмите первые страницы его «Истории»—вы найдете там шаблонные рассуждения о «слабости нашей государственности» и об освобождении «либерального течения» «от классовых элементов» (стр. 12—13). Вы найдете именно то, что продолжают упрямо твердить Родичев и Набоков и с чем теперь Милюков спорит.

Здесь не место вдаваться в подробности по этому поводу—достаточно напомнить, что старая точка зрения Милюкова и теперешняя его противников являются классическим отображением буржуазного понимания русского исторического процесса. Коготок увяз—всей птичке пропасть: однажды став на классовую позицию, Милюков неизбежно придет к столь ненавистному для него марксизму. И тогда, если он даже захочет продолжать свою клеветническую кампанию против большевизма, ему придется выбрать другое оружие. Пока он еще висит в воздухе: со старой почвы

---

[1] См. его заметку «Для историка» в «Последних новостях» от 29 июля 1923 г. «Здесь все существо нашего конфликта»,—говорит по этому поводу г. Милюков.

он сошел, новой еще ногами не нащупал. Для этой промежуточной стадии чрезвычайно характерно предисловие к истории, написанное двумя годами позднее текста. Внутренние противоречия автора выливаются здесь в противоречия чисто формальные, словесные: на одной и той же странице г. Милюков заявляет, что его «История» «принципиально отказывается от субъективного освещения и заставляет говорить факты» и что «фактическое изложение не составляет главной задачи автора». При поверхностном, «рецензентском» отношении к книжке очень легко было бы извлечь из этого пассажа чисто комический эффект, но не хочется этого делать—так много в этом предисловии выстраданного. Прочтя заключительные строки этого предисловия, вы начинаете чувствовать, какую колоссальную борозду провела революция в сознании даже тех людей, кто с нею всю жизнь боролся. «Отойдя на известное расстояние от событий, мы только теперь начинаем разбирать, пока еще в неясных очертаниях, что в этом поведении масс, инертных, невежественных, забитых, сказалась коллективная народная мудрость. Пусть Россия разорена, отброшена из двадцатого столетия в семнадцатое, пусть разрушена промышленность, торговля, городская жизнь, высшая и средняя культура. Когда мы будем подводить актив и пассив громадного переворота, через который мы проходим, мы, весьма вероятно, увидим то же, что показало изучение Великой французской революции. Разрушились целые классы, оборвалась традиция культурного слоя,—но народ перешел в новую жизнь, обогащенный запасом нового опыта, решивши для себя бесповоротно свой главный жизненный вопрос—вопрос о земле» (стр. 6—7).

Помня, что г. Милюков не считает фактического изложения своей главной задачей, мы не будем останавливаться на фактической—перо едва не написало «фантастической»—стороне его изображения современной России. Здесь редактор «Последних новостей» сделался жертвой информации этой почтенной газеты. Читая, по редакторским обязанностям, изо-дня в день описания «большевистских неистовств», фабрикуемые в Париже по испытанному трафарету «немецких зверств», г. Милюков, может быть, и в самом деле уверовал, что Россия «отброшена из двадцатого столетия в семнадцатое». Быть может, он искренно думает, что в России уничтожены «высшая и средняя культура». На самом деле, парадокс русской революции в том и состоит, что эта самая демократическая изо всех революций, когда-либо бывших, больнее всего ударила по низам, сравнительно пощадив верхушку. У нас, нечего греха таить, очень плохо обстоит дело с народной школой и народным учителем, но университеты еще держатся, и университетские профессора питаются лучше, чем какой-либо другой разряд «работников

просвещения». Мы ходим без сапог,—а Эрмитаж, во время революции и благодаря ей, становится первым собранием мира после Лувра и Ватикана. У нас в аптеке не допросишься горчичника, а в Питере, именно в годы революции, вырос рентгенологический институт, который заграничные ученые считают одним из первых в Европе. Как раз «высшая»-то культура у нас еще и держится: когда-нибудь русскому пролетарию поставят памятники и перед Академией наук, и перед Академией художеств именно за то, что он, далеко отброшенный всем своим тяжелым прошлым от науки и искусства, им, казалось, совсем чужой, в критические минуты не дал загубить эти редкие у нас тепличные растения и, голодая, холодая сам, отогрел и выходил их для будущих поколений. Но не будем заниматься этим парадоксом—остановимся на другом: как же это, признав революцию выражением «коллективной народной мудрости», можно изображать массовое движение 1917 г., по трафарету кадетских газет тех дней, продуктом просто-напросто немецкого шпионажа?

А между тем г. Милюков это делает. Еще «запломбированный вагон» не успел показаться на горизонте, еще дело идет только о подготовке февральских дней, а уже «История второй русской революции» спешит привести in extenso (целиком) нечто архибезграмотное, имеющее быть якобы циркуляром «отдела печати при германском министерстве иностранных дел» и свидетельствующее одновременно как о том, что немцы были заняты возбуждением «социального движения и связанных с последним забастовок, революционных вспышек, сепаратизма составных частей государства и гражданской войны» (!), так и о том, что немецкое «бюро печати» употребляло термин «социальный» вместо «социалистический»—точь-в-точь так же, как это делал российский департамент полиции в своей деловой переписке. Сходство умилительное и достопримечательное. Мы увидим, что фигура в гороховом пальто неизменно появляется на сцене всякий раз, когда нужно «изобличить» русскую революцию в связях с «врагами отечества». Череп-Спиридович, выпуская свою нелепую утку о японских миллионах, на которые была, будто бы, организована революция 1905 г., и не подозревал, на какую золотоносную жилу он напал...

Но то Череп-Спиридович, для него и г. Милюков не более, как «жидо-масон», слепивший свою кадетскую партию при помощи того же японского золота. Другое дело сам автор «Истории второй русской революции». Это не полуграмотный громила в генеральском мундире, это ученый историк, обещавший нам «говорить фактами». «Факты подлежат объективной проверке, и поскольку они верны, постольку же бесспорны и вытекающие из них выводы. Историк по профессии, автор не хотел и не мог подгонять факты к

выводам...» (стр. 4). И прежде всего «историк по профессии» не может не знать, что нельзя цитировать документы, самого существования которых доказать невозможно. Где г. Милюков видел свой «документ»? В русских буржуазных газетах? Да какая же это гарантия? Разве не писали эти газеты в ноябре 1917 г., что Кремль разрушен до основания и что от Василия Блаженного одни обугленные стены остались? Разве не писали они недавно, что в Крыму вся интеллигенция расстреляна чрезвычайками,—тогда как там даже С. Н. Булгаков благополучно здравствует и выступает соискателем на кафедру политической экономии в Таврическом университете? Одного такого «факта» за-глаза достаточно, чтобы лишить книжку всякого серьезного значения. А между тем он не один. Навязчивый образ «немецкого шпиона» на всем протяжении книги преследует г. Милюкова и очень скоро (опять-таки еще до появления «пломбированного вагона») заставляет его не то, что процитировать сомнительный документ, а впасть в форменное, фактическое противоречие с документом уже несомненным, а вдобавок и с показанием очевидца.

Это случилось с ним—читатель мог бы и сам догадаться—по поводу знаменитого «приказа № 1», «как-то со стороны и врасплох подсунутого Временному комитету Государственной думы поздно вечером 1 марта». При чем тут «Комитет Государственной думы», в ту минуту властью ни фактически, ни юридически не обладавший, это уже—секрет нашего «историка по профессии». Что фактической властью тогда был Петроградский Совет рабочих депутатов и его исполком, а юридически оформленной и кем-либо санкционированной власти еще вовсе не было, пока не санкционировал первого Временного правительства тот же Совет, об этом мы уже говорили в другом месте [1]. Для нас здесь интересно не это—интересен тот соус, под которым г. Милюков подает свой «факт» публике. Изложив по-своему приказ № 1 и по-своему охарактеризовав произведенное им действие, г. Милюков заканчивает: «Вопреки общим усилиям всех сознательных и ответственных руководителей, мутная струя проникла, таким образом, в русскую революцию с самого начала: она внесена была, очевидно, из определенного источника, о котором свидетельствует самое содержание требований большевиков относительно немедленной «демократизации» армии и немедленного же «демократического» мира. Известный швейцарский социал-демократ Роберт Гримм, уличенный позднее в сношениях с германским правительством (ага! вот она штука-то в чем!) совершенно точно формулировал боль-

---

[1] См. «Вестник агитации и пропаганды», № 7—8 от 4 марта 1921 г., перепечатано выше, стр. 73.

шевистский лозунг в своем приглашении на третью цим-мервальдскую конференцию в Стокгольме...» Тут же кстати и сообщение Верховного главнокомандующего, генерала Алексеева, о том, что «ряд перебежчиков показывает, что германцы и австрийцы надеются», и т. д., и т. д.

Словом, читателю ясно, кем был «подсунут» «приказ № 1». Недаром и заговорил о нем первым какой-то «неизвестный в военной форме» (переодетый немец, разумеется). Когда вы после этого береге преступный «приказ», то, прежде всего другого, вы видите, что ни о «демократическом мире», ни даже о «немедленной демократизации армии» там нет ни звука. Приказ ни слова не говорит о выборности командного состава, как старается «подсунуть» своему читателю между строк г. Милюков. Приказ только гарантирует солдатам «вне службы и строя» «те права, коими пользуются все граждане», формально оговаривая, что «в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину». Правда, в приказе есть статья, достаточно объясняющая неугасающую ненависть кадетов к этому документу. Это статья 3-я, гласящая: «Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам». Это, конечно, лишало кадетов всякой возможности непосредственно использовать петроградский гарнизон как свое политическое орудие, опираясь на несознательность солдатской массы: теперь более сознательным элементам этой массы были обеспечены постоянный над нею контроль и постоянное руководство ею. Этого достаточно, чтобы понять, почему ни один кадет не вспомнит «приказа № 1» с удовольствием. Но этого слишком мало, чтобы доказать, что приказ сочинен немецкими шпионами. А так как мы знаем от очевидцев, как и кем приказ был сочинен, то никакие таинственные привидения «в военной форме» не могут смутить нашего спокойствия.

В самом деле, вот что рассказывает о возникновении «приказа № 1» Н. Суханов—не большевик, а в ту минуту, когда он это писал, еще определенный противник большевиков. «Вернувшись за портьеру комнаты 13-й, где недавно заседал Исполнительный комитет, я застал там следующую картину: за письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал... Оказалось, что это работает комиссия, избранная Советом для составления солдатского «приказа». Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили всё и все, совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Окончив работу, поставили над

листом заголовок: «Приказ № 1»... Приказ этот был в полном смысле продуктом «народного творчества», а ни в коем случае не злонамеренным измышлением отдельного лица или даже руководящей группы...»[1].

Знал Милюков это «свидетельское показание», когда живописал свои «тайны Совета рабочих депутатов», с переодетыми немецкими шпионами и т. д.? Во всяком случае, мог знать—книга Суханова вышла в 1919 г., а книга Милюкова помечена 1921 г., и хотя текст написан в 1918 г., для печати он пересматривался (см. первую страницу «Предисловия»). Никакой попытки устранить свидетельство Н. Суханова у него нет—да едва ли может и речь итти о такой попытке. «Историк по профессии» стоит перед выбором: или признаться в своей неосведомленности, или признать, что факты, ему известные, он скрывает от своего читателя. Что для него предпочтительнее, пусть он выберет сам,—но третьего быть не может.

Теперь мы подходим к факту, по отношению к которому о «неосведомленности» г. Милюкова не может быть и речи,—к знаменитому «запломбированному вагону». В то время, когда Ленин и его товарищи ехали через Германию, г. Милюков был министром иностранных дел российского государства. Кому, как не ему, могла быть известна подкладка возвращения русских эмигрантов из-за границы? Ведь его собственные циркуляры являлись едва ли не основным материалом этой подкладки. Кому, как не г. Милюкову, знать, какую роль в действительности сыграл «запломбированный вагон» в деле возвращения на родину нас всех,—не исключая даже и тех, кто, в конце концов, прорвался домой сквозь германскую подводную блокаду, через Архангельск.

Тут пишущему эти строки приходится оперировать, главным образом, собственными воспоминаниями,—но они достаточно отчетливы и достаточно «подлинны», поскольку он принадлежал к составу парижского «Комитета по возвращению на родину русских эмигрантов во Франции».

Дело было так. Весь март месяц русское посольство молчало, как мертвое, по поводу нашего возвращения в Россию. До середины апреля, помимо регулярных английских рейсов из Шотландии в Норвегию, на Архангельск ушли, по крайней мере, три из тех больших пароходов Восточно-азиатского общества, на двух из которых («Царице» и «Двинске») мы впоследствии, в августе, вернулись домой. Все, кто желал и спешил ехать, могли бы быть на берегах Невы или Москвы уже к 1 мая. Ясно, что для нашего отъезда были препятствия не технические. Завесу над этими препят-

---

[1] «Записки о революции», кн. 1, стр. 198—199. Разрядка везде наша.—*М. П.*

ствиями для меня приоткрыла случайная беседа в Национальной библиотеке. Ко мне подсел один слегка знакомый мне польский литератор, определенно антантовской ориентации, водивший дружбу с французскими парламентскими кругами, и обратился ко мне с вопросом: «Каковы политические убеждения Г. А. Алексинского?» Крайне изумленный, что кому-нибудь, не совсем политически безграмотному, могло тогда ничего не говорить это имя, я сделал достодолжную характеристику, а затем поинтересовался узнать, кому это нужно. Мой собеседник, смутившись, объяснил, что ему поручено собрать сведения о нескольких русских эмигрантах, хлопочущих о проезде через Англию. Другие имена не возбуждают у него сомнений в ту или другую сторону,—а вот насчет Алексинского он усумнился: не большевик ли это [1].

Таковы были точки зрения—и такова была осведомленность людей, «охранявших входы» в бывшую царскую вотчину в марте-апреле 1917 г. Совершенно ясно, что русские большевики в Швейцарии были бы идиотами последней степени, если бы они вздумали «терпеливо дожидаться», пока их «пропустят»—пропустят люди, сомневавшиеся даже в Алексинском. Великие организаторы всех и всяческих блокад, англичане, применяли к русской эмиграции простейшее и действительнейшее средство, оставляя ее вариться в собственном соку в ее заграничных гнездах, пока г. Милюкову удастся наладить в России «порядок». А потом, милости просим—из французского осадного положения в русское.

И вдруг, в середине апреля нового стиля, картина изменилась как бы по волшебству. Оказалось, что посольство имеет полную возможность и горячее желание отправлять нас на родину, что на это есть и средства, и юридические возможности,—словом, садись и поезжай. Тут-то немедленно и организовался наш «Комитет», куда сразу же было выбрано несколько интернационалистов, причем (констатирую этот факт) никто и не думал задавать им или по их поводу вопросы, похожие на те, какие я слышал по поводу Алексинского.

В чем же было дело? «Запломбированный вагон» прорвал блокаду... Ясно стало, что мы можем вернуться и помимо благоусмотрения английской полиции и что дальнейшее упрямство этой последней может лишь восстановить эмигрантов против Антанты, играя этим в руку Циммервальду. Сопоставление дат не оставляет тут никаких сомнений: 13 апреля н. ст. Ленин был в Стокгольме,—а между 10 и 15 возник в Париже наш «Комитет». И одним из первых

[1] О моем большевизме мой польский собеседник, вероятно, ничего не знал—я был для него просто русским ученым, работающим в библиотеке. А может и знал—и хотел «поймать»: скажет, мол: «Алексинский, да это наш лучший публицист»... И готово дело.

впечатлений от этого последнего у меня остались разговоры «оборонцев» о том, что везший Ленина из Германии в Швецию пароход потоплен английской подводной лодкой. Утешения хватило на два дня: на третий мы узнали, что морская блокада англичан не действительнее сухопутной.

Обо всем этом в «Истории» г. Милюкова читатель не найдет, конечно, ни звука. Для него «запломбированный вагон»—просто маневр «коварного врага» для окончательной победы над... «министерством иностранных дел», т. е. самим г. Милюковым... Мы сейчас видели, что победа над ним и его английскими друзьями тут действительно была, только не на том поле битвы, которое он имеет в виду. Блокада была прорвана вовсе не для одних «циммервальдцев», как инсинуирует г. Милюков, а для русских эмигрантов вообще. Что через германскую брешь хлынул именно общеэмигрантский поток, мы имеем этому доказательство в таком, для данного случая надежнейшем, документе, как имеющееся в деле о восстании 3—5 июля сообщение английской контрразведки. «5 июня было сообщено из Берна,—говорится здесь,—что более 500 русских эмигрантов уехало через Германию. Из них около 50—пацифисты, о к о л о 400—с о ц и а л и с т ы, к о т о р ы е п о д д е р ж и в а ю т В р е м е н н о е п р а в и т е л ь с т в о и в о й н у, а остальные—соскучившиеся по родине русские» [1].

На одного «большевика» немцы перевозили 8 антибольшевиков. Нужно очень презирать этих последних, чтобы не считать такой пропорции достаточно гарантирующей от отравления «революции» большевистским ядом. Но г. Милюков ценит и свою «революцию» и своих «оборонцев» ниже всякой мыслимой оценки. Об этом, до цинизма доходящем презрении кадетского лидера к оборонческому бараньему стаду, мы узнаем на стр. 245—246, по поводу описания событий 3—5 июля.

Рассказав стилем победителя, как «авантюра большевиков приходила к концу», г. Милюков делает ценнейшее признание. «Одним из обстоятельств, переломивших настроение «нейтральных» воинских частей—говорит он,—было опубликование некоторых документов разведки». Далее идет краткая и не совсем точная в подробностях,—но это всего менее важно—характеристика известных показаний Ермоленки, «переброшенного через германский фронт для агитации в пользу скорейшего заключения мира с Германией». А затем г. Милюков заканчивает: «О впечатлении, произведенном этими документами, можно судить по тому, что когда они были прочтены делегатами Преображенского полка, то преображенцы заявили, что теперь они немедленно выйдут

---

[1] «Дело», т. X, л. 73, оборот.

на подавление мятежа. Действительно, они пришли первыми из гвардейских частей на Дворцовую площадь; за ними подошли семеновцы и измайловцы».

Опубликованием показаний Ермоленки Керенский и управлявшие им из-за кулис кадеты переломили «мятеж». Более чем стоит заняться этими показаниями с точки зрения профессионального историка.

Кто такой Ермоленко?

В «деле» 3—5 июля имеются два документа, отвечающие на этот вопрос, оба, по характеру своему, казалась бы, не подлежащие никакому спору—и в то же время на первый, по крайней мере, взгляд друг друга исключающие. Первый документ («Дело», т. I, листы 11 и след.)—данное под присягой показание самого Ермоленки; второй (т. VIII, л. 51 и след.)—копия с его послужного списка, официальная, кем следует заверенная. Если мы возьмем вторую, мы найдем биографию настоящего вояки, изрубленного и исстрелянного десятки раз в десятки мест и за то стяжавшего все степени солдатского Георгия. А в показании черным по белому написано: «на действительной военной службе я никогда не состоял».

Это «противоречие» не самого г. Милюкова, но одного из главных его источников разрешается, правда, как будто сейчас же: далее Ермоленко сообщает, что во всех войнах (не исключая, если буквально понимать его слова, и последней войны, 1914 г.) он участвовал, как доброволец. Но это разрешает противоречие только фактически, объясняет нам, как это Ермоленко, будучи штатским человеком, мог совершать подвиги и получить свои бесчисленные ранения (из которых его незлобивая память сохранила, странным образом, только три контузии: см. другое его показание, т. I, л. 5). Но юридическое недоразумение остается во всей силе: храбрый вояка почему-то не мог получить «воинского звания» в обычном порядке. Послужной список не оставляет на сей счет никакого сомнения: лишь в 1913 г. (а подвиги Ермоленко начал совершать с 1900 г., с «боксерской» кампании), «его императорскому величеству благоугодно было... соизволить на награждение в изъятие из закона добровольца 27-го Восточного Сибирского стрелкового полка... Дмитрия Ермоленко званием зауряд-прапорщика». Можно понять это «зауряд»—Ермоленко, человек мало интеллигентный, вероятно, затруднился бы экзаменом на офицерский чин. Но почему это скромное звание он мог получить лишь после тринадцатилетней фактической службы, да и то по специальному высочайшему повелению?

Тут два документа, до сих пор мешавшие друг другу и карьере Ермоленки, начинают понемногу помогать один другому, и нам вместе с ними. «Показание» сообщает, что

Ермоленко «под судом был за упущение по службе в Иркутской судебной палате [1] лет 12 тому назад, но оправдан». А в послужном списке мы имеем такие данные: «приказом военного губернатора Приморской области от 5 ноября 1900 г. за № 346 зачислен в штат Владивостокской полиции канцелярским служителем. Таковым же приказом от 26 января 1902 г. за № 23 назначен столоначальником того же управления. Таковым же приказом от 4 сентября 1903 г. за № 281 уволен от службы по прошению, с производством в коллежские регистраторы». Где находился новопроизведенный коллежский регистратор с сентября 1903 г. по апрель 1904 г., послужной список не сообщает, но затем мы неожиданно узнаем, что Ермоленко не только сухопутный воин, но и моряк: сначала он «поступил в 124-й пех. Воронежский полк добровольцем» (1904 г. апреля 3), а затем «по распоряжению наместника его императорского величества на Дальнем Востоке командирован как штурман каботажного плавания в Порт-Артур для соединения эскадр: Владивостокской с Порт-Артурской (июля 3)».

Прогнанный со службы не без суда, полицейский чиновник вдруг облекается чрезвычайной важности «государственным» поручением. Что это может значить? Только одно: перед нами человек, в силу своей профессии стоящий по ту сторону всяких судимостей. Ермоленко был шпиком военной охранки: едва ли на этот счет может быть какое-либо сомнение. Шпионаж «внутренний» и «внешний» чрезвычайно легко переливались один в другой в царские времена: мы об этом кое-что знаем из истории последней войны,—когда заграничные жандармы почти сплошь исполняли и военные поручения, и в архиве парижской охранки можно найти ряд чисто военных документов. В Порт-Артур, в июле 1904 г. уже осажденный японцами, Ермоленко мог проникнуть, конечно, только как военный шпион: «перебрасываться» через фронты, как видим, было его давней специальностью. Но военным шпионом может быть и офицер генерального штаба: этого рода служба не мешает получать военные чины в обычном порядке. Если Ермоленке, несмотря на его военные подвиги, последнее давалось с таким трудом, это можно объяснить лишь тем, что для начальства филер был в нем виднее военного шпиона. Старый порядок имел свои предрассудки—ввести филера в «офицерскую семью» стеснялись. Записав, с явным недоброжелательством, в июне 1913 г., после награждения Ермоленки чином зауряд-прапорщика, «что, таким образом, ныне бывший доброволец Ермоленко награжден всеми наградами»,—главный штаб брезгливо от-

---

[1] Т. е. судился в Иркутской палате,—а «упущения» делал в другом месте,—сейчас увидим, где.

странил его от фактической военной службы. И когда он вновь в нее попал, после объявления войны в 1914 г., не поймешь, было ли это в порядке обычной военной мобилизации (как дает понять, не утверждая категорически, послужной список), или опять на каких-то частных и «добровольческих» началах. Сам Ермоленко, в своем показании, рассказывает об этом так: «Когда началась настоящая война, то в июле месяце 1914 г. я, по приглашению командира 16-го Сибирского стрелкового полка Рожальского, отправился вместе с полком в действующую армию под Варшаву». Строевым офицером или опять «добровольцем» с особыми поручениями? Послужной список говорит первое,—«показание» как будто ближе ко второму. Здесь они опять начинают расходиться.

Но если бы у нас и не было этих биографических данных о кадетском герое июльских днёй, всякий, кому приходилось работать в архивах политической полиции, без труда расшифровал бы его истинную физиономию чисто психологическим путем—из характера его показаний. С первой до последней их строчки вам все время бьет в нос крепкий, специфический дух, именно филерских донесений, донесений агента «наружного наблюдения», с его двумя главными отличительными чертами—умопомрачительной безграмотностью и неистовым хвастовством, желанием «поднять себе цену». С ним, полуграмотным шпиком, не знавшим ни одного иностранного языка, германские офицеры генерального штаба разговаривают за панибрата, сообщая ему массу подробностей, совершенно не нужных Ермоленке как будущему германскому шпиону в России. Категорически заявляя ему, что он не может никак быть отправлен через Стокгольм, именно по незнанию им иностранных языков, они, тем не менее, любезно сообщают ему имя их стокгольмского агента (можно себе представить, как он был законспирирован!) и имена людей, с которыми тот имел связи в России. Дают ему берлинские адреса, абсолютно бесполезные в данный момент, так как жившие по этим адресам лица находились уже в России (тут, впрочем, Ермоленко себе противоречит: одно и то же лицо находится у него и в Берлине—«Дело», т. I, лист 7,—и в Киеве—там же, лист 5), и во всяком случае Ермоленко итти к ним не собирался. Попросту, дружески «болтают» с ним, рассказывая разные анекдоты, причем самым комическим образом путают даты, и оказывается, что живущие в Берлине германские офицеры считают время по старому стилю, подводя бедного Ермоленку, который из-за них поместил Ленина во дворец Кшесинской за две недели до его там появления [1].

---

[1] Об этом забавном эпизоде см. «Дело», т. I, л. 15, и XII, ч. 1, л. 124 и сл.

Теперь нам становится понятно, почему, узнав об опубликовании 4 июля первого показания Ермоленки, Некрасов и Терещенко подняли целую бурю [1]. Совершенная чепуха, конечно, будто их мотивом было опасение, что преждевременное опубликование части документов спугнет преступников. Дело было проще: нельзя было показывать Ермоленку в таком неглиже. Нужно было его почистить, прибрать; к 10 июля это и было, по возможности, сделано. Правда, переделать Ермоленку было невозможно, филер оставался филером, и, например, «хронологический» скандал со стилями случился с ним именно 10 июля. Но все же кое-что удалось пригладить—немецкий агент в Стокгольме, напр., теперь уже находил свое место: Ермоленко именно с ним должен был «иметь связь».

Тогда как коренным дефектом первого показания, не считаясь уже с его безграмотностью, было то, что на первом месте в кругу германского шпионажа в России оказывался некий Скоропис-Иолтуховский, который должен был стать начальником Ермоленки, но который имел два крупных недостатка с точки зрения «партии порядка»: во-первых, заведомо находился за границей, а во-вторых, не имел никакого отношения к июльскому движению в Петрограде. Ермоленко же не сразу понял, что от него требуется донос на Ленина и, щегольнув этим именем (надобно думать, единственным большевистским именем, которое он знал), главную линию вел на Скоропис-Иолтуховского, который, как председатель заграничного союза «освобождения Украины», Ермоленке, ведшему слежку в концентрационных лагерях русских военнопленных именно за украинцами, казался «первым человеком» по данной части. Оттого он все напирал на то, что его немцы посылали в Россию «для отделения Украины», что дела он вел с «украинской секцией» германской разведки, что в России он должен был стать агентом Скоропис-Иолтуховского и тому подобные, в глазах кадетов совершенно пустые и праздные вещи. Надо было его инструктировать. Правда, и слегка обученный Ермоленко продолжал молоть невообразимый вздор,—но все-таки линию выправил: и не его вина, если указание на «дворец Кшесинской», теперь появившееся в его показаниях, утратило часть своего эффекта из-за того, что ему позабыли напомнить о разнице в 13 дней, существовавшей тогда между русским и заграничным счетом времени. Все же кое в чем он поправился. По должности филера не имея обращения с крупными суммами, Ермоленко назвал было, в качестве аванса, данного ему немцами, цифру, сразу его компрометировавшую,—1 500 р.; 10 июня он уже называет, в качестве обе-

---

[1] Милюков, стр. 246

щанного ему вознаграждения, 8 000 помесячно—с возможностью увеличивать эту сумму сделками даже до 600 000 р., причем, параллельно с мечтами о воображаемых крупных гонорарах, росло и самосознание бывшего «зауряд-прапорщика»: в первом своем показании—скромный агент малоизвестного в России Скоропис-Иолтуховского, во втором Ермоленко боится уже оказаться единственным организатором немецкого шпионажа, и тут-то на его вопрос, «что же я один буду работать в этом направлении?», немецкие офицеры и успокоили его указанием, что еще работает Ленин, живущий во дворце Кшесинской. Беда, как мы упомянули, случилась тут та, что разговор этот происходил в первых числах апреля по новому стилю, а Ленин приехал в Петроград в первых числах апреля—по старому.

Повидимому, кое в чем исправились и немцы—им стало совестно, что такую крупную персону они обидели такой ничтожной суммой, как полторы тысячи рублей. И вот, повествует «исправленный и дополненный» Ермоленко, «в Могилеве 17 мая, на улице, ко мне подошли два незнакомых лица и, осведомившись у меня, я ли Ермоленко, вручили мне конверт, со словами, что в нем жалованье вперед за два месяца, а остальное—на расходы. В конверте оказалось 50 000 рублей крупными бумажными русскими деньгами». Само собою разумеется, что эти деньги были «по распоряжению верховного главнокомандующего» оставлены в пользу Ермоленки. В это время за ним не числилось еще ничего, кроме безграмотного доноса, собственно, на Скоропис-Иолтуховского (это показание было дано 28 апреля, а сообщено Деникиным Керенскому 16 мая: как раз накануне счастливого приключения с Ермоленкой на улице Могилева. Бывают такие удачные совпадения!) с простым упоминанием имени Ленина. Вот как котировался Временным правительством в те дни голословный извет на вождя пролетарской революции! Можно себе представить, какие миллионы заработал бы человек, которому удалось бы доставить контрразведке Керенского хоть один факт против Ленина...

Для прокуратуры Временного правительства было, разумеется, совершенно ясно, что такую фигуру, как Ермоленко, выпустить на гласный суд, при открытых дверях, абсолютно невозможно: это было бы равносильно публичному бракосочетанию с царской охранкой. В первую минуту, в надежде, что это только «начало» и что потом пойдут факты поценнее и покрупнее, его даже отпускали на родину, в Хабаровск («Дело», т. I, л. 22, оборот). Но увы! Лучше Ермоленки все же ничего не оказывалось. Пытались извлечь пользу из показаний некоего Бурштейна, повидимому, действительно видавшего в Копенгагене Парвуса, а у него—некоторых русских социал-демократов. Это был тертый калач

и, несомненно, калибром покрупнее Ермоленки; тот был по «наружному наблюдению», этот едва ли не по «внутреннему». И круг его официальных знакомств был повыше: когда ему пришлось, однажды (еще в царское время), назвать какого-нибудь знакомого ему человека, занимающего в России «пост», он без колебаний указал директора департамента полиции Белецкого. Несмотря на столь влиятельное знакомство, он расценивался, однако, своими друзьями весьма невысоко, и в руках у следователей оказался документ контрразведки еще от 1915 г., где значилось, что «еврей Зельман Бурштейн является лицом, не заслуживающим никакого доверия. Целым рядом расследований выяснено, что Бурштейн представляет собою тип темного дельца, не брезгующего никакими занятиями. Неоднократно подвергался взысканиям и ограничениям в административном порядке и в настоящее время (1915) не имеет права жительства во многих местах империи». А так как это «не заслуживающее никакого доверия лицо» ничего не умело рассказать о Ленине и вообще повествовало о событиях довольно давних, случившихся задолго до революции, то служить хотя бы суррогатом Ермоленки оно не могло.

Бурштейна пришлось бросить. Тут всплыл, и на минуту ярким метеором мелькнул, электротехник Семен Кушнырь, который брался рассказывать не только о Ленине, но чуть ли не о всех членах ЦК большевиков вместе и порознь, притом со слов самого фельдмаршала Гинденбурга. С ним, однако, случился анекдот, едва правдоподобный, тем не менее документально засвидетельствованный. Только что исполнив свой патриотический долг, Кушнырь имел уличное приключение, подобно Ермоленке, но характера совершенно противоположного: 17 июля (а первое показание он дал 8) он был «задержан во время облавы на Галицком базаре» в Киеве,—и карьера его кончилась следующим документом, вышедшим из канцелярии судебного следователя киевского окружного суда 5-го участка г. Киева: «Вследствие личной просьбы сообщаю, что находившееся в моем производстве дело о Семене Никитине Кушныре, обвиняемом по 13, 296, 1666, 1668 и 1669 ст. ст. Уложения о наказаниях, направлено мною в порядке 478 ст. У. У. С. товарищу прокурора 5 уч. гор. Киева 27 июля с. г. за № 1199 и что обвиняемый Кушнырь с 26 июля с. г. содержится под стражей в Киевской тюрьме».

Ясное дело, что и этот свидетель для процесса никуда не годился. Но лучших не разыскивалось,—и в этом весь секрет того, почему, имея, казалось бы, вполне достаточно времени для того, чтобы поставить дело на суд, Временное правительство этого не сделало. Некрасов и Терещенко были

сугубо правы, правы по отношению ко всей большевистской «измене», а не только по отношению к одному Ермоленке.

Теперь знал или не знал г. Милюков об этом провале антибольшевистского процесса еще в стадии предварительного следствия? Министром в это время он уже не был, но к правящим кругам стоял достаточно близко, чтобы знать не только то, что пишут в газетах и рассказывают на улице. На следствии фигурировал он и сам. Свое показание (оно помещено в т. XII «Дела», часть 2-я, листы 545 и сл.) он давал чрезвычайно поздно, всего за 2 недели до падения Керенского (суд. следователь допрашивал П. Н. Милюкова 11 октября). Любопытно, в заключение всего этого эпизода, сравнить, что говорил г. Милюков, имея в виду перекрестную проверку своего показания на суде,—с тем, что он «показал» потом в своей «Истории», написанной и издававшейся при условиях, для его читателей исключавших всякую возможность проверки.

Прежде всего обращает на себя внимание осторожный тон показания. Ни о каком «шпионстве» большевиков нет, разумеется, ни звука: если прочесть показание г. Милюкова отдельно от всех других документов, то можно и не догадаться о существовании изветов Ермоленки, Бурштейна, Кушныря и т. п. Задача бывшего министра иностранных дел была гораздо скромнее: доказать, что эмигранты-интернационалисты, если бы захотели, могли бы отлично вернуться домой «нормальным путем», через страны Антанты. В этом суть показания: кое-какие инсинуации по адресу Троцкого (а не Ленина!), да попытка похвастаться тем, что его «ушли» за несогласие пропустить в Россию Р. Гримма, представляют лишь дополнительные экскурсы. И что же должен был признать г. Милюков, имея перед собою перспективу проверки? Во-первых, что швейцарские эмигрантские организации обращались к министру иностранных дел Милюкову с официальными ходатайствами о том, чтобы им было разрешено проехать через Германию: «изменники», таким образом, совершенно открыто заявили о своем «преступном умысле». Мотивировали они этот умысел, главным образом, тем, что «союзные правительства ставят эмигрантам на этом пути (через Англию) препятствия, лишающие их возможности массового возвращения в Россию». Храбро заявив, что все подобные «слухи» были-де «совершенно неосновательны», предвидящий проверку г. Милюков должен был сейчас же признаться, что «одно из препятствий» пропуску эмигрантов через союзные страны заключалось «в нахождении имен некоторых из эмигрантов в так называемом международном контрольном списке. В этот список заносились лица, ставшие известными союзным правительствам своими сношениями с неприятелем (!), и изъятие лиц,

попавших в контрольный список, не могло быть произведено односторонней волей русского правительства» [1].

Мы видели в своем месте, что к «лицам, известным своими сношениями с неприятелем», мог оказаться причисленным г. Алексинский, и не может быть никакого сомнения в том, что в этом списке значились все участники Циммервальдской и Кинтальской конференций. Все оправдания г. Милюкова в том роде, что ему удавалось выхлопатывать изъятия из «списка» для отдельных лиц, все его ссылки на «строгость» общих правил, установленных для въезда и выезда в Великобританию и (еще лучше) на «крайнюю недостаточность тоннажа»,—все это совершенно тонет в тени колоссального, признаваемого им факта: английская полиция не пускала в Россию эмигрантов, казавшихся ей подозрительными, и г. Милюков, в самом лучшем случае, был бессилен ей в этом помешать. В частности, относительно «строгих правил для въезда и выезда в Великобританию» и недостатка тоннажа, напомним, что в распоряжении Временного правительства было четыре русских океанских парохода, вместимостью от 10 до 12 тысяч тонн, рассчитанных каждый на 1½—2 тысячи пассажиров. На этих кораблях развевался русский флаг, их палуба была русской территорией, они шли из Бреста в Архангельск, не заходя ни в один английский порт: какое было дело при таких условиях русскому правительству до правил, установленных английской полицией? Г. Милюков, сам того не замечая, констатирует не только то, что эмигранты-интернационалисты были 1 000 раз правы, избирая единственную возможность для них в марте-апреле 1917 г.—дорогу через Германию, но и то, что Временное правительство было жалким рабом Антанты, которая могла ему запретить пользоваться его собственным, русским имуществом.

Нам нет надобности подводить итоги. Г. Милюков сам произнес приговор себе, как историку русской революции 1917 г. «Факты подлежат объективной проверке, и поскольку они верны, постольку же бесспорны и вытекающие из них выводы»,—говорит он, как мы помним, в предисловии к своей книге. Мы произвели объективную, по первоисточникам, проверку факта, являющегося основным для г. Милюкова, дающего ключевую ноту для его понимания всей динамики революции. Мы не нашли, в строгом смысле, никаких исторических данных, мы видели лишь кучу газетных мотивов, сыгравших в свое время мгновенную агитационную роль,—но если называть это «историей», то придется признать исто-

---

[1] «Дело», л. 545, оборот. Разрядка наша.

рией 1905—1907 гг. речи теперешнего «союзника справа» г. Милюкова—Г. А. Алексинского. Притом эта агитация и в свое время, и в книжке г. Милюкова была и остается агитацией недобросовестной, типичным образчиком контрреволюционной демогогии. А к тому средству, каким Временное правительство нашлось вынужденным решить в свою пользу конфликт 3—5 июля, неприменимо другое название, как провокация. «Над чем посмеешься, тому и поработаешь»,—говорит пословица. Сколько раз г. Милюков, даже с трибуны Государственной думы, обзывал «провокаторами» крайнюю левую русского революционного движения. Но доказать это ему не удавалось—и никогда не удастся. А вот, что сама почтенная партия к.-д. прибегла к провокации, чтобы сорвать первое большевистское выступление,—это доказанный факт [1].

Значит ли, однако, все это, что о книге г. Милюкова не стоит, что называется, и разговаривать? Отнюдь, нет. Г. Милюков говорит, все в том же «предисловии», что его цель в этой книге «идет дальше личных воспоминаний». До цели он не дошел. Но в более тесных пределах, которыми он не хотел ограничиваться, именно в пределах «воспоминаний», книга, мы сказали бы, необычайно ценна, как памятник понимания—или, лучше сказать, непонимания революции 1917 г. одним из ее главных противников. А так как за г. Милюковым буржуазия шла первые два месяца революции по всем вопросам—и почти до октября, по одному из основных вопросов—по внешней политике, то его книга является одним из лучших источников для выяснения позиции русской буржуазии в 1917 г.

Вплоть до самого октября 1917 г. борьба сосредоточивалась около двух вопросов: о земле и о мире. Исторически оба вопроса были тесно связаны. Можно сказать, что, если бы вопрос о земле был окончательно разрешен в 1905—1907 гг., войны либо не было бы вовсе, либо она привела бы к своему непосредственному результату—падению династии, гораздо скорее, причем непосредственным результатом этого падения был бы немедленный мир. В самом деле, что погнало на эту галеру русскую промышленную буржуазию? Представим себе на минуту, что в 1905 г. крестьянин получил бы всю землю, которая ему была нужна: перед русской промышленностью был бы внутренний рынок такой емкости, что для заполнения его до краев ей понадобились бы десятилетия. Даже того частичного подъема деревни после 1907 г.,—подъема, который

---

[1] Ирония истории сказалась не только в этом. Книжка написана в 1918 г.,—как раз в то время, когда г. Милюков был в кадетской партии яростным сторонником германской ориентации. Опять: «над чем посмеешься, тому и поработаешь».

сложился отчасти путем «самоснабжения» крестьянства из разгромленных помещичьих усадеб (его оценивали в те времена, вместе со снятыми в революционном порядке с барских полей урожаями и экономией от неплатежа аренды и налогов, во 100 миллионов золотых рублей), отчасти, благодаря крепнувшим с начала века хлебным ценам, да двум исключительно богатым жатвам, 1908/9 г., этого подъема хватило на то, чтобы создать промышленный подъем 1909—1913 гг., в истории России неслыханный. Но к 1913 году русская промышленность, особенно текстильная, была уже в тупике. Бес-искуситель, принимавший разные формы, отечественные и иностранные—то Пуанкаре и Эдуарда Грея, то Извольского и Распутина (очень настаивавшего на необходимости водрузить крест на Святой Софии), нашел доступ к «общественному мнению», которое в России более, чем где бы то ни было, было мнением крупного капитала. Собственно, промышленность, как таковая, еще не нуждалась в войне,—но дворянская камарилья, как и в 1904 г., без войны не надеялась уже вести буржуазию в своем кильватере (образование в 1912 г. «прогрессивной» партии, опиравшейся именно на московских текстильщиков и обещавшей стать радикальнее кадетов, было для камарильи предостережением), буржуазия же, поставленная перед дилеммой—или довести до конца революцию 1905 г., или попытать счастья в новой военной авантюре, памятуя «безумие стихии» в октябре—декабре 1905 г., и слегка попризабыв Мукден и Цусиму, охотнее шла на второе, чем на первое. Что сама война оказалась выгоднейшим предприятием, давая барыши втрое и вчетверо более мирных, это было уже приятным сюрпризом, который окончательно дал крепкие ноги пошатывавшемуся вначале промышленному патриотизму [1]. Но и это было достигнуто, не будем забывать, наполовину тем, что война, радикальнейшим образом устранив всякого «иностранного» конкурента (включая и Лодзь), отдала русского потребителя в полную кабалу отечественному мануфактуристу, что равнялось косвенному расширению того же внутреннего рынка собственно для Московско-Владимирской промышленности; принудительная трезвость, оставлявшая в крестьянском кармане пропивавшиеся ранее миллионы, действовала далее в том же направлении.

Эта историческая связь аграрного переворота и войны в 1917 г. превратилась в практическую связь аграрного

---

[1] Гельферих в своей книжке о «Прологе войны» («Die Vorgeschichte des Weltkrieges») рассказывает, что Коковцев, представлявший очень обширные и влиятельные капиталистические круги, перед самым разрывом, за несколько дней, присылал в Берлин бывшего директора кредитной канцелярии Давыдова, чтобы как-нибудь уладить конфликт,—но было уже поздно. См. стр. 188—198.

переворота и мира. Что с революцией связывает крестьянство именно земля, этого могли не видеть, уже с весны 1917 г., только слепые. То, что кадеты этого не видели, лучше всего другого характеризует историческую обреченность того класса, который они представляли. Но и те, кто видел—эсеры видели,—находились в положении достаточно трудном. Тут не в том только дело, что губернией продолжали управлять помещики, из председателей управ превратившиеся в «губернских комиссаров»—и не в моральной трусости и психологической зависимости от буржуазии руководящих эсеровских кругов: все эти факты правильно отмечает лево-эсеровский историк революции [1], но не в них суть дела. Дать старику-крестьянину землю, держа на фронте его работников-сыновей, было так же невозможно, как не дать земли этим работникам, когда они воротятся с фронта. Земля и мир опять были связаны неразрывным клубком.

Все упиралось, таким образом, в вопрос о мире. Вот почему вокруг этого именно вопроса скопилось столько бешенной контрреволюционной ненависти, до сих пор клокочущей, хотя уже три года, как вопрос разрешен. Вопроса о земле кадеты не видели: г. Милюкову понадобились те же три года, чтобы понять его задним числом,—да и тут он оказался в меньшинстве кадетской партии. Вопрос о мире кадеты прекрасно видели с самого начала. Сделали ли они хотя начало попытки его разрешить?

В «Истории» г. Милюкова все вертится около гласных и официальных заявлений Временного правительства по этому поводу. «Вводить читателя в интимную атмосферу событий, доступную только для их непосредственного участника, показалось бы и нескромно, и чересчур субъективно»,—думает он. Мы, напротив, думаем, что только «интимная атмосфера», т. е. вскрытие, без утайки, всего, что было,—и может дать изложению достаточную объективность.

В официальном воззвании к гражданам (от 28 марта ст. ст.) и в ноте (18 апреля того же стиля), при которой воззвание было сообщено союзникам, разрабатывались мотивы, преимущественно «альтруистического» и во всяком случае «внеклассового» свойства. Воззвание говорило, что «русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной, подорванной в жизненных своих силах», что Временное правительство будет «ограждать права нашей родины при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников». Нота распространялась о «всенародном стремлении довести войну до решительной победы», каковое стремление, якобы, «лишь усилилось, бла-

---

[1] Штейнберг И., От февраля по октябрь 1917 г., издательство «Скифы», Берлин—Милан.

годаря сознанию общей ответственности всех и каждого». Фразеология была, словом, чисто оборонческая: и если социалисты-оборонцы могли обвинять г. Милюкова, что он потворствует чужому союзническому империализму, он мог ответить ссылкой на «обязательства» по отношению к правительствам, в составе которых тоже, ведь, были социалисты. Не даром Альбер Тома как раз в это время и был налицо в Петербурге. Свой, российский империализм хитро прималкивал, но очень наивен был бы тот, кто подумал бы, что молчащего и нет уже больше на свете. Накануне отсылки ноты с прекрасными оборонческими фразами Милюков секретно телеграфировал русскому послу в Париже: «В виде компромисса (между нежеланием французского правительства пересматривать договоры и требованием «социалистов»—Керенского и Чернова,—чтобы к такому пересмотру было приступлено) Тома несколько дней тому назад предложил мне (Милюкову) передать воззвание правительства союзным государствам. Я (Милюков) ответил, что сделаю это лишь в том случае, если буду уверен, что содержание воззвания не вызовет никаких недоразумений, в частности относительно нашего согласия будто бы (!) отказаться от проливов».

Итак, для «ослов слева» из оборонческого лагеря говорились оборонческие фразы,—а для «дела» оставалась та самая империалистская программа, на которой сорвалось правительство Николая. Между тем, никаких иллюзий по этому поводу у г. Милюкова быть не могло. «По главному вопросу—о войне и мире—принципиального разногласия не было не только между Лениным и «Правдой», но и между большевиками и более умеренными течениями социализма»,—откровенно признает он на стр. 89 своей книги. Под формулой «Константинополь и проливы» не подписался бы не только тогдашний вождь «революционного оборончества» Стеклов, но не подписался бы и Церетели; по крайней мере открыто ее отверг бы и Керенский. Кадеты имели тут перед собою сомкнутый фронт пролетариата и революционной мелкой буржуазии, т. е. сомкнутый фронт всей мартовской революции. И если г. Милюков исподтишка протаскивал свою формулу, то здесь могла скрываться лишь одна надежда: обмануть всю революцию, одурачить все массы—и шедшие за Лениным, и шедшие за Чхеидзе и Церетели. «Выдумает человека, да с ним и живет»,—сказано где-то об одном из персонажей Достоевского. Выдумав своих «ослов слева», г. Милюков крепко в них уверовал—и за то был наказан лишением министерского портфеля.

Вразумило ли это его наследника? Из секретных телеграмм, которыми обменивались между собою итальянские дипломаты (и которые, будучи перехвачены русскими аген-

тами, имеются в копиях в секретном архиве русского министра иностранных дел), мы давно знаем, что формулу «Константинополь и проливы» исповедывал и Терещенко [1]. Чрезвычайно ценно поэтому устраняющее всякую надобность в косвенных источниках признание г. Милюкова, что «политика Терещенко была, в сущности, лишь продолжением политики» самого г. Милюкова [2]. Вера в глупость «левых» и возможность их надувать до «победного конца» вовсе не была индивидуальной особенностью г. Милюкова,—это был догмат, исповедывавшийся всей кадетской партией.

Принято говорить, что партии и режимы падают вследствие их «ошибок». Множественное число здесь—совершенно излишняя роскошь: за-глаза достаточно одной хорошей, основательной ошибки, чтобы партия или режим полетели к чорту. Отношение к миру и было такой основательной ошибкой кадетов. Был ли объективно для них разрешим этот вопрос? Германская революция показала, что—да: германская буржуазия, для которой на карте стояло в тысячу раз больше, чем у русской, не дожидаясь спартаковского взрыва, начала мирные переговоры—и спаслась. Можно, конечно, сказать, что германской буржуазией был в данном случае учтен опыт именно России: можно прибавить, что германский предприниматель, «работавший» на «собственные» капиталы, был больше хозяином у себя в доме, чем русский, «работавший» на капиталы, занятые у англичан и французов. Само собою разумеется, у всякой ошибки есть своя объективная подкладка—всякая ошибка исторически неизбежна. Но от этого она не перестает быть ошибкой, а ошибка не перестает быть источником гибели.

«Противоречия революции», о которых говорит подзаголовок 1-й части труда г. Милюкова, на практике сводятся к ряду противоречий автора—с самим собою, с исторической истиной, с интересами своего класса и своей партии. История революции, объективная и научная, должна ответить на вопрос: почему было неизбежно, чтобы большевизм стал у власти в октябре 1917 г.? Почему никакой другой исход революции был невозможен? Г. Милюков на этот вопрос не дает ответа,—наоборот, наивный читатель, который принял бы «Историю» г. Милюкова за подлинное историческое изложение, должен был бы счесть победу большевиков каким-то чудом злого колдуна. Но г. Милюков дает достаточный материал для ответа на другой, предварительный, так сказать, вопрос: почему кадеты должны были потерять власть? Можно сказать ему спасибо и за это.

Издано отдельной брошюрой, изд. «Красная новь», М., 1923 г.

---

[1] См., напр., телеграмму Соннино Фаскиотти (в Яссы, от 22/V) 1/VI.
[2] «История», стр. 167.

ГРАЖДАНИН ЧЕРНОВ В ИЮЛЬСКИЕ ДНИ

Объемистое «дело» о восстании 3—5 июля 1917 г. в одном из своих бесчисленных томов хранит, между прочим, и показание лидера эсеровской партии. «Чернов, Виктор Михайлович, министр земледелия, православный, под судом не был, Троцкому посторонний»,—рассказывал следователю, поинтересовавшемуся «вероисповеданием» министра земледелия, но совсем не интересовавшемуся его партийной принадлежностью (доброе старое время!), что он, Чернов, делал или, точнее, что с ним делалось в эти достопамятные дни. Когда именно, он точно не помнил. «Возможно, что все это происходило не пятого, а четвертого июля»,—заканчивает свое показание Чернов. А давал он это показание 19 августа, всего через шесть недель после событий.

Внимательно перечитав все показание, вы начинаете понимать эту забывчивость православного министра земледелия. Мы хорошо помним те исторические моменты, где мы сами являлись действующими лицами; так их обыкновенно и вспоминаешь: в такой-то день, в таком-то часу я то-то сделал, потом вот это, канва и ткется понемногу. Мы недаром сказали, что Чернов рассказывал о том, что с ним д е л а л о с ь: на всем протяжении показания его роль чисто п а с с и в н а я. Его вытащили из Таврического дворца, обступили, засыпали вопросами, посадили в автомобиль, хотели куда-то увезти; в это время вмешалось «начало действующее», в виде Троцкого, и Чернова опять отпустили во дворец.

Можно себе представить, чтобы с лидером правящей партии, скажем, с Лениным, после Октябрьских дней уличная толпа обращалась как с предметом неодушевленным, таскала его туда, таскала сюда, до тех пор, пока не появился на сцену один из лидеров партии оппозиционной и не вывел его из этого унизительного положения? А вот с лидером эсеровской партии в дни ее торжества такие анекдоты бывали, и, судя по тону рассказа Чернова, он даже не чувствует здесь какой-либо неестественности. Да, таскали и чуть совсем не затащили, и у него хватает духу только инсинуировать, что то были «темные личности». А где же были «светлые личности» в это время?

Расскажем, однако, конец этого эпизода словами самого, нельзя сказать, «действующего», но все же центрального лица:

«В это время к автомобилю подошел появившийся из Таврического дворца Троцкий, который, встав на передок автомобиля, в коем я находился, произнес небольшую речь. В этой речи он сперва обратился к матросам, спрашивая их, знают ли они его, видали ли, вспоминают ли? Затем указал, что кто-то хочет арестовать одного министра-социалиста, что это какое-то недоразумение, что кронштадтцы были всегда гордостью и славой революции, что они не могут потому хотеть никаких насилий над отдельными личностями, что отдельные личности ничего не могут значить, что здесь, вероятно, никто не имеет против того, чтобы министр-социалист возвратился в зал заседаний, а что матросы останутся мирно обсуждать жизненные вопросы революции. После этой краткой речи он обратился к толпе с вопросом: «Не правда ли, я не ошибаюсь, здесь нет никого, кто был бы за насилие? Кто за насилие, поднимите руки».

Ни одна рука не поднялась; тогда группа, приведшая меня к автомобилю, с недовольным видом расступилась; Троцкий, как мне кажется, сказал, что «вам, гражданин Чернов, никто не препятствует свободно вернуться назад», что это было недоразумение. Все находившиеся в автомобиле могли свободно выйти из него, после чего мы и вернулись во дворец» [1].

В этой сценке вся философия истории июльских дней. Для следователя, с его криминологической точки зрения, важнее всего было установить, что толпа Троцкого «знала» и «помнила». Значит, «профессиональный демагог», постоянный оратор перед «бунтовщиками». Но поскольку всем следователям правительства Керенского ничего не удалось из этого «следственного материала» сделать, кроме обширных размеров кляксы, криминологическую точку зрения мы можем оставить в покое. Тут есть политическая сторона, и она гораздо интереснее.

Кто командовал массами уже в июле? Кого массы слушались? Совершенно очевидно, что это не была та партия, во главе которой стоял Чернов; это было то течение, которое возглавлялось Лениным и Троцким. Будущие коммунисты уже за четыре месяца до Октября имели единую движущую силу событий, революционный народ, за собою, а за социалистами-«революционерами» была лишь не успевшая еще стать революционной часть народной массы. В первую голову то была наименее сознательная часть солдат, сидевшая по казар-

---

[1] «Предварительное следствие о вооруженном выступлении 3—5 июля 1917 г.», т. X, стр. 59—60.

мам и оттуда тупо взиравшая на происходящее. К этой части принадлежал, например, Преображенский полк, весьма ярко демонстрировавший малую сознательность своей солдатской массы еще в марте 1918 г.

Чтобы всколыхнуть эту подлинно «серую» толпу, не годились никакие революционные лозунги, как бы просты и примитивны они ни были. Тут нужно было другое, шкурное и темное, как мозги этой массы. В серых фронтовых рядах не было словечка общепонятнее, чем «измена». Оно звучало всегда в минуты дикой паники, под Смоленском в 1812 г., как на реке Черной в 1855 г. и перед Плевной в 1877 г. До какой низины демагогии, до какого подлинного «охлоса» надо было спуститься, чтобы не побрезговать этим лозунгом! Но для эсеров уже летом 1917 г. другого выхода не было. Если сознательные рабочие и сознательные матросы умели только задавать «щекотливые» вопросы и даже не мешали тем, кто тащил «социалистов» за шиворот (помешал Троцкий), оставалось бить на несознательность.

Так не случайно, а глубоко логично, вполне «закономерно», можно сказать, правительство Керенского пришло к необходимости выкупаться в поганом ведре ермоленковских сплетен. Принятое им своеобразное крещение его спасло: «о впечатлении, произведенном этими документами (показаниями Ермоленки и К°.—*М. П.*), можно судить по тому, что когда они были прочтены делегатам Преображенского полка, то преображенцы заявили, что теперь они немедленно выйдут на подавление мятежа. Действительно, они пришли первыми из гвардейских частей на Дворцовую площадь, за ними подошли семеновцы и измайловцы [1].

Керенский первый этим не побрезговал, и когда Корнилов потом пустил струю из того же источника в самого Керенского, «белый генерал» был лишь подражателем.

Партия, поставившая Керенского у власти, была, таким образом, политическим банкротом уже летом 1917 г. И это банкротство выразилось не только в том, что она должна была попустительствовать Ермоленке («Воля народа» приняла даже посильное участие в опубликовании «документов» [2]). Оно еще ярче выразилось в полном бессилии этой партии, стоя у власти, осуществить свою политическую программу.

«Темные личности» не только пробовали взять Чернова за шиворот, но и задавали ему неудобные вопросы:

«После этого взял слово человек, назвавший себя членом Петроградского комитета РСДРП, который заявил, что прежде чем я уйду, я должен буду ответить на некоторые вопросы, которые мне будут поставлены. Из поставленных им

---

[1] Милюков, «История второй русской революции», I, в. 1, стр. 246.

[2] См. № от 15 июля, приобщенный к «Делу», т. VI, стр. 92.

мне вопросов, главных было два, а именно: почему я до сего времени не издал закона о земельных сделках и почему, несмотря на пожелания Совета крестьянских депутатов и Главного земельного комитета, правительство до сего времени не издало декларации о передаче земли народу?».

Что было на это отвечать лидеру обанкротившейся партии? Что отвечают всегда банкроты своим кредиторам: денег случайно при себе нет, жена деньги в деревню увезла, подождите, сейчас пойду, займу у приятеля...

«Я ответил на это, что эти законы разрабатываются, вносятся на рассмотрение Временного правительства, что прохождению их помешал кризис власти (!), что с своей стороны я Совету крестьянских депутатов докладывал о ходе законодательства по земельному вопросу, что мои действия находились в полном согласии и с желаниями Советов крестьянских депутатов и что в частности сейчас я должен пойти на заседание Советов продолжать участие в его работах».

Заметьте: все «советы», «советы». Об Учредительном собрании тут, перед революционной толпой, ни гу-гу. И это опять не случайность. Здесь мы переходим к самому, быть может, любопытному моменту всего показания.

«5 июля с. г. днем»,—начинает свое показание Чернов,—«я был на заседании Центрального комитета Совета Р. и С. Д. и Исполн. комитета Всерос. совета кр. депутатов. Во время этого заседания было сообщено, что к Таврическому дворцу, где происходило это заседание, подошли вооруженные демонстранты, которые пытаются проникнуть в Таврический дворец, для предъявления требований о том, чтобы Советы приняли власть в свои руки. Узнав об этом, на заседании было решено никакой военной помощи для охраны собрания не требовать, чтобы посмотреть, найдутся ли среди демонстрантов, причисляющих себя к организованной демократии, элементы, которые осмелятся силой давить на свободное решение уполномоченных органов всероссийской организованной рабочей демократии. Вместе с тем, было решено, что заседание продолжается вне всякого соображения с тем, что происходит за воротами Таврического дворца. В течение этого времени неоднократно являлись делегации от бывших у дворца вооруженных частей все с теми же повторными требованиями, чтобы Совет как можно скорее разрешил вопрос о власти. Делегации выслушивались, и затем им заявлялось, что заседание будет продолжаться, что вопрос о кризисе власти будет разрешаться и будет разрешен в том смысле, какой найдет нужным собрание».

Это звучит гордо. Но позволительно и тут задать несколько вопросов. Значит, в июле месяце 1917 г., Советы были

«уполномоченным органом всероссийской рабочей демократии», призванным решать «вопрос о кризисе власти»?

Ну, а в октябре того же года, когда эти Советы решили «вопрос о кризисе власти» в пользу большевиков, они уже потеряли эти «полномочия»? Или еще сохранили их? Тогда почему же Чернов и его партия им не подчинились? Потому что нужно было дожидаться Учредительного собрания? Но почему об этом Учредительном собрании ничего не говорилось в июле? Или все дело в том, что большинство ВЦИК в июле было эсеровско-меньшевистское, а с октября большевистское? Но тогда является новый вопрос: ну, а если бы большинство в Учредительном собрании было не эсеровское, оно оставалось бы для эсеров «полномочным органом»? Или и с большевистским Учредительным собранием они вели бы такую же борьбу, какую они вели с Советами? И если теперь политические единомышленники Чернова «не признают» Верховного трибунала, назначенного «уполномоченным органом всероссийской рабочей демократии», то какая гарантия, что они признавали бы суды, назначенные Учредительным собранием?

Как видим, показание Чернова очень «современный» документ, хотя от роду ему пять лет без одного месяца.

«Правда», № 157, 16 июля 1922 г.

БУРЖУАЗНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОИ РЕВОЛЮЦИИ [1]

(Стенограмма доклада в О-ве ист.-марксистов 5 ноября 1926 г.)

Товарищи! Совет Общества историков-марксистов давно настаивает, чтобы я сделал доклад о том, как писать историю Октябрьской революции. Я давно доказываю, что это вещь абсолютно невозможная и ненужная, ибо, прежде всего, для того чтобы писать какую бы то ни было историю, нужно обладать специфическим историческим талантом, когорый есть такой же талант, как талант экспериментатора. В известной степени с этим талантом нужно родиться, в известной степени его можно выработать в себе, но он является первым условием. Без этого таланта никакой истории написать нельзя, а при наличии этого таланта и хорошего, выдержанного, выработанного марксистского мировоззрения можно написать историю Октябрьской революции безо всяких предварительных уроков, даваемых кем бы то ни было. Как вы догадываетесь, эти два признака—исторический талант и марксистское мировоззрение—нельзя приобрести сразу, в порядке слушания одного-двух докладов, даже пребывая членом Общества историков-марксистов в течение, примерно, года или полугода. И, совершенно ясно, мой доклад на такую тему—«Как писать историю Октябрьской революции», никакой пользы не принес бы.

Значит ли это, что мы никаких методологических докладов по истории Октябрьской революции ставить не должны? Конечно, не значит. Прежде всего, мыслим такой доклад—надеюсь, он будет поставлен: «Состояние источников по истории Октябрьской революции». Мыслимы даже два доклада, две темы. Во-первых: «Состояние источников архивных», состояние наших архивов в этом направлении. Тов. Максаков не откажется сделать такой доклад. Второй—«Состояние печатных источников», главным образом, здесь приходится иметь в виду, конечно, зарубежную литературу, но отчасти и незарубежную. Вот одна сторона, с которой можно подойти к этой проблеме методологии истории

---

[1] Miliukow Paul, Russlands Zusammenbruch, 2 B-de. Obelisk-Verlag, Berlin, 1925—1926.

Октябрьской революции. Далее, вполне мыслимо поставить вопрос о различных концепциях, различных пониманиях Октябрьской революции. Стиснуть все эти концепции в один доклад мне представляется в высшей степени нерациональным. Получился бы не доклад для ученого общества, каким является Общество историков-марксистов, а популярная лекция для комсомольцев, которая в данной среде совершенно не нужна. Поэтому и эту тему придется дифференцировать, дать несколько докладов.

Я не буду сегодня касаться тех концепций Октябрьской революции, которые имеются в нашей партийной среде. Даже тут их несколько. С одной стороны, мне пришлось года полтора-два назад на одном, тогда казавшемся весьма авторитетным, докладе слышать нечто вроде того, что Октябрьская революция не была социалистической революцией, в том смысле, как понимал Маркс, а чем-то вроде предельной буржуазной революции, так сказать, осуществившимся идеалом буржуазной революции, после чего началось что-то вроде врастания в социализм. Каким образом в стране, которая не пережила социалистической революции в настоящем смысле слова, в смысле теории Маркса, может совершаться врастание в социализм—этого я не понимаю. Может происходить врастание нашей деревни в социализм после осуществившейся у нас социалистической революции, это может быть, это общее ходячее место, но чтобы в стране, которая совсем не пережила социалистической революции, могло начаться врастание в социализм, и для этого ненужна была социалистическая революция, это, по-моему,—стопроцентный ревизионизм. В настоящее время эти взгляды решительно отвергнуты партией, но они высказывались в литературе, они существуют, обосновываются цитатами, и некоторые из этих цитат вы слыхали на конференции. Это одна концепция Октябрьской революции, одно ее понимание. Другой полюс следующий. Я слышал сегодня, что некоторые группы деревенских комсомольцев утверждают, что есть два вида социализма. Есть пролетарский, опирающийся на крупное производство, и есть крестьянский, растущий из мелкого производства, причем в России якобы второй сильнее первого. Вот опять концепция. Эти люди признают, что революция была социалистическая, но так как после нее, кажется им, кроме социализма ничего быть не может, все остальное исчезло совершенно, то, видя крестьянское мелкое хозяйство, они решают, что это тоже социализм, и нужно найти какую-то формулу, в которую этот социализм влез бы. Опять теория совершенно не марксистская, никем из марксистов не исповедуемая, но существующая. Если там мы имели стопроцентный ревизионизм, то здесь перед нами стопроцентное народничество.

Сегодня я не собираюсь заниматься теми концепциями Октябрьской революции, которые существуют в нашей партийной среде. Но если мы выйдем за партийную среду, то встретим опять целый ряд концепций, одну интереснее другой, если хотите, одну любопытнее другой, ибо то, о чем я собираюсь говорить, более заслуживает термина «любопытное», чем «интересное», но что это любопытно—это несомненно. В особенности любопытна для нас концепция буржуазно-демократическая, любопытна потому, что буржуазная демократия—это как раз есть та военная маскировка, под которой к нам может влезть реакция. Не следует думать, что эта реакция, если бы был удобный момент, прямо выступила бы перед нами в фашистском облике, а что она не выступит в монархистском облике,—с этим соглашается и автор книги, о которой я буду говорить. Она выступит в облике буржуазной демократии, под флагом буржуазной демократии. Поэтому присмотреться, как буржуазная демократия трактует революцию, как она понимает ее,—это для нас, историков-марксистов, заслуживает интереса и внимания.

Я и хочу остановиться сегодня на наиболее выпуклой исторической концепции буржуазной демократии, на самом ярком образчике буржуазно-демократического понимания нашей революции. В известной пьесе Ибсена «Гедда Габлер» есть приват-доцент Эйлерт Левборг, который написал книгу, трактующую о прошедшем, настоящем и будущем. Судьба этой книги или, точнее, ее рукописи, как вы знаете, составляет драматический узел всей пьесы. Левборг потерял ее, впал в ничтожество, запил и пр., а Гедда Габлер застрелилась. И вот, такого рода книгу, трактующую о прошедшем, настоящем и будущем, правда, одной только страны,—а Левборг, повидимому, занимался всем земным шаром,—написал не приват-доцент, а старый профессор русской истории Павел Николаевич Милюков. Это—два тома, названные почему-то,—само заглавие уже выдает умственную сумятицу,—«Распад России». Я говорю «почему-то», потому что в своей книге он говорит о возникновении новой России, а распад по национальной главным образом линии представляет собой только один из аспектов этой картины. Но это не единственная путаница.

С этой книгой я хотел бы вас познакомить. Она состоит из целого ряда отделов, составленных с чисто профессорской добросовестностью, массой цифр и т. д. И, конечно, тех глав, где Милюков касается нашего хозяйства, касается правовой структуры нашего государства, я излагать не буду. Если они представляют для соответствующих специалистов интерес, то эти специалисты могут сделать вам здесь или в другом месте соответствующий доклад, но я сомневаюсь,

чтобы специалисты этим занялись. Я буду касаться только исторических глав, они составляют приблизительно половину всего содержания. Для того, чтобы вы сразу имели некоторый образ, я, извинившись чрезвычайно почтительно перед моим учителем (я слушал лекции Милюкова в университете), все-таки должен сказать, что самый лучший пример, при помощи которого я могу выразить в одном образе впечатление, какое дает книга, это—образ линяющей курицы (смех), у которой старые перья более или менее вылезли, а новые еще не выросли; пестрота получается неимоверная, но весьма любопытная.

Я начну с общеисторической концепции П. Н. Милюкова, с общеисторической концепции, которая интересна потому уже, что, с одной стороны, тут звучат ноты, которые вам, по крайней мере, тем, кто следил за нашей методологической полемикой, покажутся чрезвычайно знакомыми, а с другой стороны,—это концепция в значительной степени новая. Старая концепция Милюкова, концепция русского исторического процесса сводилась к тому, что наш строй развился и наше самодержавие сложилось как организация народной обороны против натиска главным образом из степи. Вы знаете, конечно, что эту концепцию усвоил Троцкий, положил ее в основу исторического введения к «1905 г.», и что на этой почве разыгралась известная вам более или менее полемика. Это—старая милюковская концепция. Теперь Милюков ставит дело иначе. «Возникнув на границе Европы и Азии, русское государство лишь поздно появилось на исторической сцене. Если двигаться с запада на восток Европы, то можно констатировать известную правильную последовательность в деле возникновения государств. Тот процесс государственного развития, который разыгрывался на берегах Сены и Луары уже от V до VII столетия, развился одним или двумя столетиями позже (от VII до VIII столетия) в странах к востоку от Рейна, и четырьмя или пятью столетиями позже в восточной Германии (от IX по XI столетие). На безграничных равнинах будущей Российской империи государственные учреждения начали развиваться пятью или даже девятью столетиями позже, чем во Франции: самым ранним моментом такого рода, который можно найти в русской истории, была Киевская Русь (от IX до XII столетия); самым поздним—образование Московского центра (от XIV до XVI столетия)» [1].

Как видите, тут ни о какой степи речи быть не может по той простой причине, что Франция образовалась гораздо раньше появления каких бы то ни было степняков, с V по

---

[1] У меня был под руками немецкий текст «Распада России», и все цитаты переведены оттуда.—*М. П.*

VII столетие, а тем не менее государство возникло. Как же появилось у нас государство? Оно было импортировано с запада, почти буквально импортировано. «На востоке государство появилось слишком поздно, чтобы оно могло возникнуть изнутри, как результат органического процесса развития. Оно было перенесено на восток извне. На западе государство развивалось постепенно из первоначальной стадии родового устройства, через промежуточные стадии родовой аристократии. На востоке диференцировка внутри родового быта ушла еще недостаточно далеко, как уже появилась необходимость в государственной организации. При отсутствии внутренних элементов для постройки национального государства государственные учреждения были просто наложены сверху на родовой (племенной) строй». В этой связи Милюков совершенно серьезно принимает сказание о призвании варягов. Он приводит его как образчик того, как это государство импортировалось извне,—вот на русскую территорию пришли варяги и устроили первое государство. Вот каким манером происходило у нас это импортирование. К сожалению он не объясняет, кто привез в кармане Ивана Калиту, или он сам пришел. Он был коренной москвич, как я сам, чем я очень горжусь, так что думаю, что Иван Калита не нуждался в импорте, хотя и не являлся предметом экспорта (смех). Этого я не знаю, но во всяком случае схема такая: государство было наложено сверху на общество. Но всякий, знающий русскую историографию, припомнит, что так изображал дело—кто? Славянофилы. Да,—говорит Милюков,—славянофилы в этом отношении были совершенно правы, государство у нас наложено сверху на общество и не является органическим продуктом.

«В течение столетий государственная власть в России оставалась тем, чем она была в то время, когда в первый раз пришли северные викинги: посторонней силой, чужаком, по отношению к которому обязанность повиновения признавалась лишь в той мере, в какой он оказывался полезным. Народ не хотел отождествлять себя с государством, он чувствовал себя не как составная часть последнего, которая отвечает за все целое. Страна чувствовала себя и фактически была независима от государственных властей». Государственная власть—чужак, не слившийся органически с массой, а масса у нас «агосударственная». Слушаемте дальше: «Население было слишком бедно, чтобы быть в состоянии нести издержки усовершенствованного местного управления в том виде, как они существовали в передовых странах. Оно было слишком бедно даже для тех требований, которые предъявляла к нему центральная власть с ее быстро растущими требованиями. Политическое развитие и процесс расширения русского государства всегда опережали хозяй-

ственное развитие России. Государство было поэтому принуждено извлекать из своих бедных подданных больше, чем они могли дать по добросовестному расчету. Отсюда вытекала объективная необходимость применять постоянно насильственные средства».

Вот откуда самодержавие выросло. Самодержавие опережало экономические возможности страны (это мы знаем из другого места) и таким образом существовало. И, наконец, последнее: для чего все это Милюкову нужно? Почему с с этого крыла курица полиняла? Вот вы слушайте: «Отсюда понятно, почему в России, во-первых, сельское население по своим естественным склонностям до последнего времени тяготело к некоторой естественной анархии, и, во-вторых, почему все важнейшие нововведения приходили только сверху, от государственной власти, и, в-третьих, почему каждая новая государственная власть, которая не слишком становилась поперек горла простому народу, с полным доверием могла рассчитывать на пассивное повиновение. В этом лежит на большую долю объяснение событий русской революции» (смех). Вот почему мы с вами, товарищи большевики, сидим так прочно. Просто потому, что народ привык принимать всякую власть, которая не чересчур становится поперек горла. Если вы припомните, что народная масса Милюкова прогнала, стало быть, он стал чересчур поперек горла, то в общем получается благоприятное для нас освещение. Вы понимаете, где тут зарыта собака, почему Милюкову понадобилось слинять, так как превращение историка школы Ключевского в славянофила—это форменное линяние, несомненно. Как бы ни был несостоятелен методологически Ключевский с нашей марксистской точки зрения, но по сравнению со славянофилами это шаг вперед. Милюков делает шаг попятный, и это кладет отпечаток на всю его книгу.

Какая схема русской революции должна была получиться, исходя из этой общей схемы исторического процесса? Должна была естественно получиться простая схема, что стихийные силы, которые бродят в русской народной массе, наконец, прорвались, сбросили чужака—государственную власть, и пошел дикий разгул анархии. Но Милюков как историк связан фактами (я вам дальше приведу образчик того, что он связан фактами), он является более или менее—скорее менее, чем более—добросовестным историком. Вы, правда, увидите такие вещи, которые термин «добросовестный» не позволяют употребить, но он настолько все же связан фактами, что не может отрицать того, что на самом деле происходит. Назвать, то, что у нас происходит, диким разгулом страстей, невероятной анархией—никак нельзя. «Упорядоченное общежитие» у нас существует несомненно, и поэтому он не может этого сказать, он связан. Вот почему его

концепция истории русской революции не укладывается в его концепцию русской истории вообще. У курицы новые перья появились, а старые еще не все вылезли.

И вот, к крайнему удивлению, мы встречаем у Милюкова вещи старые-престарые, которые опять-таки мы недавно читали в книжках, выходящих здесь. Вот, напр., образчик того, как он объясняет крушение первой русской революции (курьезным образом он начинает раньше с крушения первой русской революции, а потом переходит к общей концепции): «Единый политический фронт, существовавший до октябрьского манифеста, после его появления был сломан; революционное движение отделилось от конституционного, сделало попытку провести вооруженное восстание собственными силами и в декабре 1905 г. было разбито на московских баррикадах. Если после этого выборы в думу были произведены все же на основе довольно либерального избирательного закона от 11 декабря, то это следует объяснить тем, что правительство надеялось иметь дело с послушным, бесцветным крестьянством». Как это правительство, если оно не сидело в сумасшедшем доме, могло надеяться на послушное крестьянство, когда это крестьянство нагнало такого страху на помещиков, что Трепов предлагал отдать даром половину земли крестьянам,—это секрет Милюкова. Но это изображение похоже на то, что мы с вами читали в одной книге, вышедшей благополучно у нас. «Революция 1905 года была сорвана потому, что единый фронт исчез». Был, видите ли, единый фронт буржуазии и пролетариата. Я 1905 год пережил, но, убейте меня, не могу сказать, когда это был единый фронт буржуазии и пролетариата в 1905 году. Правда, у меньшевиков был, но они весьма условно принадлежали к революции, главным образом они боролись против революционного левого крыла,—но когда у действительно революционной массы был единый фронт с буржуазией, этого я не представляю себе; а по Милюкову и некоторым нашим здешним авторам так выходит.

Но Милюков этим ограничиться не может, ибо это концепция меньшевистская, а он—просто кадет. И дальше мы находим великолепное место, которое я позволю себе вам процитировать. Он рассказывает о леге 1906 года, о попытке образовать кадетское министерство. «Попытка исходила от царя,—гордо заявляет он (не подумайте, что меня камер-лакей позвал),—который через посредство своих министров обратился ко мне с предложением образовать кабинет из большинства думы». (Что тут было маленькое затруднение, а именно, что кадеты большинства в думе не имели, мимо этого он проходит). «Но посредники отнеслись к этому несерьезно» (значит, Николай-то относился серьезно, простирал объятия к Милюкову: батюшка, приди, спаси!). «Для

них дело шло о том, чтобы приобрести для кабинета несколько популярных имен, но они не собирались делать какие-либо существенные уступки нашей политической программе. Таким образом, мы естественно не были в состоянии взять в руки правительственную власть и ответственность перед народом. Переговоры не имели успеха, и шанс на мирное политическое развитие был потерян. «Дума народных надежд» после семидесяти дней существования была распущена».

И тут великолепный, я не могу даже назвать его куриным, петушиный хвост. «Изданный в Выборге призыв оппозиции к пассивному сопротивлению, к отказу от платежа податей и дачи рекрутов в случае несозвания новой думы не имел успеха. Этот факт показал, каким чуждым народу и теоретическим был постоянный призыв к восстанию, с которым носились социалистические партии». Великолепнее этого петушиного хвоста я в жизни не видел. Что народ не послушался этого гунявого воззвания, которое было издано после того, как объективная возможность восстания была утрачена, когда кадеты на выборах в первую думу сами осмеяли и оплевали идею восстания,—это служит доказательством для него, что идея вооруженного восстания была чужда народу. А Дубасов в декабре 1905 г. находил, что далеко не чужда, и поступил весьма практически. Тут мы видим, что великолепная новая теория, которую развивал Милюков,—как, я не могу сказать, боюсь, я не подберу слова, Милюков любит немецкое слово «фермутлих» (предположительно),—эта теория объясняется исключительно тем, что Милюков все же следит за русской исторической литературой и не может не видеть, что оборонческая теория возникновения самодержавия разбита вдрызг, от нее ничего не осталось. И так как он до известной степени добросовестный историк, он должен был переседлаться. Кстати, соблазнился идеей: почему народ большевиков терпит? Возникает новая великолепная теория, но слить ее с новой концепцией русской революции—мы увидим, что и тут есть новая концепция—не хватило уменья.

Эти места интересны только методологически. Но в книге Милюкова, как во всякой книге историка, который пишет о своем времени, неизбежно вкрапливаются автобиографические моменты мемуарного характера. Они, конечно, ни с какой исторической концепцией не связаны. Это просто куски воспоминаний, но чрезвычайно любопытные. Первая революция провалилась, провалилась потому, что не было единого фронта, а главное, царь позвал кадетов, а те, кто стали от имени царя с кадетами разговаривать, оказались людьми несерьезными. Первая революция кончилась. Начинается про-

межуток между двумя революциями, и тут начинаются автобиографические моменты, которые, повторяю, в высокой степени любопытны. Мне хочется говорить подлинными словами Милюкова. Вот что читаем мы у него о промежутке между 1907 и 1917 гг., о «противоречиях, раздиравших думские группы»: «Первым было противоречие между высокой репутацией, которой пользовалась дума в стране и которая дала ей выдающуюся роль в начале революции, и ее фактической политической незначительностью. 4-я дума была избрана в 1912 г. под очень сильным давлением правительства, стремившегося составить большинство, которое согласилось бы на восстановление самодержавия. Эта цель не была достигнута, и дума не имела правительственного большинства, но в то же время в ней не было и никакого другого большинства». Это мы читаем на стр. 27, а перед этим, на стр. 22, мы читаем: «Это (неумение самодержавного правительства вести войну) побудило думу с ее определенным консервативным большинством покрыть своим авторитетом петербургское военное восстание 11 марта». На стр. 22—«определенное консервативное большинство», а на 27 стр. оказывается, что никакого определенного большинства не было. Произошло маленькое линяние: одно перо выскочило, другое осталось, и в результате получилась такая картина.

«Славу либерализма приобрело только оппозиционное меньшинство; дух, господствовавший в палате, вообще не имел с этим ничего общего. Как целое, дума была, таким образом, неспособна встать во главе революции». Вернитесь к стр. 22 и прочтите такого рода вещь: «Согласие думы в тот момент имело для первого успеха революции решающее значение. Если бы дума не стала во главе движения, ответственные вожди армии, вроде генерала Алексеева и Рузского, никогда не стали бы на сторону революционеров. Царь не был бы так легко и скоро вынужден отречься. Борьба началась бы уже на следующий день, борьба, в которой крайние элементы одни или, может быть, еще с поддержкой некоторой части петербургского гарнизона, сражались бы за революцию. Они были бы, по всей вероятности, скоро изолированы и разбиты. Таким образом, русские реакционные группы совершенно правы, когда они делают ответственными за успех революции вождей думы». Это мы читаем на стр. 22, а на стр. 27—то, что я говорил: «Как целое, дума была неспособна стать во главе революции. Прогрессивный блок был высшим ее достижением».

Разрешите привести характеристику этого прогрессивного блока. «Я сам отвечаю за образование в думе случайного большинства, которое мы назвали «прогрессивным блоком», хотя по своей программе он был больше, чем умеренным. Не только либеральные, но даже и самые

консервативные элементы обеих палат принадлежали к этому блоку» (смех).

Таков этот прогрессивный блок, это высшее достижение думы. «В тот момент, когда вспыхнула революция, в тот же самый день, 11 марта, дума была отсрочена высочайшим указом—мера, которая не стояла ни в какой связи с революцией. Вопреки ходячей легенде, дума вовсе не собиралась продолжать свои заседания. Она повиновалась царскому указу. Думская комиссия, образованная в тот день и назначившая двумя днями позже первое временное правительство, не была избрана в формальном заседании думы, действующей как государственное учреждение. Выборы состоялись в неформальном собрании, которое происходило частным образом в одном из соседних с залой заседаний думы помещений. Таким образом, Временное правительство получило свои полномочия не от какого-нибудь легального государственного органа дореволюционного времени, но от самой революции».

Это же крик души, товарищи. Я очень хорошо помню, как, когда мы составляли хронику русской революции, один юрист, беспартийный, конечно, которому мы поручили написать главу о юридической структуре Временного правительства, усиленно разыскивал легальные инстанции, через которые это Временное правительство пришло к власти. Милюков выше этой комедии. Народ все смел, а затем, отчасти по глупости, отчасти по другим качествам меньшевиков и эсеров, власть все-таки попала исключительно в руки Милюкова и компании. Вот как в действительности было дело. Согласитесь сами, что это картина чрезвычайно достопримечательная. Абсолютно новой она не является. Дело в том, что уже в 6-м томе «Падения старого режима в 1917 г.» мы встречаем в показании Милюкова такие строки: «Вечером я узнал, что Государственная дума распущена, потому что сведения об этом мне по телефону сообщил Родзянко еще 26 вечером; но очевидно, что движение не стояло ни в какой связи с роспуском думы. Оно просто фактически совпало с этим роспуском». Совершенно верно, о думе никто не думал, кроме эсеров и меньшевиков, которые случайно оказались во главе движения. Рабочие удовольствовались бы Советом рабочих депутатов и не вспомнили бы о думе. Чрезвычайно ценно, что мы теперь имеем признание фактического главы первого правительства. Милюков тут буквально подтверждает то, что мне приходилось говорить в своей старой статье, в «Вестнике агитации и пропаганды», о возникновении этого самого Временного правительства, что оно было заготовлено на случай заговора, который организовали, вождями которого были Гучков, Крымов и Терещенко. Ми-

люков там же говорит: «Мы приготовились ко всяким случайностям и организовали на всякий случай то правительство с князем Львовым во главе, которое и стало на свое место после 27 февраля». Совершенно верно, в кармане было заготовлено «правительство народного доверия», и оно было подсунуто меньшевикам и эсерам. Я правильно угадал, что был запасен в кармане и «император народного доверия». «Тогда же,—говорит Милюков,—было намечено регентство Михаила Александровича при наследнике Алексее». Все было действительно заготовлено, в кармане держалось, затем вынули и подсунули. Подсунули благодаря тому, что народная масса, неорганизованная масса, несознательная, в достаточной степени была в тисках, в путах, в паутине того добросовестного оборончества, о котором говорил Ленин. Милюков признает, что фактическим хозяином в марте 1917 г. была народная масса, та народная масса, которая смела начисто старый режим и создала убогое первое Временное правительство.

Это характеристика думы. Дальше следует не менее убийственная характеристика и самой конституционно-демократической партии, лидером которой состоял и лидером левого крыла которой до сих пор состоит Милюков. Я не буду приводить цитат, потому что они несколько утомляют аудиторию, а скажу своими словами. Прежде всего не могла существовать в то время никакая демократическая партия с реальным значением,—говорит Милюков,—не позволило бы этого самодержавие. Это признание Милюкова—великолепнейшая вещь. «Самодержавие, таким образом, в высокой мере ответственно за отсутствие здорового политического руководства». Можете представить себе в какой-нибудь стране самодержавие, которое организует, на манер, как организуют высшие учебные заведения, настоящую демократическую партию, связанную с массой. По вине самодержавия, этого высшего института, наряду с Московским университетом и Высшим техническим училищем, не оказалось, и благодаря этому масса оказалась без руководства. «Все партии, буржуазные или социалистические, одинаково потерпели неудачу в своих попытках овладеть народными массами и просветить их» (он умалчивает, что большевики просветили, в конце концов). «Конституционно-демократическая партия состояла, главным образом, из прогрессивных земцев и интеллигентов и пользовалась высоким моральным авторитетом. К этой партии принадлежало большинство буржуазных министров четырех временных правительств, существовавших между мартом и ноябрем. Их работа протекала на основе коалиции с умеренными социалистами, в особенности аграрными социалистами (социал-революционерами). В них, разумеется, не было ничего контрреволюционного. Но массы, выдвинувшие

их на первый план, не знали их. Они валили конституционных демократов в один котел с другими буржуазными группами думы и охотно слушали экстремистских демагогов, которые называли всех безразлично «капиталистами» и «империалистами». Фамильярное прозвище партии, «кадеты», было использовано демагогами, чтобы отождествить их с юнкерами, которые считались реакционерами. Так, одного факта их участия во временных правительствах было достаточно, чтобы дискредитировать эти последние в глазах массы». Таков был результат «высокого морального авторитета», которым пользовалась кадетская партия.

Так дело происходило в течение Февральской революции. Что дальше? Дальше следуют весьма любопытные моменты, где опять перемешивается официальная кадетская концепция с кусками воспоминаний, с воплями души. «В течение некоторого времени существовал свободный выбор между Корниловым и Лениным. К сожалению, никакой единый фронт от Керенского до Корнилова не оказался возможен, и руководимые некоторого рода инстинктом массы—потому что решение принадлежало массам—высказались за Ленина.—Корниловское движение, которое в сентябре 1917 года перешло в восстание против правительства, первый раз показало населению действительно контрреволюционные группировки».

Итак, к сожалению, единый фронт от Керенского до Корнилова не образовался. С кем предполагался этот единый фронт, который «к сожалению» не состоялся? Кое-что мы с вами уже слышали, послушайте еще: «Корнилов всецело стоял под влиянием правых организаций, которые тогда, конечно, еще не преследовали целей реставрации и ратовали только за создание диктатуры. Но, конечно, были правы те, кто утверждал, что сосредоточившиеся в этих организациях элементы с самого начала были тем, во что они потом развернулись, именно—представителями реакции. Уже тогда здесь зрела оппозиция, не только против эксцессов революции, но и против революции как таковой».

Итак, корниловский заговор был заговором чисто правых организаций. А раньше мы видели, что в первый раз в корниловском заговоре массы увидели настоящую контрреволюцию. «К сожалению», между этой контрреволюцией и Керенским не образовался единый фронт. Приходится об этом очень жалеть. А еще приходится жалеть, что Милюков умолчал о том, что какой-то господин М., по рассказу ген. Деникина, стоял в чрезвычайно близких отношениях к корниловскому заговору, был фактически идеологическим руководителем республиканского офицерского союза, который дал главную массу корниловского движения. Кто этот господин М., не будем догадываться—нехорошо рас-

крывать псевдонимы, но мне кажется, что он в некотором родстве с той облезлой курицей, о которой мы говорили. Мы понимаем, почему он пытался образовать этот единый фронт. И после этого вы оцените характеристику созданного тем же автором «прогрессивного блока», куда входили не только прогрессивные, но и консервативные элементы.

Это—момент чрезвычайно важный и серьезный. Что это значит? Это значит, что накануне Октябрьской революции 1917 года русская буржуазия представляла собой ту сплошную реакционную массу, которую буржуазия представляет только в момент или накануне социалистической революции. В буржуазной революции буржуазия всегда делится на два крыла. Так это было в 1905 г. Было левое крыло—особенно если правильно причислить к буржуазии эсеров,—было левое крыло и довольно энергичное, эсеры действовали в первую революцию довольно решительно. А ко второй революции вся буржуазия образовала единый фронт, единый реакционный блок. Милюков заявляет, что Корнилов был определенный реакционер и что, «к сожалению», от Керенского до Корнилова через Милюкова не установилось единого фронта.

Итак, теперь на основании подлинных слов лидера буржуазного движения, лидера, чрезвычайно квалифицированного, серьезного, крупного историка и политика, редактора наиболее бойкого и боевого органа левого крыла нашей буржуазной демократии, мы знаем, что буржуазия вся в целом в августе 1917 года представляла реакционную массу, которой только вследствие разных более или менее случайных причин не удалось образовать единого фронта от Керенского до Корнилова, и благодаря этому она сорвалась. Вы видите, что тут от исторической теории Милюкова ничего не остается, но я должен сказать, что от нее не осталось ничего и по поводу первой революции; что там, где, казалось, должен был выступить наружу стихийный анархизм русского народа, мы встречаем такое «аперсю»: «Выдвинутое крестьянами требование земель фактически лежало в основе всей политической борьбы последних десятилетий... Моя партия, «буржуазная» демократия старалась соединить требования народа с юридической точкой зрения частной собственности и с здоровыми экономическими принципами». Спрашивается, откуда же земля-то появилась? Раньше была государственная власть, которая свалилась сверху, народ—масса, чуждая государственной власти, стихийно-анархическая, а вопрос оказывается в земле. Что за притча? Откуда земля? Одно перо выпало, другое не выросло.

У Милюкова здесь внезапно выступает определенная классовая точка зрения, которая, как вы увидите, торжествует всецело на протяжении последних глав книги, где он гово-

рит о настоящем и будущем. Там классовая точка зрения стоит совершенно определенно, я к ней перейду. Но прежде необходимо закончить характеристику концепции революции 1917 года, как она дана Милюковым. Нет ничего удивительного, что чем дальше мы от буржуазии, чем ближе мы к пролетариату, тем концепция Милюкова становится туманнее и, я бы сказал, элементарнее. Он спускается не то до кадетской листовки, не то до какого-то учебника. Начинается это, нужно сказать, необыкновенно гордо. Это гордое место я должен прочесть: «Мы можем теперь, проследить все развитие большевизма—от его истоков до его гибели, (смех), которая в настоящее время признается самими большевиками (смех). Эти последние, разумеется, скажут вам, что это еще не конец, но только новое испытание, которое будет также преодолено, как были преодолены предшествующие. С этим объяснением можно соглашаться и не соглашаться. Но относительно самих фактов не может быть никакого сомнения».

Вы ожидаете в этой главе, посвященной Октябрьской революции, видеть развертывание, с одной стороны, доктрины большевиков, с другой стороны, их деятельности, но вы ждете напрасно, потому что, чем дальше автор от буржуазии и чем ближе к пролетариату, тем более убога становится точка зрения, точно он сам приобщается к несознательному рабочему и начинает говорить его языком. Прежде всего, общая характеристика. К чему стремились большевики? «Вторая русская революция 7 ноября 1917 г. имела своим основным принципом универсальное восстание одного единственного класса, рабочего класса, «пролетариата», против всех правительств и всех других общественных классов во всем свете» (всех, и крестьян, и кого угодно, всех сплошь). «Они, большевики, имели вначале одно единственное честолюбие, состоявшее в том, чтобы побить рекорд Парижской коммуны 1871 г.» (смех; голос: «Спортсменская точка зрения»). Спрашивается: откуда же пришла в голову большевикам такая вредоносная идея? Этого никто не знал, пока не появилась книжка Милюкова. А от последнего мы знаем, что в 1913 г. бывший профессор Дюфур выпустил книжку под названием, кажется, «Революционный синдикализм и война», что-то в этом роде. В этой книжке в 1913 г. он высказал «новую» мысль, которая к тому времени была затрепана до полного неприличия: что ближайшая европейская война или вызовет непосредственно социалистическую революцию, или создаст для нее предпосылки. Эта мысль была свежей в 80-х годах, когда ее высказал Энгельс, и потом развивалась Каутским и целым рядом публицистов. Я помню, в наших эмигрантских кругах и у Горького на Капри это была обычная тема разговора:

«Когда разразится война...», потому что все знали, что в результате войны будет революция. Так вот в 1913 году бывший профессор политической экономии Дюфур изложил эту «свежую» мысль в книжке, и, когда Милюков прочел эту книжку, его осенило: вот откуда большевики пришли, от Дюфура. Он говорит: «Вся теория Ленина заключается в этой самой книжке Дюфура» (смех). «В этой книжке, которая появилась в 1913 году и которая предвосхищает многие подробности ленинской тактики, развивается эта идея использования войны для целей сознательного меньшинства, для содействия революции».

Итак, теорию мы слямзили у Дюфура. Милюков на протяжении всей книжки стоит упорно на том, что мы с вами, большевики,—революционные синдикалисты, и никаких—ни Маркс, ни Энгельс здесь не при чем. Революционные синдикалисты, ученики Сореля, Дюфура и т. д., и т. д. Это—что касается теории. Теперь, что касается практики, тут опять мы имеем эпизод, которым я и закончу первую часть доклада. Тут опять мы имеем эпизод, который наводит на мысль, что Милюков все-таки читает русскую историческую литературу и кое-что оттуда узнает. Многие из вас помнят его первый том «Истории русской революции», где подробно развита теория, каким образом Ленин, подкупленный немцами, что было установлено знаменитым Ермоленко, в апреле 1917 г. засел в особняк Кшесинской и начал оттуда разводить революцию. Это было напечатано у него с разными характерными подробностями: появлялась фигура в военной форме, неизвестного происхождения, повидимому, переодетый шпион, цитировалась невероятно безграмотная «секретная телеграмма германского генерального штаба». В этой же книге никаких следов Ермоленко и всей этой истории с таинственной переодетой фигурой и т. д. нет. История грехопадения Ленина рассказывается совершенно иначе. Прежде всего это происходило вовсе не в 1917 г. Это было в 1913 г., когда Ленин жил под Краковом. «Фермутлих»—предположительно—тогда он связался с немцами. Это доказывается тем, что в 1915 г. 6 немецких промышленников представили Бетман-Гольвегу записку, где требовали аннексии западной окраины России, как раз тех областей—Эстонии, Латвии, Литвы, Польши,—которые после Брестского мира оказались за пределами РСФСР. А Ленин в 1913 году начинает проповедывать самоопределение национальностей, вплоть до полного отделения (смех). Ясное дело, что это было подготовлено. Правда, не совсем выходит с хронологической стороны,—промышленники представили свою записку в 1915 г., а Ленин жил около Кракова в 1913 г. Затем, промышленники германские, а Краков был в Австрии. Но зато потом, излагая условия Брестского мира,

Милюков с торжеством восклицает: «Вот оно!» «Bis aufs Haar» (до волоска!). Как две капли воды похоже на то, что писали немецкие промышленники. А Ермоленки больше нет. Возможно, что я хвастаю, и вы можете назвать меня старым хвастуном, но, право, моя статья, где я изображаю этого Ермоленку настоящим образом, сыграла в этом роль. В самом деле, почему этот Ермоленко исчез, и исчезла вся эта история с подкупом 1917 г., а выплыла в 1913 г. в Кракове? По-моему, объясняется просто. До известной степени Милюков—историк, и по-своему—добросовестный историк, и когда ему доказали, что Ермоленко—бывший царский шпик, бывший охранник, к которому относились с брезгливостью даже царские генералы, когда все это было иллюстрировано цитатами, после этого Милюков, поскольку в нем остались следы исторической совести, не мог воспроизвести Ермоленка. Но он не мог отказаться от идеи, что Ленин—предатель, подкуплен немцами и т. д. И вот он подошел с другого конца: не Ермоленко, а в 1913 г. Ленин жил под Краковом, и там-то и произошла эта история. Большевистская практика все же является результатом немецкого подкупа, но только в иной плоскости, нежели это изображалось им раньше.

С этим тесно связан национальный вопрос, поскольку он зацепился за то, что Ленин проповедывал «вплоть до полного отделения». Ему необходимо было взять национальный вопрос тем более, что в конце книги он признается, что ничто так не мешает воссозданию распылившейся России, как этот окаянный Союз советских социалистических республик, который всем, до самых мелких национальностей, внушил идею, что у них есть свое лицо, которое можно защищать.

Я остановился, товарищи, на том аспекте ленинской «измены», который теперь дает Милюков. Это подводит нас к его взгляду на национальный вопрос, хотя, собственно, его характеристика национального вопроса скорее относится к заключительным главам его книги, т. е. к тем главам, где он касается будущего России, но она связана и с исторической частью, так что позвольте в виде отдельного эпизода дать ее сейчас. Само собой разумеется, что национальный вопрос выдуман в России большевиками, сам по себе он не существовал и для него никакой почвы не было. «До самого последнего времени ни одна национальность в России не стремилась к отделению от русского государства, и даже мысль об автономии не была популярна. Это настроение национальностей было в полном согласии с духом русского народа, который никогда не проявлял агрессивного национализма; даже более, он не всегда сознавал даже свою собственную национальность,—болезненное и

раздраженное национальное чувство возникает всегда там, где есть опасность денационализации, которая особенно угрожает малым народам. О такой угрозе в такой стране, как Россия, не могло быть речи. Россия была слишком велика, и ее население было далеко от того, чтобы подвергаться влиянию других национальностей, и даже не догадывалось о существовании этих маленьких народов». Говорят о нашей великодержавности. Ничего подобного. Оказывается, не мы нападали, а на нас нападали чуваши, мордва, киргизы и нас насиловали. Вот как было дело в действительности.

«Какое положение по отношению к национальным проблемам заняли русский либерализм и русское общественное мнение? Само собою разумеется, что русский либерализм был чужд исключительного и шовинистического национализма. Он был всегда великодушным, свободомыслящим и космополитическим. В этом направлении действовали также русская литература и поэзия, поскольку достигало их влияние». Позвольте обратить ваше внимание, что во всей классической русской литературе, от Пушкина до Гончарова, еврей называется не иначе, как «жид». В этом отношении классическая литература действовала чрезвычайно «умиротворяющим» образом. Кстати, по поводу отношения к евреям характерно, что в обуревающем его «миролюбии» Милюков забыл дату еврейских погромов и относит их к 1890 г., тогда как они были в первый раз в 1881—82 гг., а потом в начале 900-х годов. В 1890 же году, кроме «тихого» погрома в Москве, который выразился в выселении 20 тыс. еврейских ремесленников, погромов не было. Он говорит, что только при Николае I (1825—1855) мог быть национализм, а при Александре III, при Николае II ничего подобного не было, литература действовала умиротворяюще (Литература наша была, конечно, проникнута великодержавностью, это не подлежит сомнению, проникнута пренебрежением к разного рода мелким народностям.). Само собой разумеется, что при таком мире и благорастворении воздухов «магометанское население не желало ничего дальше свободы религиозной и культурной жизни. Оно доверило свое дело русским демократическим партиям» (в особенности конституционалистам-демократам, т. е. «кадетам»). Вот как было дело. Если нужна была защита, то дворян или кадетов. А пришли злые большевики, «фермутлих» подкупленные в 1913 г. близ Кракова, и развели национальный вопрос. В результате Россия распалась на целый ряд народностей, и теперь это ставит «возродителей» России перед большими затруднениями (Милюков везде говорит о «возрождении»), поскольку возродить старые, мирно-великодержавные отношения действительно чрезвычайно трудно. Теперь всякая национальность лезет в люди, всякая чувствует себя чело-

веком,—поди подведи их под то «умиротворяющее» начало, которое господствовало в классической русской литературе, презрительно третировавшей всяких «армяшек» и разных «восточных человеков». Не сделаешь этого теперь...

Перейдем дальше, к его объяснению революции. Тут мы натыкаемся на чрезвычайно характерные признания, их целый ряд. Прежде всего Милюков окончательно должен был расстаться с мыслью о том, что Октябрьский переворот был чем-то вроде дворцового переворота, что это сочинили большевики с некоторым количеством солдат, некоторым количеством балтийских матросов и пр. «В Москве,—говорит он,—в ноябре борьба против большевистского переворота не была поддержана массами. Здесь за русское государство сражалось пять тысяч юнкеров, студентов и прапорщиков: солдаты и рабочие были на стороне большевиков, а буржуазия не выставила никакой национальной гвардии, чтобы помочь сражающимся». Таким образом, массовый характер Октябрьской революции Милюков вынужден был признать. Это была действительно народная революция; с этим он ничего больше поделать не мог. Естественно, перед ним стоит вопрос: как это случилось? Подкупили человека под Краковом немецкие промышленники, и в результате,—народная революция. Как понять? Правда, крестьяне выступили из-за земли довольно рано, в революцию 1905 года, ну, а рабочие? Как с этим быть? Чем действовали большевики? И ответ Милюкова в этом отношении по своей оголенности, совершенной бессодержательности и никчемности превосходит все ожидаемое. Если бы я был немецким читателем этой книги, то я бы обиделся, что мне подают такие вещи. Милюков отвечает: «Чем держались большевики? Обещаниями и застращиванием». Сначала обещали, потом застращивали. И это представление о народном движении, о массовом движении. Так можно поступать только со сворой собак. Сначала дать подачку, а потом—плетью. Но как с народной массой, которая дала власть первому временному правительству, по признанию самого Милюкова, как с этой народной массой можно было так поступать? Я понимаю, можно соблазнить, обмануть обещаниями в первое время, но как в течение 10 лет обманывать обещаниями?

И вот для того, чтобы объяснить «застращивание», Милюков должен прибегнуть к цифрам совершенно необыкновенным, к цифрам, которые позвольте вам привести. Это статистические результаты деятельности ЧК. Я приведу только два примера. ЧК расстреляла 6 675 профессоров, 355 250 интеллигентов, 28 архиереев. Это маленькое дело. Расстрелом архиереев не запугаешь народную массу. Поэтому в число расстрелянных вводится 260 000 солдат, 193 350 рабочих, 815 000 крестьян (голос: «А источник указан?»). Из «Тайм-

са». Согласитесь, что такого рода колоссальными мерами можно запугать кого угодно. Вот каким образом производилось запугивание народной массы.

Так что перед нами двуликий Янус: одно лицо ласково улыбается, другое—запугивает. Так держалась большевистская власть. Это объяснение даже для читателя Милюкова, он чувствует, совершенно недостаточно. Он пускается в социологический анализ того, на чем держалась большевистская власть, и обнаруживает большую меткость. Он в первую голову, как причину прочности большевистской власти, ставит, как вы думаете, что? Нашу партийную организацию. Это,—говорит,—первое условие, которое обеспечило большевикам длительное господство. Он описывает нашу партийную организацию с внешней стороны довольно правильно на основании наших газет, статистику приводит и т. д. Характерно, что этот лютый враг советской власти и коммунистической партии во главу угла ставит именно нашу партийную организацию с ее дисциплиной. Вы понимаете те радостные вопли, которые раздались, когда им показалось, что партийная дисциплина расшатана. Это не было только злорадство, это была определенная надежда, основанная на социологической предпосылке. Партия—это первое. Второе—он ссылается на Красную армию. Создание Красной армии он также считает одним из крупнейших достижений большевизма. По этому поводу он пускается в разные странные рассуждения, ставит, напр., вопрос, как же так: в Красную армию привлекали военных специалистов и в то же время интеллигентов расстреливали?—и он поясняет: красный террор не имел прямой задачей истребление интеллигенции, а хотел только запугать и заставить ее служить большевистским интересам. Самое объяснение любопытно. Неужели Милюков имеет в виду таких читателей, которые думают, что у нас предполагалось поголовное истребление интеллигенции? Его цифры близко подводят к этому.

Таким образом, Милюков, повторяю, с шутовского, иначе нельзя назвать, и никчемного объяснения, что большевики держались обещаниями и запугиваниями, вынужден объективно, самим историческим материалом, дойти до признания известной объективной базы, которая есть у большевизма, организационной базы. И он ее видит в партии, с одной стороны, и в Красной армии, с другой стороны. Вот на чем держались большевики и почему не удержались противники! На этот последний счет Милюков дает разоблачения, не новые, конечно,—говорить о новости не приходится,—но до чрезвычайной степени убийственные, поскольку они появляются на страницах такой книги. То,

что я прочту сейчас, все это большинству известно, но любопытно, что сам Милюков это теперь признает.

Мы знаем, что Ленин действовал по заказу германских промышленников, и в результате этого на улицах Москвы должны были, казалось бы, появиться немецкие шуцманы, переодетые в русскую форму, хватать честных кадетов, сажать их в тюрьмы и т. д. На самом деле произошло следующее: «У военной партии,—говорит Милюков,—существовал план низвергнуть большевистское правительство в Москве по возможности русскими руками (фраза, которая несколько поражает. Почему «по возможности русскими руками»? Мы знаем, что был 8-часовой рабочий день «по возможности», но «русскими руками по возможности»—это же прелестно!) и восстановить русскую монархию. Предложения этого рода не один раз делались немецкими представителями правым группам русского политического фронта, в то время как союзники обращались к левым группам. Переговоры велись, впрочем, и непосредственно с русскими офицерами через комиссию по обмену военнопленными. Существовал план одеть немецких военнопленных в русскую форму, под предводительством русских офицеров занять все командующие пункты в Москве и держаться на них 24 часа, пока подъедут германские войска из Орши. В деньгах для подкупа латышских стрелков и для приобретения оружия не было недостатка. Переворот намечен был на июнь. Трудно сказать, почему с германской стороны 18 июня (какая точная дата!) внезапно от него отказались: может быть, потому, что немцы нашли какую-нибудь другую возможность для концентрации их военнопленных в Москве, или потому, что «восточный фронт» около этого времени казался им не столь опасным, или потому, что русские политики в решительную минуту не нашли мужества сделать то, что сделал на юге генерал Краснов, именно, обязаться решительно выступать против тех русских сил, которые объявили бы себя за ориентировку в пользу Антанты и за «восточный фронт». По изображению Гельфериха в его мемуарах, в Берлине политика соглашения с небольшевистской Россией «не встретила сочувствия»; германское министерство иностранных дел было за сотрудничество с большевиками».

Ну, хорошо. А тут кго собирался соотрудничать? Счьей стороны? Ясно, что эти планы шли не со стороны немцев. К немцам обращались, немцев просили, у немцев хлопотали. Для чего? Чтобы они, переодев в русскую форму немецких военнопленных, низвергли ставленника немецких промышленников Ленина. Какофония получается необычайная. Милюков тут умалчивает о своей роли. Он-то и был «немецкой ориентацией», за это его Клемансо и в Париж

не пустил, и всю русскую делегацию выслал из Парижа, потому что в ней был Милюков. Это оправдывает идею о космополитизме русской интеллигенции: вчера дрались с немцами, вешали на большевиков всех собак, говорили, что они куплены немцами, а теперь сами вот какие переговоры с немцами ведут. Если эта часть русской интеллигенции вела переговоры с немцами, то «оба левых союза, по показаниям их члена Н. И. Астрова, получали от союзников значительную финансовую поддержку, которая очень оживила деятельность этих организаций; миллионы (мы установили на эсеровском процессе, что эти миллионы были русские, бумажные) Антанты были употреблены на политическую работу центров, на открытие филиалов в провинции и отчасти на организацию вооруженной силы, в первой линии, офицерских групп, чем занялись оба союза. Эти группы были, впрочем, количественно незначительны; они были понемногу выловлены и уничтожены большевиками. Остатки их членов рассеялись по окраинам».

Дальше, по поводу ярославского восстания. Это всем известный факт, я извиняюсь, что привожу его, но это интересно для милюковской концепции. Когда национальный центр усомнился в целесообразности такого восстания, Савинков для ослабления возражений привел такой аргумент: «Операция, конечно, не вполне подготовлена, но французы настаивают. Отсрочка, впрочем, привела бы к распаду организации, тогда как восстание, раз начавшись, может распространиться со стихийной силой и этим покрыть недочеты подготовки». Таким образом, предприятие носило, по признанию самого руководителя, характер чистейшей авантюры.

Итак, одна часть интеллигенции желала состоять на немецком жалованьи, просилась на службу к немцам, но принята не была, другая—состояла на французском жаловании, была принята действительно, и французы поручали ей различные операции, вроде ярославского восстания. Милюкову не приходит в голову, что настоящий распад старой России в таких фактах и выражается, как выражался, впрочем, и во время Великой французской революции, когда поступление французских эмигрантов на службу в Австрии, в России означало их духовную смерть. Интеллигенты могли быть националистами, патриотами, шовинистами, чем угодно, но когда человек, который обличает других в недостатке патриотизма, который все свои обвинения против политических противников строит на том, что они куплены немцами, когда такой человек превращается в иностранного наемника, то это—человек, потерявший всякий, а не только «высокий моральный авторитет». И поскольку этим занималась вся русская белогвардейщина того времени, никакого

смысла не имеют попытки Милюкова отмежеваться от монархизма. Он смеется над монархизмом, говорит, что никакого успеха монархизм в России иметь не может, что монархия была непопулярна в России и только некоторые монархи были популярны, вроде Александра II; он смеется над тем, что в Белграде назначают симбирского и пензенского губернаторов. Все это так. Но все они одним миром мазаны, все были вместе, он сам говорит, что с немцами были и монархисты, а с ними был Милюков.

Вот откровенная картина того, с чего началась гражданская война; все эти факты относятся к лету 1918 года. Она под пером Милюкова чрезвычайно выразительна. И совершенно естественно, что человек, который так реалистически смотрит на своих собратьев 1918 года, приходит к такому резюме относительно гражданской войны: «В следующем периоде проявилось действие сначало равнодушного, но потом уже и враждебного отношения населения к антибольшевистскому движению. Это отношение в первую очередь нужно отнести к уже упомянутым причинам—роковому, огульно отрицательному отношению народных масс к правящему слою, каков бы ни был состав последнего» (почему же было отрицательное отношение к белой армии, а не к большевикам, этого не поймешь...); «...а затем, уже в особенности, к тому факту, что «белые» армии несомненно носили классовый характер, который именно выступал в их отношениях к крестьянству и к аграрному вопросу; наконец, в этой же связи действовала и тяжесть реквизиций и военных повинностей, которые были наложены (на население) главнокомандованием «белых армий». Эти причины привели к тому, что «белые армии» все больше изолировались от населения и оказались в политическом одиночестве».

Итак, последний удар белогвардейщине наносит сам Милюков, признавая ее классовым движением, притом, как видно из других мест, которых я не привожу, главным образом, классовым помещичьим движением. Он очень отмежевывается, и правильно, до известной степени, отмежевывается от добровольческой армии Деникина, заявляя, что кадетов туда приглашали, как генералов на свадьбу, да и то только правых, которых от черносотенцев невозможно было отличить. Я не процитировал, но у него есть очаровательное место о том, как в 1917 году не только прогрессивные, но даже консервативные элементы сделались формальными республиканцами, все, вплоть до черносотенцев. Эти самые формальные республиканцы из консерваторов фигурировали около Деникина, не имея никакой власти. Нужно сказать, что эти главы у Милюкова, поскольку он дает характеристику белогвардейского движения, вполне историчны, он является добросовестным историком. Эта его добросовестность объ-

ясняется тем, что у него самого в течение последних лет появилась определенная классовая установка, и притом классовая установка, диаметрально противоположная классовой установке белых армий.

Те были по существу помещичьи. Милюков все свои надежды возлагает на крестьянство. В этом заключается сок последних глав его книги. Герой милюковской возрождающейся России—это мужик, мужик, конечно, капиталистический, представитель мужицкого капитализма, не бедняк, не середняк, а именно крестьянская верхушка. На это крестьянство он возлагает огромные надежды. Это, по его словам, база того русского «возрождения», которого он ожидает. И тут он до известной степени возвращается к своей общеисторической концепции. Вы помните, что по этой концепции народная масса только сверху прикрыта, как колпаком, государственной властью. Колпаки были разные: сначала норманны, потом московские цари, потом Романовы, потом последние потомки Романовых, и, наконец, явились большевики. И этот колпак будет сброшен теми парами, которые идут из крестьянской массы, поднимающейся крестьянской массы. Причем, кто подготовляет этот крестьянский переворот в России? Подготовляют, по мнению Милюкова, сами большевики. Тут у него есть целый ряд откровенностей, тоже чрезвычайно любопытных. Ведь крестьянская масса, как она изображается обыкновенно, масса безграмотная, совершенно невежественная, живущая средневековыми суевериями, словом, темная, до чрезвычайности темная масса. Он цитирует характеристику английского,—он его называет радикалом, а, по моему, это фабианец,—Брейльсфорда и русского—Горна, довольно известного писателя, который делает совершенно неожиданный вывод. Он говорит: русский невежественный крестьянин никогда не сумеет сам организоваться, он всегда будет в полном подчинении у города, а потому—в России неизбежна монархия. Как это выходит, не знаю. Но,—говорит Милюков, не нужно увлекаться этими мрачными перспективами. Большевики позаботились о том, чтобы крестьянин больше не был таким, каким изображает его этот почтенный автор. «Деревня никогда не видала такого потока печатной бумаги и такого широкого объяснения общественных вопросов, как это происходит в настоящее время». Большевики занимаются систематическим просвещением деревни и притом политическим просвещением, и это кладет конец тому состоянию, в котором народ был инертной массой, склонной только к пассивному повиновению и больше ничего. «При этом,—говорит он,—не только действует большевистская «пропаганда» (в кавычках, т. е .обещания и застращивания), не только большевистская пропаганда, но не подлежит никакому сомнению, что

если теперешняя избирательная система удержится, то крестьяне будут в состоянии в значительном числе проникнуть в центральные представительные органы и в самое правительство» (это—наши беспартийные крестьяне, которые во ВЦИКе сидят). Не подлежит никакому сомнению,—говорит он. И дальше: «Нечто подобное в свое время имело в виду самодержавное правительство при созыве первой государственной думы (смех), и отчасти оно провело». Но самодержавному правительству эта операция не удалась, а большевикам удалась. Таким образом оказывается, что не только крестьяне развращаются этим потоком печатной бумаги, который сыплется в деревню, но и подкуплены они самой советской системой, откуда Милюков делает вывод, что в случае «возрождения» форма правления по всей вероятности останется та же, что и была (смех) потому, что для крестьянина,—говорит он,—ценно не то, что демократия, где от крестьян выборными будут фактически интеллигент, адвокат, литератор, но для крестьянина ценно, что его брат, мужик или баба из деревни проникают во ВЦИК и т. д. Вот это крестьянин ценит, за это он будет держаться. Поэтому самое вероятное, что после переворота останется все по-прежнему, только на место т. Рыкова встанет П. Н. Милюков.

К этому все сводится. Царские министры, которые вели переговоры с Милюковым в 1906 г., оказались недостаточно серьезными; теперь, может быть, найдутся более серьезные люди, которые с ним столкуются как следует. Само собой разумеется, что с этой точки зрения Милюков ставит окончательный крест над крупной земельной собственностью в России. Это,—говорит он,—ау, помещиков в России не будет, об этом и толковать нечего, это дело раз навсегда совершенно конченное. А относительно фабрик и заводов, тут дело не так просто, тут скорее можно толковать. Но вот какая беда: их национализированная промышленность растет, а когда она окончательно вырастет, тогда зачем же старые владельцы? (Смех). Тут он видит большое затруднение для возвращения в «законную» собственность фабрик и заводов. И в конце концов у него остается одна слабая надежда. Эта надежда заключается в том, что крестьянское правительство, которое со временем сложится в России, по его представлению, все же не будет чисто крестьянским, крестьяне не обойдутся без специалистов и поэтому вынуждены будут пригласить известную часть интеллигенции. Но Милюков прямо оговаривается, что «роль эмиграции при этом перевороте нам кажется в высокой степени скромной» (смех). Не только развивается наша национализированная промышленность и т. д., не только это, но, повидимому, еще и своя интеллигенция выросла. Что же

делать этим несчастным эмигрантам? Эта книга должна производить впечатление похоронного звона. Имения не отдадут, фабрики и заводы не отдадут, интеллигенцию позовут в самом малом числе,—очевидно, Милюков имеет в виду себя и центральный комитет кадетской партии,—а что же остальным делать?

Я думаю, товарищи, что эта концепция в высокой степени поучительна, и вот в каком отношении. Во-первых, совершенно ясно, что буржуазная демократия не в состоянии выставить сколько-нибудь удовлетворяющего и цельного, без противоречий, понимания такого события, как Октябрьская революция. Для нас как теоретиков и методологов-марксистов это чрезвычайно важно. Что получается у Милюкова из всех попыток объяснения? Получается, как видите, невероятная мешанина. Вы, может быть, на меня сердитесь, что я не сумел свести к одному. Это совершенно невозможно. Это такая куча взглядов разного происхождения, относящихся к разным слоям нашего исторического бытия и нашей историографии, что что-нибудь целое составить из этого невозможно. В этом отношении книга Милюкова представляет определенный шаг назад по сравнению с позицией других историков школы Ключевского и самого Милюкова прежнего времени. Когда от Милюкова заразился Троцкий, он заразился потому, что Милюков давал цельную концепцию русской истории. Где она теперь? Ее нет. Что вместо нее появилось, вместо этой цельной концепции? Целый ряд логически не связанных между собой прыжков в классовую теорию, в нашу теорию. Вместо той теории, что есть только народная масса, прикрытая, как колпаком, государственной властью, вырастает другая теория, что русская история—крестьянская история, теория с определенным классовым подходом, которую мог бы дать и кое-какой плохой марксист, потому что известные предпосылки для этого в нашем материале есть. Классовая история. Большевистская революция—что такое, в конце концов? Вертелся, вертелся так и сяк, и немцы подкупили, и промышленники подкупили, а в конце концов—рабочие и крестьяне были на стороне революции. Опять-таки чисто классовая точка зрения. Почему не удалась контрреволюция, почему не удалась гражданская война? Почему провалились белые армии? Потому, что они классово были неприемлемы для народной массы. Опять классовая точка зрения. Спасение России опять классовое—от крестьянства, от единственного класса, за который можно уцепиться. За рабочего Милюков не пробует уцепиться, о рабочем он умалчивает и склонен сделать намек, что в России нет пролетариев, кроме сокращенных при сокращении штатов интеллигентов, и это—настоящие пролетарии, они составляют главную массу безработных. Это любопытная чер-

та Милюкова-теоретика, что он, кроме этих сокращенных советских барышень, никаких пролетариев у нас не находит.

По моему мнению, эта книга чрезвычайно поучительна для нас с политической точки зрения. Поучительно то громадное ударение, которое Милюков ставит на нашей партийной организации. Когда такой враг организацию ценит, ставит ее во главу угла, то мы сами и другие начинаем понимать, что это такое, что это своего рода великая армия, какая была у Наполеона,—армия, при помощи которой нами ведется классовая борьба. Далее, когда Милюков ставит не менее сильное ударение на крестьянстве, это заставляет нас насторожиться. Известный крестьянский уклон несомненно существует и в наших исторических писаниях. И нужно быть очень осторожным с этим крестьянским уклоном потому, что несомненно, что при известном развертывании это может дать милюковскую схему, совершенно антимарксистское, антипролетарское, контрреволюционное понимание русской истории.

Теперь о политической стороне милюковского трактата. С этой стороны я полагаю, что мы можем читать его с величайшим удовольствием, ибо он доказывает, что образование Союза советских социалистических республик сделало невозможным возрождение старой России с тем самым космополитическим либеральным обществом, которое в классической литературе употребляло слово «жид» и т. д. Это первое. Второе, что он считает, хотя он старается позолотить пилюлю (очевидно, давалец есть, нельзя ему не угодить), насчет фабрик и заводов, это, что растет наша национализированная промышленность. А у Милюкова, когда он писал, были цифры только 1924 года. Он вырывает почву из-под ног всякой буржуазной реакции, не только феодальной,—ее он считает совершенно похороненной, на ней ставит окончательно крест. Вот какие следуют отсюда политические выводы. Их можно резюмировать так: в лице Милюкова старая концепция русской истории разбита вдребезги, и сам Милюков своим трудом доказывает, что новую концепцию можно построить только на классовом принципе. Но так как настоящий классовый принцип, признанный в России, диктатура пролетариата и рабочее государство, никаких перспектив не сулит, даже в форме приглашения из-за границы кадетского ЦК,—его можно поместить в Музей революции, там не хватает живых экспонатов,—совершенно естественно, что он хватается за те классы, которые кажутся ему враждебными социалистическому строю, но которые в действительности тоже враждебными не являются. В книге Милюкова Россия буржуазная, не говоря о помещичьей, спела сама по себе панихиду.

«Историк-марксист», т. III, 1927 г.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ [1]

I

История Октябрьской революции будет написана не скоро. Пройдут, может быть, десятилетия, прежде чем мы получим историческую работу, достойную этого события. Но история Октябрьской революции *начала* писаться уже давно. Она начала писаться, как это ни странно, даже раньше, чем самая революция осуществилась. Ее начали писать люди, которые меньше всего имели в виду быть историками Октябрьской революции,—они с полным правом могли себя рассматривать как объект исторического исследования. Но им нужно было найти тот рычаг, при помощи которого они могли оказать влияние на ход исторического процесса, а для этого им нужно было разобраться в том вихре событий, которым они были охвачены или который хотя бы надвигался на них. От того, насколько правильно нащупают они операционную линию истории, зависела судьба не только их самих, но всего их дела, дела громадных общественных слоев, целых общественных классов. И, вовсе не желая писать историю, делая эту историю, они вынуждены были строить определенные исторические схемы, которые в одинаковой степени могли и должны были стать и руководством практической деятельности и основными вехами будущего исторического исследования.

Читатель видит, что у нас речь идет не о *мемуарной* литературе, хотя некоторые из произведений, где отразилась очерченная сейчас работа, могли бы играть и роль мемуаров. Но мемуары для нас важны только как собрание конкретного материала, из которого мы будем строить собственные исторические схемы. Здесь же для нас важен не конкретный материал, а именно самая схема, которую строили данные авторы для практических целей и которая нам нужна, нам, историкам, нужна для целей теоретических как руководящая

---

[1] Этот очерк был сначала прочитан как доклад на курсах повышения квалификации преподавателей обществоведения в вузах. Я очень обязан тт. слушателям за те замечания, которые ими были сделаны. Для печати доклад совершенно переработан.

нить исторического исследования. В настоящем смысле слова это могло случиться только с марксистами, ибо только в марксизме практика и теория сливаются так, что практика немыслима без теоретического обоснования, а теоретическое мышление неразрывно связано с практикой революционной борьбы. Марксистская схема Октябрьской революции существует только одна: по этой схеме революция была проведена, по этой же схеме будет писаться ее история, где бы, кто бы, когда бы ее ни писал, если только эта история будет заслуживать этого имени. Но так как все вещи лучше познаются в сравнениях, то в этом первом очерке мне хотелось бы сопоставить две схемы, одну подлинную и единственно возможно марксистскую, другую, стремящуюся быть марксистской, но очень далекую от марксизма в действительности. Исторически эти две схемы боролись, боролись, как два метода руководства революцией. Этот спор кончен в жизни: но то, что умерло, как движущая сила исторического процесса, иногда, очень часто, продолжает жить в идеологии как теория, претендующая на известное признание, хотя постигшая схему в свое время жизненная катастрофа, казалось бы, раз навсегда сделала ее непригодной и в теории. В этом сопоставлении двух схем, одной действительно марксистской, другой нет, есть, таким образом, и нечто актуальное,—хотя автор должен оговориться, что он принялся за эту работу не столько ради ее актуальности, сколько ради ее совершенной необходимости, ибо взяться даже за подготовку к изучению истории Октябрьской революции нельзя, не выяснив во всех подробностях своего отношения как к ее действительно марксистской схеме, так и к искажению последней.

Как уже было упомянуто вскользь выше, Ленин принялся за писание истории Октябрьской революции за 12 лет до того, как эта революция осуществилась. Первый набросок той схемы, о которой придется далее говорить, мы находим в «Послесловии» к «Двум тактикам», брошюре Ленина, вышедшей в июле 1905 года. Там мы читаем то знаменитое место, которое будет исходной точкой всякой марксистской концепции Октябрьской революции, какая когда-либо возникнет: «Полная победа теперешней революции будет концом демократического переворота и началом решительной борьбы за социалистический переворот. Осуществление требований современного крестьянства, полный разгром реакции, завоевание демократической республики будет полным концом революционности буржуазии и даже мелкой буржуазии,—будет началом настоящей борьбы пролетариата за социализм. Чем полнее будет демократический переворот, тем скорее, шире, чище, решительнее развернется эта новая борьба. Лозунг «демократической» диктатуры и выражает

исторически-ограниченный характер теперешней революции (т. е. революции 1905 года.—*М. П.)* и необходимость новой борьбы на почве новых порядков за полное освобождение рабочего класса от всякого гнета и всякой эксплоатации. Другими словами: когда демократическая буржуазия или мелкая буржуазия поднимется еще на ступеньку, когда фактом будет не только революция, а полная победа революции,—тогда мы «подменим» (может быть, при ужасных воплях новых будущих Мартыновых) лозунг демократической диктатуры лозунгом социалистической диктатуры пролетариата, т. е. полного социалистического переворота» [1].

Одиннадцать лет спустя, уже накануне новой революции в России, но все еще до ее начала, Ленин видел уже не только общую схему, но и кое-какие, вполне конкретные, подробности. В «Итогах дискуссии о самоопределении», вышедших в октябре 1916 г., мы читаем: «Кто ждет «чистой» социальной революции, тот никогда ее не дождется. Тот революционер на словах, не понимающий действительной революции... Социалистическая революция в Европе не может быть не чем иным, как взрывом массовой борьбы всех и всяческих угнетенных и недовольных. Части мелкой буржуазии и отсталых рабочих неизбежно будут участвовать в ней—без такого участия невозможна массовая борьба, невозможна никакая революция—и столь же неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки. Но объективно они будут нападать на капитал, и сознательный авангард революции, передовой пролетариат, выражая эту объективную истину разношерстной и разноголосой, пестрой и внешне раздробленной массовой борьбы, сможет объединить и направить ее, завоевать власть, захватить банки, экспроприировать ненавистные всем (хотя по разным причинам!) тресты и осуществить другие диктаторские меры, дающие в сумме ниспровержение буржуазии и победу социализма, которая далеко не сразу «очистится» от мелкобуржуазных шлаков» [2].

Тут уже предусмотрены не только такие крупные вещи, как неизбежная контрреволюционность буржуазии в случае полной победы буржуазно-демократической революции,—это и не очень трудно было предвидеть, основываясь на опыте всех европейских революций XIX века,—но и такие детали, как наш блок с левыми эсерами зимой 1917/18 года, и даже, как проникновение в самую сердцевину пролетарского революционного движения мелкобуржуазных элементов, которые «неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки,

---

[1] Т. VI, стр. 393.
[2] Т. XIII, стр. 431.

свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки». Все «необходимое и достаточное» для построения исторической схемы Октябрьской революции было дано еще раньше, чем эта революция свершилась,—и, тем не менее, сам автор схемы был в высшей степени далек от того, чтобы рассматривать свой прогноз, как конкретное изображение того, что должно случиться. Он великолепно сознавал, до какой степени действительность капризна и до какой степени конкретные детали картины—а в них все, для практической борьбы,—могут измениться даже с сегодня на завтра. Наиболее проницательный из вождей революции был и самым осторожным из вождей. Для этой осторожности Ленина чрезвычайно характерно то, что он писал уже совсем накануне Октября по вопросу, казалось бы, очень теоретическому, по вопросу об изменении нашей партийной программы. Отвечая на предложение т. Бухарина выкинуть из этой программы так называвшийся «минимум», Ленин говорил: «Мы не знаем, победим ли мы завтра, или немного позже (Я лично склонен думать, что завтра,—пишу это 6 октября 1917 г.—и что можем опоздать с взятием власти, но и завтра все же есть завтра, а не сегодня). Мы не знаем, как скоро после нашей победы придет революция на Западе. Мы не знаем, не будет ли еще временных периодов реакции и победы контрреволюции после нашей победы,—невозможного в этом ничего нет, и потому мы построим, когда победим, «тройную линию окопов» против такой возможности.—Мы всего этого не знаем и знать не можем. Никто этого знать не может. А потому и смешно выкидывать программу-минимум, которая необходима, пока мы еще живем в рамках буржуазного строя, пока мы еще этих рамок не разрушили, основного для перехода к социализму не осуществили, врага (буржуазию) не разбили и, разбив, не уничтожили. Все это будет и будет, может быть, гораздо скорее, чем многим кажется (я лично думаю, что это должно начаться завтра), но этого еще нет».

Эти, чрезвычайно типичные для Ленина строки, напоминают нам лишний раз, до какой степени в настоящем марксизме теория тесно увязана с практикой. Нельзя делать теоретических ошибок, потому что они сейчас же отражаются практическими неудачами. Тут связь такая, как у математики с артиллерией, например: нельзя ошибиться в вычислениях, потому что тогда попадешь совсем не туда, куда следует. Эти слова больше всего нам напоминают, что Ленин меньше всего на свете был профессиональным литератором, использующим то счастливое обстоятельство, что бумага куда менее чувствительна, нежели человеческая кожа. История пишется именно на этом последнем материале, и те, кто строит исторические схемы для практиче-

ских целей в процессе борьбы, должны прежде всего это помнить. Ленин помнил это великолепно.

Вот почему он, имея совершенно готовый план перевода буржуазно-демократической революции в социалистическую, являясь первым после Маркса автором настоящей теории перманентной революции, перманентной безо всяких кавычек, так отрицательно относился к профессиональным «перманентникам», и сам своей теории не развивал в деталях до осени 1916 года, да и тогда приподнял лишь уголок завесы над будущим, которое он представлял себе, однако, весьма ясно. Только практические потребности революционной борьбы могли заставить его сделать дальнейшие шаги в этом направлении. Первым новым фактом, который эту задачу сделал актуальной, была война. Уже в феврале 1915 года Ленин писал Шляпникову: «Я думаю, что и у нас, в России, и во всем мире намечается новая основная группировка внутри социал-демократии: шовинисты («социал-патриоты») и их друзья, их защитники,—и антишовинисты. В основном это деление соответствует делению на оппортунистов и революционных социал-демократов, но оно plus précis и представляет, так сказать, высшую, более близкую к социалистическому перевороту, стадию развития. И у нас старая группировка (ликвидаторы и правдисты) устаревает, сменяясь новой, более разумной: социал-патриоты и антипатриоты» [1].

Проблему социалистической революции практически поставила, таким образом, война. Впоследствии Ленин сказал это ясно и просто, уже всеми словами: «Не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов. При войне это объективно невозможно: либо гибель, либо революция против капиталистов. Так стоит вопрос. Так он поставлен жизнью» [2].

Цитата из письма т. Шляпникову тем интересна, что она намечает именно практический переход к новой фазе борьбы, уже непосредственной борьбы за социализм, и именно у нас в России: новая группировка намечается, по Ленину, прежде всего «у нас в России», у нас «устарело» старое партийное деление. И дается это в письме, которое Ленин отправил в феврале 1915 года. При свете этого письма теряет всякое значение аргументация тех, кто пытается доказать, что Ленин еще в октябре этого года не шел, для России, дальше завершения буржуазно-демократической революции. Октябрьские тезисы, которые для этой цели используются, в сопоставлении с письмом к т. Шляпникову, свидетельствуют лишь об одном,—что Ленин и здесь

---

[1] Ленинский сборник, II, стр. 227. Разрядка моя.—*М. П.*
[2] Т. XIV, ч. 1, стр. 178.

не хотел «рассуждать от завтрашнего дня». Он писал в этих тезисах: «Революция не может победить в России, не свергнув монархию и крепостников-помещиков»,—и эта операция свержения монархии и крепостников и является той «ближайшей революцией», социальным содержанием которой «может быть только революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства». Можно, если угодно, по этому поводу распространяться на ту тему, что Ленин «не предвидел» катастрофической быстроты этой первой операции,—что низвержение монархии потребует борьбы в течение пяти дней. Но Ленин—социолог-марксист, а не пророк-Нострадамус, который предвидел даже, в какое именно место получит смертельный удар король Генрих II. Ленин не только не брался предсказывать конкретную форму событий, но и предостерегал от этого всех своих учеников,—хотя кое-какие конкретные детали он предусматривал, мы видели, с необыкновенной зоркостью. Если к этому прибавить, что, покончив с монархом в пять дней, с «крепостниками-помещиками» революции пришлось возиться несколько лет, пока последние корешки этого зловредного растения не были выдернуты на наших глазах, чуть не вчера,—то вообще нечего будет возразить против ленинского прогноза. Да, «ближайшей» к октябрю 1915 года революцией была, конечно, буржуазно-демократическая. Давая практические директивы на места, Ленин должен был делать ударение на этом ближайшем моменте, ибо «завтра все же есть завтра, а не сегодня». Но это «завтра» выглядывало из-за «сегодня» достаточно явственно,—и чем открывать в тезисах 1915 года то, что само собою разумелось, и неизбежно должно было быть в них, интереснее присмотреться к кое-каким контурам этого, уже высовывающегося из-за горизонта, «завтра». Констатируя, что «шаг вперед расслоения деревни на «хуторян-помещиков» и на сельских пролетариев не уничтожил гнета Марковых и К⁰ над деревней», Ленин добавляет: «за необходимость отдельной организации сельских пролетариев мы стояли и стоим безусловно, во всех и всяких случаях». А в тезисе 3-м рядом с сельским пролетариатом стоит и «деревенская беднота». Коалиция пролетариата и беднейшего крестьянства намечается в тезисах 1915 года достаточно определенно, если принять во внимание, что в тот момент это был для Ленина вопрос еще не сегодняшнего, а завтрашнего дня.

В феврале-марте 1917 года начинается диалектическое превращение «завтра» в «сегодня».

Тут для нас, изучающих ход мысли Ленина, а не ход событий, особенно ценно то, что Ленин писал еще до приезда в Россию, под свежим впечатлением первых известий о падении монархии. В третьем «письме изда-

лека», процитировав слова одной заграничной газеты о Скобелеве («Скобелев, как передают газеты, сказал следующее: «Россия накануне второй, настоящей—wirklich, буквально: «действительной» — революции»), Ленин резюмирует: «Февральско-мартовская революция была лишь первым этапом революции. Россия переживает своеобразный исторический момент перехода к следующему этапу революции или, по выражению Скобелева, ко «второй революции».

Для этой «второй» революции, новой,—нужна и новая комбинация сил: «Забегая вперед, отмечу, что для всей крестьянской массы наша партия (об ее особой роли в пролетарских организациях нового типа я надеюсь побеседовать в одном из следующих писем) должна особенно рекомендовать отдельные советы наемных рабочих и затем мелких, не продающих хлеба, земледельцев от зажиточных крестьян; без этого условия нельзя ни вести истинно пролетарской политики, вообще говоря, ни правильно подойти в важнейшему практическому вопросу жизни и смерти миллионов людей: к правильной разверстке хлеба, к увеличению его производства и т. д.» [1].

Диктатура пролетариата и крестьянства начинает сменяться диктатурой пролетариата и беднейшего крестьянства. В письме 4-м («Как добиться мира?») это сказано уже всеми словами: «Чтобы добиться мира (и тем более, чтобы добиться действительно демократического, действительно почетного мира), надо чтобы власть в государстве принадлежала не помещикам и капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам. Помещики и капиталисты — ничтожное меньшинство населения; капиталисты, как всем известно, наживают бешеные деньги на войне.—Рабочие и беднейшие крестьяне — огромное большинство населения. Они не наживаются на войне, а разоряются и голодают. Они не связаны ни капиталом, ни договорами между разбойничьими группами капиталистов; они могут и искренно хотят прекратить войну» [2].

Первый шаг — свержение монархии — уже совершился: надо было итти ко второму—«борьбе против частной собственности, борьбе наемного рабочего с хозяином, борьбе за социализм». И в том же письме, набрасывая основные черты политики, которой должен был бы держаться Петроградский совет рабочих депутатов, Ленин говорит: «Он заявил бы, что не ждет добра от буржуазных правительств, а предлагает рабочим всех стран свергнуть их и передать всю власть в государстве Советам рабочих депутатов».

---

[1] Ленинский сборник, II, стр. 348.
[2] Там же, стр. 360.

В число всех стран входила, конечно, на первом месте и Россия. Всего ярче это сформулировано в относящемся к тому же периоду письме к Ганецкому: «А второе и главное — свергать надо буржуазные правительства и начать с России, ибо иначе мира получить нельзя. Возможно, что правительства Гучкова — Милюкова мы не сможем сейчас же «свергнуть». Пусть так. Но это не довод за то, чтобы говорить неправду. Говорить рабочим надо правду. Надо говорить, что правительство Гучкова—Милюкова и К⁰ есть империалистическое правительство, что рабочие и крестьяне должны сначала (теперь ли, или после выборов в Учредительное собрание, если с ним не надуют народа, не оттянут выборы до после войны, вопрос о моменте отсюда решить нельзя), сначала должны передать всю государственную власть в руки рабочего класса, врага капитала, врага империалистской войны, и лишь тогда они вправе звать к свержению всех королей и всех буржуазных правительств» [1].

А в пятом «письме издалека», написанном в день отъезда из Швейцарии, дается уже и конкретная программа перехода к социалистической революции: «В России победа пролетариата осуществима в самом близком будущем лишь при условии, что первым шагом ее будет поддержка рабочих громадным большинством крестьянства в борьбе его за конфискацию всего помещичьего землевладения (и национализацию всей земли, если принять, что аграрная программа «104-х» осталась по сути своей аграрной программой «крестьянства»). В связи с такой крестьянской революцией и на основе ее возможны и необходимы дальнейшие шаги пролетариата, в союзе с беднейшей частью крестьянства, шаги, направленные к контролю производства и распределения важнейших продуктов, к введению «всеобщей трудовой повинности» и т. д. Шаги эти с безусловной неизбежностью предписываются теми условиями, которые создала война и которые даже обострит во многих отношениях послевоенное время; а в своей сумме и в своем развитии эти шаги были бы переходом к социализму, который непосредственно, сразу, без переходных мер, в России неосуществим, но вполне осуществим и насущно необходим в результате такого рода переходных мер. Задача немедленной и особой организации в деревнях советов рабочих депутатов, т. е. советов сельскохозяйственных наемных рабочих, отдельно от советов остальных крестьянских депутатов, выдвигается при этом с крайней настоятельностью» [2].

---

[1] Ленинский сборник, стр. 371.
[2] Там же, стр. 396.

Таким образом, Ленин ехал в Россию с новой схемой революции, не повторявшей 1905 год,—новой совсем не в том смысле, что Ленин «перевооружился»: «новая» схема лишь развертывала то, что было уже им написано в 1905 году,—а в том смысле, что наступили новые обстоятельства, которых в 1905 году не было. Первым из них была империалистская война, в огромной степени приблизившая социалистическую революцию во всем мире, а вторым—падение монархии в России. Но, приехав в Россию, Ленин нашел опять новую обстановку—и конкретные особенности этой обстановки вносят новые конкретные подробности в его схему.

Предыдущий прогноз Ленина, начиная с 1915 года, строился при определенном предположении: «если мелкая буржуазия в решающие моменты качнется влево, а ее толкает влево не только наша пропаганда, но и ряд объективных факторов: экономических, финансовых (тяжести войны), военных, политических и пр.» (тезисы 1915 года). Теперь это предположение надо было проверить на практике: «Марксизм требует от нас самого точного, объективно проверенного учета соотношения классов и конкретных особенностей каждого исторического момента. Мы, большевики, всегда старались быть верными этому требованию, безусловно обязательному с точки зрения всякого научного обоснования политики» («Письма о тактике») [1].

Эта проверка не оправдала условия, которое ставилось в 1915 году. Всей суммы факторов, перечисленных в тезисах этого года Лениным, оказалось недостаточно, чтобы оторвать мелкую буржуазию от крупной: «Мелкая буржуазия в жизни зависит от буржуазии, живя сама по-хозяйски, а не по-пролетарски (в смысле места в общественном производстве), и в образе мыслей она идет за буржуазией». А «буржуазия держится не только насилием, а также несознательностью, рутиной, забитостью, неорганизованностью масс». В результате «в России сейчас у власти контрреволюционная буржуазия, по отношению к которой «оппозицией ее величества» стала мелкобуржуазная демократия, именно партии эсеров и меньшевиков. Сущность политики этих партий состоит в соглашательстве с контрреволюционной буржуазией. Мелкобуржуазная демократия поднимается к власти, заполняя сначала местные учреждения (как либералы при царизме завоевывали сначала земства). Эта мелкобуржуазная демократия хочет раздела власти с буржуазией, а не свержения ее,—совершенно так же, как кадеты хотели раздела власти с монархией, а не свержения монархии. И соглашательство мелкобуржуазной демократии (эсеры

[1] Т. XIV, ч. 1, стр. 27.

и меньшевики) с кадетами так же вызвано глубоким классовым родством мелких и крупных буржуа, как классовое родство капиталиста с живущим в обстановке XX века помещиком заставляло их обниматься вокруг «обожаемого» монарха» (статья «Классовый сдвиг») [1].

А так как и пролетариат, в своих широких массах, был «недостаточно сознателен и организован» (апрельские тезисы) [2], ни на минуту не отказываясь от схемы, развитой в «Письмах издалека», Ленин дает ей новую конкретную формулировку. «Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою сторону; пока нет насилия над массами, нет иного пути к власти. Мы не бланкисты, не сторонники захвата власти меньшинством. Мы — марксисты, сторонники пролетарской классовой борьбы против мелкобуржуазного угара, шовинизма, оборончества, фразы, зависимости от буржуазии».

А пока советы, хотя и проникнутые идеологией «добросовестного оборончества», хотя и склонившие, под влиянием своей мелкобуржуазной головки, свое знамя перед буржуазным Временным правительством, все же должны быть использованы. «Не хотят подумать о том, что такое Советы рабочих и солдатских депутатов. Не хотят видеть очевидной истины, что поскольку эти Советы существуют, поскольку они—власть, постольку в России существует государство типа Парижской коммуны. — Я подчеркнул: «поскольку». Ибо это лишь зачаточная власть. Она сама и прямым соглашением с буржуазным Временным правительством, и рядом фактических уступок сдала и сдает позиции буржуазии. — Почему? Потому ли, что Чхеидзе, Церетели, Стеклов и К⁰ делают «ошибку»? Пустяки! Так думать может обыватель, но не марксист [3]. Причина — недостаточная сознательность и организованность пролетариев и крестьян. «Ошибка» названных вождей—в их мелкобуржуазной позиции, в том, что они затемняют сознание рабочих, а не проясняют его, внушают мелкобуржуазные иллюзии, а не опровергают их, укрепляют влияние буржуазии на массы, а не высвобождают массы из-под этого влияния» [4].

Эти замечательные слова — о той скромной роли, которую надо отводить ошибкам «вождей», — нам еще придется припомнить: другие историки Октябрьской революции, не похожие на Ленина, судили об этом иначе. Пока зафиксируем основные черты той схемы, которая сложилась весною 1917 года. С одной стороны «Революционно-демократическая

---

[1] Т. XIV, ч. 1, стр. 30, 42, 300 — 301.
[2] Там же, стр. 18.
[3] Разрядка моя.—*М. П.*
[4] Том X, ч. 1, стр. 25.

диктатура пролетариата и крестьянства уже осуществилась в русской революции, ибо эта «формула» предвидит лишь соотношение классов, а не конкретное политическое учреждение, реализующее это соотношение, это сотрудничество. «Совет Р. и С. деп.» — вот вам уже осуществленная жизнью «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» («Письма о тактике») [1]. Но эти советы еще не то «будущее» диктатуры пролетариата и крестьянства, о котором писалось в 1905 году: их еще надо сделать этим будущим. «Как кадеты в 1906 году проституировали первое собрание народных представителей в России, сведя его к жалкой говорильне перед лицом крепнущей царистской контрреволюции, так эсеры и меньшевики в 1917 году проституировали Советы, сведя их к жалкой говорильне перед лицом крепнущей бонапартистской контрреволюции» («Начало бонапартизма») [2].

Когда писались эти слова, на то, что мелкая буржуазия откачнется влево, не оставалось уже, в сущности, никакой надежды. Наблюдения над тем, что происходило с апреля по июнь, подтверждали худшие опасения! «Вторая полоса в развитии революции с 6 мая по 9 или по 18 июня вполне подтвердила расчет капиталистов на легкость одурачивания эсеров и меньшевиков. — Пока Плеханов и Скобелев обманывали себя и народ пышными фразами, что с капиталистов возьмут 100% прибыли, что их «сопротивление сломлено» и т. п., — капиталисты продолжали укрепляться. Ничего, ровнехонько ничего на деле не было за это время предпринято для обуздания капиталистов. Министры из перебежчиков социализма оказывались говорильными машинами для отвода глаз угнетенным классам, а весь аппарат государственного управления оставался на деле в руках бюрократии (чиновничества) и буржуазии. Пресловутый Пальчинский, товарищ министра промышленности, был типичным представителем этого аппарата, тормозящим какие бы то ни было меры против капиталистов. Министры болтали — все оставалось по-старому. — Министр Церетели в особенности был употребляем буржуазией для борьбы против революции. Его посылали «успокаивать» Кронштадт, когда тамошние революционеры дошли до такой продерзости, что посмели сместить назначенного комиссара. Буржуазия открыла в своих газетах неимоверно шумную, злостную, бешеную кампанию лжи, клеветы и травли против Кронштадта, обвиняя его в желании «отложиться от России», повторяя эту и подобные нелепости на тысячу ладов, запугивая мелкую буржуазию и филистеров. Типичнейший представитель тупого, запуганного фили-

---

[1] Т. X, ч. I, стр. 29.
[2] Там же, ч. II, стр. 53.

стерства, Церетели, всех «добросовестнее» попадался на удочку буржуазной травли, всех усерднее «громил и усмирял» Кронштадт, не понимая своей роли лакея контрреволюционной буржуазии. Выходило так, что он являлся орудием проведения такого «соглашения» с революционным Кронштадтом, что комиссар в Кронштадте не назначался просто-напросто правительством, а выбирался на месте и утверждался правительством. На подобные жалкие компромиссы тратили свое время министры, перебежавшие от социализма к буржуазии. Там, где не мог бы появиться министр-буржуа с защитой правительства, перед революционными рабочими или в Советах, там появлялся, вернее, туда посылался буржуазией «социалистический» министр, Скобелев, Церетели, Чернов и т. п., и добросовестно выполнял буржуазное дело, лез из кожи, защищая министерство, обелял капиталистов, одурачивал народ повторением обещаний, обещаний и обещаний, советами погодить, погодить и погодить» («Уроки революции») [1].

На все сто процентов опасения оправдались в июльские дни, когда весенняя схема, мирное завоевание советов, окончательно уходит в прошлое. В июле Ленин писал: «Всякие надежды на мирное развитие русской революции исчезли окончательно. Объективное положение: либо победа военной диктатуры до конца, либо победа вооруженного восстания рабочих, возможная лишь при совпадении его с глубоким массовым подъемом против правительства и против буржуазии на почве экономической разрухи и затягивания войны. Лозунг перехода всей власти к Советам был лозунгом мирного развития революции, возможного в апреле, мае, июне, до 5—8 июля, т. е. до перехода фактической власти в руки военной диктатуры. Теперь этот лозунг уже неверен, ибо не считается с этим состоявшимся переходом и с полной изменой эсеров и меньшевиков революции на деле. Не авантюры, не бунты, не сопротивления по частям, не безнадежные попытки по частям противостать реакции могут помочь делу, а только ясное сознание положения, выдержка и стойкость рабочего авангарда, подготовка сил к вооруженному восстанию, условия победы коего теперь страшно трудны, но возможны все же при совпадении отмеченных в тексте тезиса фактов и течений. Никаких конституционных и республиканских иллюзий, никаких иллюзий мирного пути больше [2], никаких разрозненных действий, не поддаваться теперь провокации черных сотен и казаков, а собрать силы, переорганизовать их и стойко готовить к вооруженному восстанию, если ход кризиса по-

---

[1] Т. X, ч. II, стр. 38—39.
[2] Разрядка моя.—*М. П.*

зволит применить его в действительно массовом, общенародном размере. Переход земли к крестьянам невозможен теперь без вооруженного восстания, ибо контрреволюция, взяв власть, вполне объединились с помещиками как классом» [1].

Лозунг: «вся власть Советам!» на время совсем сходит со сцены,—а когда он вновь возрождается, после корниловщины, он имеет уже другой, новый смысл. «Повидимому, многие руководители нашей партии не заметили о с о б о г о значения того лозунга, который мы все признали и повторяли без конца. Это лозунг: вся власть Советам. Бывали периоды, бывали моменты за полгода революции, когда этот лозунг н е означал восстания. Может быть, эти периоды и эти моменты ослепили часть товарищей и заставили их забыть, что теперь и для нас, по крайней мере с половины сентября, этот лозунг р а в н о с и л е н п р и з ы в у к в о с с т а н и ю» («Письмо к Съезду советов северной области в октябре 1917 г.»). «Лозунг—«вся власть Советам» есть лозунг восстания. Кто употребляет такой лозунг, не сознавая этого, не продумав этого, пусть пеняет на себя. А к восстанию надо уметь отнестись как к и с к у с с т в у—я настаивал на этом во время Демократического совещания и настаиваю теперь, ибо э т о м у учит марксизм, этому учит все теперешнее положение в России и во всем мире» [2].

С этого момента мы имеем окончательную концепцию Октябрьской революции у Ленина: ее к л а с с о в о е с о д е р ж а н и е н е меняется, она остается пролетарской революцией, но ее форма отливается так, как дала ее конкретная обстановка. Это не мирное завоевание советов больше, не лишение капиталистов власти, проведенное в союзе с мелкой буржуазией, это вооруженный захват власти рабочими и беднейшими крестьянами хотя бы и п р о т и в мелкой буржуазии. Апогеем этой стадии развития революции стал, и логически должен был стать, разгон Учредительного собрания, где мелкая буржуазия попробовала надавить всей своей массой, но не заставила пролетариат склониться перед ее арифметическим большинством.

Диктатура пролетариата, о которой говорило «Послесловие» к «Двум тактикам» еще в 1905 году, выступает перед нами именно, как диктатура, т. е. как власть, опирающаяся не на выборы, не на большинство голосов, не на какую-либо конституцию (ее черед пришел позже), а непосредственно н а в о о р у ж е н н у ю м а с с у. И Ленин, так предостерегавший товарищей от необдуманного и преждевременного выступления в мае—июне, в сентябре торопит, боясь, как бы из-за заботы о формальной законности (любителей ее и в те

---

[1] См. «Политическое положение». Ленинский сборн., IV, стр. 321—322.
[2] Там же, стр. 343 и 345.

дни мы скоро увидим) не было упущено бесконечно дорогое время. «Вопрос идет не о «дне» восстания, не о «моменте» его в узком смысле. Это решит лишь общий голос тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с массами. Вопрос о том, что наша партия теперь на Демократическом совещании имеет фактический свой съезд, и этот съезд решить должен (хочет или не хочет, а должен) судьбу революции.

Вопрос о том, чтобы задачу сделать ясной для партии: на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере и в Москве (с областью), завоевание власти, свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не выражаясь так в печати.—Вспомнить, продумать слова Маркса: «восстание есть искусство» и т. д.—Ждать «формального» большинства у большевиков наивно: ни одна революция этого не ждет. И Керенский с К⁰ не ждут, а готовят сдачу Питера. Именно жалкие колебания «Демократического совещания» должны взорвать и взорвут терпение рабочих Питера и Москвы. История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь.—Нет аппарата? Аппарат есть: Совет и демократические организации. Международное положение именно теперь, накануне сепаратного мира англичан с немцами, за нас. Именно теперь предложить мир народам значит победить.—Взять власть сразу и в Москве и в Питере (неважно, кто начнет; может быть, даже Москва может начать), мы победим безусловно и несомненно» [1].

И дело шло вовсе не о завершении демократической революции—дело шло о революции пролетарской, социалистической. «Необходимо закрыть буржуазные контрреволюционные газеты («Речь», «Русское слово» и т. п.), конфисковать их типографии, объявить частные объявления в газетах государственной монополией, перевести их в правительственную газету, издаваемую Советами и говорящую крестьянам правду. Только так можно и должно выбить из рук буржуазии могучее орудие безнаказанной лжи и клеветы, обмана народа, введения в заблуждение крестьянства, подготовки контрреволюции». Лишение буржуазии свободы печати было определенным началом социалистической диктатуры—так это и было понято тогда всеми—и напрасно некоторые товарищи из статьи Ленина по поводу четырехлетия Октября пытались извлечь тот вывод, что завершение демократической революции было для Ленина главным [2]. Как нарочно именно в этой статье Ленин не оставляет никаких сомнений насчет того, что главное и что второстепенное, попут-

---

[1] Т. XIV, ч. 2, стр. 135.
[2] См. Зиновьев, Ленинизм, стр. 61—62.

ное. «Мы решили вопросы буржуазно-демократической революции походя, мимоходом, как «побочный продукт» нашей главной и настоящей, пролетарски-революционной, социалистической работы. Реформы, говорили мы всегда, есть побочный продукт революционной классовой борьбы. Буржуазно-демократические преобразования, говорили и доказали делом мы, есть побочный продукт пролетарской, т. е. социалистической революции. Кстати сказать, все Каутские, Гильфердинги, Мартовы, Черновы, Хилльквиты, Лонге, Макдональды, Турати и прочие герои «2½-ного» марксизма не сумели понять такого соотношения между буржуазно-демократической и пролетарски-социалистической революциями. Первая перерастает во вторую. Вторая мимоходом решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой. Борьба и только борьба решает, насколько удается второй перерасти первую» [1].

И это нисколько не устраняется тем обстоятельством, что основная задача буржуазной революции в России, переход помещичьих земель в руки крестьян, не была еще разрешена в тот момент, когда возникла у нас пролетарская, социалистическая диктатура. Ибо эту задачу буржуазной революции только и мог разрешить социалистический пролетариат. Ленин и это тогда же сформулировал совершенно определенно. «Конфискация всей частновладельческой земли означает конфискацию сотен миллионов капитала банков, в которых эти земли большею частью заложены. Разве мыслима такая мера без того, чтобы революционный класс революционными мерами сломил сопротивление капиталистов? При этом речь идет о наиболее централизованном, банковом капитале, который миллиардами нитей связан со всеми важнейшими центрами капиталистического хозяйства громадной страны и который может быть побежден только не менее централизованной силой городского пролетариата» [2].

В этом и была смычка крестьянской, буржуазной, и рабочей, социалистической революции, причем на глазах и осязательно именно первая, т. е. буржуазная революция крестьян, переходила во вторую. «Чем скорее и решительнее возьмут всю власть Советы, тем скорее расколются и «дикие дивизии», и казаки расколются на ничтожнейшее меньшинство сознательных корниловцев и на огромное большинство сторонников демократического и социалистического (ибо речь тогда пойдет именно о социализме) союза рабочих и крестьян» [3]. В этом было громадное преимущество русских рабочих в октябре 1917 года. Их победа вовсе не

---

[1] Т. XVIII, ч. 1, стр. 365.
[2] Т. XIV, ч. 2, стр. 79.
[3] Там же, стр. 121.

была только победой винтовки и пулемета,—как старались уверить, прежде всего самих себя, меньшевики и меньшевиствующие: это была победа политическая, гениальное использование соотношения классовых сил, делавшего то, что не только бедняцкое крестьянство (которое, будучи до февраля 1917 года полукрепостным, мелкой буржуазией в настоящем смысле названо быть и не могло), но и форменная мелкая буржуазия деревни была в октябре на нашей стороне. Вот что говорил Ленин по этому поводу год спустя: «Первая стадия, первая полоса в развитии нашей революции после Октября—была посвящена, главным образом, победе над общим врагом всего крестьянства, победе над помещиками.—Вы все прекрасно знаете, товарищи, как еще Февральская революция—революция буржуазии, революция соглашателей—эту победу над помещиками крестьянам обещала, как она своего обещания не выполнила. Только Октябрьский переворот, только победа рабочего класса в городах, только советская власть дала возможность, на деле, очистить всю Россию, из конца в конец от язвы старого крепостнического наследия, старой крестьянской эксплоатации, от помещичьего землевладения и гнета помещиков над крестьянством в целом, над всеми крестьянами без различия. На эту борьбу против помещиков не могли не подняться и поднялись в действительности все крестьяне. Эта борьба объединила беднейшее трудящееся крестьянство, которое не живет эксплоатацией чужого труда. Эта борьба объединила также и наиболее зажиточную и даже самую богатую часть крестьянства, которая не обходится без наемного труда» (Речь на съезде Комбедов, 11 декабря 1918 г.) [1].

Этот союз с «богатой частью крестьянства, которая не обходится без наемного труда», не мог быть прочен,—он кончился уже к лету 1918 года, как только крестьяне фактически освоили помещичью землю. Но он был колоссально важен для нас осенью предыдущего года, когда благодаря ему даже кулацкие части армии—кавалерия, гвардейские полки—не обратили своего оружия против взявшего власть пролетариата, и городское мещанство, и без того чрезвычайно слабое в наших условиях, осталось одно. Оно яростно голосовало против большевиков,—в Москве на выборах в Учредительное собрание более 40% избирателей высказалось в пользу кадетской партии и партии непримиримейшей контрреволюции в этот момент. Но мещанство бессильно было поднять на восстание даже один город. А окружавшая города крестьянская масса повсюду, куда хватала наша агитация, в промышленном центре, в прифронтовых губерниях,

---

[1] Т. XV, стр. 589–590.

валом валила за «пятым списком». Наша неудача на выборах, как правильно отмечалось уже тогда, на три четверти объяснялась тем, что выборы происходили через две недели после революции, что развить сколько-нибудь широкой агитации по всей стране мы физически не могли успеть, в особенности не могли успеть выступить перед массами «с фактами в руках», с таким фактом, как заключение перемирия.

Но, возвращаясь снова к идеологии, от конкретной истории революции к ее схеме, созданной Лениным: это исключительно благоприятное для нас классовое соотношение сил нужно было угадать, или нет? Ведь вот же ни меньшевики, ни эсеры его не заметили. Его могли заметить только та партия и тот из революционных вождей, которые всегда исходили из классового анализа в своих предвидениях. «Всякий, кто хоть чему-нибудь научился из истории или из марксистского учения, должен будет признать, что во главу угла политического анализа надо поставить вопрос о классах: о революции какого класса идет речь? А контрреволюция какого класса?» [1].

Главное отличие от Ленина того другого современника, схему которого я хотел бы взять для сравнения, в том и состоит, что для последнего классовый анализ в непосредственном решении революционной проблемы не является основным. Оспаривая мысль, что русская революция 1917 года «могла итти только тем путем, каким она пошла с февраля по октябрь», этот автор говорит: «этот последний путь вытекал не только из классовых отношений, но и из тех временных условий, которые создала война» [2]. Это ограничение «классовых отношений» в их историческом влиянии превращается в настоящую «философию истории» в другом месте той же статьи Троцкого. Разбирая вопрос, «что значит упустить момент», Троцкий дает такое пояснение: «Самая благоприятная обстановка для восстания дана, очевидно, тогда, когда соотношение сил максимально передвинулось в нашу пользу. Разумеется, здесь речь идет о соотношении сил в области сознания, т. е. о политической надстройке, а не о базисе, который можно принять как более или менее неизменный для всей эпохи революции. На одном и том же классовом расчленении общества соотношение сил меняется в зависимости от настроения пролетарских масс, крушения их иллюзий, накопления ими политического опыта, расшатки доверия промежуточных классов и групп к государственной власти, наконец, ослабления до-

---

[1] «За деревьями не видят леса», т. XIV, ч. 2, стр. 61.

[2] Троцкий Л., Соч., т. III, ч. 1, стр. XIX («Уроки Октября»). Разрядка моя.—*М. П.*

верия этой последней к себе самой. В революции это все быстротечные процессы. Все тактическое искусство состоит в том, чтобы уловить момент наиболее благоприятного для нас сочетания условий» [1].

Это место—чрезвычайно важное для выяснения всей физиономии разбираемого автора как историка. У Ленина классовое «соотношение сил» является основой данной исторической ситуации. У Троцкого классовое соотношение сил неизменно «для всей эпохи революции». Это—социология, а не история. Раз социологические предпосылки даны, вступают в дело уже другие факторы—«соотношение сил в области сознания». В социологии можно и должно быть материалистом: в истории же объективное соотношение сил играет роль лишь фона, на котором разыгрываются события; самые события могут быть поняты лишь идеалистически—от изменений настроения, иллюзий, опыта и тому подобных, чисто субъективных факторов.

Если какой-нибудь непочтительный человек скажет, что выписанное место из «Уроков Октября» есть более или менее удачная карикатура на Энгельса, с его протестами против исключительно «экономического» объяснения всех подробностей мировой истории, с таким непочтительным субъектом трудно будет спорить. Вам не нравится исключительно «экономическое» объяснение? Так вот, пожалуйста! Экономика в подвале, на «всю эпоху революции». Решает все «настроение»—«соотношение сил меняется в зависимости от настроения пролетарских масс». В феврале у пролетариата не было «настроения»—он не взял власти; в октябре «настроение» пришло—он взял власть. Что между февралем и октябрем прошла колоссальная экономическая разруха, затмившая все, что до тех пор было видано во время войны, разруха, стоявшая в центре внимания Ленина, все предоктябрьские статьи которого полны заботой о том, как с этой разрухой справиться («Грозящая катастрофа и как с нею бороться», и т. д.), что за это время крестьянство, первые месяцы революции и по Троцкому шедшее за буржуазией (мы увидим, что в этом вопросе он впадает даже в несколько комические преувеличения), восстало против Временного правительства и вплотную пододвинулось к пролетариату (для Ленина это был сигнал—см. т. XIV, ч. 2, стр. 262)—все эти чисто объективные сдвиги именно в классовых отношениях, в отношениях буржуазии и рабочих, крестьянства и рабочих, мелкобуржуазной верхушки и рабочих и крестьян вместе, все это ничего: а вот «крушение иллюзий» (т. е. психологическое отражение всех этих объективных сдвигов)—это самое главное. По этому надо равняться.

---

[1] Троцкий Л., Соч., т. III, ч. I, стр. XI—XII. Разрядка моя.—*М. П.*

Воля ваша—но это ключ—ключ не только ко всем историческим писаниям Л. Троцкого, но и к его политической деятельности, от Петербургского совета рабочих депутатов, с бесконечными демонстрациями, пытавшимися «создать настроение», до демонстрации на Ярославском вокзале, преследовавшей точь-в-точь ту же задачу. И ни разу не пришло в голову автору этой теории, что между социологией и историей нет той пропасти, которая ему рисуется, что классовое соотношение сил, колеблясь десятки раз на протяжении «эпохи революции» (отношение крестьянства и рабочих в октябре 1917 года и летом 1918 года, в дни Кронштадта и после нэпа), чуть не ежедневно создает новые «настроения» и новые «иллюзии» и что ориентироваться по этим последним все равно, что изучать солнце по его отражению на облаках.

Итак, классовые отношения не исчерпывают содержания революционной борьбы,—неверно, что «история всего предшествующего общества есть история борьбы классов». История не только это—в ней могут играть роль и внеклассовые факторы, например армия (мы это сейчас увидим), например внеклассовая государственная власть, возникшая как организация национальной обороны («Социальное развитие России и царизм»). В этом первая поправка к марксизму, какую мы находим у нашего автора. Первая, но не единственная.

В мае 1917 года т. Троцкий напечатал в переработанном—и, надо думать, окончательном (тот же текст переиздан им в 1923 году)—виде свои статьи парижского «Нашего слова» о «программе мира». Это не только программа мира, но—что гораздо интереснее для нас теперь—программа революции. «Сейчас, после столь многообещающего начала русской революции, у нас есть все основания надеяться на то, что еще в течение этой войны развернется во всей Европе могущественное революционное движение»,—говорит здесь т. Троцкий. «Ясно, что оно сможет успешно развиваться и притти к победе только, как общеевропейское. Оставаясь изолированным в национальных рамках, оно оказалось бы обречено на гибель... Спасение русской революции в перенесении ее на всю Европу...». «Рассматривать перспективы социальной революции в национальных рамках, значило бы становиться жертвой той самой национальной ограниченности, которая составляет сущность социал-патриотизма». «Если бы проблема социализма была совместима с рамками национального государства, то она, тем самым, была бы совместима с национальной обороной» [1].

---

[1] «Война и революция», т. II, стр. 503—507. Разрядка Троцкого.

Л. Троцкий, как всем известно, считает своей заслугой перенесение на русскую революцию теории перманентной революции Маркса. Эта последняя теория изложена, как тоже всем известно, в «Обращении Центрального комитета к Союзу» коммунистов (март 1850 г.). «Обращение» направлено к германским товарищам—оно имеет в виду «непрерывную революцию» в Германии, т. е. в одной определенной стране. Но вы напрасно стали бы искать здесь указаний на то, что, если революция останется в национальных, германских рамках, она «обречена на гибель». В конце говорится только, что победа революции во Франции «сильно ускорит» таковую же победу в Германии. Но что победа в Германии невозможна без победы во Франции, что эта победа вообще возможна лишь как «общеевропейская», этого «Обращение» нигде не говорит. И, хотя «Обращение» оговаривает, что, «конечно, рабочие не могут в самом начале движения прелагать чисто коммунистические мероприятия», программа, которую оно развертывает, в сущности, есть программа перехода к социализму.—1. Принудить демократов возможно всестороннее вторгаться в существующий общественный строй, нарушать его нормальный ход, компрометировать самих себя, а также сконцентрировать в руках государства возможно больше производительных сил, перевозочных средств, фабрик, железных дорог и т. д.—2. Они (рабочие) должны доводить до крайних пределов предложения демократов, которые во всяком случае будут выступать не революционно, а лишь как реформисты; они должны превращать эти требования в прямые нападения на частную собственность. Так, например, если мелкие буржуа предлагают выкупить железные дороги и фабрики, рабочие должны требовать, чтобы эти железные дороги и фабрики, как собственность реакционеров, были конфискованы без всякого вознаграждения. Если демократы предлагают пропорциональные налоги, рабочие должны требовать прогрессивных; если сами демократы предлагают умеренно-прогрессивные налоги, рабочие должны настаивать на налоге, ставки которого растут так быстро, что крупный капитал при этом должен погибнуть; если демократы требуют регулирования государственных долгов, рабочие должны требовать государственного банкротства» [1].

Все это рекомендуется делать еще при господстве демократов—т. е. по нашему календарю, в период керенщины—притом в стране, где, по словам авторов «Обращения», «приходится устранять столь многочисленные остатки средневе-

---

[1] Маркс и Энгельс, Соч., т. III, стр. 507. Разрядка моя.—*М. П.*

ковья». И хотя дальше приводятся образчики таких остатков юридические, но для Германии и экономических остатков средневековья в 1850 году можно было бы привести сколько угодно. Достаточно напомнить, что в это время в наиболее промышленной части Германии, в Пруссии, индустриальные рабочие—считая и домашних—составляли лишь $^1/_9$ всего населения, что во всей прусской промышленности было всего 237 паровых машин, в общем, в 3 000 с небольшим лошадиных сил, что выплавка чугуна в Пруссии в 1850 г. была немного ниже таковой же в России (!), что во всей прусской полотняной промышленности на 45 000 ручных станков было всего пятнадцать механических, что железнодорожная сеть считала всего 5 000 километров (т. е. была гораздо ниже русской даже 1870 года) и т. д., и т. д.,—чтобы понять, что Маркса и Энгельса трудно было запугать «технической отсталостью» и что они оставались верны положению «Коммунистического манифеста»: «Если не по сущности, то по форме, борьба пролетариата против буржуазии есть прежде всего борьба национальная. Пролетариат каждой страны, естественно, должен прежде всего покончить со своей собственной буржуазией». Что пролетариат отдельной страны может предпринять такую пролерзость, только заручившись поддержкой пролетариата других стран, иначе он «осужден на гибель», это впоследствии сочинили меньшевики, воспитывая в рабочих спасительный страх перед революцией,—Маркс же этого не говорил. Надо, впрочем, отдать справедливость Троцкому, что его теория в этом пункте круто разошлась с его практикой и что он в 1918—1920 годах создал самые блестящие страницы своей биографии, защищая социализм в «рамках национального государства» (тогда Союза еще не было, была только РСФСР), при всей «несовместимости» последних с «проблемой социализма». Этого противоречия, как и многих других противоречий в своей теории, с которыми мы еще будем иметь дело, Троцкий, к большой выгоде для себя, не заметил.

Как читатель уже заметил, разбирая схему Троцкого, нам пришлось итти иным путем, нежели каким мы шли при изучении схемы Ленина. Там вехами нам служили объективные факты—1905 год, война, падение царизма: отражаясь в диалектике Ленина, они толкали его схему вперед. Троцкий отправляется не от «сущего», а от «должного», не от того, что уже случилось, а от того, что еще только должно случиться—не от «сегодняшнего», а от «завтрашнего» дня. Причем «должное» не всегда превращается, когда надо, в «сущее»: русская революция не погибла после неудачи западно-европейской, как «должно было бы быть» по схеме Л. Троцкого. Отсюда и нет возможности изучать его схему,

как ленинскую, по ходу самой истории: приходится вести это изучение чисто литературным путем,—не от факта к факту, но от темы к теме. Мы видели, что теории марксизма схема не отвечает—это не настоящий марксизм, это «марксизм с поправками». Но, может быть, поправки даны самой жизнью, может быть, она развивалась «не по Марксу»? Может быть, с историей Троцкому везет больше, чем с теорией?

Увы! Приходится констатировать, что истории от Троцкого не легче, чем теории. Прежде всего, возьмем историю, так сказать, «древнюю». У Троцкого очень широкий размах, и он не обходится без больших исторических параллелей. Обосновывая ту свою мысль, что революцию всегда делал город, а деревня была «пассивна», в лучшем случае проявляя «стихийное недовольство», которое город мог использовать, Троцкий говорит о рабочих: «Эти последние занимают не только в общественной экономике, не только в составе городского населения, но и в экономике революционной борьбы то место, которое в Западной Европе занимала в соответственную эпоху ремесленно-торговая демократия, вышедшая из цехов и гильдий. У нас нет и в помине того коренастого мещанства, которое рука об руку с молодым, еще не сложившимся в класс, пролетариатом брало приступом бастилии феодализма»[1].

Итак, французскую, например, революцию делало «коренастое мещанство», мелкая буржуазия французских городов, главным образом, Парижа. Так, действительно, все говорили, думали и писали лет шестьдесят тому назад. Но уже черносотенник Тэн, первый, хотя и с пакостными целями, заинтересовавшийся общефранцузским движением, под кличкою «спонтанной анархии» (l'anarchie spontanée) впервые показал грандиозную картину мужицкого мятежа, от которого, как в горячке, дрожала вся не только дворянская, а и буржуазная Франция с лета 1789 года и до торжества якобинцев, давших деревне минимальное удовлетворение. Книга Тэна вышла в 1870 годах. А лет двадцать спустя стали появляться и более или менее объективные исследования этого сюжета. Основное из них, известную книжку Саньяка о гражданском праве французской революции, только теперь собрались перевести на русский язык—вышла она еще в XIX веке. Но в значительной степени на Саньяка опирается, в новых изданиях, очень известная у нас работа Кунова «Борьба классов и партий в Великой французской революции», переведенная еще в 1919 году. Вся третья глава этой книги (стр. 114—160 по русскому изданию) посвящена крестьянскому движению. С ним боролись, как водится,

[1] «1905», стр. 264, из статьи «Пролетариат и русская революция». Разрядка моя.—*М. П.*

исключительными законами—и выступление против одного из таких законов в Конституанте было одной из первых и лучших речей Робеспьера, явившегося здесь представителем не только «коренастого мещанства», но и деревенской бедноты Франции. Знакомство с этой, вновь открывшейся, стороной французской революции заставило Кунова дополнить свою книгу главами, «которые подробно обрисовывают борьбу интересов, разыгравшуюся за первое пятилетие революции между либеральной крупной буржуазией, крестьянами и рабочими».

Отнюдь не парадоксом будет сказать, что французская революция была более крестьянской революцией, нежели наши революции 1905 и 1917 годов. Не говоря уже о том, что якобинцы поднимались к власти на гребне крестьянской жакерии, пугавшей до обморока буржуазию и дезорганизовавшей буржуазное правительство — без этого парижское восстание легко было бы изолировано, подобно Коммуне 1871 года, — кто же на внешних-то фронтах защищал революцию от Вальми до Флерюса? Одни «коренастые мещане» города Парижа? Надолго бы их хватило! Французский мужик встал всей массой на защиту земли, которую он только-что отнял у сеньера — встал, чтобы не пустить назад этого сеньера с его привилегиями. И организационные возможности «коренастых мещан» были совершенно недостаточны, чтобы управлять крестьянской массой—оттого деревенское движение и приняло характер «анархии». Гегемония «города», в лице рабочих, у нас была гораздо реальнее — по отношению к партии большевиков якобинские клубы были примерно тем же, что наши боевые дружины 1905 года по сравнению с Красной армией.

Образ, к которому воззвал Троцкий, чтобы обосновать свою идею непременно городской революции, а в русских условиях XX века непременно пролетарской и социалистической, оказался образом, созданным фантазией. Правда, фантазией не самого Троцкого, а старых буржуазных историков, но это дела не меняет. Чрезвычайно характерно, что Ленин даже сквозь вранье буржуазных историков умел схватывать истину [1]. Троцкий сумел только поверить им на слово [2].

---

[1] См. в «Что такое друзья народа?», написанном в 1894 году, первый набросок той концепции русского исторического процесса, которая стала теперь общепринятой—и с которой Троцкий яростно боролся в 1922 году, называл ее «струвианской», «бюхерианской» и бог еще знает какой (См. соч. Ленина, т. I, изд. 2-е, стр. 73).

[2] На пангородской теории Троцкого, который все, и капитализм и революцию, ведет из города, я не останавливаюсь,—прямого отношения к теме она не имеет. К тому же теория не раз подробно уже разбиралась (см. между прочим, «Ленинизм» т. Зиновьева, стр. 138 и сл., где вскрыт и истинный родоначальник теории в лице Парвуса).

Фантастический образ как исходная точка политических рассуждений — не случайность: это, если хотите, метод. С образчиками применения этого метода мы встречаемся на каждом шагу. Вот, не желаете ли, например, знать, почему пролетариат, захватив власть, непременно должен будет перейти к социалистической революции? Возьмите «Наши разногласия» (статью из польского социал-демократического журнала, перепечатанную в «1905»), и вы прочтете там (стр. 284): «Уже на второй день «демократической диктатуры» вся эта идиллия quasi «марксистского аскетизма» (проповедуемая, будто бы, Лениным.—*М. П.)* разлетится прахом. Под каким бы теоретическим знаком пролетариат ни стал у власти, он не сможет сейчас же, в первый же день, не столкнуться лицом к лицу с проблемой безработицы. Вряд ли ему в этом деле сильно поможет разъяснение разницы между социалистической и демократической диктатурой. Пролетариат у власти должен будет в той или другой форме (общественные работы и пр.) взять немедленно обеспечение безработных на государственный счет. Это, в свою очередь, немедленно же вызовет могучий подъем экономической борьбы и целую эпопею стачек: все это мы в малом размере видели в конце 1905 г. И капиталисты ответят тем, чем они ответили тогда на требование 8-часового рабочего дня: закрытием фабрик и заводов. Они повесят на воротах большие замки и при этом скажут себе: «Нашей собственности не грозит опасность, так как установлено, что пролетариат сейчас занят не социалистической, а демократической диктатурой». Что сможет делать рабочее правительство перед лицом закрытых фабрик и заводов? Оно должно будет открыть их и возобновить производство за государственный счет. Но ведь это же путь к социализму? Конечно. Какой, однако, другой путь вы сможете предложить?».

И, нарисовав с «беспощадной логикой» эту картину, т. Троцкий с торжествующим видом заканчивает: «Самоограничение» рабочего правительства» (т. е. ограничение революции рамками буржуазной демократии.—*М. П.)* «означало бы не что иное, как предательство интересов безработных, стачечников, наконец, всего пролетариата во имя осуществления республики». Очень он был уверен, что буржуазия ни на 8-часовой день, ни на государственное обеспечение безработных ни за что не пойдет. Но истории угодно было произвести фактическую проверку—и в результате и 8-часовой день и государственное (или иным путем обязательное) обеспечение безработных существует во многих европейских буржуазных странах, несмотря на неудачу рабочей

---

[1] Ibid. стр. 286.

революции там [1]. А ведь вся фантастическая картина Троцкого исходит из торжества рабочей революции. При таком торжестве, это показал нам Октябрь, буржуазия дальше саботажа и трусливого жульничества никогда не посмеет пойти. И сверхфантастической является дополнительная картина той же схемы, где «крестьянская партия не позволит взять безработных и стачечников на государственный счет и отпереть закрытые капиталистами заводы и фабрики для государственного производства (!!)». Это крестьяне-то, которым до зареза нужны мануфактура и земледельческие орудия, «не позволят» «отпереть закрытые капиталистами заводы и фабрики», ради сохранения принципа священной собственности! Правильно где-то сказано у Достоевского: сочинит человека, да с ним и живет. Стало общим местом, что Троцкий «игнорирует» крестьянина в своих революционных схемах. Кажется, это вошло даже в некоторые партийные резолюции. Тем не менее, я осмелюсь оспаривать это положение. Троцкий не «игнорирует» крестьянина—он просто его не знает,—не знает и не понимает истории крестьянства, крестьянской революции, крестьянской идеологии. Конечно, «игнорировать» происходит от латинского глагола «ignorare», что и означает «не знать». Но «игнорировать» говорят о том, кто знает, да не хочет видеть. От этого упрека Троцкий совершенно свободен—ибо он просто крестьянства не знает, с крестьянством у него связаны более фантастические образы, чем с чем-либо другим. Мы сейчас увидим этому разительные примеры.

До 1917 года отношение Л. Троцкого к крестьянству может быть охарактеризовано, как ровно-презрительное. Раз уже такое некультурное существо, как мужик, в российской обстановке имеется, надо и ему дать, какое-то занятие в революции. Пусть помогает! «Само собою разумеется, что пролетариат выполняет свою миссию, опираясь, как в свое время буржуазия, на крестьянство и на мещанство. Он руководит деревней, вовлекает ее в движение, заинтересовывает ее в успехе своих планов» [2]. Но пролетариат относится к этому кухонному мужику революции совершенно так же, «как в свое время буржуазия». Не более. Это было написано в июле 1905 года, когда на мужика было больше надежды. Когда первая революция кончилась и услуги мужика оказались малоценными, его почти что разочли. В 1908 году т. Троцкий писал: «В ряде своих выступлений в 1905 году пролетариат действовал, то игнорируя пассивность деревни, то опираясь

---

[1] Сейчас 8-часовой день начинают понемногу отбирать: но, ведь Троцкий был уверен, что буржуазия на него никогда не согласится, а он просуществовал чуть не десятилетие.

[2] «1905», стр. 279 (из предисловия к «Речи перед судом присяжных» Лассаля).

на ее стихийное недовольство. Но когда во всей своей реальности стала на очередь борьба за государственную власть, решение вопроса оказалось в руках вооруженного мужика, того, который образовывал ядро русской пехоты. В декабре 1905 года русский пролетариат разбился не о свои ошибки, а о более реальную величину: о штыки крестьянской армии» [1].

Мужик более вреден, чем полезен. Это ясно. И в 1915 году, планируя новую революцию, на него уже почти вовсе не рассчитывают. «Чем меньше пролетариат будет выжидать появления буржуазной демократии, чем меньше будет он приспособляться к пассивности и ограниченности мелкой буржуазии и крестьянства, чем решительнее и непримиримее будет его борьба, чем очевиднее будет для всех его готовность итти «до конца», т. е. до завоевания власти, тем больше у него будет шансов увлечь за собой в решительную минуту и непролетарские народные массы. Одними лозунгами, как конфискация земли и пр., тут, конечно, ничего не сделаешь» [2].

Особенно великолепна, конечно, последняя фраза, «убийственно» направленная прямо в Ленина. Но вот Февральская революция совершилась. По первым телеграммам казалось (нам в Париже—вероятно, и Троцкому в Нью-Йорке точно так же), что питерскую революцию сделала а р м и я. Что ее сделали питерские р а б о ч и е, буржуазная пресса старалась елико возможно замазать. Нельзя ставить в вину Л. Троцкому, что он, не имея других данных, поддался обману: хотя Ленин, даже и сквозь телеграммы буржуазных газет, довольно ясно различал, что перед ним вовсе не просто в о е н н ы й б у н т. Как бы то ни было, Троцкий вспомнил о зловредной роли, которую сыграла в 1905 году «крестьянская армия»—и забеспокоился. Он пишет еще в нью-йоркском «Новом мире»: «Другое дело—крестьянские массы, деревенские низы. Привлечение их на сторону пролетариата есть самая неотложная, самая насущная задача.—Было бы преступлением пытаться разрешить эту задачу путем приспособления нашей политики к н а ц и о н а л ь н о - п а т р и о т и ч е с к о й о г р а н и ч е н н о с т и д е р е в н и: русский рабочий совершил бы самоубийство, оплачивая свою связь с крестьянином ценою разрыва своей связи с европейским пролетариатом» [3].

Как бы мужик не завладел революцией? Положим, «история не может вверить мужику задачу раскрепощения буржуазной нации». Но, ведь, мужик, пожалуй—по грубости и невоспитанности своей,—не послушается истории. И когда

---

[1] «1905», стр. 276.
[2] Там же, стр. 291 (из статьи «Борьба за власть», 1915 г.).
[3] Т. III, ч. 1, стр. 18.

Л. Троцкий, вернувшись в Россию, находит Питер—только Питер, мы сейчас это увидим—захлестнутым волною «добросовестного оборончества», он уже ясно видит, что история спасовала. «Гегемония (верховенство) мелкобуржуазной интеллигенции означала, в сущности, тот факт, что крестьянство, внезапно призванное через посредство военного аппарата к организованному участию в политической жизни, массой своей подавило и временно оттеснило рабочий класс. Более того. Поскольку мещанские вожди оказались вдруг поднятыми на огромную высоту массовидностью армии, сам пролетариат, за вычетом своего передового меньшинства, не мог не проникнуться к ним известным политическим уважением, не мог не стремиться сохранять с ними политическую связь,—иначе ему грозила опасность оказаться оттертым от крестьянства»[1].

Это пишет уже Троцкий—историк революции: это цитата из брошюры, писавшейся в Бресте, в январе 1918 г. Для него гегемония крестьянства в первые месяцы революции—непререкаемый факт: этим именно и нужно объяснять, что революция не стала социалистической, хотя «национальная буржуазная революция в России невозможна за отсутствием подлинно революционной буржуазной демократии»[2].

Мы видим, мимоходом сказать, что схема т. Троцкого обанкротилась вовсе не в Бресте в январе 1918 г., как обыкновенно думают: она обанкротилась еще в Питере в феврале 1917 г. Это надо было как-то объяснить. Ясно, что эта революция какая-то не настоящая, не нормальная. «Если бы революция развивалась более нормально, то есть в условиях мирной эпохи—так, как она началась с 1912 года,—пролетариат неизбежно занимал бы все время руководящее место, а крестьянские массы постепенно вовлекались бы на буксире пролетариата в революционный водоворот. Но война создала совершенно другую механику событий. Армия связала крестьянство—не политической, а военной связью. Прежде чем крестьянские массы оказались сплоченными известными революционными требованиями и идеями, они уже были объединены в кадры полков, дивизий, корпусов, армий».

Эта картина крестьянства, объединенного «в кадры полков, дивизий, корпусов, армий»—замечательная картина, и глубоко несправедливо, что до сих пор она не обращала на

---

[1] Т. III, ч. 2, стр. 261. Разрядка моя.—*М. П.*

[2] «1905», стр. 289. Из статьи «Борьба за власть», 1915 г. Разрядка Троцкого.

себя внимания [1]. Мы видим, что пренебрежение Л. Троцкого к классовому анализу вовсе не случайно—это совершенно то же, что пренебрежение к музыке человека, абсолютно лишенного слуха. Простой, рядовой марксист привык думать, что «классовая организация»—это есть организация, защищающая интересы данного класса (причем вовсе не необходимо, чтобы она на 100% состояла из представителей этого класса: профессора и адвокаты гораздо лучше защищают интересы буржуазии, чем фабриканты и заводчики; кадетская партия—классовая организация буржуазии, хотя буржуа в прямом смысле этого слова, предприниматели, в ней в меньшинстве). Но мы все это переменили, как мольеровский «доктор поневоле»: классовая организация у нас, это организация, состоящая из людей данного класса, какие бы цели она ни преследовала; крепостная дворня—это классовая крестьянская организация; буржуазная фабрика—классовая пролетарская организация (и профсоюзов не нужно—к чему они?). Армия, куда самодержавие согнало детей деревни, это тоже классовая крестьянская организация. Через нее крестьянин, вопреки запрету истории, сделался хозяином русской революции.

Сами крестьяне были об этом другого мнения—они делали свою революцию, разбивая эту свою «классовую организацию», бывшую царскую армию. Они бежали из нее десятками тысяч к себе в деревни, не понимая, какую силу в их руки дает «массовидность» армии. И главное, совершенно не желали считаться с тем, что они должны делать «национальную» революцию, проявляя тем свою «национально-патриотическую ограниченность».

Эту теорию, согласно которой «добросовестное оборончество» первых месяцев революции имело своей базой «национально-патриотическую ограниченность деревни», необходимо разобрать подробнее, тем более, что это—не индивидуальная ошибка Троцкого, а заблуждение, довольно широко распространенное, встречающееся, например, и у т. Зиновьева в те дни, когда он еще был ярым противником Троцкого. На стр. 113 «Ленинизма» мы встречаем такую тираду: «Ленин старался формулировать программу так, чтобы она была принята не только рабочими, но и крестьянской

---

[1] Троцкий не раз к ней возвращается и повторяет ее, например в своих «Уроках Октября». «Благодаря войне крестьянство оказалось организовано и вооружено в виде многомиллионной армии. Прежде чем пролетариат успел организоваться под своим знаменем, чтобы повести за собой массы деревни, мелкобуржуазные революционеры нашли естественную опору в возмущенной войною крестьянской армии. Весом этой многомиллионной армии, от которой ведь все непосредственно зависело, мелкобуржуазные революционеры давили на пролетариат и вели его первое время за собой». Т. III, ч. 1, стр. XIX. Разрядка моя.—*М. П.*

тяжелой пехотой, которая в данной стадии революции была еще оборонческой и носила на руках Керенского».

Ленин никогда не рассматривал «добросовестное оборончество» как выражение классовой идеологии крестьянства. То, что он говорит об этом явлении, есть лишь иллюстрация к его общему положению, что «буржуазия держится не только насилием, а также несознательностью, рутиной, забитостью, неорганизованностью масс». В классовом смысле, по Ленину, представители добросовестного оборончества не заинтересованы в войне, и именно в этом и выражается их «добросовестность». «Массовые представители революционного оборончества добросовестны,— не в личном смысле, а в классовом, т. е. они принадлежат к таким классам (рабочие и беднейшие крестьяне), которые действительно от аннексий и от удушения чужих народов не выигрывают». Классовым качеством добросовестного оборонца является именно его добросовестность, т. е., попросту говоря, его наивность и идеологическая зависимость от тех, кому война выгодна. Добросовестное оборончество было не выражением классовых настроений или, тем паче, классовых интересов рабочих и беднейшего крестьянства (Ленин не выделяет этих двух групп, не считает оборончество специфически крестьянским настроением, поскольку малосознательные рабочие так же, как и крестьяне, поддавались влиянию шовинистической агитации), а выражением того факта, что эти классы, вследствие своей «несознательности, рутины, забитости, неорганизованности», «в образе мысли» шли «за буржуазией».

Шли, нужно сказать, лишь постольку, поскольку суровая действительность фронта и окопов не парализовала шовинистической агитации, противопоставляя красивым фразам оборонцев слишком неприглядную картину настоящей, подлинной, а не митинговой, обороны. Этот факт, что оборончество было не только настроением малосознательных масс, но и малосознательных масс именно крупных городских центров, удаленных от фронта, главным образом, Петербурга,—этот факт великолепно сознавался еще в те времена и высказывался настоящими фронтовиками безо всяких экивоков. Начальник одной из пехотных дивизий фронта доносил своему корпусному командиру в конце марта, что его солдаты «заявляют, что те части в Петрограде и других городах России, которые ходят в манифестациях, кричат и вывешивают флаги «война до полной победы», должны быть поставлены в окопы и испытать на себе, как достигается победа, а нам, послужившим в окопах и на войне почти три года, встать вместо тех» [1].

---

[1] «Разложение армии в 1917 году», изд. Центрархива, стр. 33.

У нас имеется теперь громадный, исключающий всякую возможность сомнения в этом вопросе, материал, в виде подлинных документов, рисующих действительное настроение солдатско-крестьянской массы на фронте в марте и апреле 1917 года. Прежде всего мы имеем солдатские письма с фронта, и донесения по начальству военных цензоров, просматривавших эти письма. Военноцензурное отделение штаба 12-й армии писало в том же конце марта: «Как усматривалось из отчетов военных цензоров района армии, за февраль месяц настроение в частях войск в отношении процента бодрых писем в сравнении с прошлыми периодами резко упало. Если в период январских боев некоторые полки, несмотря на понесенные большие потери (11 Сиб. стр. п.), давали огромный процент бодрых писем (25%), то к 1 марта в районе армии не оказалось почти ни одного полка, в котором бы процент бодрых писем превосходил 10%. В общем же падение процента бодрых писем, например для 3 и 4 Сиб. стр. див. 6 корпуса, выразилось: для первой с 18 на 5% и для второй с 13 на 3%». В 42 армейском корпусе на 11% писем о необходимости войны до победного конца приходилось 8% писем о немедленном мире и прекращении войны и 6½% писем о свободном уходе домой. В одном пехотном полку «совет бить врага» можно было найти только в 0,9% всех писем, а требования мира—в 5,6%. По отдельным полкам 2-го Сиб. арм. корпуса все за те же февраль—март 1917 г., «бодрые» письма относились к «угнетенным», примерно, как 3 : 1. Но тут нужно иметь в виду, что солдаты великолепно знали о цензорском просмотре, и что очень часто, нет сомнения, несколько «бодрых» фраз вставлялось просто для того, чтобы письмо дошло до адресата.

Навстречу этой статистике идут еще более красноречивые донесения военного начальства. Я приведу только одно из них, в особенности характерное, как показатель, чего стоили повторявшиеся с чужого голоса оборонческие фразы. Это—донесение главнокомандующему армиями Северного фронта, Рузскому, командовавшего 5-й армией Абрама Драгомирова: «Три дня подряд ко мне приходили полки, стоявшие в резерве, с изъявлением своей готовности вести войну до конца, выражали готовность по первому моему требованию итти куда угодно и сложить головы за родину, а наряду с этим крайне неохотно отзываются на каждый приказ итти в окопы, а на какое-либо боевое предприятие, даже на самый простой поиск, охотников не находится, и нет никакой возможности заставить кого-либо выйти из окопов. Боевое настроение упало. Не только у солдат нет никакого желания наступать, но даже простое упорство в обороне и то понизилось до степени, угрожающей исходу войны. Все помыслы солдат обращены на тыл. Каждый только думает о том, скоро ли ему очередь

итти в резерв, и все мечты сводятся к тому, чтобы быть в Двинске. За последние дни настойчиво живут мыслью, что они достаточно воевали, и пора их отвести в далекие тыловые города, а на их место поставить войска Петроградского и других больших гарнизонов... Настроение падает неудержимо до такой степени, что простая смена одной части другою на позиции составляет уже рискованную операцию, ибо никто не уверен, что заступающая часть в последнюю минуту не откажется становиться на позицию, как то было 28 марта с Ряжским полком (который после уговоров на позицию стал)»[1].

Резюме этих отражений действительного настроения фронта (а не одного «Петрограда») опубликовано давным-давно—еще в первом томе известного «труда» генерала Деникина, в той части, которая посвящена «крушению власти и армии». Это—напечатанный Деникиным в больших извлечениях «Отчет» о совещании главнокомандующих фронтами 2 мая (ст. ст.) 1917 года[2]. Тут есть масса любопытнейших «обмолвок» даже у главнокомандующих-оптимистов, вроде Брусилова, уверявшего, что «войска, особенно находящиеся в резерве(!), отзывчиво относятся ко взглядам о необходимости продолжать войну». Речей «пессимиста» Драгомирова я не буду воспроизводить—мы его уже слышали. К тому же это—северный фронт, близкий к очагам революционного движения. Но вот две выдержки из того, что рассказывал Щербачев, начальник румынского фронта: «Я не буду приводить вам много примеров, я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название «железной» и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок, дивизия эта отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. Подобный же случай произошел на-днях в соседней с этой дивизией, тоже очень хорошей стрелковой дивизии. Начатые в этой дивизии подготовительные работы были прекращены после того, как выборными комитетами, осмотревшими этот участок, было вынесено постановление,—прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления. Если мы не хотим развала России, то мы должны продолжать борьбу и должны наступать. Иначе получается дикая картина. Представители угнетенной России доблестно дрались; свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру, граждане свободной России не желают драться и оградить свою свободу. Дико, странно и непонятно! Но это так».

---

[1] «Разложение армии», стр. 31.
[2] «Очерки русской смуты», т. I, вып. 2, стр. 48 и сл.

«Дико, странно и непонятно» это было, видимо, не для одних генералов. И вот, чтобы не до конца срамить историю, уже оскандалившую себя, допустив совершенно «ненормальную» национальную революцию, на сцену выводится тамбовский мужик, гордо топающий своей обутой в лапоть ногой: «даешь старую границу империи?». Но этот театральный мужичок был как не надо больше далек от тех, кто говорил Абраму Драгомирову: «нам не надо немецкой земли, а до нас немец не дойдет, не дойдет и японец». Фронтовая масса поняла революцию попросту: революция—это мир. «Оптимист»-Брусилов не мог все же не рассказать любопытнейшего анекдота. «Один из полков заявил, что он не только отказывается наступать, но желает уйти с фронта и разойтись по домам. Комитеты пошли против этого течения, но им заявили, что их сместят. Я долго убеждал полк и когда спросил, согласны ли со мною, то у меня попросили разрешения дать письменный ответ. Через несколько минут передо мною появился плакат—«мир во что бы то ни стало, долой войну». При дальнейшей беседе одним из солдат было заявлено: «сказано без аннексий, зачем же нам эта гора». Я ответил «мне эта гора тоже не нужна, но надо бить занимающего ее противника». В результате мне дали слово стоять, но наступать отказались, мотивируя это так: «неприятель у нас хорош и сообщил нам, что не будет наступать, если не будем наступать мы. Нам важно вернуться домой, чтобы пользоваться свободой и землей: зачем же калечиться?» [1].

Любопытно и то, что Троцкий и сам приводит сколько угодно образчиков такого же, по существу, настроения. Описывая непосредственно предоктябрьские события, сам охваченный победной атмосферой Октября—и несколько простив уже истории ее промашку—Троцкий начинает проще воспринимать действительность, не мудря над нею. И тут мы начинаем наталкиваться, на каждом шагу, на такие картины. «Из окопов приходили делегаты. «До каких же пор,—говорили они на заседаниях Петроградского совета,—будет тянуться это невыносимое положение. Солдаты приказали нам заявить вам: если до первого ноября не будет сделано решительных шагов к миру, окопы опустеют, вся армия бросится в тыл». Такое решение действительно широко распространялось на фронте. Солдаты передавали там из одной части в другую самодельные прокламации, в которых призывали не оставаться в окопах дольше, как до первого снега. «Вы забыли о нас,—воскликали окопные ходоки на заседаниях Совета.—Если вы не находите выхода из положения, мы сюда придем сами и шты-

---

[1] «Очерки русской смуты», т. I, вып. 2, стр. 50—51. Разрядка моя.—*М. П.*

ками разгоним наших врагов, но и вас вместе с ними». Петроградский совет в течение нескольких недель стал центром притяжения для всей армии. Его резолюции, после смены в нем руководящего направления и переизбрания президиума, внушали истощенным и отчаявшимся войскам на фронте надежду на то, что выход из положения может быть практически найден на пути, предлагавшемся большевиками: опубликование тайных договоров и предложение немедленного перемирия на всех фронтах. «Вы говорите, что власть должна перейти в руки Советов,—берите же ее в ваши руки. Вы опасаетесь, что фронт не поддержит вас. Отбросьте всякие сомнения, солдатская масса в подавляющем большинстве за вас...» «Зато солдаты даже наиболее отсталых полков восторженно приветствовали комиссаров Военно-революционного комитета. От казачьих частей и от социалистического меньшинства юнкеров к нам приходили депутаты. Они обещали в случае открытого столкновения обеспечить, по крайней мере, нейтралитет своих частей. Правительство Керенского явно повисало в воздухе...» «Солдаты, десятками, сотнями приходившие ежедневно по поручению своих полков, дивизий и корпусов, неизменно говорили нам: «не бойтесь фронта, он целиком за вас, отдавайте только распоряжение—и мы отправим на помощь вам хоть сегодня же дивизию или корпус». В армии было то же, что и всюду: низы были за нас, верхи против нас»[1].

Как же это «национально-патриотическая ограниченность» вдруг так крахнула? Что ее привело к такой катастрофе? Уж не «идиотски» ли «легкомысленное наступление на фронте»?[2]. Эта характеристика наступления 18 июня, последней и отчаянной попытки буржуазии повернуть революцию и загнать народ в войну,—как «идиотски легкомысленного», тоже своего рода перл. Столыпин, «легкомысленно» введший военно-полевые суды! Бонапарт № 3, «легкомысленно» разогнавший национальное собрание! Что те имели успех, а Керенский (плюс Бьюкенен, плюс Палеолог, плюс Милюков) провалились, это неудача, объективно предопределенная классовым соотношением сил, а вовсе не «легкомыслие». Обдумано было серьезно и задолго—чуть не с февраля Керенского для этого готовили (см. записки Бьюкенена и Палеолога). Что тут было не без «идиотского» непонимания действительных настроений масс, это-то верно: но, как будто, не людям, которые верили в прирожденный шовинизм крестьянства, говорить по этому случаю об «идиотизме». На самом деле то, что перед Октябрем прорвалось так бурно,

---

[1] Т. III., ч. 2, стр. 291, 294, 308. Разрядка моя.—*М. П.*
[2] Ibid, ч. 1, стр. XXXI.

копилось с февраля, начало копиться еще до февраля, дало, до известной степени, почву Февралю. В этой связи очень интересно одно показание ген. Хабалова «Чрезвычайной комиссии» Муравьева: что начавшая 26 февраля (ст. ст.) восстание рота Павловского полка «состояла преимущественно из эвакуированных»,—т. е. не из новобранцев, не нюхавших пороха, а из солдат, прошедших все ужасы окопов и кое-чему жизнью выученных [1]. То, что видел Л. Троцкий в Октябре, было победой классовых интересов широчайшей массы над шовинистическим угаром, которым «верхи» накачивали эти массы три года.

Итак, отсутствие симпатии к классовому анализу, попытки избежать этого анализа—и теоретически оправдать такое уклонение тем, что история строится «не только классовыми отношениями», все это лишь проявление спасительного чувства самосохранения: там, где Троцкий пытается классово обосновать свои формулировки, это ему не удается. Таких классов, которые нужны для его теории, в природе не существует—на деле у классов совершенно иная физиономия и идеология. Остается показать обратный пример: как Троцкий не замечает, сквозь очки своей теории, классов действительно существующих и делающих историю. Этот пассаж случился с ним—как это ни странно и ни неожиданно, принимая в расчет его общую точку зрения—ни более, ни менее, как с пролетариатом в самый момент Октябрьской революции. Все время перед нами солдаты. Несмотря на то, что Троцкому отлично известно, что вооруженное выступление было решено партией—он об этом упоминает, хотя немножко вскользь—и было совершенно ясно, что, какой найдется предлог для выступления, дело второстепенное, тем не менее в центре всей картины для него стоит петроградский гарнизон. «Зарницей Октябрьской революции» оказывается постановление солдатской секции Петроградского совета. Вопрос о выводе петроградского гарнизона на фронт двигает дальше все дело—как будто, не будь этого, о восстании нечего было бы и думать. Кроме этого, Троцкого интересует еще, на протяжении этих глав «Октябрьской революции», вопрос о сроке созыва II Съезда советов—тот формальный вопрос, которому столь мало придавал значения Ленин, советовавший этим сроком себя отнюдь не связывать. С этим Троцкий был решительно не согласен. В своих воспоминаниях о Ленине он говорит: «Брать власть собственной рукой, независимо от Совета и за спиной его, партия не могла. Это было бы ошибкой. Последствия ее сказались бы даже на поведении рабочих и могли бы стать чрезвычайно тяжкими в отношении гарнизона. Сол-

---

[1] См. «Падение царского режима», т. I, стр. 195.

даты знали Совет депутатов, свою солдатскую секцию. Партию они знали через Совет. И если бы восстание совершилось за спиной Совета, вне связи с ним, неприкрытое его авторитетом, не вытекающее прямо и ясно для них из исхода борьбы за власть Советов,— это могло бы вызвать опасное замешательство в гарнизоне».

Гарнизон, как видим, и здесь на первом плане. «Судьба Съезда зависела, в первую очередь, от петроградского гарнизона» («Окт. революция»),— а гарнизон был отчаянным любителем всякой формалистики. Любопытно, что из этого стремления все сделать почти легально, советски легально, ничего не вышло—и власть в последнюю минуту взял не Совет, а явно «нелегальная» организация, созданная ad hoc. «В час дня (25/12)», говорит автор, «я заявил на заседании Петроградского совета от имени Военно-революционного комитета, что правительство Керенского больше не существует и что, впредь до решения Всероссийского съезда советов,— власть переходит в руки Военного комитета» [1].

Но это мимоходом. Интереснее, что везде мы слышим «гарнизон, гарнизон и гарнизон», «солдаты, солдаты и солдаты»,— а рабочие только «относились к конфликту (между гарнизоном и Керенским) «с живейшим интересом, так как боялись, что с выводом гарнизона они будут задушены юнкерами и казаками» [2]—да в изобилии посещали митинги. Так дело идет во все продолжение переворота. Перед нами и гарнизонное совещание, и Волынский полк, и семеновцы, и батальон самокатчиков—и только с выступлением на улицу появляется пролетариат, в лице красногвардейцев, т. е. не толпой, не подумайте чего-нибудь, а вполне организованно, чинно и почти мирно. Этой чинностью т. Троцкий очень гордится. «Буржуазная пресса так много кричала о близком восстании, о выступлении вооруженных солдат на улице, о разгромах, о неизбежных реках крови, что теперь она не заметила того восстания, которое происходило на деле, и принимала переговоры штаба с нами за чистую монету. Тем временем без хаоса, без уличных столкновений, без стрельбы и кровопролития одно учреждение за другим захватывалось стройными и дисциплинированными отрядами солдат, матросов и красногвардейцев по точным телефонным приказам, исходившим из маленькой комнаты в третьем этаже Смольного института» [3].

Когда после этого вы читаете, что «на улицах Петрограда господствуют вооруженные рабочие» (стр. 303), вы в первую минуту немножко удивлены: эти-то откуда взялись?

---

[1] Т. III, ч. 2, стр. 301. Разрядка моя.—*М. П.*
[2] Там же, стр. 285.
[3] Там же, стр. 310.

А если вы не знаете, кто такие «красногвардейцы»—с иностранцем может это случиться—то вы и действительно ничего не поймете. Солдаты, солдаты, а вдруг откуда-то рабочие. А брошюра Троцкого, надо сказать, писалась именно для иностранцев.

Так дело идет до последних, по старому стилю, октябрьских дней, до движения Керенского на Петроград. И тут вдруг происходит «чистая перемена»: оказывается, что в рабочих-то было все дело, а пресловутый гарнизон никакой силы не представлял. Но предоставим слово самому Троцкому. «Наибольшую решительность проявили красногвардейцы. Они требовали оружия, боевых припасов, руководства. Но в военном аппарате все было расстроено, разлажено, отчасти—от запустения, отчастия—злонамеренно. Офицеры отстранились, многие бежали, винтовки были в одном месте, патроны—в другом. Еще хуже обстояло дело с артиллерией. Орудия, лафеты, снаряды—все это находилось в разных местах, и все это приходилось разыскивать ощупью. У полков не оказалось в наличности ни саперных инструментов, ни полевых телефонов. Революционный штаб, который пытался наладить все это сверху, наталкивался на непреодолимые препятствия, прежде всего в виде саботажа военно-технического персонала. Тогда мы решили обратиться непосредственно к рабочим массам. Мы изложили им, что завоевания революции находятся в величайшей опасности и что от них, от их энергии, инициативы и самоотвержения зависит спасти и крепить режим рабочей и крестьянской власти. Это обращение почти сейчас же увенчалось огромным практическим успехом. Тысячи рабочих двинулись по направлению к войскам Керенского и занялись рытьем окопов. Рабочие орудийных заводов снаряжали пушки, сами добывали для них на складах снаряды, реквизировали лошадей, вывозили орудия на позиции, устанавливали их, организовывали интендантскую часть, добывали бензин, моторы, автомобили, реквизировали продовольственные запасы и фураж, поставили на ноги санитарный обоз,—словом, создали весь тот боевой аппарат, который мы тщетно пытались создать сверху из революционного штаба» [1]. «По дороге тянулись обозы с провиантом, фуражом, боевыми припасами, артиллерией. Все это сделали рабочие разных заводов».

Согласитесь, что это «мы решили обратиться непосредственно к рабочим массам»—великолепно. Опять-таки, если какой-нибудь дерзкий человек истолкует это так, что, дескать, старались, старались обойтись без масс, да не удалось,—что вы ему ответите, кроме крепкого слова, которое, ведь, не всегда и не во всех глазах заменяет аргумент?

---

[1] Т. III, ч. 2, стр. 310. Разрядка моя.—*М. П.*

К счастию мы знаем из других источников, что массы были на улицах «Петрограда» и 29, в день восстания юнкеров (об этом были, например, показания свидетелей на эсеровском процессе), и к счастию мы, не иностранцы, знаем, что такое Красная гвардия. Но если и у иностранцев не получилось впечатления, что Октябрьскую революцию сделали солдаты, а рабочие активно выступили лишь post factum на ее защиту—это уже особое счастье Л. Троцкого.

Надобно сказать откровенно: «Октябрьская революция»—блестяще написанная вещь, в ней масса интересных подробностей, но ничего марксистского в ней нет, она отлично могла бы быть написана и не-марксистом. Сравнительно с нею «Кавеньяк» Чернышевского — образец классового анализа. Л. Д. Троцкий правильно старается отгородить себя от последнего. Ничего у него с этим анализом не выходит. То появится класс, какого никогда в природе не было, то исчезнет класс, который был главным двигателем событий. И если вы присмотритесь поближе, вы увидите, что самые ценные и интересные страницы брошюры, это те страницы, которые посвящены социально-психологическому анализу—знаменитая характеристика настроений мелкобуржуазной интеллигенции, например, шедевр своего рода. Когда Л. Троцкий не принуждает себя быть марксистом, а отдается свободному влечению своего литературного таланта, который у него очень велик,—выходит хорошо; в смысле изображения событий, конечно, не в смысле их истолкования, ибо тут нужен не художественный синтез, а материалистический анализ, без него тут ничего не поделаешь.

Но мы взяли Троцкого не как российского Мишле, нам он важен не как художник. Мы пробовали сопоставить его с Лениным. Совершив довольно длинный и утомительный путь, мы видим, однако, что сопоставлять нечего. У Ленина мы видим отчетливую, ясную, последовательную схему событий, как они действительно совершались. У Троцкого, если не считать не иллюстрированного действительно совершившимися событиями общего места, что русская революция может победить лишь как часть общеевропейской,—которое, в отличие от других общих мест, отнюдь не является истиной, не то что вечной, а хотя бы временной—мы никакой схемы не находим. Ленин руководился фактами, которые действительно имели место. Троцкий отправляется от своих впечатлений, созданных фактами, которые иногда действительно имели место, иногда никогда не имели места и являются созданием творческой фантазии. Крестьянин сначала играет подсобную роль, потом никакой роли, потом становится всем, притом такой крестьянин, которого никогда не существовало в России. Рабочий сначала—все, но в самую решительную минуту он исчезает, чтобы неожиданно выско-

чить, как ванька-встанька, неизвестно откуда и почему. «Гарнизон» сначала делает все, а потом, оказывается, что ему и делать-то нечем, ибо он в состоянии полной дезорганизации. Попробуйте построить изо всего этого устойчивую схему.

Но построить изо всего этого фигуру Л. Троцкого как историка Октябрьской революции, вполне возможно. У Ленина понимание процесса, изображение процесса и руководство партией в русле этого процесса сливаются. Одно тесно связано с другим, одно вытекает из другого. У Троцкого изображение процесса само по себе, его истолкование—само по себе, а руководство—это третье и опять совершенно самостоятельное дело. Л. Троцкий понимал революцию как чисто пролетарскую, изобразил как крестьянско-солдатскую, а руководил ею (или хотел руководить: дело идет, ведь, о литературном изображении), как государственным переворотом.

Я вовсе не хочу этим сказать, что Октябрь был на самом деле «переворотом», как крестили его когда-то белогвардейцы, а не революцией масс. Во-первых, и белогвардейцы давно от этого понимания отказались, во-вторых, изображение Троцкого нуждается, мы видели, в поправках, в-третьих, революция происходила не в одном Питере, а и в Москве, например, и тут уже никакие изображения не замажут непосредственного участия в ней широкой рабочей массы. Недаром Троцкий Москвой не очень доволен—там дело не прошло «без хаоса, без уличных столкновений, без стрельбы и кровопролития» («В Москве борьба приобрела крайне затяжный и кровавый характер»,—Л. Троцкий, конечно, объясняет это недостатками «руководителей»; а что в Москве и в 1917 году, как в 1905, было иное классовое соотношение сил, чем в Питере, об этом не говорится; «подбор людей»—это главное...). Но с этим характером питерской революции, как ее вел или хотел вести Л. Троцкий, связано маленькое ки-про-ко, которое дает хороший заключительный штрих сравнению двух историков Октября. Когда Ленин приехал в Смольный 25 октября и услышал рассказ Троцкого, как идет дело, он «стал молчаливее, подумал и сказал: «Что-ж, можно и так. Лишь бы взять власть».

«Я понял»,—глубокомысленно замечает Троцкий, «что он только в этот момент окончательно примирился с тем, что мы отказались от захвата власти путем конспиративного заговора» (!). Недаром я привел выше цитату из письма Ленина еще за 6 недель до революции, где этот конспиративный конспиратор и заговорщический заговорщик писал: «Вопрос идет не о «дне» восстания, не о «моменте» его в

узком смысле. Это решит лишь общий голос тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с массами».

Так, конечно, всегда и рассуждают конспиративные конспираторы: итти вперед можно только опираясь на массы. Оттого массы и шли за «конспиратором» Лениным: за теми же, кто хотел бы вести революцию, как парад, «стройными и дисциплинированными отрядами по точным телефонным приказам», массы идут не всегда...

«Историк-марксист», т. V, 1927 г.

КАК ВОЗНИКАЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В МОСКВЕ

Событиям, о которых я буду рассказывать, еще не минуло десяти лет. До их юбилея осталась еще неделя. В Москве бои за взятие власти Советами начались двумя днями позже, чем в Ленинграде, тогдашнем Питере, и тянулись гораздо дольше, чем там. Эта далеко бóльшая трудность московской победы была условием, выгодным в конечном счете для Москвы. Массы здесь глубже втянулись в дело, и голос их звучал решительнее. Оттого в Москве немыслимы были такие колебания в деле конструирования новой власти, какие возможны были в Питере: Питером, мы это сейчас увидим, козыряли Москве те, кто в сущности не хотел советской власти, и только этот пример Питера был причиной некоторых колебаний московской верхушки; но низы были тверды, верхушка чувствовала их давление и легко и быстро выпрямлялась. До раскола на почве вопроса, пускать ли в новые органы власти «всех социалистов», в Москве не дошло. Но «все социалисты» были на сцене и здесь; их выступления представляют, пожалуй, самый интересный момент из отпечатлевшихся в тех документах, которые дальше придется цитировать.

Уже из этой последней фразы читатель видит, что перед ним не мемуары. Я не отказываюсь внести свою долю в ту массу фактических неточностей, которую обязаны оставлять после себя люди, бывшие свидетелями великих событий. Но я это сделаю в другом месте. Здесь я хотел бы быть «объективным историком» и только. По отношению к данной группе событий я и не мог бы быть мемуаристом: свидетелем большей части их я не был. Я очень скоро вошел в состав нового органа власти, воплотившего победу Советов в Москве, чуть не буквально на другой день после его возникновения: но в создании его я участия не принимал. Октябрьские бои я пережил в Москве не в качестве члена одного из руководящих коллективов, а в качестве советского журналиста, «военного корреспондента», как в шутку называли меня другие—и я сам—«Известий Московского совета», которые редактировал тогда И. И. Степанов-Скворцов (во время боев газета называлась «Известиями Московского военно-революционного комитета»). В этом качестве я очень

много и иногда очень близко видел и слышал: вот отчего я и не отказываюсь от повинности писать воспоминания. Но в деле руководства московской революцией на меня не приходится и самой маленькой доли чести. Я могу говорить дальше в третьем, а не в первом лице, и в этом, конечно, большая моя выгода как историка.

Но я и вообще не собираюсь опираться на чьи бы то ни было воспоминания—в этом другая моя выгода, еще бо́льшая. У меня под руками документ, настоящий документ—современник тех событий, о которых здесь рассказывается. Это ни более ни менее, как протоколы Московского военно-революционного комитета. Их появление на свет было встречено жестами недоумения даже некоторых товарищей, бывших членами этого учреждения. Одни прямо не скрывали подозрений: уж не подделка ли? Другие спрашивали: как же это так, мы же сами своими руками уничтожали эти протоколы? Но документы найдены в такой обстановке, что ни о какой «подделке» и мысли быть не может: товарищи, писавшие их текст, живы и поднесь. Рассказ же об уничтожении правилен в том смысле, что перед нами, действительно, лишь часть протоколов (начиная с заседания 14 (1) ноября, а ВРК возник 8 ноября-26 октября), и притом их черновики. Расшифровка этих черновиков, написанных с массой сокращений, помарок и т. п., дело не очень легкое, и тут, несомненно, не обойдется без мелких неточностей. Но, во всяком случае, это—самая точная запись того, что происходило в Военно-революционном комитете, какую только можно найти, неизмеримо точнее любых воспоминаний. Это было записано тут же, на месте, следом за словами говоривших. И, может быть, очень даже хорошо, что до нас дошли черновые записи. В одном случае сохранился белсвой протокол, и в нем сразу бросается в глаза литературная обработка: разновременно сказанные речи одного оратора объединены в одно целое искусственной связью, именно так, и именно этого он не говорил, а лишь приблизительно похожее. Кое-что, не поддававшееся обработке, выкинуто и т. д. Конечно, поскольку это не стенограмма, сохранилось лишь с о д е р ж а н и е, не форма. Но по содержанию это, повторяю, наиболее полный отчет о заседаниях Московского ВРК, какой мы можем иметь.

Исчерпать в небольшой газетной заметке содержание такого документа,—где благодаря лаконизму записей одна строка может дать материал для двух страниц комментариев,—конечно, невозможно. Я выбираю поэтому только один вопрос,—вопрос о конструировании власти. Вопрос этот имеет гораздо более актуальное значение, чем может показаться.

Характеризуя будущую социалистическую революцию в Европе, Ленин очень настаивал на неизбежности участия в ней мелкой буржуазии [1]. Без ее участия и ее влияния не могла обойтись и наша Октябрьская революция. И далеко не вся мелкая буржуазия была по ту сторону баррикады; это, пожалуй, была самая безвредная ее часть, поскольку на нашей стороне были массы. Гораздо опаснее были те ее отряды, которые «помогали». Мы теперь знаем из других документов (главным образом, из переговоров по прямому проводу ставки главковерха и ставок фронтов), что последним якорем спасения для керенщины (уже без Керенского) было «правительство всех социалистических партий»: о нем вздыхали бывшие царские генералы из военного министерства, с ним заигрывали непреклонные военные миссии Антанты, милостиво разрешавшие такому правительству заключить то самое перемирие, за которое большевиков объявили «предателями» и «германскими шпионами». Можно без всякого преувеличения сказать, что ничего более опасного для только что победившей революции не могло быть, чем это «правительство всех социалистических партий»: а призрак его витал и над Москвой, хотя здесь это был более призрак, чем где бы то ни было.

«Все социалистические партии», т. е. болтающая, рассуждающая, сомневающаяся и колеблющаяся, гордая «здравым смыслом» и «не верящая в химеры» мелкая буржуазия, появились на сцену, конечно, после того, как победили большевики. Так было в Питере, так было и в Москве. Черную работу—драться на улицах Москвы или под Гатчиной,—она предоставляла массам: но как же решать без нее? Правда, и во время боев у нее была функция—мешать драться: попытка мертворожденного перемирия 29 октября (11 ноября) исходила из тех же кругов; этого эпизода наши протоколы не охватывают, поэтому я о нем говорить и не буду. Но в качестве силы «конструктивной» мелкая буржуазия выступила лишь, когда драка, которой она усиленно вставляла палки в колеса (тем, конечно, затягивая ее и увеличивая число жертв: от милосердия часто бывает гораздо больше крови и страданий, чем от жестокости), дала определенные результаты [2].

---

[1] «Социалистическая революция в Европе не может быть не чем иным, как взрывом массовой борьбы всех и всяческих угнетенных и недовольных. Часть мелкой буржуазии и отсталых рабочих неизбежно будут участвовать в ней,—без такого участия невозможна массовая борьба, невозможна никакая революция,—и столь же неизбежно будут вносить в движение свои предрассудки, свои реакционные фантазии, свои слабости и ошибки». Соч., т. XIII, стр. 431 (из «Итогов дискуссии о самоопределении»).

[2] Характеризуя выступления мелкой буржуазии, мне придется цитировать товарищей, ныне состоящих в рядах нашей партии или близко с ней связанных своей деятельностью. Они поймут, надеюсь, что я характеризую не их персонально, а те партии, которые они тогда представляли.

Характерно, что мелкобуржуазного выступления в Военно-революционном комитете ждали, и что в нем была почва, для этого выступления благодарная. Некоторые его члены (протокол приписывает эти слова В. М. Смирнову) находили, «что одними военными силами мы достигнуть победы не можем, и предлагаем через нейтральные группы вести переговоры о мире с тем, чтобы наша платформа проведена была в жизнь». Большинство, однако, с этим не согласилось, и решено было «ждать прихода групп, а самим не начинать переговоров». К концу этого же заседания (или этого дня—точное распределение часов для заседаний, по три в день, появляется лишь в протоколе от 6 (19) ноября), 1 (14) ноября 1917 г., «группы» явились.

Их «спикером» выступил Вольский (когда-то трибун рабочих митингов 1905 года). Он начал с «информации из Петрограда» (связи между двумя центрами восстания почти не было: телеграф был в руках Викжеля—союза железнодорожников, а Викжель, всячески драпируясь в нейтралитет, на самом деле «передавал все сведения Керенскому»: доклад т. Еремеева на заседании 18 (5) ноября). По этой информации, разумеется, выходило, что в Питере правительство «всех социалистических партий» уже налицо: «эсеры согласны вступить, меньшевики колеблются, но поддержку будут оказывать». Причина колебаний у большевиков—«полная разруха политического и военного аппарата. Семеновский и другие полки действуют сами. Факт,—что Троцкий предложил командовать частью одному прапорщику, которого в первый раз видит» (!). Явное дело, что столь ужасные факты,—всегда же главнокомандующие назначают командирами частей своих друзей детства, кто же этого не знает?—демонстрируют «полное отсутствие руководства». «Продовольственный кризис очень острый». «Из Центрофлота сообщили, что около Або готовится германский десант» (и они, голубчики, тут!). «Таково внутреннее положение». Сплошной ужас. И пред лицом такой грозной картины большевики еще не начали целоваться с эсерами... «В Петрограде приходили в ужас (кто?), узнав, что делается в Москве. Стороны пришли к соглашению, а в Москве продолжается баррикадная борьба». Вопрос о перемирии—вопрос жизни и смерти. «Немедленное перемирие и временный комитет». И, наконец, последний удар: «Вчера в Семеновском, Измайловском и Волынском полках было принято: 1) петроградский гарнизон не хочет быть орудием гражданской войны; 2) социалистическое министерство без цензовых элементов».

Я очень жалею, что место не позволяет привести разговора по прямому проводу генерала Краснова (из Гатчины) с Черемисовым, главнокомандующим северного фронта,—разговора, происходившего в этот самый день, начинав-

шегося заявлением Краснова: «Главковерх (Керенский) в пятнадцать часов исчез из гатчинского дворца неизвестно куда», и кончавшегося его же словами: «Сказать, что будет, очень трудно, потому что мы сейчас фактически в плену у большевиков...». Слова Вольского были бы наглейшей ложью, какую можно придумать, если бы предположить, что он знал, что в действительности происходит в Петрограде» и под «Петроградом». Но этот типичнейший в ту минуту из представителей мелкой буржуазии жил в мире созданных его воображением зловещих призраков, и под их нашептывание собирал свою «информацию» из сплетен, рассказывавшихся обывательницами обеих столиц. Что Вольский галлюцинирует, это, впрочем, заметили сразу же и его коллеги по делегации «групп», и Волгин категорически отмежевался от Вольского, заявив, что «перемирие невозможно в виду обострения отношений сторон» (что же было повторять неудачный опыт 29-го?) и что их «политические требования—вся власть Советам»... «Из советских партий,—осторожно добавил он, дальше расшифровав это положение еще яснее, — временный орган из семерки (т. е. Военно-революционного комитета) + кооптация, утвержденный пленарным заседанием Советов Р. и С. депутатов».

Вольскому и Волгину, дал решительный отпор П. Г. Смидович, но дипломатия Волгина правильно нащупала слабое место ВРК. «Масса примирится на лозунге: «Власть Советам в Москве»,—сказал В. М. Смирнов; впоследствии орган, выбранный Советом, может кооптировать и другие организации и партии...». Клюнуло, что называется. Г. А. Усиевич огласил и примерный список будущего органа, куда входила и городская дума, только что сражавшаяся с большевиками, и земство, где, по данным тех же протоколов, в эту минуту заседал князь Гагарин в окружении 70 явных реакционеров, и неизбежный Викжель [1]. Правда, список был составлен так, что большинство (10 против 7) оставалось за большевиками (7 членов ВРК + красная гвардия + совет районных дум + проф. бюро). Что список этот, относительно которого Волгин правильно заметил, что «тут лишь видимость власти Совета», не выражал мнения ВРК, а был какой-то «наметкой», быть может, даже не без задней мысли свести новую коалицию к нелепости, сейчас же вскрылось из отповеди даже наиболее, мы видели, склонного к уступкам В. М. Смирнова. «Как мы можем после боя, после такого кровопролития принять думу, как равную часть, когда она вела борьбу против

[1] Тов. М. Ф. Владимирский очень сомневается, чтобы Усиевич — один из самых твердых членов ВРК—мог быть автором этого списка: но протокол этого не утверждает; Усиевич мог огласить результат происходившего совещания.

нас. Если мы это сделаем, то не удовлетворим ни солдат, ни рабочих» [1]. И окончательно закрепил эту позицию т. Рыкунов. «Вопрос тут, чего мы хотим,—общедемократической власти или советской власти. У нас все время стоит лозунг—вся власть Советам; и масса ждет этой власти».

Вольский попробовал было отыграться на «наиболее целесообразном» предложении, «выдвинутом левыми эсерами: 40 проц. большевиков, 40 проц. оборонцам-партийцам (!), 20 проц. интернационалистам», но его не поддержал, повидимому, никто даже из среды делегации, и последняя, потерпев неудачу в попытке спасти «демократию», перешла к единственно оставшейся еще реальной задаче: спасению юнкеров. Что юнкерам, лишенным поддержки извне, лишенным артиллерии, окруженным со всех сторон восставшими войсками и Красной гвардией,—в распоряжении которых была вся тяжелая артиллерия московского гарнизона,—по всем военным правилам ничего не оставалось, как сдаться на милость победителей, это было ясно даже для Вольского, но что значит: «на милость победителей»? «Принимается ли обязательство, что юнкера не будут избиты»,—трагически допрашивал Вольский членов Военно-революционного комитета. И на этом, наконец, «посредники» получили полное удовлетворение: юнкеров решено было только разоружить и затем отпустить в свои части. Как известно, подавляющее большинство отправилось в добровольческую армию и составило ее кадры...

Так как последние этапы юнкерского «разоружения» происходили в тот момент, когда пишущий эти строки был уже в составе президиума Московского совета, 10 (23) ноября сменившего ВРК, то тут он не может снять с себя ответственности. Стыдно вспомнить, как к нам в Совет приходили юнкера за пропусками на выезд из Москвы и получали пропуска... Но что нам было делать, с другой стороны? Организовать концентрационный лагерь было, в тогдашних условиях, абсолютно, физически невозможно. Попытки запереть юнкеров,—по крайней мере, наиболее злостных—в Бутырки были (это нашло себе отражение и в наших протоколах): но пришлось и от этого отказаться—кому было их там сторожить? Что было делать, когда Викжель, не пускавший советские войска в Калугу, где засела «карательная экспедиция» присланная туда еще Керенским, целыми поездами вывозил юнкеров на юг?

Но я не собираюсь разбирать условий капитуляции юнкеров, это—особая задача, притом этот эпизод известен не только по нашим протоколам. Возвращаюсь к «конструированию власти». Спасши юнкеров (очень характерно, что на

---

[1] В подлиннике: «если мы этого не сделаем»—явная бессмыслица.

заседании 16 (3) ноября, т. Розенгольц докладывал комитету о «неудовольствии солдат оставлением оружия у офицеров и юнкеров» и предлагал «издать приказ о расформировании юнкеров»,—но это предложение не прошло), «все социалистические партии» сделали попытку спасти «комитет общественной безопасности», т. е. то контрреволюционное правительство, которое руководило борьбой юнкеров против Совета. Но получив от Н. И. Муралова ответ, что по этой линии «никаких уступок не будет», и произведя—устами, конечно Вольского—новую истерику («Я присутствую при таком акте палачества, при каком никогда раньше не присутствовал. Вы не только не прекращаете артиллерийской стрельбы [1], но вам мало капитуляции и того, что комитет общественной безопасности распускает себя, вы заставляете идейно признать вашу власть,—таким социалистам я не могу подать руки»...), «социалистические партии» отступили. Мы не будем останавливаться на мелких, сравнительно, арьергардных боях: на попытке, например, запугать новую власть «продовольственным крахом» и «финансовым кризисом», исходившей от тех «всесоциалистов», которые заведывали продовольственным делом. Тем временем, то, что Краснов рассказал Черемисову по прямому проводу, стало общеизвестным, и сам Вольский должен был признать, что сила—физическая сила—в руках Военно-революционного комитета; об «изолированности» большевиков и готовности их якобы капитулировать—больше не было речи. Тут имел место еще один маленький характерный эпизод. Спасая юнкеров, «все социалистические партии» совсем забыли о небольшой группе солдат, сражавшихся вместе с юнкерами: батальоне ударников, приехавших из Киева на помощь белым—единственной помощи с фронта, какую получили белые в Москве. Но ударники сами напомнили о себе: 3 (16) они «пришли со своим офицером» и просили «прикомандировать их к московскому гарнизону», что и было исполнено. Сбитые на минуту с толку, солдаты легко нашли своих.

18 (5) ноября большевики и представители «всех социалистических партий» сошлись снова и в последний раз. «Все социалистические партии», раньше представленные оптом одними объединенцами, теперь получили пополнение в лице представителей левых эсеров. Эти последние, принимавшие, хотя и не официально, некоторое участие и в боях за советскую власть (т. Ломов в своих воспоминаниях, по-моему, слишком окарикатурил роль этих кратковременных попутчи-

---

[1] Военные специалисты ВРК предупреждали, что ранее нескольких часов невозможно, по техническим условиям, прекратить боя, раскинувшегося по всей Москве. На самом деле, стрельба продолжалась более полусуток после подписания договора. Остановить солдат и красногвардейцев от завершения их победы было очень нелегко.

ков большевизма), на межпартийном совещании оказались всего ближе к линии Московского комитета нашей партии. Когда представитель этого последнего, т. М. Ф. Владимирский, заявил, что «Комитет признает необходимым создать, полномочный орган власти, избранный пленумом Совета и ответственный перед Советами» (о каких-либо «кооптациях» больше не было ни слова), представитель левых эсеров Зитта «согласился с тем, что орган власти должен быть безусловно советский, причем президиум должен быть руководящим органом всей жизни Москвы». На крайнем правом фланге «всех социалистических партий» оказались, таким образом, объединенцы. На их крайнем правом фланге не было уже Вольского—для разговоров в обстановке, какая сложилась к 5 ноября, он явно не годился. На его месте оказался, объективно бывший накануне своего присоединения к большевикам, Кузовков. Предстоявшей ему чуть не через несколько дней судьбы, он, видимо, не предчувствовал, решительно заявляя, что «по принципиальным и техническим соображениям считает неприемлемой чисто советскую власть», и что его платформа—«диктатура пролетариата и демократии». «Наше решение,—заключил он,—будет зависеть от возможности вхождения в орган власти меньшевиков и правых эсеров». На это он получил ответ Владимирского, что «мы говорим о диктатуре интернационалистических элементов», и что «гораздо опаснее саботаж внутри, чем извне».

Но правые эсеры не имели теперь духу даже для «саботажа изнутри». Предложение Кузовкова уже по той одной причине было неосуществимо, что правые эсеры резко отмежевались от советской власти, «гордо» заявив в своей декларации, что они считают возможными с Военно-революционным комитетом «лишь предварительные переговоры, но только после действительной отмены всех введенных Военно-революционным комитетом нарушений и ограничений демократических свобод и после восстановления свободной деятельности разогнанной силой штыка Московской городской думы». Что этому последнему эпизоду предшествовала попытка самих эсеров «разогнать силой штыка» Московский совет рабочих депутатов, эсеровская декларация благоразумно умалчивала. Как-никак, объединенцы и с этого фланга опять оказывались в одиночестве. Но они не падали духом. По обыкновению, наиболее «обоснованно» выступал В. П. Волгин. Он, прежде всего, устанавливал тот принцип, что «построение власти на местах зависит от построения власти в центре». Питерские колебания к этому моменту не разрешились еще окончательно,—от масс, властно требовавших советской власти в завоеванной ими Москве, казалось возможно апеллировать к петербургской верхушке. Как распределятся в этой верхушке примиренческое меньшинство и решительное боль-

шинство, в Москве 5 (18) ноября еще не знали. Коалиция в Петербурге логически вела бы за собою коалицию и в Москве. Далее, «единовластие президиума,—говорил Волгин,—есть шаг назад. Нужно взять за основу выработанный Военно-революционным комитетом проект состава органа власти» (т. е. то, что в протоколах обычно называлось «резолюцией Усиевича»,—мы уже видели, как следует понимать этот термин). И, наконец, само собой разумеется, «нельзя местный орган власти, пополненный представителями других демократических организаций, делать ответственным перед Советами, в которые эти организации не входят».

Проще всего было бы на это ответить, что раз президиум выбирается Советом, этот последний и должен решить, кого туда ввести и в какой пропорции. Но призрак петербургской коалиции не окончательно испарился еще из сознания даже московских большевиков,—и вместо короткого и ясного ответа Волгину М. Ф. Владимирский, исходя из «конструкции центральной власти», нарисовал картину довольно-таки пестрого собрания из 15 человек, среди которых только 8—9 должны были быть обязательно большевиками. Получив такой ответ, Волгин, естественно, начал нажимать и уже говорил о том, как важно «привлечь меньшевиков и правых эсеров» и что для него, т. е. для объединенцев, «важно фактическое положение вещей, а именно твердое интернационалистическое большинство революционно-демократической власти, а не слова «вся власть Советам».

В конце-концов, на этом совещании сделан был лишь очень небольшой шаг вперед сравнительно с совещанием 1 (14), а именно, из «коалиционного правительства» Москвы был изъят Викжель, саботажническая роль которого становилась все очевиднее с каждым днем. Но и вообще совещаний со «всеми социалистическими партиями» мы в протоколах больше не встречаем. Военно-революционный комитет фактически все больше и больше входил в роль правительства Москвы, управлявшего всею жизнью громадного города, а вскоре затем и всей его округи («Московская область» не была каким-либо искусственным созданием,—она выросла стихийно, по мере завоевания советской властью городов, подмосковных уездов и губерний); вопросы продовольствия, связи, финансов, властно выдвигаясь на первый план и требуя решения в 24 часа, оттесняли далеко назад всякие разговоры о «конструировании власти». Революция сама сконструировала себе тот орган, какой был ей нужен. В этом органе были рядом с большевиками трое левых эсеров; но это была не «коалиция», это просто были уполномоченные Совета, которых Совет послал в свой президиум, как нужных там по тем или иным деловым соображениям людей. Политический удельный вес этой группы был очень не-

велик и президиум Московского совета заключал в себе не «большинство большевиков в 8—9 человек из 15», а был попросту большевистским, как большевистским был и сам Московский совет, как большевистской была та масса, которая вырвала власть из рук крупной и мелкой буржуазии в октябре—ноябре 1917 года. Но как недалеки были мы от обратного падения в мелкобуржуазную демократию! Какая тонкая стенка отделяла нас от этой возможности даже на другой день после наших побед! И какой глубокий политический смысл имела борьба Ленина против возрождения коалиции,—борьба, которую иные готовы были объяснять чуть ли не тем, что Ленину непременно хочется быть самому председателем нового правительства. На самом деле, Ленин не в первый и далеко не в последний раз отбивал атаку мелкой буржуазии на позиции, только что занятые диктатурой пролетариата. То, что эти позиции были прочно сохранены в руках рабочего класса, обеспечило все будущее рабочего государства. Стоит только вообразить себе, что разыгралось бы в эпоху Брестского мира, стой тогда у власти коалиционное правительство «всех социалистических партий». И с одной-то из этих партий—с левыми эсерами—сколько было хлопот: а они, нужно сказать откровенно, из «всех социалистических партий» держались в октябре—ноябре менее всего «социалистически» и более всего по-большевистски. Что было бы, если бы в правительстве были еще другие «социалисты»?

«Правда», 6—7 ноября 1927 г.

БОЛЬШЕВИКИ И ФРОНТ В ОКТЯБРЕ—НОЯБРЕ 1917 г.

Перед 25 октября фронт казался последним прибежищем Керенского. С фронта, ожидая выступления большевиков, Керенский «подтягивал силы» к Петербургу. На фронт Керенский кинулся за помощью, когда «силы» не подошли,— а большевики заняли уже весь Петербург, кроме Зимнего дворца. Когда мы в Москве начинали бой с керенщиками, нас пугали фронтом. В редакцию «Известий» к нам с занятого покойным Подбельским телеграфа кучами приносили депеши «с фронта», адресованные в редакции «Русского слова», «Русских ведомостей» и других достославных кадетских газет, депеши, одна грознее другой. Весь фронт двигался на крамольную Москву (в Петербурге уже был «сам» Керенский «с двумя корпусами...»). Генерал Черемисов был чуть ли уже не в Вязьме. И когда, наконец, на Брянском вокзале высадилась рота ударников в 180 штыков, впечатление получилось такое, как если бы из клетки, откуда должна была выпрыгнуть стая голодных тигров, вылез маленький котенок.

Субъективно уже тогда ни у кого не было ни малейшего сомнения, что эти надежды Керенского так же легкомысленны и ни на чем не основаны, как и все его надежды и все его поведение. Но что на самом деле, объективно, на фронте происходило? У нас есть теперь под руками материал, дающий возможность ответить на этот вопрос весьма «документально». Это—переговоры по прямому проводу ставки главковерха, ставок фронтов и военного министерства в промежуток времени между низвержением Керенского и началом переговоров о перемирии (7 ноября—3 декабря, считая по новому стилю, 1917 г.). Целиком эти документы никогда еще не были ни напечатаны, ни даже использованы. В кое-каких—не самых характерных—отрывках они известны по брошюре тов. Лелевича «Октябрь в ставке». Напечатаны же они будут в ближайшей книге «Красного архива».

Как это ни неожиданно, но военное министерство имело более реальное представление о «перевороте» 25 октября (7 ноября), чем некоторые его участники и даже руководители. В изображении Л. Д. Троцкого в центре всех петербургских событий этих дней стоит гарнизон,—как всем

известно, рабочие массы у этого автора выступают только в самом конце, непосредственно в боях с Керенским, пытающимся вернуться в отнятую у него столицу. А наметавшийся глаз военных людей видел другое. «Из тех боевых действий, если их можно назвать боевыми, которые я видел собственными глазами,—рассказывал Духонину по прямому проводу генерал Марушевский,—я вывожу заключение, что здесь на улицах дрались только матросы и вооруженные рабочие, солдаты запасных полков были апатичны и, видимо, кажется, берегли себя и не желали особенно активных выступлений».

Странно, конечно, что картину действительно пролетарской революции (что матросы в классовом смысле больше представляли пролетариат, чем крестьянство, это твердо установлено еще с 1905 года) приходится восстановлять на основании разговоров между собою белогвардейских генералов. Но чего на свете не бывает! Показание Марушевского довольно позднее: разговор его с Духониным не датирован на ленте юзограммы—происходил же, по всей совокупности ее непосредственного окружения, около 10/23 ноября. Но телеграмма штаба Петербургского округа, посланная под первым впечатлением событий, этому не противоречит. «Пехотные части никаких приказаний не исполняют, но и не выступают»,—доносил ген. Багратуни Черемисову в самом разгаре действий, днем 25 октября (7 ноября). Зато эта телеграмма вполне подтверждает другую часть характеристики Троцкого: «Идет планомерный захват государственных и общественных учреждений: центральная телефонная станция, государственный банк и другие». «В городе беспорядков нет. На улицах спокойная, нормальная жизнь...» В совершенно курьезной форме то же сообщал и начальник Багратуни, Полковников: «Доношу, что положение Петрограда угрожающее. Уличных выступлений, беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, аресты». Беспорядков нет, все идет нормально—а «Временное правительство подвергается опасности потерять полностью власть». Иногда порядок хуже беспорядка бывает.

События шли быстро—и уже на другой день из ставки Северного фронта (Псков) Духонину (тогда начальнику штаба верховного главнокомандующего) телеграфировали, что «члены Временного правительства отправлены в Петропавловку». Духонин в это время нервно разыскивал по всем проводам своего главковерха, Керенского, который и был, наконец, обнаружен именно во Пскове. Положение здесь было очень сложное. «12-я армия решительно и определенно высказалась против большевиков и заявила, что она употребит все свои силы, чтобы покарать бунтующую кучку большевиков. 1-я и

5-я армии заявили, что они за правительством не пойдут, а пойдут за Петроградским советом. Это я вам (Духонину) сообщаю решения армейских комитетов»,—оговаривался начальник штаба Северного фронта, Лукирский: за солдат, мол, я не ручаюсь, а армискомы вот что говорят.

Лукирский правильно сделал, что оговорился: его начальник, «главкосев» Черемисов был убежден, что «армейский комитет 12-й армии оторван от войск и не является выразителем их взглядов»,—отрицавший же это командарм 12 Юзефович должен был признать, что у него в Вендене образовался «самозванный военно-революционный комитет», которому беспрекословно подчиняются латышские стрелки—лучшая в боевом отношении часть его армии. Выходило так, что Керенского на Северном фронте никто поддерживать не собирается—и 27 октября (9 ноября) Черемисов разослал телеграфный приказ, до чрезвычайности мало походивший на телеграммы о Черемисове, которые направлялись в этот самый день в «Русское слово» и «Русские ведомости»: «Политическая борьба, происходящая в Петрограде, не должна касаться армии, задача которой остается прежняя—прочно удерживать ныне занимаемые позиции, сохраняя порядок и дисциплину». Ближайший к Петрограду фронт официально нейтрализовался—в тот самый момент, когда «главковерх» Керенский возвещал «всем, всем», что он «прибыл сегодня в Гатчину во главе войск фронта, преданного Родине» (с большой буквы).

Инцидент с нейтрализацией Черемисова был предметом длительного и настойчивого обсуждения—по прямым проводам—между ставками фронтов и ставкой главковерха, где на месте последнего в данный момент заседал «наштаверх» Духонин. Все соглашались, что Черемисова надо убрать, но как это сделать? А если он не послушается? Откуда взять на Северном фронте материальную силу для принуждения? В конце концов остановились на проекте—выманить изменившего «главкосева» в Могилев, но дальше проекта дело не пошло, ибо постепенно все фронты начали обнаруживать то же настроение, что и Северный.

На Северном «преданные Родине» войска ограничивались, как известно, 3-м конным корпусом ген. Краснова. Понимая, что одной конницей не возьмешь города с миллионным населением, «где около каждого казака станет по 10 большевиков» (слова одного из генералов), Керенский в первую очередь запросил хотя бы один дивизион броневых машин. История этого дивизиона характерна, как нельзя более. Выбирали, конечно, самый «надежный». И вдруг оказалось, что «настроение дивизиона, бывшего долго в Петрограде, наполовину большевистское: по прибытии в Двинск около трех недель тому назад, он вызвал там всеобщий ужас и смяте-

ние, просили его убрать». Вот так сюрприз! Оказывается, дивизион назначили потому, что его командир соглашался вести броневики: другие, очевидно, не брались. Но командир явным образом переоценил свои силы. Ему удалось продвинуть свои машины из Двинска только до Режицы, а там они застряли: их дальше не пускал местный военно-революционный комитет, а «пробиваться» команда броневиков не имела, видимо, ни малейшей охоты. Пробиваться не имели охоты и другие части, не исключая казаков: «13-й и 15-й донские полки не могли быть отправлены к Петрограду (из Ревеля), так как большевики угрозой воспретили подачу подвижного состава,—доносил Духонин Керенскому,—полки же эти, по неизвестным мне причинам, не проявили решимости добиться выхода хотя бы до ближайшей станции для погрузки вне района Ревеля».

«Комитеты 5-й армии (главная квартира Двинск) высказались за посылку войск в Петроград на помощь большевикам, а комитеты 1-й армии заняли в общем пассивное положение»,—прибавляла телеграмма. Но хуже всего было в «надежной» еще вчера (недаром Черемисов этому не верил!) 12-й армии: здесь «латыши, оставив позиции, направились для занятия в тылу городов Валка, Вольмара и Вендена». Латыши были источником настоящей паники в штабах Северного фронта. Юзефович докладывал Черемисову 28 октября (10 ноября): «Больше всего хлопот и наиболее скверно с латышами. Пришедшие вчера в Вéнден 1-й и 3-й полки не ушли, захватили железнодорожную и телеграфную станцию, арестовали много офицеров в двух полках первой бригады, оставшихся пока в резерве второго корпуса, брожение в 4-м полку, арестовано 7 офицеров, происходят массовые избирания начальников из латышей. Проект нового порядка аттестования начальников, дошедший до самых низов, нашел весьма благоприятную почву в латышских сердцах, они вынесли самое крайнее постановление о выборном начальстве, вплоть до главковерха и с допуском чуть ли не на все должности солдат. Начальник 1-й латышской бригады еще находится под контролем военно-революционного комитета. Полковые комитеты вынесли резолюцию о выводе латышей в Лифляндскую губернию, якобы для охраны железных дорог. В Вольмаре городской управе военно-революционный комитет приказал отвести помещение для полка латышей в числе 3 000 человек. Комкор 43 приказал без его разрешения никому из посторонних помещений не отводить. Военно-революционный комитет в Вендене заявляет, что им дана латышам какая-то специальная задача, но не указывает, какая». Словом, «латышские полки это какие-то чудовища и гроза всей 12-й армии» (доклад генкварсева Барановского Духонину): благодаря им «благонадежная» 12-я

армия была совершенно парализована, и попытки что-нибудь из нее отправить Керенскому лопались, как гнилые бичевки. Но что дело было не в одних латышах,—наиболее полно воплощавших большевизм на Северном фронте,—показывает мимоходом брошенное сообщение, что хотели послать в Гатчину броневой дивизион из Пернова, да побоялись осложнения с «позиционными батареями»: попросту говоря, тяжелая артиллерия пригрозила расстрелять броневики, если они посмеют двинуться на помощь Керенскому. Это уже не латыши.

Но и в самой «столице» фронта было не лучше. На вопрос: «какое положение в Пскове?», Барановский, явно «успокаивая», отвечал: «В Пскове у нас положение несколько тревожнее, небольшая кучка большевиков развивает невероятную деятельность, предел которой еще не положен. Сегодня были здесь члены Всероссийского комитета спасения, которые, сознавая важность значения Пскова, требовали ареста этих господ, но до сих пор он не приведен в исполнение. Вчера эти господа освободили из тюрьмы до двухсот арестованных большевиков. Меры принимаются, но тревога растет. Боимся погрома и пьяной вакханалии. Не исключена возможность и арестов. Пока, однако, наружно спокойно».

Хотели арестовать большевиков, да чуть самих не арестовали... Но чего Псков, когда около общеармейской столицы, Могилева, было не лучше. Из Минска доносили генерал-квартирмейстеру ставки: «Вопрос о посылке броневиков в Москву не разрешен, так как отправлению их препятствует Минский комитет спасения революции, по этой же причине не можем оказать скорой поддержки Вязьме, которая в руках большевиков и не пропускает поездов, а также и Гомелю, где телеграф занят большевиками. Этот же комитет препятствует снятию с фронта революционных батальонов для Минска, в котором гарнизонную службу несет Кавказская кавалерийская дивизия, требующая смены, чтобы дать возможность отдохнуть людям. Из всех наших нарядов по переброске войск будет выполняться только перевозка первого Астраханского казачьего полка из 3-ей армии в Смоленск... Далее я хотел бы несколько очертить здешний комитет спасения революции. Он составился частью из благожелательного элемента и частью из большевиков; такой блок получился от того, что эсеры и эсдеки вообще благомыслящие не были уверены, что военная сила их достаточно твердо поддержит против совдепа, т. е. большевиков, а затем не были уверены, чем кончится борьба в Петрограде. Отсюда личный шкурный страх ясно и определенно высказать в комитете свой личный взгляд, и, кроме того, страх, что решительные меры против совдепа вызовут взрыв насилия

на фронте. Также страх, что малейшее кровопролитие приведет к анархии в Минске, к погромам и грабежам. Большевики решительно проводят свою линию, а средние, т. е. меньшевики, по своему политическому убеждению не желают решительных действий против большевиков. Все решительно держат камертон по Петрограду; как только в Петрограде будет развязан узел в пользу Временного правительства, так сейчас же отпадет всякое влияние совдепа и большевиков. К этому надо прибавить полное отсутствие симпатий к Керенскому. Если все суммировать, то отсюда и результаты: боязнь оказать открыто помощь Петрограду и Москве».

Все это происходило пока на фронт еще не дошли первые декреты советской власти. Когда на фронте стал известен декрет о мире, паника комитетов спасения дошла до высшей точки: явно приходилось «спасать» прежде всего свою шкуру. Они начали рассылать телеграммы, вроде следующей: «Ровно. 9 ноября 1917 г. Комитет защиты родины и спасения революции на территории особой армии при командарм (комспасарм) считает постановление главковерха немедленно снестись с военными властями неприятельских армий о перемирии подлежащим немедленному исполнению, решительно протестует против отказа генерала Духонина в качестве главковерха принять соответственные меры, так как на местах фактически не может быть и речи о продолжении ведения военных действий и нам необходимо в целях предотвращения ужаснейшей катастрофы обеспечить себя от активных действий со стороны неприятеля. Резко осуждаем призыв обаркома и препятствия, чинимые им перемирию. Ультимативно требуем от главковерха общего распоряжения о перемирии в течение 24 часов, что в противном случае особая армия заключит перемирие собственной властью — это единственное средство предотвратить ужаснейшую катастрофу. Кроме того, особая армия, как сказано во вчерашней резолюции, приемлет кандидатуру Чернова как результат соглашения партий, а не как новый вид диктатуры, влекущей за собой новую гражданскую войну, и требует немедленного создания общесоциалистического правительства».

Пересматривая разговор по прямому проводу, чувствуешь, до какой степени «создание общесоциалистического правительства», к которому, по несчастию, обнаруживали кое-какую симпатию и некоторые большевики, было последним якорем спасения керенщины. 1/14 ноября Юз стучал в ставке: «Здесь кабинет наштаверха? Пожалуйста, пригласите к аппарату генерала Духонина. Генерал Духонин у аппарата. У аппарата члены Центрокома спасения родины и революции, бывший министр земледелия Чернов и член

Центрокома партии эсер Андрей Фейт, а также член Искосола Хараш. Мы имеем вам сообщить только что сообщенные сюда комиссарсевом Войтинским следующие, пока не оглашенные, решения, для оформления которых Керенский уже выехал куда нужно. Предстоит сложение Керенским всех своих полномочий, назначение вас главковерхом и председателя Временного совета республики Авксентьева министром-председателем. С вашей стороны необходимо безотлагательное удаление отсюда Черемисова, хотя бы немедленным категорическим вызовом его в ставку, в дальнейшем оформление этого официальным назначением преемника. Против кандитатуры Драгомирова здесь у нас возражений нет. Временный заместитель Лукирский осведомлен обо всем и действует в полном контакте с комитетом спасения. Выезд Черемисова необходим в самом экстренном порядке, он развяжет руки для совершенно необходимых действий в Пскове, времени терять нельзя. Не исключена возможность мирной ликвидации петроградских событий путем переговоров, но только при условии скорейшей присылки серьезных подкреплений, с пехотными частями, повторяем еще раз: больше всего необходима быстрота, нельзя терять ни минуты».

Более нетерпеливый Войтинский слал уже в это время во все стороны такие телеграммы: «Между сосредоточенными у Петрограда войсками и представителями Петроградского гарнизона достигнуто соглашение на основе низложения Керенского. Предпишите немедленно остановить все двигающиеся к Петрограду эшелоны и прекратить всякие действия, связанные с формированием отряда Керенского».

Керенщина надеялась отвертеться персональными уступками... В это время на Северном фронте надежд, даже обманчивых, уже никаких не было. Черемисов—больше для очистки совести—спрашивал 5-ю армию: «А как у вас в армии относятся к отправке войск на Петроград? Не вызывает ли это каких-либо эксцессов и недоразумений?—С какою целью?—Для поддержки Временного правительства.—Определенно отрицательно. Армия не даст правительству Керенского ни одного солдата для борьбы с Петроградом».

Не было уже никого и у самого Керенского, как видно из разговора того же Черемисова с Красновым в тот же день. Но разговор этот настолько интересен, что его стоит привести целиком:

«Главкосев (Черемисов) у аппарата.—Здравия желаю ваше превосходительство.

Генерал Краснов. Главковерх в пятнадцать часов исчез из Гатчинского дворца неизвестно куда. Его замещает, вероятно, наштаверх Духонин. Гатчина занята

большевистскими войсками. Настроение очень тревожное Большевики обещали всему отряду дать уйти на Дон и этим прельстили казаков. Никакого подкрепления к нам не шло. При этих условиях дальнейшая борьба была бесполезна и разлагающе действовала на полки.

Главкосев. Вина за все это падает на Керенского; когда он был в Пскове, я ему предсказывал, чем это кончится; он меня не послушал, и вот результат налицо. Кто у вас есть, кроме казаков, в каких отношениях с большевистскими войсками, что делаете сейчас и что предполагаете делать?

Краснов. Кроме казаков у меня гвардейская конная сотня лейб-гвардии сводного полка и взвод гвардейской запасной конной батареи. Приходится ожидать окончания переговоров, после чего необходимо отправить все эти части на Дон, так как только там они могут притти в порядок и успокоиться. Керенскому я говорил то же самое, но он верил твердо в успех, говоря, что опирается на постановление всех комитетов армии и всей русской демократии; сильно смущали постановления союза казаков, съезда казаков в Киеве, Кубанской рады и Кавказского фронта. Хотелось верить, что родина не погибнет. Шли с большой уверенностью в том, что идем за святое дело, за свободу и счастье дорогой родины. В будущем будем ходатайствовать о скорейшей погрузке эшелонов для отправления войска. Революционный комитет обещал оказать в этом полное содействие, отношения с большевистскими войсками полны взаимного недоверия. Мы ими окружены и стоим под охраной двойных караулов—наших и их.

Главкосев. Если ваши войска уйдут на Дон, то за ними уйдут с фронта и остальные казачьи части, а за казачьими частями уйдет и пехота. Нетрудно себе представить, что получится вследствие этого. Я полагаю, что демобилизация армии может начаться только тогда, когда будет сделано об этом общее распоряжение правительства, и самая демобилизация должна производиться планомерно, а не в виде нашествия скифов. В чем заключаются переговоры, о которых вы упоминали, кто с кем и о чем переговаривается?

Краснов. Сейчас солдаты обезоруживают казаков. Переговоры шли утром между комитетами дивизионных и революционных организаций. Офицеры и командный состав допущены не были. Вынесены постановления—прекратить кровопролитие, отпустить казаков на Дон, не производить никаких арестов и самочинных выступлений и арестовать Керенского. После этого на заставы наши сразу подошел Финляндский полк с орудиями, с белым флагом, снял заставы и вошел в Гатчину, затем делегаты и командир полка под предлогом переговоров уехали в Петроград, а сейчас на-

чинается неисполнение договоров, заседают солдатские комитеты, и неизвестно, чем все это кончится. Все двери заняты караулами.

Главкосев. Ваши части 3-го конного корпуса и все части, прибывшие с Северного фронта, должны безотлагательно вернуться на свои места. На Дон они пойдут, когда последует распоряжение правительства о демобилизации армии. Пока больше ничего не имею вам сказать. Доносите мне непосредственно. До свидания.

Краснов. Сказать, что будет, очень трудно, потому что мы сейчас фактически в плену у большевиков, которые вряд ли позволят исполнять мои приказания».

Вопрос о мире сразу снял с очереди вопрос о Керенском. Эту марионетку (еще никогда за всю свою карьеру «обожаемый Александр Федорович» не был до такой степени марионеткой) убрали моментально в ящик и забыли о ней. В дальнейших переговорах между ставками имя вчерашнего «главковерха» совершенно не упоминается, точно его и не было вовсе. Зато тем настойчивее и настойчивее всплывает идея «объединенного правительства» всех «социалистических партий», во главе с Черновым. Причем это «правительство», еще, можно сказать, в утробе матери обнаруживает невероятное проворство рук и мало правдоподобное нахальство, пытаясь украсть у большевиков лозунг мира.

Что мир заключить необходимо,—это в ноябре 1917 г. понимали все не сошедшие с ума люди,—прежде всего это великолепно понимал высший командный состав русской армии. Марушевский говорил Духонину: «мне лично кажется, что если на всем фронте происходило братание в течение многих недель, и что если предложение о немедленном перемирии, переданное комиссарами на фронт, проникло уже в сознание войсковой массы, то положение делается вероятно трудно поправимым... Результатом неудовлетворенности массы в основном ее стремлении может явиться срыв фронта с места и стихийные бедствия гражданской войны». «Сводка донесений о настроении армии за время с 15 по 30 ноября 1917 года» сообщала: «особенно характерный отзыв дает командир 12-й армии (той самой, что так недавно считалась «самой надежной»), который говорит, что армия представляет из себя огромную, усталую, плохо одетую, и с трудом прокармливаемую, озлобленную толпу людей, объединенных жаждой мира и всеобщим разочарованием. Такая характеристика без особой натяжки может быть применена ко всему фронту вообще».

«То, что мы не можем воевать, было для меня совершенно очевидно»,—рассказывает т. Троцкий в своих воспоминаниях о Ленине (как эту очевидность сочетать с по-

литикой т. Троцкого в те дни,—политикой, несомненно заключавшей в себе огромную опасность возобновления войны,—этого вопроса мы не касаемся. Мы берем здесь просто показания очевидца). «Когда я в первый раз проезжал через окопы на пути в Брест-Литовск, наши товарищи, несмотря на все предупреждения и понукания, оказались бессильными организовать сколько-нибудь значительную манифестацию протеста против чрезмерных требований Германии. Окопы были почти пусты, никто не отваживался говорить даже условно о продолжении войны. Мир, мир, во что бы то ни стало... Позже, во время приезда из Брест-Литовска я уговаривал представителя военной группы во ВЦИК поддержать нашу делегацию «патриотической» речью. «Невозможно, — отвечал он,—совершенно невозможно, мы не сможем вернуться в окопы, нас не поймут; мы потеряем всякое влияние...».

Говорить с солдатами в эти дни значило говорить о мире—если вы хотели, чтобы вас слушали. «Объединенным социалистам», сиречь, вчерашним керенщикам, ничего не оставалось, как взять эту тему. Взялись они за нее со смелостью людей, которым терять нечего: оказалось, что они-то, организаторы наступления 18 июня, давным-давно за мир—да вот окаянные большевики мешают. Авторы «обращения общеармейского комитета к солдатам» писали,—в явном расчете, что бумага не обладает способностью краснеть: «Товарищи, вы видите, что в сложившейся ныне обстановке единственным препятствием к заключению мира является правительство Ленина и Троцкого. То, что предсказывалось давно лучшими умами демократии, стало действительностью: те, кто больше всех кричал о мире, меньше всех его могут дать. Ленин стал у власти и после двух недель бесплодного ожидания ответа на свое обращение к державам должен признать, что с ним не желают разговаривать. Лишь вы можете положить конец этой недостойной игре судьбою родины. Заявите категорически и немедленно, что армии необходимо такое правительство, которое может действительно дать стране мир, а не только бросать громкие слова о мире. Требуйте немедленно образования общесоциалистического правительства и немедленного ухода кучки узурпаторов с Лениным во главе, от которого отказались даже их благоразумные единомышленники. Такое правительство будет признано и страною, и иностранными державами и немедленно приступит к мирным переговорам. Товарищи! Единодушно сплотите все ваши силы вокруг идеи достижения действительного мира и поручите решение этого вопроса новому правительству с Виктором Михайловичем Черновым во главе. Только в этом

спасение родины, только в этом конец нашим трехлетним мукам»[1].

И это был не единственный провокаторский документ из этого лагеря. В другом «Обращении» (автор которого скромно умолчал о себе), солидно начинавшемся словами: «Ввиду того, что масса армии и населения не имеет никакого представления о договорах и поэтому не может оценить значительности последствий несоблюдения Россией договора, которым союзные государства Согласия обязались не заключать ни сепаратного мира, ни перемирия, было бы желательным распространить в войсках с возможной ясностью и точностью краткое предупреждение о тех роковых последствиях для России, которые повлекло бы за собой нарушение договора, торжественно ею подписанного», разъяснялось, что мира никак нельзя заключить без союзников. «В одиночестве она (Россия) станет легкой добычей жестокого врага, нарушающего все законы права и человечества, и первой задачей которого, как государства империалистического и почти что самодержавного, было бы лишение народа русского драгоценной свободы, лишь недавно им приобретенной». А ежели Россия будет так глупа, что этого не поймет, так союзники и сами сумеют заключить сепаратный мир—за ее счет... «приблизительно год тому назад Германией были сделаны предложения мира трем великим державам Запада, выгодные для нее и невыгодные для России». Конечно, тогда эти предложения были «с негодованием отвергнуты», ну, а теперь... А следующая провокация шла уже от «армии», взывавшей и вопиявшей об «объединенном» правительстве не хуже, чем собор 1613 г. взывал и вопиял об избрании на царство Романовых. «Ко всем представителям политических партий, городским, земским и крестьянским союзам. Русский народ! 4-й год армия стоит в окопах на страже родины, оберегая ее от коварного внешнего врага. 4-й год армия переносит всю тяжесть настоящей жестокой войны, терпеливо снося лишения, болезни, раны, голод и холод и жаждет закончить войну и вернуться к своим очагам и к своим семьям. Но судьбе угодно было ниспослать ей новое испытание: землю нашу постигла смута, разорение от безвластия, и армии приходится выносить на себе все лишения от нарушившегося подвоза продовольствия, весь ужас анархии, вносимой в ряды армии агитаторами злой воли, влекущими Россию к полному развалу.— К вам, представители всей истинной русской демократии, к вам, представители городов, земства и крестьянства, обращаются взоры и мольбы армии. Сплотитесь все вместе во имя спасения родины; воспрянъте духом и дайте исстра-

[1] Целиком этот документ перепечатан у тов. Лелевича.

давшейся земле русской власть,—власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилия, крови и штыка.—Не теряйте времени.—Армия ждет вашего слова столь же горячо, как жаждет мира, который только вы одни можете дать исстрадавшейся родине».

Тут особенно ядовитой, конечно, была спекуляция на «нарушившемся подвозе продовольствия». Но, увы, Чернов не мог дать продовольствия—его мог подвезти только Питер, откуда организовывалось снабжение фронта и к которому приходилось взывать. Духонин просил Марушевского: «Армиям необходима срочная присылка денег для раздачи рабочим и солдатам жалованья. В некоторых казначействах все вышло». Но Марушевский и все военное министерство зависели, в конце концов, от милости большевиков...

Выбить этих последних из позиций нельзя было словами—на воображение масс мог бы подействовать только факт, и в данной обстановке таким фактом могло бы быть только прекращение военных действий. Разговоры между Марушевским и Духониным на эту тему чрезвычайно любопытны—и без остатка уничтожают легенду о непреклонной верности Духонина «интересам Родины», жертвою какой верности он, будто бы, и пал. Духонин пал жертвой борьбы с большевиками; матросы, расправившиеся с ним судом Линча, как часто бывало в те времена, только предвосхитили приговор, который бы вынес Духонину революционный трибунал—любое революционное правительство расстреляло бы главнокомандующего, который повел бы себя так, как вел Духонин. В своем замечательном разговоре с Марушевским (разговоре, уже цитированном выше) Духонин говорил: «Учитывая всю сложность нашей современной политической жизни, я быть может принял бы на себя тяжесть и ответственность в данную минуту и приступил бы к выполнению задачи привести Россию к миру путем соглашения с союзниками и враждебными государствами, но я был поставлен в невозможность даже думать об этой работе, так как от меня потребовали немедленной высылки парламентеров без предварительных соглашений с союзниками, чего ни честь личная, ни честь России мне не позволяла сделать... Это сделать не трудно, надо, чтобы предложение для этого исходило бы от власти, которую хотя бы временно признало большинство страны. Власть по форме для данного времени может быть различна, лишь бы она не была насильственно сложенной».

Готов вести переговоры о перемирии—только не от имени большевиков. Отличавшийся конкретным складом ума

Марушевский 'сейчас 'же и перевел неопределенную готовность Духонина в практическую плоскость. «Что делать с представителями союзных держав? Я уже не раз говорил с агентами и старался всеми мерами не доводить их до открытого протеста. Совершенно естественно, что это было возможно лишь до открытого предложения мира. Нельзя ли склонить их теперь к необходимости для России хотя бы временного перемирия, может быть до созыва Учредительного собрания. Если обстановка дает возможность надеяться, что на фронте мы не получим хаоса, то, может быть, есть время еще предложить им составить совещание и обратиться для переговоров, или через генерала Маниковского, или даже непосредственно к народному комиссару; оставаться дальше в пассивном положении нельзя, так как, повторяю, еще лишний день или два в государственном отношении может создать положение непоправимое».

Союзники были ближе к этому повороту, нежели думал второстепенный чин военного министерства, не посвященный в «высшую политику». Первое обращение военных миссий Антанты к Духонину по поводу постановления Совнаркома о переговорах (10/23 ноября) было грубым окриком и прямым запретом; можно почти с уверенностью сказать, что оно было обращено не столько к «главковерху», сколько к большевикам и имело своей основной задачей прикрыть Духонину тыл. Но уже 11/24 ноября командирский тон сменился «почтительными настояниями», призывавшими Духонина обратиться «ко всем представителям различных политических партий» с почти трогательным воззванием. «Ввиду существования действительного и братского союза между державами Согласия и Россией, ввиду жертв, принесенных этими державами для оказания содействия России в тот момент, когда она завоевала свою свободу, ввиду тех гибельных последствий как для России, так и для общего дела союзников, которые имело бы ослабление русского фронта, нижеподписавшиеся военные представители считают себя вправе обратиться с настойчивой просьбой о том, чтобы ваше превосходительство всеми возможными способами дали понять путем обращения ко всем политическим партиям, а также к армии, что честь и патриотизм требуют от них приложить все свои усилия к сохранению и усилению порядка 'и дисциплины на фронте».

А на следующий день (12/25 ноября) глава всех миссий в ставке, генерал Лаверн, восставал уже не против перемирия вообще, а против того, что переговоры о перемирии не согласованы с «союзными правительствами». Косвенно это означало явную готовность союзных миссий войти в

сущность дела—того самого дела, о котором командирским окриком 10/23 ноября запрещалось и думать [1].

13/26 ноября Духонин уже прямо говорил Черемисову: «Насколько можно понять их (союзников), они ничего не имели бы против заключения мира при их участии в этом вопросе, но не сепаратно». А на другой день в ту самую минуту, когда миссии готовы были уже покинуть ставку, «представитель итальянской военной миссии генерал Ромеи получил телеграмму от своего офицера из Петроградского посольства, в которой сообщалось, что союзники решили освободить Россию от союзных обязательств и предоставить ей возможность заключить более выгодный сепаратный мир, а пока перемирие. Основание этого: оставление войска на своих местах, стороны не имеют права обмениваться пленными, и Россия не должна снабжать германцев хлебом и сырьем. Официальное сообщение пока не получено. Это обстоятельство может коренным образом изменить вопрос о перемирии».

Тотчас же Дитерихс по поручению Духонина сообщил об этом на Северный фронт Лукирскому (начальник штаба) и Довбор-Мусницкому в польский корпус (как сейчас увидим, главную «силу» Западного фронта). Последнему сообщалось: «Сегодня утром обстановка резко изменилась: союзные миссии при ставке получили уведомление из Петрограда, что союзники не будут препятствовать заключению Россией сепаратного перемирия при соблюдении некоторых условий, причем генерал Ниссель, старший из представителей иностранных миссий в Петрограде, принял на себя поручение выступить с этими предложениями там же в Петрограде».

Все это не оставляло никакого сомнения в смысле «официальности»—и сейчас же нашло себе отражение в провокационной литературе. «Солдаты—граждане!—взывала одна из прокламаций (от 12/25 ноября, т. е. еще до телеграммы Ромеи, но параллельно цитированным выше разговорам Духонина).—Неверно, что союзники не хотят мира—их русское правительство не спрашивало, так как такового полномочного правительства сейчас в России и нет... Не поддавайтесь, солдаты, обесчещению внешнему и не торопитесь в объятия Вильгельма. Дайте время истинной русской демократии сформировать власть и правительство, и она даст вам немедленный мир совместно с союзниками, который обеспечит вам покой на многие годы».

---

[1] «Je suis chargé en outre de bien faire ressortir que la question de gouvernement qui ne peut être traité sans que les gouvernements alliés aient été consultés au préalable, et que par conséquent aucun gouvernement n'a le droit de traiter isolément d'une question ou de paix».

И в тот же самый день, когда выпущено было это воззвание, Духонин рассылал такие телеграммы: «В случае движения из Двинска на Могилев поезда с прапорщиком Крыленко и состоящей при нем охраной в 59 человек, приказываю вам принять к руководству следующее: первое—на станциях Орша и Шклов поезд будет встречен представителями комиссарства и общеармейского комитета, которые предложат Крыленко или вернуться назад (в Петроград) или отправиться в Могилев единолично, оставив на месте вооруженный конвой, или отправив его на Петроград; второе—в этом случае вы обязываетесь, если бы потребовалось, вооруженной силой воспрепятствовать вооруженному конвою прапорщика Крыленко продолжать путь на Могилев».

Сомнения никакого быть не может: «объединенное социалистическое правительство» добилось у миссий мандата на заключение перемирия, чтобы вырвать власть из рук большевиков. Вопрос был в том, есть ли у Чернова какие-либо материальные средства, чтобы это сделать. Несколько отрывков из разговора Духонина с Западным фронтом—от него в первую голову зависела ставка—дают достаточный ответ на этот вопрос. В тот самый день, когда Духонин отправлял свою телеграмму с требованием почти ареста тов. Крыленко, главкозап доносил ему: «Военно-революционный комитет, видимо, ожидал, что мы примем меры противодействия силой, для этого у них собраны все верные им войсковые части и окружены те две роты ударников, на которые мы только и могли надеяться, но главкозап объявил им, что никакой силы оружия применено не будет. Последнее было бы и бесполезно, так как в наших руках ничего нет». Немного погодя сообщались дальнейшие подробности. «Мы имели две ударные роты и три эскадрона польских улан; если бы этими частями мы могли на первое время сопротивляться, то с фронта были бы доставлены военно-революционным комитетом такие силы, которые сломили бы сопротивление наших частей. После того, что генерал Балуев был отстранен, ему было объявлено, что он будет отправлен в Петроград под конвоем. Путем переговоров и решительным заявлением генерала Довбора, что он не допустит ареста генерала Балуева, удалось убедить революционный комитет отказаться от арестования генерала Балуева и отправки его в Петроград. Генерал Балуев сейчас находится в штабе польского корпуса... К тому, что мы имеем, мы могли бы подтянуть в Минск один неполный драгунский полк, и, может быть, две сотни сибирских казаков, но последние своим настроением мало внушают надежды на поддержку».

Итак, на Западном фронте «верные» войска исчислялись ротами, и его командующий не мог найти более верного

убежища, как в штабе польского корпуса. Войск не было не только на каком-нибудь из фронтов,—их не было и на калединском Дону, к которому как к серьезной реакционной силе относились и мы в то время: еще когда собирали силы для подмоги белым в Москве, на Дону оказывались всего две казачьих дивизии, «без которых невозможно обойтись на месте». В довершение всего и партия Чернова никакой силы не представляла. «Партия социал-революционеров армискома заявила о непризнании ею Крыленко как верховного главнокомандующего, но она корней в армии не имеет и к активному противодействию неспособна»,—доносил из 5-й армии Болдырев.

Но союзники готовы были дать «белую карту» на заключение перемирия не большевикам, а Чернову. И если Чернов физически был не в силах воспользоваться мандатом, ничего не оставалось, как мандат отобрать. В юзограмму Довбор-Мусницкому сейчас же пришлось вносить существенную поправку. «Дело в том, что союзники решили больше не протестовать против заключения нами сепаратного перемирия, не в смысле согласия на такое перемирие с нашей стороны, а в том смысле, что, раз протестовавши, они не считают нужным высказывать новые протесты. Таким образом они сами утром введены в заблуждение и ввели нас. Однако сами же говорят, давая ныне официальную окраску, что это, может быть, не окончательное».

А затем и сама телеграмма Ромеи, которой все верили, вплоть до генерала Нисселя, оказалась чуть ли не подложной. Таково действие «реального соотношения сил»,—оно может даже документы уничтожать.

Этот эпизод с попыткой украсть лозунг мира у большевиков чрезвычайно интересен не только исторически, но и политически. Он вскрывает перед нами подкладку «знаменитого» объединенного министерства—это, во-первых; и он напоминает нам, какое огромное значение в ноябре—декабре 1917 г. имело действительное заключение мира и как опасно было с этим играть, во-вторых.

«Красная новь», № 11, ноябрь 1927 г.

КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

ЗАГОВОР ШПИОНОВ АНТАНТЫ

Что делала кадетская партия со времени разгона Учредительного собрания? Этим вопросом немногие интересовались. Была партия и пропала. Довольно естественно: партия парламентская, что ей делать в непарламентской, Советской России? Партия буржуазная, а буржуазия голоса в советских выборах не имеет,—к чему ей партия?

Эту нашу ствычку от кадетов они широко использовали. И когда кадетским заговорщикам пришлось разговаривать с ОЧК, на этом нашем предрассудке, на этой нашей забывчивости они все строили. Национальный центр, Союз возрождения, Союз освобождения. Полноте, пожалуйста. Ничего этого, в сущности, и не было: «Полтора десятка представителей трудовой интеллигенции, которые собираются очень нерегулярно...» (это в Петербурге). А в Москве: «Предполагалось, что Москва политически мертва»; «от времени до времени немногочисленные члены ячейки виделись друг с другом, обменивались информационными данными, а если имелись запросы из-за рубежа (что было чрезвычайно редко), то уславливались относительно содержания ответов». А председатель этих нерегулярных собраний только что приводил депеши «в компактный вид».

Не все депеши дошли по адресу. Кое-что попало в руки «кожаных» (название, которое за-фронтовые кадеты придумали для коммунистов). Образчики читатель увидит в другом месте и сможет сам оценить их «компактность». Цифры и факты, факты и цифры. Факты, от которых волосы стоят дыбом. Едва ли когда-нибудь и где-нибудь какая-нибудь армия была так предана и выдана, как Красная армия летом 1919 года. «Полтора десятка трудовой интеллигенции» не сидели сложа руки.

Мы все еще болтаем о саботаже, спорим о том, есть ли действительно среди нас в советских учреждениях злостный саботаж или простое «нерадение к делу», может быть, еще лучше, «простое непонимание задач советской политики». А у нас под носом идет горячая, неустанная конспиративная работа, и пока мы не успели еще сосчитать, сколько у нас советских служащих, Деникин отлично знает, сколько у нас

не только штыков, но и «ртов», не только на фронте, но на каждом маленьком участке фронта, и как эти «рты» обуты и одеты, и какое у них настроение. Ни один генерал не шел с таким комфортом, как Мамонтов, зная нашу военную карту так, как, наверное, никогда не знал не только читающий, но и пишущий, не только эту статью, но и специальные военные обзоры. Недаром Деникин и его штаб раньше всех читали письма из Москвы и оставались «весьма ими довольны», как свидетельствует Н. Астров в одном из своих писем Н. Щепкину.

Если бы не ряд счастливых случайностей, мы так и не имели бы случая оценить муравьиную работу тех скромных и «лойяльных» людей, которых самые мрачные из нас, страдающие болезнью печени, решались подозревать разве что в «саботаже». Ибо непременным условием переворота было немедленное истре́бление всех коммунистов, как явствует из документов, которые читатель прочтет далее.

Благодаря упомянутым случайностям, переворот пока что отложен, и у нас есть время присмотреться к целям и задачам наших соперников по конспирации, соперников достойных: кадетская партия и тут показала, что из всех буржуазных партий она—самая серьезная. Серьезно проделывала она свое парламентское предательство народной свободы, серьезно она теперь подкапывается под эту свободу тихой сапой. Это настоящие люди, с характером и с выдержкой. Не то, что презираемые ими «социалисты», петушком бегущие за этими солидными людьми, нелепо мечущиеся между Деникиным и республикой, наивно воображая, что можно как-то соединить Деникина и республику.

Но о социалистах потом, сначала о «народной свободе». Можно подумать, что кадеты угрожают только социализму, что буржуазная демократия, наоборот, это и есть их идеал. Недаром же, ведь, и называют они себя конституционно-демократической партией. Прежде всего приходится рассчитаться с этим предрассудком. История уже вымела у нас буржуазно-демократический центр, о котором мечтают правые меньшевики, правые эсеры и еще всякие правые, а иногда и «левые», имена же их, ты, Колчак, веси. Коммунизм стоит лицом к лицу с возрождающимся царизмом. Этот факт нужно прежде всего установить, и установить его мы можем теперь по подлинным документам, по заявлениям самих кадетов, а не на основании каких-нибудь слухов и соображений.

Московские кадеты в этом отношении слегка отстали от своих, освободившихся от революционного налета товарищей, и за-фронтовым кадетам приходилось напоминать москвичам некоторые элементарные кадетские истины. С горестью вспомянув «злосчастный день» начала марта 1917 г.,

когда кадетская партия внесла в свою программу республику, кадет В. Степанов (один из деникинских министров) «с чувством большого удовлетворения» констатирует, «что если не все без исключения, то огромное, подавляющее большинство наших партийных друзей считает, что монархия грядет, что монархия неизбежна и что, дай бог, чтобы грядущая монархия оказалась монархией достаточно либеральной, достаточно приличной и не попала в русло идей Маркова 2-го». «Против изменения параграфа тринадцатого нашей программы я всегда протестовал и продолжаю считать, вместе с очень многими партийными друзьями, что в тот день, когда этот параграф был нами изменен, партией была совершена трудно поправимая политическая ошибка. Насколько я никогда не делал секрета из моего глубокого убеждения в том, что либо будет единая Российская империя, либо единой России не будет вовсе, я приведу для справки эпизод, свидетелем которого был дядя К. («дядя Коля», конспиративный псевдоним Н. Н. Щепкина). При моем вступлении в Москве в Союз возрождения я заявил, что я монархист и поставил вопрос о том, насколько это совместно с моим пребыванием в союзе. В. А. Мякотин дал на этот счет вполне успокоительное разъяснение и сказал, что различие оттенков политической мысли даже желательно. Я вышел из союза в тот день, когда мне было заявлено, что для всех членов союза платформа коллегиальной власти обязательна, а платформа единоличной военной диктатуры недопустима. Вопрос о периоде временно-переходной власти не есть, конечно, вопрос о форме правления, но и по этому вопросу могу сообщить для справки, что здесь, на юге, партия в целом, также и НЦ (Национальный центр), стоит без всяких оговорок на полном отрицании временной власти, сконструированной по соглашению партий и политических групп в форме директории или иной коллегии и всецело поддерживает идею единоличной военной диктатуры».

Это частное письмо. Читатель заметил, однако, что в конце, где говорится о военной диктатуре, Степанов излагает мнение уже всей к.-д. партии на юге, т. е. там, где кадеты могут составлять свои мнения вполне свободно и ходят, как упоминает в другом месте то же письмо, бодро, с высоко поднятой головой. Но у нас имеются и прямо официальные изложения тех же самых взглядов. Вот протокол «десятого заседания бюро четырех организаций: Совета государственного объединения, Национального центра, Союза возрождения и Союза земств и городов юга России, восьмого марта н/с. 1919 года». Все заседание было посвящено двум вопросам: земельному (о котором ниже) и о конструкции власти. «Постановление Национального центра по этому вопросу имеется и гласит следующее:

1) Основная задача, стоящая ныне перед Россией, заключается в спасении родины от губящего ее засилья большевиков, от междуусобий, разъединения и бесправия, в конец разоряющих русский народ. Раздору классовой и гражданской войны должна быть противопоставлена общая для всех патриотическая задача возрождения единой и великой России, восстановления в ней социального мира и государственного порядка, утверждающегося на примирении и сотрудничестве всех классов и всех групп населения.

2) Задача борьбы с большевиками и анархическими силами, поддерживающими гражданскую войну, ложится на доблестные армии юга, востока и севера России, успех которых будет возрастать по мере объединения их действий под единым общим командованием.

3) По ходу событий на высшее командование этих армий выпадает и осуществление гражданского порядка в освобождаемых от большевизма областях, причем в условиях военного времени, общего государственного расстройства и длящейся гражданской войны успешного выполнения высших функций гражданской власти можно ожидать лишь от единоличной военной власти, обладающей чрезвычайными полномочиями».

Вот краткое исповедание веры тех, чьи вожди стремятся спасти родину от засилья большевиков. Ниже читатель увидит, что это спасение родины осуществимо, главным образом, при помощи английских танков и пулеметов. Что же касается «восстановления социального мира и государственного порядка», то для него мы знаем вполне определенный, истинно-национальный бытовой термин: столыпинщина. Клин клином вышибают: диктатуре пролетарской революции приходится противопоставлять диктатуру буржуазной реакции. Иного выхода нет, и массовые расстрелы рабочих, еврейские погромы и все прочее ясно показывают, что кадеты давно примирились с теми средствами борьбы, от которых сами они с лицемерным ужасом отворачивались, когда это делали другие. Теперь это приходится делать самим, ну, что же, надо и через это пройти. Без погромов «порядка» на Руси не восстановишь. Это знал еще Плеве, это знал Трепов, это понимал Столыпин—и это понимают вполне Астровы, Степановы и пр.

Но читатель встретил тут столько новых названий, что необходимы кое-какие пояснения. Что такое эти: Союз возрождения, Национальный центр, Совет государственного объединения, Союз земств и городов юга России? Последнее название говорит само за себя. О Союзе возрождения вот что рассказывает один из его участников. «Образование Союза возрождения относится ко времени, непосредственно примыкавшему к Брестскому миру. Весною прошлого года, при-

близительно после пасхи, в связи с Брестским миром, в Москве происходил ряд междупартийных совещаний в различных группировках. Тогда выяснилось, что некоторая часть цензовой буржуазии склоняется к германской ориентации и к признанию Брестского мира. Социал-революционеры, трудовики и меньшевики были резко против этой линии. Выяснилось, что большинство кадетов также против германской ориентации и тогдашнего поведения Милюкова. Тогда и было решено основать в Москве «Союз возрождения» с следующей платформой: 1) непризнание Брестского мира и восстановление России в границах 1914 года, за исключением Польши и Финляндии; 2) возрождение русской государственности путем созыва Учредительного собрания. На этом согласились эсеры, меньшевики-оборонцы, трудовики и часть кадетов. Названные группы и решили образовать «Союз возрождения» как организацию, временно объединяющую участников ее для достижения названной платформы, но без ограничения их автономного существования и полной свободы действий и пропаганды».

Инициатива шла, повидимому, из «социалистических» групп, но так как те, по обыкновению, трусливо жались в дверях, разговаривая разговоры на ту тему, что они де пришли «для информации», да принимают программу только «к сведению», то хозяевами положения должны были оказаться кадеты. Вот живая и яркая картина встречи зарубежных кадетов с теми, «кого П. Н. Милюков еще в первую революцию 1905 года называл левыми ослами и кого я, с присущей мне мягкостью, называю просто русскими социалистами» (слова кадета Степанова).

«Теперь,— рассказывает в одном из своих писем Н. Астров,—когда эту праздноболтавшую и позорно бездействовавшую в Одессе компанию вышибли, и наиболее зловредные и тупые элементы ее бросились жаловаться своим политическим компатриотам в Париж (интересно, что в Париж свободно пропускают только социалистов), другие же, близкие к постоянной и полной политической неврастении, приехали сюда... Деникин был с ними очень обходителен, объявил им откровенно свои взгляды и условия, в которых приходится вести дело. Они увидели воочию, что имеют дело с настоящим и честным демократом (!), остались удовлетворены, но оппозиционный дух остался попрежнему живым и ядовитым...».

Вы только представьте себе эту картину свидания Чернова и комп. с царским генералом, идущим виселицами и погромами восстановлять в России «социальный мир»—и которого несчастный Чернов должен признать за «настоящего демократа», дабы иметь возможность хоть жалким писком отвести потом душу. И совершенно правильно, конечно,

Астров определяет положение этой группы в будущем: «Это хорошая оппозиция в будущем, другой роли, роли участников в осуществлении власти я не вижу и не чувствую». Не бывать Чернову еще раз министром!

Для чего нужны кадетам такие попутчики? Т. Бухарин уже сказал это: для дураков. Дураков из мелкобуржуазной интеллигенции чем-нибудь приманить и утешить надо, ибо кадетам нужны не только погромы и виселицы для восстановления порядка, но и оправдание этих погромов и виселиц со стороны людей, которые когда-то простоватой публикой считались порядочными. Совершенно ясно, однако, что никакой реальной силы подобные люди не представляют. Раз вступив на дорогу столыпинщины, нужно пройти по ней до конца. Столыпин тоже покупал «порядочных людей» из разряда бывших «левых», но опирался он не на них, а на элементы, более солидные.

Оседлав «ослов слева», нужно было ввести в оглобли и зубров справа. И это было много потруднее—куда же ослу до зубра. Тот же Астров сряду, вслед за описанием своего торжества над несчастными правыми эсерами, обмолвливается таким великолепным признанием: «что касается объединения направо, то, увы, оно так полно, что мы задыхаемся в объятиях друзей. Иногда эти объятия слишком жарки и тесны...».

Началась эта дружба справа, конечно, не здесь, на юге, а гораздо ранее: именно с ней и связано образование другой организации упомянутой выше,—Национального центра. Вот как рассказывает об этом его московский представитель: «Приблизительно в то же самое время (в конце февраля или в марте 1918 г.) большая коалиционная группа, в состав которой входило много лиц, стоявших за союз с Германией, распалась именно на разногласии по этому вопросу, а на месте этой группы и возникла та группа, которую стали называть Национальный центр. С представителями этих групп я почти не имел сношений до заключения первого периода деятельности, примерно до мая 1918 г. Я не могу поэтому сказать, чем и в то время эти группы резко отличались от Союза возрождения по своим платформам. Различие это не было настолько существенно, чтобы препятствовать вхождению одновременно в Союз возрождения и в Национальный центр. Повидимому, различие было прежде всего в отношении к социализму. В Национальный центр социалисты не входили: а затем различия сводились к оттенкам в отношении к Учредительному собранию, полноте проведения идеи всеобщности в избирательном законе, к форме будущего землевладения и т. п. Главные вопросы, интересовавшие обе группы,—это возрождение политическое и экономическое России, и, как вывод отсюда,—борьба с Гер-

манией, устранение в стране власти коммунистов и... замена ее народной властью, созданной Учредительным собранием,— разрешались ими одинаково. Первоначально Национальный центр мыслил временно власть переходного до Учредительного собрания периода в форме единоличной военной диктатуры, но затем, в интересах объединения, пошел на компромисс и принял как переходную форму, директорию из трех лиц, без подчинения остаткам Учредительного собрания, избранного при Временном правительстве. Местом пребывания директории Союзом и Центром была избрана Сибирь, так как предполагалось, в то время, что именно из этой коренной русской области может пойти возрождение России на демократических основах, ибо здесь в Сибири, всякое правительство должно будет, прежде всего, опираться на крестьянские массы».

В стране, где господствуют «крестьянские» (читай «кулацкие») массы, можно было обойти тот вопрос, который сейчас же вставал перед кадетами, как только они оказывались на почве коренной России. В Сибири нет помещиков или почти нет—там вопрос о восстановлении помещичьей собственности не мог поссорить осла и зубра. Читатель понимает теперь, почему и откуда явился Колчак, и почему перенесение фронта кадетского наступления на юг само по себе уже является неудачей. Как это часто бывает, кадетская операция технически созрела как раз к тому моменту, когда политически она уже развалилась. Наиболее широкий фронт против большевиков был, несомненно, весной нынешнего года в период наибольших успехов Колчака. Но уже в марте, на том собрании представителей всей собранной кадетами пестрой орды, протокол которого цитировался выше, этот политический фронт треснул.

Вот как изображает дело тот же протокол: «Расхождение обнаружилось во взглядах на пути, которые могли бы обеспечить достижение означенных целей. Союз возрождения полагает необходимым, чтобы власть была связана обязательством не восстанавливать помещичьего землевладения и не решать окончательно вопросов о прекращении или приобретении вечных прав на землю. Формула государственного объединения внесена на обсуждение согласительной комиссии, и вместе с вышеуказанной формулой Союз возрождения, наряду с общими для всех организаций положениями, выдвинул пункты о незыблемости основных норм права собственности на землю до решения Учредительного собрания и об обязательстве власти не стеснять осуществления сделок по продаже и аренде земель. Соглашения по этим вопросам достигнуто не было. В то время как Союз земств и городов и Союз возрождения настаивают на том, чтобы в области земельных отношений до Учреди-

тельного собрания было сохранено создавшееся положение и не восстанавливалось помещичье землевладение и в частности были определенно запрещены сделки по продаже земель с предоставлением государственной власти делать исключения в отдельных случаях в интересах общегосударственных, Совет государственного объединения и Национальный центр, обратно тому, считают необходимым принять все меры к охране частных прав собственности, восстановить права земельных собственников и не стеснять распоряжения землею, предоставляя власти ограничение этих прав в отдельных случаях, вызываемых государственной необходимостью».

Столыпинщину приходится принять до конца; не только с восстановлением самодержавия в образе военной диктатуры, но и с восстановлением помещичьего землевладения. Едва ли нужно говорить, что в своем кругу кадеты приняли это новое «отступление от программы» не только без всякого внутреннего перелома, но с большой приятностью. В одном из кадетских писем имеется курьезнейшая приписка одного из «искренних и честных демократов», князя Павла Долгорукова: «На случай ликвидации режима, в доме и имениях иметь на местах лиц для приемки и сохранения имущества». Предполагать, что кадеты бескорыстно трудятся ради восстановления чужой собственности, было бы слишком наивно. У них самих довольно помещиков. Но в то время, как стадо диких дворян прет напролом, своим ревом за десять верст выдавая свое присутствие, образованный и культурный кадетский помещик (тот же князь Долгоруков, в той же приписке требует прислать ему «две пары ботинок»: одной обойтись не может),—образованный, культурный кадетский помещик, как полагается благовоспитанному человеку, без шума и гвалта, тихонько усаживается сразу на двух стульях. Это выгодное положение кадетов, так отличающееся от позиции несчастных ослов слева, плюхающихся м е ж д у двух стульев, с чрезвычайной яркостью вырисовывается в одном из перехваченных ВЧК документов—в обращении Союза возрождения и Национального центра вместе к представителям союзных держав, т. е. к Антанте. Под этим обращением стоят подписи, в таком порядке: а) Союз возрождения России—партии правых соц.-революционеров, социал-демократов оборонцев, народных социалистов (трудовая партия), «радикальных демократов», партии народной свободы (конст.-демокр.), б) Национальный центр—партии народной свободы, совещания московских общественных деятелей, организаций членов законодательных палат в России, торгово-промышленных кругов, земских и городских деятелей. Нужно прибавить, что налево фронт идет и дальше правых эсеров. Документ, вышедший из то-

го же источника, как и предыдущий, но несколько более поздний, дает такую справку: «левые эсеры, стремясь использовать неблагоприятное настроение масс, вновь организовались. Но большевики его (выступление левых эсеров) предупредили. Все лидеры левых эсеров снова арестованы. Подпольные листки, однако, продолжают выходить». Стоит продолжить и эту выписку: «выходит листок правых эсеров, где порицается соглашательство с большевиками. Меньшевики-оборонцы занимают твердую позицию, остаются в Союзе возрождения, высказываются за интервенцию».

Не высказываться за интервенцию, т. е. за вторжение в Россию иноземных армий, было невозможно. В этом, конечно, радикальное отличие и попытки столыпинщины 1919 года от подлинной столыпинщины 1907 года. Та обходилась национальными средствами. Эта в подлинной России, рабоче-крестьянской, найти себе массовой опоры не могла. Городское мещанство еще можно было соблазнить кадетской радугой всех партийных цветов, но крестьянин—реалист, и когда перед ним встал бы вопрос о восстановлении помещичьего землевладения, реакция его на самую постановку этого вопроса не могла возбудить тени сомнения у кого бы то ни было. Новая «столыпинщина» должна завоевать Россию. Перечисленные выше партии, объединившиеся вокруг кадетов, и признают это без отговорок в цитированном выше обращении к Антанте. «Она (Россия) находится в таком состоянии, что ее население в ближайшее время не может свергнуть власть господствующего в ней насильнического меньшинства одними своими собственными силами».

Наследникам Столыпина пришлось выпить чашу унижения, от которой его судьба избавила. Им пришлось есть хлеб еще более горький, чем хлеб изгнания—хлеб из рук людей, от всей души презиравших этих, даже с буржуазной точки зрения, предателей своей родины, презиравших и не скрывавших этого. Но эту страницу печальной повести мы расскажем ниже собственными словами.

Итак, кадеты стремились к восстановлению царской власти и помещичьей собственности. Это мы знаем теперь с их собственных слов. Это необходимо запомнить всякому рабочему и всякому крестьянину.

Для подготовки такого переворота, который должен был отбросить Россию по ту сторону не только Октябрьской, но и Февральской революции, кадеты имели две организации: одну для уловления простаков, так сказать организацию-ширму, «Союз возрождения», где «социалистам» предоставлялось болтать, сколько влезет, об Учредительном собрании, демократии и т. п. вещах, в которые сами кадеты не верят. Другая организация была гораздо серьезнее. Это был «Национальный центр», куда «социалистов» не пускали,

где не занимались болтовней, но зато делали серьезные вещи: собирали всевозможные шпионские сведения и, приведя их в «компактный» вид, отправляли к Юденичу, Колчаку или Деникину, смотря по надобности.

Осуществление переворота предполагалось совершить при помощи вооруженной силы, как находившейся вне Советской России («доблестные армии юга, востока и севера»), так и сорганизованной в тылу, в самой Москве, из красноармейских предателей.

Но подготовлявшийся в Москве «путч» едва ли был наиболее серьезной частью кадетской программы. Скорее его готовили как средство дезорганизовать наш тыл и создать панику в момент решительного наступления одной из «доблестных армий». Серьезная задача ложилась именно на эти последние. «Освобождение России» ставилось, таким образом, в прямую зависимость от штыков, находящихся вне России. Кадеты, таким образом, в 1919 году точка в точку повторяли историю французских белогвардейцев 1792 года, которые собирались «освобождать» Францию от якобинцев из немецкого Кобленца, где сосредоточивались боевые силы тогдашних контрреволюционеров.

Но тогдашние французские белогвардейцы не могли обойтись одними собственными силами. Белогвардейский корпус принца Конде был лишь небольшим придатком к настоящим, серьезным военным силам иностранных держав: Пруссии и Австрии. Французские дворяне тех дней должны были с первых же шагов выдать себя с головой: они шли «освобождать» французский народ, но они не могли опереться на самый этот народ. Они несли ему «свободу» на острие иноземного штыка. И более честные и последовательные из этих белогвардейцев недолго выдержали на такой промежуточной позиции: скоро они стали попросту офицерами и генералами австрийской, русской или какой угодно из других армий тогдашней европейской реакции, стремившихся завоевать Францию. Этот простой факт, что Россию можно «освободить», только завоевав ее, кадеты, нужно отдать справедливость их деловитости и прозорливости, твердо и отчетливо сознали с самого начала. Как только стал образовываться Национальный центр, перед ним стал вопрос, на какие иностранные штыки опереться, на штыки Германии или на штыки Антанты. Люди, у которых преобладали трезвые стратегические соображения (например, Милюков), стояли за германские штыки: они были ближе. Затеяны были переговоры с графом Мирбахом, но почему-то дело не сладилось. Почему, из наших документов не видно. Должно быть, германские империалисты, в то время слишком твердо уверенные в победе, запросили слишком дорого. Империалисты Антанты в те дни (начало весны 1918 года), наоборот, весьма

трусившие, оказались, видимо, податливее и сговорчивее. «Национальный центр» и связал себя прочным союзом именно с Антантой.

При ее помощи было сорганизовано всем хорошо памятное восстание чехо-словаков. По обыкновению всех реакционеров не дооценивая силы революции, кадеты считали, что полусотни тысяч штыков будет достаточно для низвержения Советской власти. Они обманулись: последняя оказалась в силах выставить в поле вдесятеро большее количество штыков. Оборвавшуюся под Казанью авантюру пришлось начинать сызнова. В чехо-словацком восстании определенное участие, военное участие Антанты чувствовалось уже достаточно сильно. Чем борьба становилась грандиознее, тем это участие, естественно, должно было становиться сильнее и весной нынешнего года, к той минуте, на которой начинается подробный и связный рассказ кадетских документов, эта зависимость «освободителей» России от иноземной военной помощи была полной и безусловной. «Свобода» России вполне зависела от усмотрения английского генерала Мильна и французского генерала Франше д'Эспре, от настроения французских или английских солдат и, в конечном счете, от того, какой ногой встал с постели гражданин Вильсон. Отношение к кадетам их иноземных союзников становится благодаря этому одной из самых интересных глав этой печальной повести. Тут необходимо опять дать место их собственным словам. Вот что писал в Москву на пасхе нынешнего года Николай Астров:

«С французами случилось нечто непостижимое. Из наших наиболее преданных друзей они, если судить по поведению их военных представителей на юге, обратились в явных врагов. Прежде всего они самым отвратительным и глупым образом повели кампанию против Д. А. (добровольческая армия) в Одессе. Кампания эта кончилась тем, что они выслали из Одессы высших представителей Д. А. и стали образовывать свою власть по демократическим рецептам; во главе коалиции был поставлен темный проходимец (Андре Ланжерон). Еще до этого они самым постыдным образом сдали большевикам Херсон, Николаев с громадным снаряжением и кораблями, не позволив Д. А. вывезти имущество, принадлежащее русскому государству. Учредив в Одессе новую власть, они внезапно объявили, что оставляют Одессу. На погрузку и так называемую эвакуацию было дано два дня. Можете представить себе, что вышло из всей этой эвакуации. Команды пароходов забастовали и начали повреждать механизм судов. Беглецы сами становились кочегарами, сами выводили суда в море, и все эти массы двинулись на Новороссийск, а те, кто не смел показаться туда, бежали в Константинополь. В Одессе даром, без боя, отданы

большевикам громадные имущества и груз, только что пришедший с Востока на транспорте «Шилка». Вот дружеская услуга французов нам». «В Севастополе разыгралось то же бесчинство, которое имело место в Одессе. Французские солдаты швыряли свои винтовки в море, братались с большевиками, французские офицеры налагали контрибуции на бегущих буржуев и получили с одного корабля до полмиллиона рублей. Д. армии даны были сутки на вывод кораблей из порта, причем не позволено было... [1] Вот то невероятное, что случилось на наших глазах. И снова железный занавес опустился и отделил нас от местностей, с которыми мы были недавно и, казалось, прочно связаны».

Мы надеемся напечатать кадетские документы целиком в особой брошюре, и читатель, имея перед глазами точный текст астровского письма, лучше будет в состоянии оценить весь тот ужас, который охватил «освободителей», когда они увидели, что французские штыки им изменяют. Он убедится тогда, как должны были убедиться читавшие документы в подлиннике, что приходившие тогда с юга известия о большевистских настроениях французской армии, о «манифестациях с красными флагами», возгласах «Вив ле большевик», «бросании оружия в воду, братании с красными, отказах от отправки на фронт», безусловно верны: теперь мы это знаем от людей, которым страшно не хотелось, чтобы это было, но которые, к своему ужасу, не могли этого не видеть.

Но тут есть еще одна любопытная сторона, на которой нельзя не остановиться. Что французский пролетарий, что французский крестьянин, одетый в цвет «синего горизонта» (защитный цвет французской армии) рано или поздно прозреют, что Франция сделается театром такой же классовой борьбы, какой уже стала Германия,—в этом нет для нас ничего неожиданного. Неожиданно то, что очень скверно относились к кадетам и их друзьям справа французские генералы и офицеры. «Перед отъездом из Крыма В. Д. Набоков имел разговор с французским адмиралом Аметом. Амет держал себя с В. Д. так вызывающе грубо, так третировал и В. Д. и Россию, так нагло издевался надо всем, что для нас дорого и свято, что В. Д., передавая друзьям свою беседу с этим животным, сказал, что он близок был к тому, чтобы выйдя из каюты адмирала, броситься в воду».

Что же во Франции и адмиралы, что ли, начинают превращаться в большевиков? Такого чуда, конечно, не случилось. Французское офицерство, конечно, попрежнему проникнуто всеми буржуазными добродетелями. Но в списке этих буржуазных добродетелей значится и подлинный, искренний шовинизм—сочувствие к «своим», потому они

---

[1] Не разобрано.—*М. П.*

свои—французы, и ненависть к «чужим», потому что это чужие—немцы. Это звериное, но это искреннее. Это во-первых. А во-вторых, за это «свое» французская буржуазия действительно «кровь проливала», дралась серьезно, не щадя себя. Так, по крайней мере, вела себя простоватая и наивная мелкобуржуазная масса, у нас в России идущая за правыми эсерами и меньшевиками. И вот, тот факт, что съехавшиеся в Одессе «освободители» проводили время в «ресторанах и разговорах» (показание одного наблюдателя одесско-киевской жизни из кругов правее кадетских), а подставлять лоб под пули большевиков посылали сынов «прекрасной Франции», этот факт душа мелкобуржуазного французского патриота переварить не могла. «Бросившие нас продажные французы,—с яростью пишет Н. Астров,—чтобы оправдать свой гнусный поступок, цинично говорят: «нам нужно беречь своих производителей. У вас люди сидят в кофейнях, вместо того, чтобы сражаться, у вас нет патриотизма и искусства управления вы лишены, а мы можем с большевиками договориться».

В конце концов, изо всего французского утешения кадетам остались только черные сенегальские стрелки, по их совершенной дикости гораздо дольше, нежели французские солдаты, не могшие разобраться в том, что происходило. Потом разобрались и они, как известно: есть все основания думать, что известие о бунте черных на юге России так же достоверно, как и все остальные известия, подтвержденные теперь письмами кадетов.

Но к тому времени, когда это случилось, последние уже были достаточно утешены. Наступил крутой перелом в отношениях с Англией. «В политике Англии произошло что-то, что дает повод думать, что Англия решила использовать ошибки французов и заменить Францию в отношениях к России. Англичане уже и раньше поставили себя так, что наше отношение с ними не окрашивалось оттенком враждебности. Теперь эти отношения видимо становятся прямо дружественными. Та деловитая сдержанность, тот характер корректной, но холодной эгоистической расчетливости, какой имела еще недавно политика англичан в отношении к России, характеристику которой вы могли найти в информации «Азбуки» (сообщение «Слова»), теперь сменилась политикой определенной и дружественной помощи России в лице добровольческой армии. Не говоря о регулярном и все растущем поступлении от англичан всякого рода снабжения (вооружения, интендантского, инженерного и медицинского имущества и т. д.), англичане пользуются всяким случаем, чтобы подчеркнуть свое дружеское к нам отношение. Это проявляется решительно во всем. И в крупном и в мелочах. Английский главнокомандующий, генерал Милн, первый при-

ехал в Екатеринодар и сделал визит генералу Деникину. Помимо того морального впечатления, какое произвел этот шаг генерала Мильна, особенно после тех досадных и оскорбительных недоразумений, какие были с так и не состоявшимся свиданием с генералом Франше д'Эспре, свидание генерала Деникина с генералом Мильном дало и большие политические результаты. Обо всем договорились, все выяснили».

Визит генерала Мильна был необыкновенным утешением для обиженных адмиралом Аметом кадетов. С чувством глубого удовлетворения об этом визите в письмах говорится не один раз. И реальные, осязательные результаты этого визита сказались очень скоро. «Англичане осуществляют свою помощь методично и беспрерывно. Пока ими доставлено все на армию в сто тысяч человек. Все превосходного качества, все солидно, всего много. Завалены медикаментами. Есть бронированные аэропланы, с летчиками англичанами. Понемногу армия переодевается в английскую форму. Ожидаем дальнейшие транспорты».

До чего повторяется старуха история! Как две капли воды, эти одетые в хаки деникинцы напоминают тех французских эмигрантов, которых британский флот высаживал на берега Франции в красных тогдашних английских мундирах. И невольно вспоминается, как революционный генерал Гош расстрелял 700 таких «англичан» на Киберонском полуострове.

Но красноармейского Гоша пока еще нет на сцене, наши белогвардейцы еще не загнаны ни на какой полуостров и настроение, после визита Мильна, было так же близко к восторгу, как после разговоров с Аметом и Франше д'Эспре, оно было близко к отчаянию. Вот цитата из письма В. Степанова, написанного под впечатлением всех полученных от англичан и из Англии приятностей. Цитата любопытная сама по себе. «Связь с адмиралом Колчаком становится прочнее и прочнее. Ген. Деникин и адмирал Колчак недавно обменялись письмами. Любопытно отметить, что эти два письма, почти тождественные по содержанию и построению, разошлись в пути, так что ни одно из них не было ответом на другое».

«Оба, и генерал Деникин и адмирал Колчак, свои усилия направят на то, чтобы поскорее сомкнуть фронт, чтобы создать единую армию, единое командование, единое правительство единой России. Все личное, частное, у обоих отходит на задний план. Оба выражают уверенность, что соглашение их последует тотчас же как только они встретятся, и оба заранее готовы подчиниться друг другу».

«В том, что соглашение действительно последует, что мы действительно получим единое командование и единую

временную верховную власть, сомнений, конечно, никаких нет и быть не может. Пока же этого соединения не произошло, восток и юг идут с разных сторон к единой цели, и каждый делает, что может».

«Москва—вот тот маяк, который одинаково ярко светит и на восток, и на юг, и в лучах этого маяка сливаются наши помыслы и усилия».

У военных, впрочем, всегда было больше бодрости и твердости в беде, чем у штатских кадетов. «Не тревожьтесь,—утешал Деникин Н. Астрова еще в самые горькие дни французского засилья,—будем у вас в Москве чай пить».

Но в Москве что-то долго не ставят самовар, а когда пытаются поставить, он оказывается в чрезвычайке. Помощь извне становится все нужнее, но надежда на нее не расцветает, а, наоборот, как будто блекнет. Радостные вести с юга шли в Москву в апреле и в мае нынешнего года,—а тридцатого июня вот что писали в Петербург из штаба Юденича: «Относительно союзников знайте, что, коротко и грубо говоря, их отношения к России таковы: Америка больше всего боится, как бы в освобожденной России не произошли еврейские погромы и как бы в ней не установилась твердая национальная власть, препятствующая мечтам о беспардонном хищничестве. А кроме того, вся помощь должна быть оплачена наличными. Таким образом, нам она плохой попутчик. В Англии все время боролись два течения—за активную помощь и за воздержание от нее. Активистом и нашим горячим другом является Черчилль. Ллойд-Джордж двусмысленен и согласшатель. В последнее время возобладала, наконец, линия Черчилля, но сопротивление, им встречаемое, еще очень велико. Франция—наш верный и искренний друг, но она сама страшно измучена и обессилена. Вообще же, все они опутаны по рукам и ногам собственной проклятой сволочью—довильсонились. Поэтому их помощь материальными ресурсами всякого рода, во-первых, дается в недостаточных порциях, во-вторых, безнадежно запаздывает».

В самом деле, помощь дается не только в недостаточном количестве, но и в неудобной форме. Мы видели, что южная армия весной нынешнего года, перед началом деникинского наступления, была завалена английскими патронами и медикаментами. Но гораздо хуже оказывалось дело относительно денег, о которых вопили одинаково и из Питера и из Москвы («Просим экстренным порядком немедленно переправить деньги, иначе работа станет»,—писал в штаб Юденича Штейнингер). «Что касается денег, то здесь дело обстоит не так просто, как вы думаете»,—меланхолически отвечают на московские вопли из Екатеринодара, весной

нынешнего года. «Иностранные источники сейчас закрыты, с валютой так трудно, как нельзя себе представить». «Относительно денег и сметы, которую вы нам прислали, с сожалением должны сказать, что мы денег не имеем. Обращаться за ними к союзникам мы не можем,—придется вопрос этот поставить в здешних военных органах».

«Военная власть» имела деньги, по всей вероятности, от Колчака, у которого было в распоряжении захваченное в прошлом году чехо-словаками советское золото. Но, видимо, военные этих денег зря кадетам не давали, следуя, в этом отношении, примеру практичной английской буржуазии, которая вообще денег не давала, ни военным, ни штатским. Англичане водят своих друзей на короткой веревочке: натурой получи, сколько хочешь: на патронах, на снарядах, на медикаментах ты не сжульничаешь. Но дать наличные—это значит дать свободу действий, а дать свободу действий партии, которая систематически обманывает своих, могли бы только очень глупые чужие. Англичан на эту удочку не поймаешь. «Ложью весь свет пройдешь, да назад не воротишься»—учит кадетов их горький опыт.

Выучит ли? Пока что мы имеем партию народной свободы, провозглашающую военную диктатуру, партию конституционно-демократическую, призывающую царизм, партию национальную, о которой ее союзники утверждают, что у нее «нет патриотизма», наконец, партию Герценштейна и Иоллоса, от которой другие ее союзники ждут (и не без основания) еврейских погромов. В кадетских письмах не все удалось расшифровать, но в одном месте после нерасшифрованного перерыва вдруг выскакивает прочитанный конец фразы: «Жиды и, с позволения сказать, социалисты». Но быть может, это—цитата из благоуханной речи какого-нибудь «друга справа»?

«Правда», № 216, 28 сентября 1919 г.

НАШИ СПЕЦЫ В ИХ СОБСТВЕННОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Рапопорт, Полтора года в советском главке, Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном, т. II.

М. Смильг-Бенарио, На советской службе, там же, т. III.

Находящаяся на советской службе беспартийная интеллигенция обижается, слыша название «спеца». Теперь, говорят, никаких ни спецов, ни неспецов нет—все одинаково советские работники.

Положимте, что так... Блажен, кто верует. Но тем легче рассуждать о спеце, раз это «историческое явление». Хорошо, «спецов» нет: посмотримте, чем был спец не в очень давнем прошлом.

Задача наша очень облегчается тем, что спецы, не выдержавшие «большевистских неистовств» и бежавшие в те края, где только коммунистов расстреливают, коммунисты же никого расстрелять еще не могут, охотно делятся с другими «спасшимися» своими впечатлениями. Нет людей, болтливее тех, у кого совесть нечиста. В каскадах слов стараются они утопить «когтистого зверя, скребущего сердце». В сущности, про себя они прекрасно знают, что они предатели и негодяи. Именно с буржуазной точки зрения предатели: интернационалист может итти и против своей родины, во имя интересов мирового целого; у буржуа, распинающегося и еще чаще распинающего других во имя патриотизма, перебившего и искалечившего ради «национальных» интересов миллионы людей, для разрыва с родиной нет и не может быть никакого морального оправдания. Презрение заграничной массы к российским эмигрантам новейшей формации, то презрение, от которого так тяжко лучшим из них, объясняется в первую голову именно этим. Французский или германский мелкий буржуа не может понять людей, которые, ради своих личных интересов, пошли против своего отечества. И только с этой точки зрения можно объяснить ту, до цинизма доходящую, бесцеремонность английского и французского офицерства к его белогвардейским союзникам, которую это офицерство проявляло с изумительной последовательностью на всех окраинах русской равнины: в Архангельске так же, как и в Ревеле, в Севастополе или Одессе так же, как в Новороссийске.

Повторяем, сами беглые спецы прекрасно понимают это. Оттого первой их заботой является—объяснить своим читателям, почему они «работать» более не могли. Более длинные, из упомянутых в заголовке этой статьи, воспоминания Смильг-Бенарио прямо защитительная речь, губящая автора наивностью оправданий. Рапопорт хитрее: он старается найти «объективную причину» своего краха—и находит ее, разумеется, в коммунизме: никакие «перемены не могут улучшить самую систему»,—торжественно заключает он свое повествование.

Это было бы недурно как объяснение, особенно, если вспомнить, что попытки «непосредственного коммунизма» и нами самими признаны ошибочными и преждевременными. Беда только в том, что предшествующим сам Рапопорт блестяще доказал отсутствие хотя бы тени коммунизма или его влияния в работе того совегского учреждения, где ему приходилось подвизаться. Он смог привести лишь о д и н пример этого влияния: служащих п о п р о б о в а л и заставить ходить на работу не позже... 10 с четвертью (ради бога, не переведите этого хотя бы на французский язык: там никто не поймет, что можно начинать работу не с 9...). Но и этот опыт стеснить «личную инициативу» кончился, повидимому, неудачей. Других примеров «коммунизма» Рапопорт не приводит—и он гораздо более прав, когда в другом месте и по другому поводу, сводит роль коммунистической верхушки советского аппарата к очень скромным размерам. «Управление промышленностью из центра. сводится к составлению и пересоставлению всевозможных организационных, производственных и строительных планов, к громадной, но случайной переписке по выплывающим отдельным вопросам и к разрешению дрязг и конфликтов местных органов» («Архив», II, стр. 100).

Вот это верно—верно для четырех пятых, по крайней мере, советских учреждений. Да, наш коммунизм, по большей части, не выходит из стадии планов и проектов[1]. Да, мы не умеем вылезти из болота текущих мелочей. Но что же это значит? Лишь то, что реальная, конкретная работа ведется теми, в чьих руках эти мелочи. От них, от этих «столоначальников» советского режима, зависит продуктивность его работы. Пусть нам не удалось воплотить в жизнь коммунизм: за это мы ответим перед судом истории. Современники вправе от нас требовать одного: чтобы наша текущая административная работа шла удовлетворительно. Не будьте коммунистами, если не можете, но управляйте как-нибудь, выполняйте элементарные функции государственной власти. Так вот, как эти-то элементарные функции мо-

---

[1] Написано в 1921 г.

жет осуществлять власть, располагающая такими орудиями, как г-н Рапопорт?

Прежде всего, никакая власть не может выполнять элементарных своих функций, если она не знает того, что у нее есть. Если бы маршалы Наполеона давали ему дутые сведения о составе корпусов Великой армии, Наполеон не выиграл бы ни одного сражения. Как обстояло с этим дело в том ведомстве, где работал г. Рапопорт (одном из главков ВСНХ)? Предоставим всецело слово ему самому:

«3 января 1920 г. в наше учреждение, как и во все прочие главки, прибыла срочнейшая телефонограмма Ларина, с предложением представить ему не позднее 1 ч. дня 5 января основной отчет по управляемой отрасли промышленности за 1919 г., по следующим пунктам: число заводов, работающих и не работающих, число рабочих и служащих, количество потребленного сырья и технических материалов, количество выработанных лесных материалов, истраченные суммы денег. За исполнение работы к сроку обещалась соблазнительная премия: на каждого участника работы по 2 ф. сахара и четверть ф. чая. «Мобилизовали» сотрудников, засели за вечернис занятия. Первым долгом обратились в статистико-экономический отдел Главлескома, который должен получать два раза в месяц телеграммы с заводов о ходе работы. Однако мы нашли там сведения только с пяти заводов за разрозненные месяцы; остальные 2000 с лишним заводов отчета не дали. Кинулись опять к переписке и толстым «делам» управления, но и там нашли не больше. Между тем, начальство требует отчет; 2 ф. сахара к праздникам—соблазн не малый—и отчет был составлен «логическим» путем: взяли приблизительно число заводов, интуитивно определили число работающих станков, путем умножения на 25 вывели число рабочих и таким же гениально простым путем получили все остальные нужные цифры. Отчет был представлен Ларину за 2 часа до срока... » (там же, стр. 99).

Мы не прибавили ни одного слова—да и не нужно. Буржуазно-европейский читатель удивился бы только, вероятно, что за такой «отчет» никто не попал под суд. Он удивился бы еще больше, если бы узнал, что настоящие цифры, хотя бы неполные, несомненно имелись налицо. Мы это узнаем по другому поводу: когда г. Рапопорту нужно было изобличить советскую власть за то, что она вывозила за границу «чужой»—т. е. конфискованный у буржуазных предпринимателей—товар. Указав на наивные, может быть, попытки советских экспортеров затруднить точное распознавание бывших владельцев товара, г. Рапопорт с торжеством сообщает: «Между тем, право собственности на экспортный товар может быть точно установлено, хотя бы

потому, что соответствующие русские и иностранные фирмы, конечно, имеют гораздо более полные и точные сведения о количестве и движении своего товара, чем все лескомы и наблюдающие за ними чрезвычайки вместе» (там же, стр. 107).

Итак, Ларину цифры, добытые «интуитивным» путем, а «хозяевам»—точные сведения о том, что делается с «их» предприятиями. Недурно. И ни одного намека во всей статье, что за такую «двойную бухгалтерию» кого-нибудь поставили к стенке... Долготерпелива и многомилостива советская власть!

Этого факта, впрочем, и г. Рапопорт не отрицает. Легенда о советском терроре (лейтмотив воспоминаний другого беглого спеца, к которому мы перейдем ниже) отнюдь не входит в его программу, и он готов даже согласиться, что советская власть нелицеприятно выдвигает «дельных людей», «не копаясь в их политических убеждениях. Не совсем правильно, по крайней мере, в пределах моего опыта, утверждение, что служащих заставляют записываться в коммунисты или выдавать себя за сочувствующих; правда, бывали и у нас анкеты о партийной принадлежности, но при мне можно было обойтись ссылкой на беспартийность и даже на «независимость» (стр. 102).

Итак, отнюдь не «террор» заставлял г. Рапопорта и компанию являть собою такой образец «рабов лукавых и ленивых», какого в другой раз, пожалуй, и не сыщешь в истории. Что же заставляет? Г. Рапопорт и из этого не делает секрета.

«Нет ни одной сметы, ни одного проекта, ни одной хоть сколько-нибудь существенной бумаги, за которой не скрывался бы чей-нибудь движущий ее частный интерес, не имеющий ничего общего с предполагаемым интересом социалистического производства и обычно ему совершенно противоположный. Так как каждая бумажка рождает целую переписку ряда учреждений, то наблюдатель иногда не сразу может определить, за какой из этой цепи бумажек скрывается личный интерес, и в чем он состоит, но стоит вглядеться повнимательней, поговорить с участниками переписки, и вы неизбежно увидите где-либо тот же скрытый двигатель личной выгоды.

«Составляется годовая смета завода или целого гублескома. Главлескомом отпускается по смете громадная сумма денег, отчет в израсходовании которой дается когда угодно и как угодно. Да дать отчет и нетрудно. Так, например, в смете есть пункт расходов по заготовке и подвозке к заводу круглого леса для распилки; расстояние возки леса исчислено в 10 верст, на самом же деле это расстояние равно одной версте, чаще всего лес заготовлен еще бывшим владельцем и лежит на заводе уже несколько лет. Получается

громадная «экономия» в расходах, о которой центр ничего не знает и знать не может: посылать на все заводы людей для проверки работы нет возможности и, наконец, и эти люди тоже только люди и хотят есть. Формально, все в порядке: на расходы по возке имеются оправдательные документы, в виде самодельных расписок, от имени крестьян-возчиков в получении денег и, что самое главное, продовольствия за возку...» (стр. 103—104).

Как г. Рапопорт ни уверяй после этого, что во всем виноваты «коммунисты» и «полукоммунисты», совершенно ясно, что у ВСНХ, считающего в своем составе что-то 3 или 4 процента членов РКП, даже физической возможности нет послать на все заводы хоть по одному коммунисту. И, конечно, все эти дутые отчеты составляют и не рабочие—хотя бы просто потому, что они и не сумели бы их составить. Нечего скромничать: околпачиванием коммунистических центров советской власти занимаются именно гг. Рапопорты и им подобные — т. е. именно спецы. Это они составляют аккуратнейшие отчеты «о работе в 1920 г. заводов, сгоревших в 1916» (стр. 101); это они, «когда строится новый завод или ремонтируется старый», «выписывают такое количество всяких станков, машин, материалов, ремней, которого хватит на десяток заводов...». «Завод строится годы, а материалы переходят с казенных складов на нелегальный частный рынок, опять покупаются за громадные деньги отделом снабжения того же или другого главка. и начинают дальнейшее perpetuum mobile (вечное движение), обогащая всех прикосновенных к постройке завода, к снабжению главков и т. д.» (стр. 104). Это они, наконец, «берут при подписании договоров, берут за отвод лесных площадей, берут за выдачу авансов, берут за отпускаемое продовольствие и инструменты, берут при приемке дров, берут за подлоги в обмере дров и указании расстояния возки» (там же), ибо никакие коммунисты у подобных операций не стоят и стоять не могут: если бы у нас нашлись коммунисты для всех этих технических функций, гг. Рапопортам пришлось бы положить зубы на полку и не пришлось бы нашему автору писать, что работа ведется в Советской России «или по инерции там, где сохранились остатки прежней организации в виде нахождения бывшего владельца или его доверенного в составе заводоуправления (недурненькие «остатки прежней организации»!—*М. П.*), или ввиду того, что лесопилка связана с мельницей, размалывающей за незаконные поборы натурой зерно местных крестьян, которым сбывают и доски с завода, или же, наконец, в силу отсутствия другого выбора» (когда ничего другого не поделаешь, начинают работать: ну, можно ли придумать что-нибудь прелестнее этого?). Словом, если у заведующего предприятием спеца есть личный интерес, узко

личный интерес к доверенному ему государственному делу: попросту, есть что с этого дела в карман положить.

Далее г. Рапопорт развивает целую теорию этого «личного интереса» (не имеющего, конечно, ничего общего с тем личным интересом, которым движется частное предприятие), уверяя, что без этого стимула русская промышленность и вовсе остановилась бы. И при таких порядках, несомненно, остановилась бы не только советская промышленность, но и, еще раньше промышленнность Морозовых и Мазуриных, еще раньше промышленность Демидовых и Строгоновых: если бы те терпели у себя служащих, которые только в карман норовят, а до дела им дела нет. Но старые хозяева умели, в ряде поколений, отобрать людей, преданных именно предприятию, его успехом живших, беспощадно гоня прочь всех трутней и мошенников. Мы не сумели, и за это г. Рапопорт в праве над нами смеяться. Да, от вшей смогли кое-как избавиться, а от мошенничающих спецов пока нет...

Но г. Рапопорт и его «подзащитные»—только коммерческие агенты революционной власти. Конечно, достопримечательно, что они правительству рабочих и крестьян служили заведомо, сознательно хуже, чем капиталистам. Но кроме плохой работы они на своих должностях ничем себя ознаменовать не могли. Представьте себе теперь случай гораздо более резкий: когда такой спец оказывается не просто сторожем при советском имуществе, а руководителем классовой борьбы против контрреволюционных элементов. До появления III тома «Архива» г. Гесена, я, правда, не думал, что такой инцидент возможен. Когда требуют, чтобы даже в архивах, касающихся революции, ответственные заведующие были из членов партии—казалось бы, в живом деле, составляющем часть самой революции, иного ответственного руководителя и вообразить себе нельзя. Оказывается, однако-же, что можно. Не дальше, как в Питере, в 1918—1919 гг. председателем Центральной комиссии по трудовой повинности был спец, ныне повествующий об ужасах большевизма на страницах «Архива».

Что такое трудовая повинность буржуазии, об этом читателям «Красной нови» объяснять не приходится. Это средство классовой борьбы до такой степени логически вытекает из захвата власти трудящимися, что первый раз мы встречаем его не более, не менее, как у Бабефа. Суть тут разумеется, не в том, чтобы использовать мускульную силу небольшого относительно числа лиц, которые притом не умеют работать. Тут применяется к буржуазии испытанное средство, которое она десятки лет применяла к пролетариату. Когда большинство капиталистических правительств хватало молодых рабочих—наиболее возбудимую, наиболее легко революционизируемую часть пролетарской массы,—

и запирало их на год-другой в казармы, здесь, конечно, не имелся в виду наилучший т е х н и ч е с к и й способ приготовить солдата. Империалистская война показала, что можно готовить солдата и гораздо скорее и совсем иначе. Суть была в том, чтобы д е к л а с с и р о в а т ь юного пролетария хоть на короткое время, оторвать его от родной обстановки, сделать его чужим братьям рабочим. Недаром германский предприниматель охотнее брал к себе на фабрику рабочего, германский помещик охотнее нанимал батрака, если те «прошли казарму». Казарма в буржуазном государстве выполняла функции, диаметрально противоположные функциям нашего комсомола—вот как можно определить ее значение.

Рабочая казарма и рабочая дисциплина должны были д е к л а с с и р о в а т ь б у р ж у а з и ю в ее наиболее гибких и податливых элементах, а элементы, слишком заскорузлые, лишить, по крайней мере, свободы действий, которую те, несомненно, использовали бы для борьбы против революции, даже и состоя на советской службе. Конечно, применение этого оружия на практике требовало большой гибкости и большого такта от тех, в чьи руки оно было дано. Надо было точно ограничить понятие «буржуазии», а из этой последней уметь выделить элементы, ценные и для нас и могущие быть испсльзованными производительнее, или же совершенно безобидные и безразличные. Нужно было прежде всего—это делала даже и сама буржуазия по отношению к своей казарме — выделить физически негодное для мускульного труда. Когда в первоначальный проект «тылового ополчения» в качестве кандидатов в оное попали профессора и студенты, пишущий эти строки решительно восстал против этого и добился изменения проекта в этом пункте: военное ведомство впоследствии молчаливо присоединилось к этой точке зрения, мобилизовав студентов не в тыловое ополчение, а в Красную армию. Но все эти неизбежные смягчения не мешали тому, что и д е я оставалась чисто революционной и что воплотить ее в жизнь, могли только сознательные революционеры. Это аксиоматическое положение так ясно, так не может быть никем и никогда забыто, что можно оценить весь трагизм положения Красного Питера, всю его до ужаса доходящую нищету в интеллигентных коммунистических силах, узнав, что во главе этого дела там многие месяцы стоял г. Смильг-Бенарио.

Для характеристики этого человека достаточно двух мест его воспоминаний. Непосредственным его начальником был т. Позерн, тогда военный комиссар Петербурга. «Несмотря на те разногласия, которые я впоследствии с ним имел, я все же сохранил наилучшие воспоминания о Позерне. Он внешне имеет большое сходство с бывшим императором: те же формы лица, та же бородка и та же лю-

безная улыбка. Иной раз, когда Позерн в полной военной форме принимал парад, мне казалось, точно передо мной стоит двойник убитого государя» («Архив», III, стр. 148). Дальше идут и другие комплименты по адресу т. Позерна: и «железная сила воли», и «работа без отдыха», и «сердечность и любезность». Но характерно, что начинаегся с внешнего сходства с Николаем II: это было первое впечатление, пленившее г. Смильг-Бенарио. Но пленялся он не только этим. «Через несколько дней (сообщается в главе «Ужасы большевистской России», после описания того, как автор читал об этих «ужасах» по бюллетеням «Бюро военных комиссаров») я случайно имел возможность посетить балет в Мариинском театре. Балет был еще единственным местом в Петербурге, где я порою мог забыть все те ужасы, которые меня окружали» (там же, стр. 183).

После этих двух пассажей г. Смильг-Бенарио сколько угодно может себя называть «демократом и социалистом»— никто ему не поверит. Тайный вздыхатель по Николае и явный поклонник балета был, конёчно, в тысяче верстах от того, чтобы понять что бы то ни было в революции. Если он к ней примазался, то отчасти из шкурных соображений (места нет, а стоило бы выписать очаровательный рассказ, как автор провозил картошку мимо заградительного отряда, пользуясь своим советским званием, см. стр. 158), главным же образом, чтобы саботировать эту самую революцию. Так у него изображается, на самом же деле, быть может, было и наоборот: на первом месте были шкурные соображения, а политический саботаж на втором.

«Через несколько недель (после того как г. Смильг-Бенарио стал свидетелем «того издевательства над человеческой личностью, которое вошло в систему существующей власти») была образована Центральная комиссия по трудовой повинности»,—рассказывает он. «В эту комиссию должен был войти также и представитель от военного комиссариата. Тов. Позерн спросил меня, не соглашусь ли я в качестве такового войти в эту комиссию. Несмотря на то, что я ясно сознавал, что должность совершенно не соответствует ни моим политическим, ни моим нравственным убеждениям, я все же дал свое согласие. Я надеялся, что в качестве члена Центральной комиссии по трудовой повинности мне удастся облегчить положение сосланных на северный фронт» (стр. 161. Разрядка моя.—*М. П.*).

Г. Смильг-Бенарио пытается уверить своего читателя, что он не думал скрывать своих убеждений от начальства. «Вы знаете, товарищ, мои политические убеждения...»—так начинался, будто бы, один из его разговоров с Б. П. Позерном (стр. 155). Но мы знаем от г. Рапопорта, что в

России ни одного советского служащего не заставляют притворяться ни коммунистом, ни сочувствующим коммунизму. Так зачем же г. Смильг-Бенарио походя называет всех своих сослуживцев коммунистов «товарищами»? И будто они, зная его политические убеждения, такую фамильярность терпели? Все это очень сомнительно. А вот, что несомненно и хорошо известно всякому из нас, так это манера всех «примазавшихся» щеголять тигулом «товарища», особенно в сочетании с громкими партийными именами. Придет этакий тип, развалится в кресле и начинает развязно: «Товарищ Троцкий мне вчера говорил...» Я всегда прерываю в таких случаях: «вы член РКП?»—«Н-нет, я, собственно, не принадлежу к партии...». «Так что же вам говорил вчера председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий?». Но нет сомнения, что на коммунистов помоложе (в партийном смысле) это производит впечагление. И когда г. Смильг-Бенарио кому-нибудь отпускал в Питере: «Тов. Позерн меня просил...», то это сразу располагало слушающего в пользу человека «иных политических убеждений»—во имя уважения к тов. Позерну. Тогда легко было этого слушающего и «обработать».

Это слово не наше—оно из лексикона г. Смильг-Бенарио. Выполняя свою миссию—спасать буржуазию от трудовой повинности,—и достигнув, в одном из случаев, очень крупного успеха (дело о подкупе начальника конвоя вместо ЧК было передано в Нарсуд), г. Смильг-Бенарио «лично зашел к председателю суда, передал ему акты по этому делу и соответственно его обработал. При прощании он мне обещал дело этих десяти прекратить» (стр. 168). «Я поехал в военный комиссариат. Позерна как раз не было в здании. Но он должен был скоро притти, и поэгому я решил его подождать. Случайно я встретил Женевского [1]. «Ах, товарищ,—сказал он,—как поживаете, давно вас здесь не видно было. Ну, что слышно хорошего?». «Вот счастливый случай,—подумал я,—надо Женевского обработать. Ведь он, как-никак, тут важная птица» (стр. 178).

Самого Позерна «обработать» однако же не удалось (см. стр. 179—если, конечно, не считать факта назначения г. Смильг-Бенарио),—а скоро попал в «обработку» и сам наш «товарищ». Случилось это—читатель почти мог бы и сам догататься—в ПЧК. Зашел туда раз г. Бенарио, в своих хлопотах о жертвах советской власти, был принят «крайне любезно» (во всех случаях, когда он передает личные свои впечатления от ЧК, а не сплетни, он ничего дурного о ней сообщить не может), но, несмотря на щедро рассыпаемых «товарищей», не сумел обойти рокового вопроса

[1] Т. Ильин-Женевский, тогда помощник т. Позерна.

«а вы коммунист?» Г. Смильг-Бенарио, вероятно, здорово ругнул себя в душе, что не использовал добродушие питерцев до конца и не влез в партию, но что поделаешь? Пришлось установить «истинное положение вещей». Тогда, разумеется, последовал дальнейший вопрос: «Так как же вы состоите председателем Центральной комиссии по трудовой повинности?» (стр. 171).

Почва под ногами начинала становиться горячей. А тут—беда беду гонит,—налетел еще один неприятный случай. Начал выручать одного из своих клиентов г. Смильг-Бенарио и «для ускорения его возможного освобождения сообщил сущность дела (в Вологду, где тот находился) по телеграфу». Мы подчеркиваем эту маленькую подробность, ибо она может дать некоторый ключ к дальнейшему. Казалось бы, прибегая к телеграфу, желаешь ускорить дело. И когда вскоре после телеграммы выручаемый явился в Питер, г-ну Смильг-Бенарио только бы радоваться. Ан, он вскипел гневом, и своего бывшего протеже травить: то то ему свидетельство подай, то другое. В чем же дело? Оказывается, «буржуй» (г. Бенарио так его дальше и начинает величать в сердцах) нашел себе другого покровителя, коммуниста. Г. Бенарио сразу почуял, что дело нечисто (почему это не пришло ему в голову, когда он посылал свою телеграмму, не совсем ясно: но ведь известно—«в чужом глазу сучок мы видим...»). И, в негодовании на явно бесчестную конкуренцию, он имел неосторожность довести дело до ЧК. В пылу гнева он не сообразил, что ЧК может взяться и за «буржуя»,—а тот может, струсив, начать рассказывать не с коммуниста, а с самой телеграммы. А ЧК как раз так и поступила. Пришлось г. Бенарио устраивать своему буржую побег, снабдив его паспортом из Центральной трудовой комиссии. И хотя факт, повидимому, остался никому неизвестным, но г. Бенарио не мог не понимать, что нет ничего тайного, что не могло бы сделаться явным. Да и коммунист, с которым он столкнулся, оказался хорошо известным, так что извету г. Бенарио не поверили (стр. 173—178).

Тем временем и в самой комиссии начинали чувствовать, что председатель—человек совершенно чужой. «Мои товарищи по комиссии становились все более подозрительными по отношению ко мне. Они стали открыто выражать недовольство по поводу моего отношения к делу» (стр. 181). Сделать из учреждения, ведающего одной из отраслей борьбы с буржуазией, выручалку для «буржуев» не удавалось. Но «оставаться в этом учреждении и сознавать одновременно, что никакой пользы никому (!) он «принести больше не сможет», было для г. Смильг-Бенарио «невыносимо». Он подал в отставку—его не удерживали. Тем временем и его семья покинула Питер (в том числе и его брат, член Цент-

рального комитета плехановского «Единства», т. е. определенно антисоветской организации, которого он выручил с чрезвычайной легкостью и безо всяких хлопот, когда того взяла ЧК. Добродушные были времена!). Наконец, и сам г. Смильг-Бенарио «отправился в Иностранный отдел Комиссариата внутренних дел к своему товарищу, который мне как-то предложил оказать помощь в случае, если я захочу уехать из России!» (на этот раз, как видим, это был, действительно, товарищ...).

«Я пришел,—сказал я своему товарищу,—чтобы напомнить о вашем обещании. Помогите мне покинуть Питер и советскую Россию». Товарищ мой сразу же согласился сделать все обещанное...» (стр. 184).

Дальше перед нами уже не советский спец, а германский военнопленный, возвращающийся на родину. Любопытно отметить, что, когда его везли по окаянной большевистской России, его «поместили в хорошо отопленный санитарный вагон». А когда он вырвался из большевистского ада и очутился на территории свободной и цивилизованной Польши, ему и его спутникам пришлось сидеть «в холодных товарных вагонах, наполненных навозом, причем вагоны были настолько набиты людьми, что по ночам мы совершенно не могли лежать» (стр. 188).

Но г. Смильг-Бенарио был и этому рад, ибо накануне его отъезда приходил к нему один его бывший сослуживец и сообщил ему, «что по желанию Комиссии по трудовой повинности первого гор. района решено потребовать, чтобы г. Бенарио дал отчет о своей деятельности Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией». Превратиться из «товарища» в «германского военнопленного» (не суждено было бедному г. Смильг-Бенарио выйти из кавычек) было самое время.

Ах, как хорошо, что больше нет спецов! «Но уроками истории нужно пользоваться для будущего», сказал Фукидид. Последуем его совету, и если нам опять придется когда-нибудь пользоваться услугами спецов, будем помнить, что ни им пальца в рот класть не следует, ни самим перед ними с разинутым ртом стоять нельзя. А дверь ЧК перед ними всегда должна быть гостеприимно раскрыта...

«Красная новь», № 1, 1922 г.

КАЮЩАЯСЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

(«Смена вех», сборник, Прага, 1921.—«Смена вех», еженедельный журнал, №№ 1—3, Париж, октябрь—ноябрь 1921) [1]

Для нас не является отнюдь секретом, что среди русской интеллигенции, и в самой России, и находящейся в эмиграции, происходит великая сумятица. Мы знаем, что значительная часть этой интеллигенции «отходит к большевикам, искренно или фальшиво с ними содружествует и даже славословит ими уже содеянное и ныне творимое» («Последние новости», 30 октября 1921 г., передовая «Духовный маразм»).

Признание милюковского органа избавляет нас от всякой необходимости ставить вопрос о значительности того явления, которое связано с символическим отныне названием «Смены вех». Да, на белогвардейской массе появилась новая трещина (первой был откол от кадетского ядра самого Милюкова и его группы), еще более глубокая. Да, «значительная часть» интеллигентных сил контрреволюции бросила трехцветное знамя и явно, открыто, «бесстыдно» с точки зрения вчерашних соратников, тянется к «красной тряпке». «Значительная часть»—не обмолвка и не мимолетное впечатление. Почти месяц спустя «Последним новостям» приходится утешать себя тем, что «если даже количественно это дело разложения окажется значительным—в качественном отношении оно будет ничтожным» («Последние новости», 22 ноября, передовая «Большевизм и либерализм»; мы подчеркиваем «количественно», «П. Н.», подчеркнули «качественно»).

Начинается массовое дезертирство «командного состава» белой армии. Пришествие в советскую Россию особ в генеральских погонах дало только наиболее выпуклую форму этому явлению. Но и сами «сменовеховцы» принадлежат к командному составу, пожалуй, еще в более серьезном смысле, чем Слащев и его спутники. Самый талантливый из них, Бобрищев-Пушкин, крупный октябристский деятель старой России [2]. Трое других—Ключников, Устрялов и

---

[1] Статья написана в декабре 1921 г.—*М. П.*

[2] Так как можно опасаться, что наиболее юной части наших читателей слово «октябрист» уже непонятно, напомним, что так называлась буржуазная партия, стоявшая правее кадетов.

Лукьянов,—профессора, плоть от плоти и кость от кости той части нашей интеллигенции, которая почти срослась с правящим слоем старого режима, которая умеет защищать буржуазную идеологию несравненно лучше, чем сама капиталистическая буржуазия и, пользуясь захваченной ею монополией на науку, необходимую пролетариату не меньше, чем хлеб, держит советскую Россию в своеобразной блокаде долго после того, как блокаду снял Ллойд-Джордж. У нас миллионы людей буквально умирают от голода, а мы обсуждаем и издаем декреты об «улучшении быта ученых», которые с голода умирают только на страницах белых газет, там, где еженедельно Троцкий арестует Ленина (а на следующую неделю Ленин—Троцкого) и ежемесячно Кремль штурмуют толпы восставших рабочих [1]. Когда члены этой архи-привилегированной касты, действительно «отсидевшейся» от революции, начинают признавать и эту революцию, и советскую власть, это значит побольше перехода на советскую сторону ген. Слащева. Бывших генералов у нас в Красной армии довольно, а вот «советских» профессоров мы до сих пор считаем по пальцам.

«Последнис новости» инсинуируют, что зарубежные профессора пошли на это с голода, да с холода («совратят некоторое количество малодушных и голодных»—та же статья от 22 ноября). Но, во-первых, голодающим проще было бы скромненько поступить на советскую службу, где никаких «исповеданий веры» и отречений никто, не требует, лишь бы работал «спец». А во-вторых, «П. Н.» себе противоречат, и в другой своей статье издеваются над «сменовеховцами» уже за то, что те в Россию не едут, и не едут именно потому, что им «хорошо живется в Париже, где все в порядке, а дома—голодно, холодно». («Посл. нов.», от 18 ноября, чрезвычайно злобная и в своей злобности необыкновенно характерная статья Петра Рысса «Браталь-щики»).

Мотивы поворота к революции некоторой части и зарубежной и внутрирубежной профессуры, конечно, не индивидуально-физиологические. Мотивы эти общественные, политические, и в субъективной искренности мотивировки у нас нет ни малейшего повода сомневаться. Но что означает «Смена вех», как объективно-историческое явление? Вот этим вопросом мы и хотели бы заняться.

Прежде всего, тут приходится иметь в виду то, что отколовшаяся от белых часть интеллигенции, хотя и живет под одною обложкой, далеко неоднородна. Заголовок

---

[1] Профессорский паек составляет 136% того пайка, которого никогда не дополучают рабочие, а выдается академический аккуратнее, чем все другие.

нашей статьи «Кающаяся интеллигенция», характеризует массу. Настроение этой массы может быть лучше всего выражено словами автора заключительной статьи сборника, Ю. Н. Потехина. «Русский интеллигент, всю свою историю отвращавшийся от буржуазности, звание мещанина почитавший сильнейшим оскорблением, вдруг во времена революции не на шутку ощутил себя «буржуем» и бросился опрометью, куда глаза глядят, вместе с буржуазией подлинной. Только теперь по прошествии многих тяжких месяцев изгнания, эмигрировавшая часть интеллигенции задумывается над парадоксальностью своего положения и все чаще начинает ощущать себя в положении зайца, покинувшего родной лес потому, что вышел приказ подковать всех верблюдов» («Смена вех», стр. 172). «Интеллигенция погубит Россию, предупреждали «Вехи» двенадцать лет назад. Интеллигенция губит Россию, почти можно сказать уже теперь... Но не своей избыточной революционностью, как казалось тогда, а, наоборот, своей неспособностью принять великую русскую революцию в ее единственно возможных народных формах» (там же, стр. 170) [1].

Это—настроение самое простое, наименее вызывающее на длинные объяснения. Наша интеллигенция всегда была заражена, по отношению к рабочим и крестьянским массам, тем ядом, который иные называют «генералином». Мужикофильствующая и рабочелюбивая, она не в шутку говорила о «меньшем брате»—и хотя никогда не называла себя прямо «старшим братом», но так себя чувствовала и понимала. А меньшой должен старшего слушаться. Когда меньшой, немножко неожиданно для старшего, дал сзади коленкой Романовым, на него слегка обиделись («зачем не спросился?»), но не протестовать же было против столь удачного жеста. Февральскую революцию милостиво простили, но тут же нравоучительно разъяснили меньшому, что озорничать он должен в пределах: Романовых уж пусть, ну, а буржуазию не смей—она нужна по таким-то и таким-то «строго марксистским» основаниям. Меньшой сначала послушался, но, присмотревшись и увидев, что «строго-марксистская» линия ведет прямо в болото, снова выскочил из оглобель, уже всерьез и надолго, и снова дал раза—теперь уже буржуазии. Этого перенести никак было нельзя. Люди вообще не любят видеть себя в дурацком колпаке, а когда это украшение увидал на себе «мозг страны», он пришел в дикую ярость, и наделал поступков: а поступки, увы! вещь объективная,

---

[1] Для незнающих древней истории, о ять-таки, напомним, что «Вехи» – название сборника, изданного в России в 1909 г правым крылом тогдашней интеллигенции, во главе со Струве, и заключавшего в себе покаяние этой интеллигенции за революцию 1905 г.

и сам господь бог, как известно, бывшего не бывшим сделать не может. От поступков интеллигенции полилась кровь, и чем шире была ее река, тем труднее было протянуть через нее руку.

Дальше пошла скорбь по отобранным районом штанам, неприятности от уплотнившего квартиру рабочего, колка дров, копанье на огороде, чтобы не помереть от холода и голода—и все же холод и голод из-за общей разрухи, основными виновниками которой, конечно, являются те, кто не догадался послать Николая ко всем чертям еще осенью 1915 года, когда соответствующая объективная обстановка уже была налицо, т. е., в первую голову патриотствовавшая тогда и оравшая «ура» интеллигенция,—наконец, разговоры с ушка на ушко об ужасах «чрезвычаек»; все это складывалось в своего рода «миросозерцание», до сих пор, утешим «Последние новости», свято хранимое большинством серой интеллигентской массы в России. Да, именно к о л и ч е с т в о пока еще на стороне того, чтобы «стоять перед отчизною воплощенной укоризною», в позе, напоминающей, впрочем, больше генерала Бетрищева, чем некрасовского героя,—горько вопрошая «меньшего брата»: «Каин, что ты сделал с братом своим Авелем?». Рабочие и крестьяне, что вы сделали с российской интеллигенцией?

Но поза генерала Бетрищева, помимо того, что весьма несовременна (ибо на генерала работала тысяча крепостных мужиков, а теперешнему интеллигенту самому приходится работать за мужика), она еще крайне глупа, ибо сердиться на историю столь же мало целесообразное занятие, как сечь океан. Этим, правда, занимался какой-то древний царь, но, кажется, только по несовершенству тогдашнего комиссариата здравоохранения, не успевшего завести сумасшедших домов. Как раз более умному меньшинству интеллигенции и должно было первому стать стыдно разыгрывать капризного ребенка, отказывающегося от обеда потому, что не дают пирожного. И как раз наиболее квалифицированное меньшинство довольно давно уже пошло работать с революционной властью, населив Госплан, понемногу начиная населять коллегии наших комиссариатов. Что более умная часть интеллигенции зарубежной должна последовать этому примеру, особенно после того, как революция на опыте оказалась прочнее контр-революции, это было ясно тоже довольно давно. Пишущему эти строки побольше года назад приходилось разговаривать, довольно организованно, с группой оставшихся в России интеллигентов на тему о том, возможна ли массовая амнистия для ушедших и на каких основаниях. Он, конечно, никакого ответа дать не мог, указав только направление, в каком можно искать ответа. Последовали ли его совету, он не знает,—но и его, и других присут-

ствовавших на этой беседе коммунистов «Смена вех» этой своей стороной, покаянной, должна была удивить меньше всех. Это давно носилось в воздухе.

Но «Смена вех» не только это. Сказать революции: «будем друзьями, Цинна» [1] или, по-евангельски, «потерпи на мне, все отдам тебе!», могла та часть интеллигенции, которую отбросила в контр-революцию обида вождя, вдруг очутившегося в хвосте своей армии. Но, конечно, не у всей интеллигенции лежит в основе настроения только эта обида. Не говоря уже об общих условиях, которые в известный момент экономического развития делают контрреволюционной всякую интеллигенцию [2], большинство русской оказалось в октябре 1917 г. «по ту сторону баррикады» благодаря его глубокому омещанению, благодаря потере способности понять какую бы то ни было революцию, какой бы то ни было пафос, какой бы то ни было идеализм, не в философском, конечно, смысле (о, этим наша интеллигенция богата сверх меры!), а в социальном—понять, что люди могут жить не только ради набивания брюха и делания карьеры, а и во имя чего-то другого. Это было то большинство, которого не тронула столыпинщина, удовольствовавшись истреблением его вождей, которое сохранило «легальность» и, досмерти обрадованное, что «пронесло», что его не тронули, другу и недругу заказало совать нос в революцию. А для успокоения все-таки иногда шевелившейся совести, вся революция была объявлена делом провокаторов. «Известно, мол, что....», «какой же дурак после этого?» и т. д., и т. д. Всецело отдавшись устройству своего квартирно-желудочного благополучия, эти интеллигентные мещане больнее всего должны были почувствовать именно удары революции с этой стороны. Роковое влияние на интеллигенцию неудачи первой революции (1905—1907 гг.), сыгравшей столь огромную роль в деле революционизирования русского пролетариата, и отчасти даже крестьянства, надо непременно учитывать при оценке позиции этой интеллигенции в 1917 г. Для первых это была «вешняя буря», так необходимая полям,—для последней это была «буря осени холодной», та, что «в болото обращает луг и обнажает лес вокруг...».

На этом болоте густо разрасталась плесень легенд о «бандитах», «немецких шпионах» и тому подобные фрукты интеллигентской психологии. Чего эти большевики стараются? Ясно, что кто-то им платит, кто-то их нанял, купил. В особняках хотят жить—недаром «дворец Кшесинской» так выпячивался в легенде на первый план. Для интеллигентного

---

[1] Фраза Августа из известной трагедии Корнеля (франц. писат. XVII в.).

[2] Нет надобности повторять то, что об этом сказано в превосходной статье т. Мещерякова «Новые вехи».

мещанина это был самый наглядный подход. Эхо этого квартирно-желудочного настроения долго тянется в белогвардейской прессе—еще в 1919 г. можно было читать там фельетоны о лукулловских пирах, якобы устраиваемых Горьким для Троцкого и Луначарского. Но уже в знаменитом дневнике г-жи Гиппиус от пиров Горького остались только скромные котлеты. «Смена вех» знаменует решительный разрыв с этим настроением.

«Современный экстремизм с подлинно революционным пафосом и волей неизбежно выливается в формы социалистической, респ. коммунистической идеологии. Не случайность, таким образом, что и русский экстремизм, носящий конечно, и специфически русские национальные черты, выдвинул коммунистические идеалы» (С. Лукьянов, сборник «Смена вех», стр. 86). «Или, действительно, можно трон разрушить, но не банки? Пишите против бога—конечно, никакой революции. Пишите против властей—оппозиция. Пишите против капитализма—опаснейшая революция, каждое слово наливается красной краской. Здесь нападаешь на сильных. Политическая революция в них не попадает. Разрушающая существующую собственность революция попадает в цель, одна является настоящею. И именно потому, что она по-настоящему ранит, от нее кричат по-настоящему. Но разве меткость—преступление? Если «на земле весь род людской чтит один кумир священный», то для революции сама собою напрашивается тактика ударить именно в этот кумир и, с победной улыбкой, слушать растерянные вопли и проклятия огорченных жрецов. Пусть они, мистически возводя очи к небу, называют посягнувших на такую святыню сынами дьявола, или сводят всю великую революцию к украденным серебряным ложкам. Революции не опошлить — они расписываются лишь в пошлости и узости своего кругозора. Не краденым пользуется русский народ, а взятым» (Бобрищев-Пушкин, там же, стр. 127—128).

Контрреволюционное филистерство изжито. Мы не хотим, конечно, этим сказать, что г-да Лукьянов и Бобрищев-Пушкин когда-нибудь *персонально* были контрреволюционными филистерами. Мы их не знаем. Но, во всяком случае, *таких* вещей четыре года тому назад они не писали—ибо, если бы писали, то были бы теперь не в эмиграции, а в РКП. Беда в том, что теперь-то это написать нетрудно... Но, повторяем, не в личностях дело: Лукьянова и Бобрищева-Пушкина читают, у них есть публика, есть последователи—это сказали нам «Последние новости». Эти читатели и последователи два года назад смаковали рассказы о тонких винах, которые пьет Горький, и о землянике, которую Ленин кушает в январе. А теперь они смакуют нечто совсем другое. Что же их размещанило?

Как это ни странно, но, прежде всего, сама контрреволюция. У междоусобной войны был пафос с обеих сторон—иначе и войны не было бы. Банкиры и фабриканты просто убежали за границу, ухватив с собою, что можно, они не дрались. А те, кто дрался, преимущественно мелкая буржуазия, городская интеллигентная и темная деревенская должны были иметь какой-то идеал, за который они клали головы. Нам нет никакой нужды это скрывать: на белые фронты ушла м о р а л ь н о - л у ч ш а я часть реакционеров. Оставшаяся внутри рубежа интеллигенция быть может именно потому и являет собою столь унылое зрелище, что эти люди ни за что не дрались. Невозможно себе представить человека, за белую булку живот свой положившего. И вот, картина умиравшей на белых фронтах молодежи, умиравшей нелепо, не за будущее, а за прошедшее, но субъективно клавшей все же таки душу за други своя, эта картина должна была нанести первый удар интеллигентскому филистерству. Эмиграция доделала остальное. Эмиграция многих и из нас отучила от последних «демократических иллюзий», показав нам «великие демократии» в домашнем быту—не в парадном костюме парламентского красноречия а в простецком образе парижского городового, парижской консьержки или парижского лавочника. Только слепой не увидал бы, на чем эта штука держится. Авторы «Смены вех», вероятно, бывали за границей и раньше. Но одно дело б ы т ь, другое ж и т ь—и жить не в качестве «богатого иностранца» а в качестве нищего изгнанника. Тут поймешь пафос революции!

Психология «Смены вех» для нас ясна, таким образом. Размещаненный суровым предметным уроком истории интеллигент, устыдившийся, что одна из величайших революций мира прошла перед ним, ничего от него не услыхав, кроме брюзжанья за пропавшие серебряные ложки—вот, в основных чертах, эта психология, наверно, уже напомнившая читателю «кающегося дворянина» 1860-х гг. Характерно, что для покаяния и тогда необходимо было открепить данного субъекта от его материальной базы: пока были крепостные мужики, дворянин не каялся, покаянное настроение на него снизошло, когда права и привилегии первенствующего в империи сословия превратились в клочки бумаги.

Но в «Смене вех» не одна психология, и даже психология их—не самое исторически-интересное. У них есть и и д е о л о г и я, а у этой идеологии есть замечательное свойство: поскольку психология их с нами сближает, идеология дает возможность с ними размежеваться. А размежеваться необходимо: ибо хотя, конечно, лучше быть «нео-коммунистом», чем старо-белогвардейцем, все же звание коммуниста, хотя бы и с прибавкой «нео», даром не дается. На чем основано право на это звание авторов «Смены вех»?

С идеологии и начинается та многоликость ново-веховцев, о которой говорилось в начале. Психология у них более или менее одна, идеологий несколько. Самая элементарная из них мало чем отличается от идеологии любого неофита советского строя, каких не мало таки выступало чередою эти четыре года. Возьмите, например, статью проф. Лукьянова, во втором номере журнала. «Революционное творчество культуры»: это мог бы написать и проф. Гредескул, мог бы написать, годами двумя раньше, В. Я. Брюсов. Тут есть известное количественное увеличение: «нашего полку прибыло». Но нет оснований, по этому поводу, ни восторгаться, особенно, если принять в расчет, что это пишется после нашей победы, так, что тут даже и кредита нет—ни настораживаться: а подлинно ли это «наш полк»? Но вот вам кусочек «Новой веры» Бобрищева-Пушкина. «Для защитников русской государственности, для патриотов, вопрос весь в том, чем явилась для России советская власть: цементом, склеивающим ее, заполняющим ее трещины, или разъедающею ее кислотою. Вопреки проклятиям эмигрантской печати, все более становится очевидным: не кислота,—цемент. Не центробежная, анархическая сила,—центростремительная, государственная. А тогда можно многое вынести, многое простить и—ко многому отнестись с терпением, веря в лучшее будущее... Не ново, что против сильной власти всегда раздается обвинение, что она держит население в рабстве, будто бы управляет им помимо его воли... Слабая власть не существует, поэтому народ всегда хочет твердой власти—а в острые и бурные исторические эпохи она вопрос существования страны. В настоящую эпоху она вопрос существования России. Но уж тогда дозировать твердость трудно, да и некогда, и не до того совсем,—пусть деспотизм, пусть суровость, лишь бы вожжи не были выпущены из рук» («Новые вехи», сборник, стр. 146).

Тут насторожиться приходится. Пусть «суровость»: на то и диктатура. Но во имя чего суровость? Наша—во имя уничтожения последнего рабства, во имя очищения лика земли от последних остатков каннибализма, от эксплоатации. Правда, об этом уничтожении остатков каннибализма Бобрищев-Пушкин говорит «как надо» и почти теми же словами, что и коммунисты (см. особ. стр. 100 и след.) Но это в другом месте его громадной статьи—и кто знает, не позабыл ли он свое же начало за 40-то страниц. А здесь у «государственности» оказываются только две задачи, старые, как учебник Иловайского: «сдерживать натиск извне иноземных сил, сдерживать внутри натиск анархических, центробежных сил. Справляется ли власть с этими задачами? Справляется. Значит, она—настоящая государственная власть» (стр. 146—147 сборника).

Следующие затем две страницы панегирика грядущей социальной революции и Советской власти (Бобрищев-Пушкин пишет ее с заглавной буквы), как ее предтече, мало успокаивают. Тем более, что им предшествует такой комментарий к «твердости» власти: «Энергичный, властный правитель жесток, сгибает волю народа под свою волю, пренебрегает за делом возвышенными, иногда святыми словами. В своей тяжелой, черной работе он не позволяет себе даже нравственной роскоши быть чистым» (там же).

Слишком уж многое готов простить г. Бобрищев-Пушкин своей власти за «твердость...» Больше даже, чем в данном конкретном случае требуется. Ибо чем-чем, а «нравственной роскошью быть чистым» коммунистическая верхушка советской власти побила все исторические рекорды. Сколько носились с 500 франков жалованья членов Парижской коммуны,—а переведите на золотые франки (в 1871 г. во Франции были бумажные, но курс стоял весьма высоко, а жизнь была много дешевле, чем теперь) содержание российского народного комиссара, вы далеко до этой цифры не дойдете. Более спартанского режима для своих верхов не заводил еще ни один народ. И ни одна правящая партия в мире еще не вводила для своих членов практического морального ценза, осуществляемого нашею «чисткою». Историкам одной этой чистки будет достаточно, чтобы признать советскую власть и 1921 года истинно революционной властью, властью огромного нравственного подъема и огромного пафоса.

Но не будем отклоняться в сторону. Примем, что, говоря о «нравственной роскоши быть чистым», автор «Новой веры» имел в виду террор и ВЧК, нечаянно оступившись в традиционную мораль буржуазного общества, где капиталист пролетария убивать может, и косвенно, и даже прямо (тогда это называется «поддержанием порядка»), а вот ежели пролетарий убьет капиталиста—это преступление, и пролетарий должен раскаиваться, а его друзья—за него стыдиться. Коммунары, расстрелявшие, в ответ на зверства версальских буржуев, сотню заложников,—злодеи, а версальское правительство, расстрелявшее тридцать тысяч парижских рабочих—только суровый исполнитель своего долга. Лет двадцать назад рацеи этого рода нам приходилось слышать из профессорских уст, и не скоро совлечешь с себя ветхого Адама. Сделаем этот учет на заражение от профессуры, особливо юридической: все же в советской власти г. Бобрищева-Пушкина более всего привлекает ее внешняя мощь, проявляемая и на своих, и на иностранцах. Ну, а если бы иностранцы нас поколотили? Что тогда? Vae victis? [1]. Керен-

[1] Горе побежденным.

ский не сумел завести «порядка» и от этого погиб «в революционной буре»—долой Керенского. Ну, а если бы сумел? Немецкие Керенские вот сумели убить Либкнехта и Розу Люксембург, сумели до сих пор подавить все выступления коммунистов (которые, при данной ситуации становятся, заметьте, уже «силою центробежною»): значит, они «истинная власть»? Ленин, значит, летом 1917 г., был силою центробежною,—а осенью стал центростремительною? Летом был «кислотой», а осенью оказался «цементом»? Так влияет погода?

Никакие осанны социальной революции, никакие иеремиады по адресу капиталистического каннибализма не заглушат этих недоуменных вопросов. Г. Бобрищеву-Пушкину придется вырешить для себя, на чьей он стороне,—власти или революции. Ибо в международной-то плоскости,—а она самая главная, и на много лет вперед—власть и революция стоят друг против друга с мечом в руках. Что из того, что мы в своем лагере завели порядок и дисциплину. У гусситов, говорят, она тоже была, а те армии, что бросали на Европу старого порядка парижские якобинцы, не уступали в этом отношении нашей Красной. Но странен был бы человек, который в XV в. отрекся бы от католицизма и пошел к гусситам только потому, что—ах, какой у них порядок! И между якобинцами и старым миром люди выбирали не по этому признаку.

Все то, что у г. Бобрищева-Пушкина выявляется в отвлеченной форме, полуприкрытое подлинным, хотя и запоздавшим, энтузиазмом неофита социцалистической революции, гораздо конкретнее рисуется у самого, несомненно, любопытного и крупного из сменовеховцев, проф. Устрялова. Его лучше взять не в его главе сборника, а в резюмирующей статье, помещенной в третьем номере журнала, под заглавием «Национал-большевизм», и посвященной полемике с П. Б. Струве.

«Ни для него (Струве), как для участника «Вех» [1], ни для меня, как для их воспитанника, не может быть сомнений в огромной и творческой ценности самого начала государственной организации как таковой»,—пишет проф. Устрялов (разрядка его). «В социальной жизни «надстройка» может подчас сыграть созидательную и решающую роль. Она не есть непременно нечто вторичное и производное, детально предопределенное фундаментом. Она может сама обрести базу, при чем нет математически установленного соотношения между данной конкретной надстройкой и определенной конкретною базой. В творческих поисках экономической основы государство может само себя трансформировать».

[1] Разумеются, конечно, старые «Вехи» 1909 г.

Вот это не оставляет уже никаких сомнений. Социальная база—иначе говоря, классовая природа власти для проф. Устрялова дело второстепенное. Власть—это нечто вроде орла, парящего над землею. Он может сесть на вершину высочайшего утеса, может и «ниже кур спуститься», это дело его собственного выбора. Доселе советская власть опиралась на пролетариат и крестьянство, т. е. на некапиталистическую часть русского общества; но она может опереться и на капиталистов.

Перед нами, таким образом, третья фаза белогвардейских надежд. Первая выражалась лозунгом «повалить»! Не вышло: повалились и развалились сами. Тогда появился второй лозунг—«разложить извнутри». В него до сих пор верит Струве, встречая на этом пути трезвое противодействие Устрялова. В ответ на—слегка замаскированный—совет своего учителя использовать против большевизма созданную последним Красную армию, Устрялов ставит прямой вопрос о конкретной форме этого использования. «Если он (совет Струве) имеет в виду безболезненный и «в полном порядке» акт выступления Красной армии (со всеми ее курсантами) против нынешней русской власти, во имя определенной идеи или определенного лица,—то он просто «лишен всякого практического смысла», и из него, как из наивной фантазии, «нельзя извлечь никаких директив для практических действий», даже при признании его «теоретически правильным». Если же он стремится разложить Красную армию теми методами, какими в свое время большевики разлагали белую,—он национально преступен и безумен, ибо разрушает те «белые принципы», которые, по меткому замечанию Шульгина, переползли-таки за линию красного фронта в результате нашей ужасной, но поучительной гражданской войны...» [1].

И у проф. Устрялова на место антигосударственного лозунга «разложить» вырастает лозунг № 3-й, и, пока, последний: «переродить». Пусть советская власть остается на месте, со всеми ее атрибутами. Пусть даже вывеска РКП висит, где следует. Но чтобы «конкретная база» была новой—не труд и коллективное хозяйство, а, скажем, например, капитал и личная собственность.

Скажем например, потому, что чаемой им «конкретной базы» г. Устрялов не выдает. Но его идеалы вполне совместимы с идеалами крупной русской буржуазии. Тут полезно припомнить, что говорили представители этой последней в довоенное время—«на рать идучи». Вот, для образчика пара мест из речи Рябушинского на банкете в честь 50-летия Купеческого общества. «Всякая власть—и в этом выражается

---

[1] «Смена вех», сборник, стр. 57.

глубокая суть государства—должна блюсти мощь государства, отстаивать и укреплять его положение в ряде других государств...». «Мы хотим видеть Россию великим государством... Проникнемся целью создать великую мощь государства, а русскому царству да будет слава, слава, слава»[1].

Это немножко готтентотски-однообразно, да Рябушинский и не профессор. Но по существу чем это отличается от такой, например, тирады Устрялова (выписка будет немного длинна, но читатели, авось, не посетуют). «Россия должна остаться великой державой, великим государством. Иначе и нынешний духовный ее кризис был бы ей непосилен. И так как власть революции—и теперь только она одна—способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России,—наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет... Глубоко ошибается тот, кто считает территорию «мертвым» элементом государства, индиферентным его душе. Я готов утверждать скорее обратное: именно территория есть наиболее существенная и ценная часть государственной души, несмотря на свой кажущийся «грубо-физический характер».

«Помню, еще в 1916 г., отстаивая в московской прессе идеологию русского империализма от наплыва упадочных вильсоновских настроений, я старался доказать «мистическую» в корне, но в то же время вполне осязательную связь между государственной территорией, как главнейшим фактором внешней мощи государства, и государственной культурой, как его внутреннею мощью. Эту связь я еще отчегливее усматриваю и теперь».

Устрялов честный человек—он признает, что его идеология есть разновидность «идеологии русского империализма». Царское самодержавие сломалось под тяжестью последнего—есть надежда, что «переродившаяся» большевистская власть выдержит. Но для того, чтобы стать прочной базой империализма, эта власть должна, разумеется, сама «обрести базу» в лице возродившегося капитализма.

Мы не будем спорить с г. Устряловым «от принципов». Он не марксист и, опять-таки, честно это признает, попрекая—и правильно—г. Струве за то, что тот «зачем-то пользуется терминологией марксизма». По привычке молодых лет, должно быть: у самых высокопоставленных parvenus это бывает—запустит, вдруг, пятерню за ворот и начнет чесать. Г. Устрялов от этих дурных привычек вполне свободен. Он в истории, можно сказать, анти-материалист: «Государственная мощь созидается духом еще в большей мере, нежели материей; тем более, что здоровый дух в конечном счете неизбежно дополняет себя и материальной мощью—

---

[1] Цитируем по «Речи» 1913 г., № 331.

облекается в золото и ощетинивается штыками» («Смена вех», журнал № 3, стр. 14). Что же с него «принципами» возьмете? Но посмотрим — объективно возможна ли та картина, какая манит г. Устрялова: революционной советской власти, отыскивающей себе иную базу, вне тех классов, которые делали революцию, пролетариата и крестьянства.

Случаев такой пересадки власти, как организации, история не знает. Всякая власть подбирает свой главный штаб из людей определенного психического типа. Якобинский клуб ни с какого конца не мог бы пригодиться империи Наполеона,—а союз Михаила Архангела советскому правительству. Но случаи индивидуальной пересадки в истории бывали—бывали случаи, что та или другая крупная историческая личность переставала служить той общественной силе, которая ее выдвинула, и начинала работать в пользу силы, прямо противоположной—за неимением полного примера, какой нужен г. Устрялову, удовольствуемся этими полупримерами.

Как читатель сейчас увидит, мы имеем в виду, разумеется, не мелкое переметничество в узколичных карьерных целях (Микель, Мильеран, Бриан, Алексинский и т. д.). Это никакого исторического значения не имеет, имеет только бытовое. Мы имеем в виду крупные, действительно исторические перерождения, в основе которых не было никакого личнсго расчета. Память приводит их три—одно во времена новейшие, два другие довольно древние. Первый пример—это Бисмарк, выдвинутый юнкерством, но исторически сделавшийся орудием антифеодальной силы, германского промышленного капитализма. Второй—это Кромвель, начавший, как вождь индепендентов, революционной мелкобуржуазной массы, а когда достиг власти, опиравшийся на нереволюциснную среднюю пресвитерианскую буржуазию. И, наконец, третий—это наш Борис Годунов, поднятый на престол средним и мелким дворянством, а в последние годы царствования начавший искать более широкую базу в лице крестьянства.

Что же во всех этих случаях вышло? Бисмарк имел шумный исторический успех, но почему? Потому что он привился к классу молодому и свежему, которому принадлежало будущее. Аналогия тут могла бы быть, если бы, например, Ллойд-Джордж переметнулся от империалистической английской буржуазии к рабочим, попытавшись на них базировать свое управление. Вполне возможно, что он имел бы успех, по крайней мере временно. Советская Россия такой аналогии дать не может, ибо «передовее» пролетариата класса все же нет. Годунов служит разительным примером, что даже переход от угнетающего меньшинства к угнетенному большинству дела не поправляет: дать кре-

стьянству то, в чем оно нуждалось, этот все же легитимный монарх не смел, за это мог взяться только революционный казацкий царь, Названный Дмитрий. Но базу свою Годунов, действительно, упустил из-под ног—и рухнул в пропасть. И, наконец, Кромвель, шедший как раз обратным путем, сравнительно с Годуновым, доделывает пример. Что, практически, вышло из того, что Кромвель повернулся спиною к революционному низу, ухватившись за нереволюционную «золотую середину»? Лишь то, что колесница революции, вместе с диктатурою Кромвеля, быстро покатилась вниз, несмотря на все тормоза, и на другой же день после его смерти вверх колесами полетела под откос. Послекромвелевская английская реакция зашла так далеко, как это наверно не представлялось возможным ни одному наблюдателю на другой день казни Карла I. И—пусть отметит себе это г. Устрялов—вместе с революционною диктатурою пала и «мощь» кромвелевского государства. Англия лорда-протектора импонировала континенту, с нею считалась первая тогда мировая держава, Франция—Карл II стал чем-то вроде клиента этой самой Франции.

Итак, лозунг «перерождения» является такой же «наивной фантазией» и, в силу этого, так же «лишен всякого практического смысла», как и лозунг «взрыва изнутри». Они друг друга стоят. Проф. Устрялов единственный из сменовеховцев, который сводит концы с концами, у которого все продумано до конца, оказывается, со своим «национал-большевизмом», человеком отсталым, «человеком до 1917 года», человеком, не понимающим, что государство охвачено тем же диалектическим процессом, как и все живущее, что государство, созданное революцией, и государство, опрокинутое революцией, разделены друг от друга бездной.

Перерождать революционную власть нелепо и ничего из этого не выйдет: гораздо легче переродиться самим. Не мудрено, что процесс на образовании сменовеховства не остановился и идет дальше. В одном из следующих №№ журнала уже имеется письмо В. Львова, возвещающего о своем выходе из числа сотрудников, «так как политические убеждения его значительно левее». И права милюковская газета, когда она, в глубоко-печальной субъективно (а потому объективно глубоко отрадной) своей статье «На повороте» (30 ноября), констатирует, что московские правители «разлагают русскую эмиграцию». Да, и не перестанем разлагать, разложили белогвардейщину (милюковский откол, с которого началась трещина, своего меду каплю тут внес), разложим и «национал-большевизм». Русская зарубежная интеллигенция примирилась с фактом русской революции: она должна примириться и с выводом из этого факта—с революционным государством. Базы этому последнему искать

не нужно, ибо база у него есть—те, кто свергнул гнет и не хочет его возвращения. И какой бы сложной идеологией ни окутывались мечтания о том, «кабы Волга матушка да вспять побежала», закон тяготения, заставляющий Волгу течь от Твери к Рыбинску, не изменится. А вот «начать жить сначала», пожалуй, можно, если твердо на это решиться...

«Интеллигенция и революция». Сборник статей М. Н. Покровского, Н. Л. Мещерякова, А. К. Воронского, Вячеслава Полонского. Изд. «Дом Печати».

РАЗЛОЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Некоторая часть русской эмиграции в течение четырех лет продолжает истерически невразумительно кричать о вреде большевиков, своим назойливым криком успев надоесть и наиболее непримиримым врагам коммунистов в Европе. Выдвигая один за другим проекты словесного избавления России от Московской власти, эти истерические люди не могут импонировать деловой Европе, не любящей шумливой фразеологии...»

Опять эта «Смена вех»,—подумает читатель, которому «Смена» начинает уже приедаться. Ничего подобного: мы цитируем «центральный орган» г. Милюкова и К⁰, газету «Последние новости» (от 9 декабря т. г., статья «Деловая политика»). Ненависть этой почтенной газеты к большевикам остается во всей свежести,—тотчас после приведенной выписки вы читаете: «Всем доподлинно известно, что ни Ленин, ни Троцкий, ни Бухарин, ни Зиновьев не представляют собой выразителей воли России». Ну, конечно: «Но» (вот то-то и беда, что «но» есть!) «констатирование этого факта недостаточно для гого, чтобы на долгое время удержать Европу от сношений с большевиками. Они управляют огромной страной, выход которой из общемирового хозяйственного оборота усиливает экономический кризис в Европе и в Америке. И потому, лишь только большевики предложили свой план вовлечения России в международную хозяйственную жизнь,—как значительные и влиятельные группы финансистов и промышленников всех стран уже готовы завязать сношения с большевиками...»

Да чего там «всех стран»: парой дней раньше «Последние новости» признались, что стоило большевикам «предложить свой план», как обнаружилось сильное слюнотечение и среди самих русских буржуев, сбежавших за границу. Но это место опять стоит привести целиком. «Разложив часть военной (ген. Слащев!) и гражданской (нео-коммунисты) эмиграции, Советская власть приступает к осуществлению крупного плана: разложить русских промышленников, проживающих за границей. После военных и интеллигентских братальщиков, московским властям нужно обзавестись и промышленными братальщиками, Слащевыми от индустрии»

(«Последние новости», от 7 декабря, передовая — «Игра на психологию»). И описав, при помощи каких коварных приемов удается большевикам воздействовать на невинные души бывших российских банкиров и фабрикантов, милюковская газета вздыхает: «Что такое воздействие может принести плоды,—не приходится сомневаться».

Самого «коварного плана», вызвавшего такую суматоху в кадетских рядах, мы излагать не будем: в сжатой форме он был у нас опубликован в «Экономической жизни», и сводится к предоставлению, якобы Германии, монополии на русском рынке, с исключением конкуренции как русской туземной промышленности, так и промышленности всех других стран, кроме Германии. Во французском происхождении проекта едва ли есть возможность сомневаться,—ибо крайне мало правдоподобно, чтобы англичане согласились пожертвовать навсегда русским покупателем ради того, чтобы дать Германии возможность уплатить свой долг французам. Нам важен сейчас не этот план, наполняющий своими отзвуками «Последние новости» на протяжении ряда декабрьских номеров: важно то, что, в перепуге от «плана» (быть можег, и фантастического), начала выбалтывать левокадетская газета. Приведенные выписки—еще не верх откровенности; наиболее «чистосердечные признания» мы находим в номере от 2 декабря, где констатируется, что «все социальные группы России потеряли свое влияние, свою силу, иные—прекратили свое существование в эпоху революции».

Фраза эта является заключением длинной панихиды по общественным классам и группам дореволюционной России Всей панихиды приводить не стоит,—мы и без «Последних новостей» знаем, что помещики и тесно с ними связанная старая торгово-промышленная (больше торговая, чем промышленная) буржуазия ушли навсегда. В виде утешения кадеты зачисляют в покойники и российский пролетариат, который «разгромлен,—и окончательно». Кем именно разгромлен из победоносных вождей белого воинства—Колчаком, Деникиным или Врангелем,—газета, к сожалению, не объясняет. Почему после этого разгрома деловые иностранцы находят выгодным и уместным вступать в сношения именно с коммунистической партией, представляющей, в первую голову, этот самый «разгромленный» пролетариат, и не обращают никакого внимания на эсеров, силящихся представлять тот именно класс, который «один лишь выиграл», крестьянство,—этим вопросом милюковские кадеты также не задаются. Но все это не так важно,—по части пролетариата кадеты специалистами никогда не были; по части интеллигенции они ими были, и кто верит не в спасение отдельных экземпляров этой разновидности (факт вполне возможный и очень желательный), а в возрождение всей этой груп-

пы, тому полезно прочесть характеристику интеллигенции, даваемую «Последними новостями»: «Погибла и старая интеллигенция, представлявшая собою внеклассовую группировку без определенной социальной базы... Каждая эпоха имеет свою ингеллигенцию и не приходится сомневаться, что будущая Россия создаст свою интеллигенцию, далекую от умершей и далеко отличную от той, которая создана была большевистским периодом русской истории».

А так как «большевистский период», как видно из ранее приведенных выписок, по мнению самих «Последних новостей», далеко не кончился, то появления «новой» интеллигенции придется еще подождать,—утешаясь тем, что и «большевистский период», сиречь Советская Россия, свою интеллигенцию все же «создал». Это—существенное подкрепление соответствующего утверждения «Смены вех» (журнала № 4). Тех все-таки можно заподозреть в слабости к советской власти,—а уж милюковская компания вне подозрения на этот счет: и если она подтверждает, что свой тип интеллигенции мы «создали», приходится этому верить. Зря такой чести милюковцы нам не припишут.

Создатели новой интеллигенции, «управляющие огромной страной», без которой не может обойтись ни Европа, ни Америка, «разлагающие» не только каких-то зарубежных журналистов, не только современных Пожарских (всегда был слаб покойный князь), но добирающихся и до крепкого Минина, большевики совсем готовы стать для бедных «левых» кадетов той кошкой, сильнее которой зверя нет. Одно утешение: «лишенное военно-технического руководства (не обиделся ли гражданин Савинков?) и материальных средств (бывают же неблагодарные люди, скажет, почесав в затылке, Пилсудский), повстанческое движение не утихает, обессиливая до крайности советскую власть и угрожая самому существованию ее. В этом кипящем крестьянском море утонет коммунизм,—и день этот, быть может, не столь далек».

Увы! Тут приходят кадеты «правые» и разрушают последние надежды. «За последнее время известия о ходе восстания (имеется ввиду набег петлюровцев на Волынь и Подолию) стали все скуднее»,—пишет «Руль» № от 11 декабря, передовая «Украинский вопрос»), «и есть, к сожалению, основания предполагать, что ни о каких решительных и серьезных успехах в деле свержения большевизма на юге России пока говорить нельзя». «Последние новости» кто-то поймал на удочку, рассказав им (а они имели наивность рассказать своим читателям), будто Антонов теперь (это в декабре-то 1921 г.!) для советского правительства чуть ли не страшнее Врангеля. Но тут выступает на сцену тяжелая артиллерия «правых»,—и от «левых» иллюзий остается только мокрое место. «Местное восстание подавляется

без труда», резюмирует положение проф. Тимашев («Руль», № 321, от 7 декабря). «На подавление нескольких одновременных выступлений сил быть может не хватило бы, но подготовка согласованных действий почти немыслима. Опыт последних лет наглядно продемонстрировал эти положения. Поэтому, хотя все недовольны, но никто не хочет начинать».

Проф. Тимашевым однако же, стоит заняться подробнее. Мы у него находим откровенности, в устах правого кадета еще более поразительные, чем то что мы нашли у «левых». «Последние новости», мы видели, в сущности признали, что «большевики—это есть подлинное российское правительство с которым фактически считается весь мир и которых вчерашние союзники белых не сегодня—завтра признают формально». «При таких условиях истерические крики и безответственные планы доморощенных политиков производят впечатление сугубой пошлости, которая может только повредить серьезной борьбе против большевиков» («Последние новости» от 9 дек., «Деловая политика»). Нужны «практические действия», каковые, по мнению газеты, уже и начались с того момента, как «объединенные в торгово-промышленный съезд представители русских финансов и промышленности» «обратились к державам с предложением гарантировать своим имуществом уплату государственных долгов России». К сожалению, «имущество»-то находится в России, т. е. в руках «большевиков», и Чичерин может предложить его в качестве залога, буде понадобится, с большим успехом, нежели «финансисты и промышленники», заседающие в Париже. Почему «Последние новости» совершенно правильно и заключают, что никакие заявления «в общем порядке деклараций» своего действия возыметь не могут. И советуют Минину окончательно развязать мошну, показав, что в ней имеется. Момента этого можно ожидать не без любопытства,—ибо тогда откроется не одна Главрезина. Но этот момент в будущем. А вот как это в прошлом-то случилось, что «бандиты, шпионы» и проч. и проч. оказались подлинным российским правительством? На это милюковская группа пока ответа не дала—и неудачный первый том «Истории русской революции» ее лидера даже как будто запирает ей дорогу к такому ответу. А тем временем правый антимилюковец, проф. Тимашев, этот вопрос сгавит и отвечает на него, хотя, как увидим, теоретически не вполне правильно, но зато вполне вразумительно. В этом огромный интерес его статьи «Прогноз русской болезни» («Руль» 7 и 8 декабря т. г.).

Прежде всего, Тимашев решительно рассчитывается с легендой о «кучке насильников». «Когда большевики усаживались на своей позиции, то, вопреки всем фразам, расточавшимся в интеллигентских кружках, за новой властью действительно шли народные массы. Не потому, конечно,

чтобы они прониклись коммунистическими идеалами,—эти идеалы всегда были и будут чужды основной массе русского народа, крестьянству,— а потому, что большевики сумели заставить уверовать в то, чго они в мгновение ока осуществят лозунг: «Мир, хлеб и земля».

Когда этот лозунг, благодаря стараниям друзей проф. Тимашева (напрасно он скромничает, отводя активную роль одним большевикам), не осуществился немедленно, в «слои народа» «стало быстро проникать разочарование». Какие слои,—это мы сейчас же и узнаем, ибо проф. Тимашев тут же признает, что и после «разочарования» «настроенными в пользу большевиков» оказались, «с одной стороны, фабрично-заводские рабочие, а с другой стороны—те, кого сами большевики называли «деревенской беднотой». А так как ни на какие другие классы мы и не претендовали опираться в 1918 г. (о нем идет речь), то «социальный базис большевистского властвования» оказывается в полном порядке и после «разочарования». И проф. Тимашеву приходится дополнительно разлагать этот «базис» в последующие годы, вне всякой связи с «разочарованием». Этот эсеровский мотив он ввел совсем зря: в самом деле, ведь, не кулаки же и саботировавшая интеллигенция были «очарованы» советской властью в первые месяцы? «Массы», как были, так и остались: междуусобная война спаяла их с «большевиками» только еще прочнее. И тут опять друзья проф. Тимашева постарались, спасибо им.

Но разложился базис в 1918 г. или позже, зашло ли разложение так далеко, чтобы большевизм мог считаться накануне падения? Проф. Тимашев и на это дает ответ, не оставляющий ничего желать по своей вразумительности. «В общем и целом можно думать, что со своей активной стороны большевистское властвование так же сильно, как было в момент своего возникновения. Процесс дряхления, падение воли властвовать, который был так характерен для последних лет царского режима, этог процесс для большевистской власти, повидимому, еще не начался».

Из дальнейшего мы узнаем, что и с «пассивной» стороны дело обстоит для большевизма весьма благополучно: «В стране, пока что, не образуется достаточно мощных центров, которые могли бы с успехом приняться за дело борьбы против власти». По этому именно случаю проф. Тимашев и разбивает безжалостно мечтания милюковцев о крестьянском море, имеющем потопить советскую власть. И так как объяснение, которое дало проф. Тимашеву подход к возникновению советской власти,—объяснение, от сочувствия народных масс,—для настоящего момента не годится: если бы проф. Тимашев его допустил, он был бы не правым кадетом, а сменовеховцем и «неокоммунистом»,—то профессору приходится строить довольно сложную и не лишенную ориги-

нальности социологическую теорию, чем заполнена вся вторая половина его большой статьи.

Суть этой теории, развиваемой с истинно-профессорской обстоятельностью, сводится к тому, что провиденциальным назначением большевизма было возрождение в России натурального хозяйства. Этому натуральному хозяйству «адэкватно» нечто в роде патриархального деспотизма,—вот вам и объяснение приемов «большевистского властвования». Натуральное хозяйство не может прокормить того населения, какое существовало в России при капитализме,—отсюда голод и вымирание «избыточного населения». Покуда этот процесс не закончился, большевики будут сидеть, ибо «они еще не закончили своей исторической роли».

Кое-что в этой теории могло бы быть верно года полтора тому назад. Теперь она производит впечатление чего-то ископаемого. И новая политика коммунизма—политика, направленная именно к ликвидации начавшего возрождаться в деревне докапиталистического хозяйства, не находит себе у проф. Тимашева уже никакого объяснения. Но теория всегда приходит много позже практики. Проф. Тимашеву понадобилось четыре года, чтобы понять Октябрьскую революцию. Быть может, годика через два он начнет понимать и наш «новый курс»... «Последние новости» лучше схватили суть этого курса, зато они отстали в своем историческом понимании.

В одном и правые, и левые кадеты сходятся, и этой точки их схождения нельзя не отметить елико возможно четко: Октябрьская революция не была случайностью, последствия которой можно устранить теми или иными махинациями. То был могучий сдвиг народной массы. навеки разрушившей старое и выдвинувшей нечто абсолютно новое в лице «большевизма». В этом огромный новый шаг, сделанный тугой мыслью российской буржуазии. Милюков и его группа уже довольно давно признали объективные результаты революции без большевизма. Проф. Устрялов правильно указывал им на совершенную непоследовательность такого признания («Смена вех», № 4). Большевиков труднее выкинуть из революции, чем слово из песни. Правые кадеты опередили теперь «левое крыло», признав, что революция и большевизм «едино суть». Это очень резонно теоретически, но практически это равносильно признанию, что ничто, кроме голого классового интереса, не стоит поперек дороги подчинению советской власти любого русского гражданина, где бы он ни находился. И истина эта столь неотразима, что перед нею, кажется, начинают сдаваться даже «финансисты и промышленники». А уж это ли не цитадель?

«Правда», № 293, 27 декабря 1921 г.

ЧТО УСТАНОВИЛ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ»

Только что окончившийся процесс Центрального комитета партии «социалистов-революционеров» отнюдь не был суммарной расправой правящих Советской Россией коммунистов со своими противниками—как настойчиво стремилась внушить своим читателям буржуазная и союзная с буржуазией («соглашательская») пресса всего мира. Это был чрезвычайно длительный (48 дней [1]), детальный и в меру возможного объективный анализ длинной цепи исторических событий, развертывавшихся на протяжении четырех слишком лет. Обвиняемые неоднократно заявляли, что они прежде, всего стремятся к выяснению «исторической истины». Оставляя в стороне вопрос, насколько это стремление было ими объективно доказано, всякий беспристрастный наблюдатель должен был бы признать, что для выяснения этой истины им была предоставлена полная возможность. Границы этой «исследовательской» работе клал только вечный предел всего сущего—время: для того, чтобы во всех деталях изучить все подробности тех событий русской революции, в которых принимали участие «социалисты-революционеры», т. е. всех крупнейших ее событий, понадобилось бы не 48, а 480 дней. Но судебный процесс, как бы интересен и важен он ни был, не может быть превращен в постоянное учреждение: Революционный трибунал не может стать Академией наук.

Едва ли в истории европейских политических процессов можно найти случай, где подсудимые пользовались бы большею свободою слова. Сами обвиняемые в конце процесса, не без иронии, конечно, благодарили Трибунал за то, что он дал им возможность выступить перед своими товарищами по партии с политическим отчетом, которого в течение нескольких лет они дать не могли, благодаря конспиративным условиям своего существования. Председательствующий разрешал говорить все, мало-мальски относящееся к процессу, останавливая подсудимых лишь когда они позволяли себе прямые оскорбления и ругательства по адресу существующей власти. Но и при этих оскорблениях ни одного раза Трибуналу не пришлось прибегнуть к крайней мере—удаления подсудимого из залы суда. Всякая же

[1] Считая только дни заседаний.

сколько-нибудь благопристойная критика существующего порядка, и даже очень резкие на него нападки, но не облеченные в форму грубой брани, допускались совершенно беспрепятственно.

Несколько образчиков покажут, как широки были пределы терпимости Верховного трибунала в этом случае. Можно себе представить, как реагировал бы буржуазный суд на попытку обвиняемого коммуниста начать процесс с подробного и обстоятельного сравнения буржуазного правительства с шайкой разбойников. Обвиняемый Гендельман начал со сравнения коммунистической партии с хулиганским «Обществом 10 декабря», как оно изображено у Маркса в книге «18-е брюмера»—и не был прерван. А вот примеры способа выражаться перед Трибуналом, как Гендельмана, так и других обвиняемых:

«Подсудимый Гендельман. Я заявляю, что для нас, граждане, суд этот является, поскольку он является судом коммунистической партии, диктатурой коммунистической партии. Мы его рассматриваем, как диктатуру Общества 10 декабря Бонапарта. Вот почему мы не рассматриваем себя как подсудимых на этом суде. Вот почему мы заявляем, что мы сюда пришли только потому, что присутствие двух Интернационалов дает нам надежду на то, что мы сможем в известных пределах свободно говорить и свободно, в лицо вам, навстречу вашему обвинению, бросить наше обвинение».

«Обвиняемый Берг. Я рабочий, я считаю себя виновным перед рабочими России в том, что я не смог со всей силой бороться с так называемой рабоче-крестьянской властью, которая распылила и загубила всех рабочих России (шум в зале)... Я еще раз заявляю, что я рабочий, член партии эсеров.

Председатель. То, что вы рабочий, это вам не инкриминируется. Речь идет о том, что фактически предъявляется вам обвинительным актом. Эти факты вы признаете?

Обвиняемый Берг. Я по этим фактам дам объяснение в процессе» [1].

При этом подсудимые, разумеется, нисколько не стеснялись, вопреки очевидности, ссылаться на устав, позволяющий Революционному трибуналу обходиться без многих формальностей, обязательных для обычного суда. Этот устав фактически в процессе не применялся, в любом обычном суде свобода судоговорения фактически стеснена в 10 раз больше, чем было в данном случае. Но это, конечно, отнюдь не мешало подсудимому Лихачу декламировать:

---

[1] Первая цитата взята из стенограммы первого дня заседаний; стр. 7; вторая—из стенограммы третьего дня, стр. 42—43.

«Граждане, Центральному комитету вашей партии было угодно, в отличие от прежних расправ в подвалах Чрезвычайной комиссии, поставить судебный процесс в Революционном трибунале. Мы не питали себе иллюзии относительно того, что представляет из себя Революционный трибунал. Мы знали, что условия этого суда таковы, что нам могут предоставить 24 часа на ознакомление с материалом, который заключает 9 томов, а первоначально их было 60. Мы знали, что Революционный трибунал может каждую минуту, когда ему захочется, прекратить допрос свидетелей, прекратить прения сторон, и сказать, что дело для него выяснено. В старой России такие суды назывались скорострельными полевыми судами...»[1].

Гражданин Лихач отлично знал, что на ознакомление с делом обвиняемым было дано не «24 часа», а десять дней. Он отлично знал, что «первоначальные» 60 томов никакого отношения к делу не имеют—важно лишь то, что легло в основу обвинительного акта. Он отлично знал, что в настоящем «скорострельном суде» он бы ничего, кроме этого обвинительного акта, и не увидал, ибо полевые суды в своих «документах» (провокаторского происхождения) копаться никому не давали. Именно потому, что в этом процессе никакой провокацией и не пахло, все документы были предоставлены в распоряжение всех подсудимых, которые и отводили себе душу, отыскивая в этих документах мелкие противоречия и мелочные формальные неточности. В 9 толстых фолиантах без 2—3 случаев такого рода не могло, конечно, обойтись...

И, хотя гражданин Лихач и уверял, что он может выступать на суде лишь благодаря гарантии двух Интернационалов (2-го и 2½-го), действительность очень скоро показала, что никаких гарантий подсудимым не нужно, что лучшей их гарантией является председатель Верховного революционного трибунала с его манерой вести процесс. В самом деле, самым убедительным доказательством того, как до мелочей на процессе «социалистов-революционеров» соблюдалась свобода прений и ограждались все права обвиняемых, служит уход защиты, сначала иностранной, потом русской. Все старания и той и другой найти хоть тень доказательства, что ей мешают исполнять ее обязанности, были тщетны,— и иностранная защита ушла после того, как была удовлетворена ее просьба об особой стенограмме. Казалось бы, простое приличие требовало остаться, чтобы не попасть в смешное положение, но гражданин Вандервельде предпочел показаться смешным, чем пробыть еще хоть день в этой зале, где его присутствие—он не мог этого не созна-

---

[1] Стенограмма первого дня, стр. 86.

вать—было совершенно бесцельно. Русская же защита ушла, когда ход процесса дал ей в руки то, что, с формальной стороны, могло быть лишь поводом для кассации (выступление в зале суда с речами, во время заседания, представителей от московских рабочих,—которые формально, конечно, не были связаны с процессом, не являясь в нем ни судьями, ни обвинителями, ни свидегелями). Оставляя в стороне политическую сторону дела—явную невозможность зажать рот пролетариату, сотнями тысяч жизней заплатившему за деятельность обвиняемых, пролетариату-хозяину, пролетариату-диктатору,—оставляя это в стороне, мы имеем перед собой, повторяем, «повод для кассации». Какой адвокат не приветствует с радостью такого повода, когда его посылает судьба? И гр. Муравьев с товарищами вероятно был единственным в мире образчиком адвокатуры, которая, получив повод для кассации, не начала тотчас хлопотать о занесении происшедшего в протокол и т. д., а поспешила отрясти прах от ног своих, чтобы больше в залу суда не возвращаться...

Заметно было, что гр. Муравьеву даже физически не легко было обосновать столь необыкновенное в летописях адвокатуры поведение. Но уйти нужно было—ибо нужно было устроить советской власти скандал, и в то же время выпутаться самим из явно нелепого положения. В самом деле, защита имеет во всяком процессе две задачи: во-первых, оберегать формальные права и интересы подсудимых; во-вторых, по существу опровергать выдвигаемые против них обвинения. Но, ознакомившись с 9 томами, гр. Муравьев, Тагер и др., как опытные юристы не могли не понять, что опровергнуть эту лавину улик—дело совершенно невозможное; это признали с первой же минуты и сами подсудимые, решившие, употребляя старый судейский термин, «итти в сознании»—как мы увидим из цитированной ниже декларации, сделанной от лица всех подсудимых гр. Тимофеевым. Что же тут оставалось делать защите? Хлопотать о «смягчающих вину обстоятельствах»? Но это было бы ниже достоинства крупных политических деятелей, которыми все же считают себя члены Центрального комитета партии «социалистов-революционеров». А лучшим стражем формальных прав и интересов обвиняемых являлся председатель Трибунала—это било в глаза с первого же заседания. Защите в суде было делать нечего, а уходом из суда, произведя скандал, она могла надеяться принести своим подзащитным пользу, повлияв в известном смысле на общественное мнение.

Итак, повторяю, для восстановления «исторической истины» процесс давал максимальные, в обстановке судебного процесса, возможности. Никогда, ни одному коммунисту та-

ких возможностей предоставлено не было—в особенности не было предоставлено «социалистами-революционерами», которые расправлялись с своими противниками, как мы увидим, именно при помощи «скорострельных полевых судов». Это дает возможность резюмировать итоги процесса словами самого процесса—подлинными выдержками из его стенограмм и приложенных к делу документов. Излагающему останется только давать местами пояснения. Но чтобы читатель, особенно не знакомый детально с историей русской революции, не запутался в этом лабиринте цитат, необходимо дать ему некоторого рода ариаднину нить,—нечто вроде хронологической канвы деятельности партии «социалистов-революционеров», начиная с 1917 г.

П. с.-р. (так для краткости мы будем обозначать эту партию в дальнейшем) стала правительственной партией России с мая этого года, когда ее признанный «основоположник», В. Чернов, стал министром земледелия российской еще не республики, но уже и не монархии, а недавний лидер фракции п. с.-р. в Государственной думе, А. Керенский, сделался военным министром. С этого времени п. с.-р. несет политическую ответственность за судьбы России и за ход революции, ответственность, ставшую еще тяжелее с июля этого года, когда Керенский сделался премьером. Но, чрезвычайно характерно для всего будущего, став правительственной, п. с.-р. не стала правящей партией: этому мешало то обстоятельство, что «социалисты-революционеры» не могли обойтись без помощи буржуазных элементов, само собою разумеется не социалистических, и отнюдь конечно не революционных. В первой коалиции, образовавшейся в мае, эти элементы играли преобладающую роль: на 6 министров «социалистов» (4 эсера и 2 меньшевика) было 9 буржуа, кадетов и близких к ним. В последующих коалиционных министерствах это формальное преобладание буржуазии смягчилось, но вовсе без нее п. с.-р. никогда обойтись не могла: правительственное сотрудничество с буржуазией стало своего рода эмпирическим законом для всех эсеровских правительств, когда бы и где бы они ни возникали.

Причины этого могли быть различны и мы не можем не привести здесь двух объяснений. Первое дано одним из подсудимых по этому же процессу, принадлежавшим к первой цекистской группе, гр. Утгофом-Дерюжинским, в его статье «Уфимское государственное совещание 1918 года», напечатанной в журнале «Былое», № 16 (1921 г.). Он говорит там:

«Самарская эпопея показала, что в партии с.-р. нет достаточного числа людей, способных руководить деятельностью государства в такой сложной и запутанной обстановке. Бо-

лее того, с.-р. не могли дать достаточного числа деловых администраторов. Министры Самарского комитета членов У. собрания, именно как министры не пользовались особым фавором даже в среде своих товарищей. Среди военных специалистов не было ни одного настоящего эсера. Пути сообщения были доверены товарищу, не отличавшему рукоятку тормоза Вестингауза от вешалки для платья. Министром народного просвещения был Е. Е. Лазарев, преклонные годы которого делали его совершенно неспособным к административной работе. Я не буду давать характеристики членам Самарского правительства. Когда-нибудь их дадут люди, лучше меня, прибывшего в Уфу к концу деятельности Комитета, знающие, кто чего стоит. Отмечу только, что и в Самаре, и в Омске с.-р., оказавшись у власти, видели себя вынужденными образовывать при правительстве так наз. деловой кабинет,—«Административный совет» в Омске, «Совет управляющих ведомствами» в Самаре. Благодаря неспособности людей, называвшихся министрами, к руководству доверенными им отраслями управления им приходилось приглашать так наз. специалистов из провинциального чиновничества, которые и руководили делом. Эти элементы, абсолютно не демократические, смешанные с малограмотными в государственных делах с.-р., вели такую странную и противоречивую политику, которая никого не удовлетворяла и всех раздражала» [1].

Таково объяснение, дававшееся самими эсерами. Конечно, если нет своих министров, надо было приглашать людей из буржуазии. Но, может быть, были и другие причины—хотя бы те, что так хорошо охарактеризованы Л. Д. Троцким в его очерке-воспоминаниях—«Октябрьская революция»:

«Врачи, инженеры, адвокаты, журналисты, вольноопределяющиеся, которые в довоенных условиях жили совершенно обывательской жизнью и не претендовали ни на какую роль, сразу оказались теперь представителями целых корпусов и армий и почувствовали себя «вождями» революции. Расплывчатость их политической идеологии вполне соответствовала бесформенности революционного сознания масс. Эти элементы с крайним высокомерием относились к нам «сектантам», которые выдвигали социальные требования рабочих и крестьян со всей остротой и непримиримостью. В то же самое время мелкобуржуазная демократия под высокомерием революционного выскочки таила глубочайшее недоверие к самой себе и к той массе, которая подняла ее на неожиданную высоту. Называя себя социалистической и считая себя таковой, интеллигенция с худо скрываемой почтительностью относилась к политическому могуществу

---

[1] «Былое», стр. 36.

либеральной буржуазии, к ее знаниям и методам. Отсюда стремление мелкобуржуазных вождей во что бы то ни было добиться сотрудничества, союза, коалиции с либеральной буржуазией. Программа партии социалистов-революционеров, вся целиком созданная из расплывчатых гуманитарных формулировок, заменяющая классовый метод сентиментальными общими местами и моралистическими построениями—являлась как нельзя более подходящим духовным облачением для этого слоя вождей ad hoc. Их стремления так или иначе пристроить свою духовную и политическую беспомощность к столь импонировавшей им науке и политике буржуазии находили свое теоретическое оправдание в учении меньшевиков, которое разъясняло, что настоящая революция есть революция буржуазная и, стало быть, не может обойтись без участия буржуазии во власти. Таким образом сложился естественный блок социалистов-революционеров и меньшевиков, в котором находила свое одновременное выражение политическая половинчатость мещанской интеллигенции и ее вассальные отношения к империалистическому либерализму» [1].

Итак, все равно, не хотели ли эсеры сами управлять, не веря в свои силы и переоценивая правительственные способности буржуазии, или не могли, действительно, вовсе не обладая нужными силами и способностями, так или иначе управляли они с помощью буржуазии. Причем, помощник более сильный, нежели тот, кому он помогал, естественно становился фактическим хозяином дела. Вследствие этого, п. с.-р., став правительственной партией, не могла осуществить на деле своей программы ни в политической, ни в социальной области.

Хотя эта неудача «социалистов-революционеров» и не входит непосредственно в рамки настоящего процесса, хронологически предшествуя тем фактам, с которых началось судебное разбирательство, о ней необходимо сказать несколько слов—и сказать их, именно, в этом введении, до изложения самого дела. В политической области платформой п. с.-р. был созыв Учредительного собрания. Едва ли можно сомневаться в искреннем их намерении созвать это Собрание—где им летом 1917 г. было обеспечено верное большинство. Едва ли могут быть сомнения и насчет технической возможности устроить выборы не позже августа, т. е. через шесть месяцев после падения монархии Романовых: достаточно вспомнить, что Конвент собрался через шесть недель после низвержения королевской власти, а во Франции 1792 г. не было ни телеграфов, ни железных дорог. Тем не менее, пока п. с.-р. была правительственной

[1] Троцкий Л., Октябрьская революция, стр. 13—14.

партией, Учредительное собрание не было созвано—тогда как большевистская власть, не признававшая полномочий Учредительного собрания (мы ниже увидим, что оно после октября 1917 г. и фактически уже не могло считаться выражением воли народа), сумела организовать выборы в двухнедельный срок. Откуда такая разница—одни хотели сделать и никак не могли, а другие без особого желания осуществили то же самое весьма легко? Оттого, что «помогавшая» с.-р. буржуазия прекрасно понимала всю опасность выборов для нее, для буржуазии, прекрасно понимала, что Учредительное собрание должно было немедленно поставить вопросы о мире и о земле,—а буржуазия, в России тесно связанная с помещиками, одинаково не склонна была ни заключать мир, ни отдавать помещичью землю крестьянам. И «социалисты-революционеры» были бессильны преодолеть это сопротивление своего «помощника», который фактически управлял от их имени.

Но отдача земли тем, кто ее непосредственно обрабатывает, составляла еще более важную часть эсеровской программы, нежели Учредительное собрание: социализация земли, это основной стержень всей социалистической революции, как ее понимала п. с.-р. Если п. с.-р. получила на выборах в Учредительное собрание большинство, то главным образом потому, что на ее знамени была написана передача земли трудящимся. Осуществили и этот пункт эсеровской программы опять-таки большевики декретом Совета народных комиссаров о земле на другой день после Октябрьской революции. Эсеры же только в самые последние недели своего пребывания у власти сделали первые и очень робкие шаги в этом направлении, внеся законопроект о передаче крестьянам тех помещичьих земель, которые постоянно были у крестьян в аренде или же обрабатывались крестьянским инвентарем. При этом крупное помещичье землевладение в общем и целом оставалось неприкосновенным [1].

Но и этот шаг был сделан эсерами не добровольно, а благодаря огромному нажиму со стороны крестьянских масс, добивавшихся земли с самого начала революции. Еще за месяц до опубликования этого проекта, корреспондент того же эсеровского центрального органа «Дело народа» писал о борьбе «земельных комитетов», выражавших интересы крестьянства, с помещиками: в этой борьбе помещики, по словам корреспондента «Дело народа», «толкали власть на путь признания отживших юридических норм—и преуспевали». Земельные комитеты арестовывались и предавались суду эсеровским правительством—за попытки осуще-

---

[1] Проект этот можно найти в газете В. Чернова «Дело народа», № 183 от 18 октября (ст. ст.) 1917 г.

ствить эсеровскую программу. Немудрено, что «авторитет центральной власти», «уступчивости» которой крестьяне не могли понять, все больше и больше падал. И корреспондент «Дело народа» предвидел уже «переход» крестьянских масс «от обороны к наступлению»—к наступлению п р о т и в эсеровского правительства, с его «социализацией земли» на бумаге и сохранением в неприкосновенности всех помещичьих прав на практике [1].

Не разрешив ни одной из своих задач, ни политической, ни социальной, дожило это правительство до пролетарской революции 25 октября (7 ноября 1917 г.). Сейчас мы увидим по данным процесса, как оно эту революцию встретило и как во время нее держалось. Теперь переходим к нашей х р о н о л о г и ч е с к о й к а н в е в тесном смысле этого слова.

В ноябре, тотчас после того, как пролетариат стал в России у власти, п. с.-р. собирает в Петрограде—совершенно открыто — свой ч е т в е р т ы й съезд. Рядом с воплями ярости против «насильников», низвергнувших правительство Керенского, на этом съезде звучали и нотки сожаления о наделанных политических ошибках. Но решено было все же продолжать борьбу, опираясь на Учредительное собрание, где большинство, хотя и не очень крупное (60% всех мест), досталось все же еще на выборах эсерам.

На самом деле, как мы уже сказали, эта избирательная победа только что низвергнутой партии не отражала собою действительного соотношения сил в стране. Большевики, несомненно, поторопились с выборами (производившимися, мы помним, через д в е н е д е л и после революции). Благодаря этому, выборы прошли при наличности на местах, особенно в деревне, старой эсеровской администрации: новая власть успела взять управление в руки только в крупных городских центрах,—и, что особенно важно, прошли по с т а р ы м с п и с к а м. Между тем, в п. с.-р. на почве пролетарской революции произошел раскол: часть ее (так называемые «левые эсеры») перешла на сторону большевиков. Но эта часть не успела еще выделиться организационно и физически не могла выставить своих кандидатских списков. Все поданные за эсеров голоса пошли, таким образом, в пользу правого крыла, за исключением тех случаев, где вся местная организация была «левой» — что являлось, конечно, исключением.

Всякому, понимающему механику демократических выборов, ясно, что должно было получиться из этой комбинации—старой администрации и старых списков. Все то давление, какое правительства буржуазных демократий оказы-

---

[1] См. статью: По России. «Злоключения земельных комитетов», «Дело народа», № 165 от 27 сентября 1917 г.

вали, обыкновенно, на выборы, на этих выборах было на стороне п. с.-р. А новая власть, хотя и успела издать декрет о земле, но провести его в жизнь еще не имела времени,—для практического крестьянина это все еще были слова, была только писанная бумага, а бумаги, исписанной хорошими словами, крестьянин видел уже достаточно. И, наконец, новая ошибка большевиков, выборы были произведены до заключения перемирия—т. е. раньше, чем новая власть успела показать, что она не только хочет, но и может, умеет прекратить ненавистную народным массам бойню. Нет сомнения, что одно перенесение выборов на две недели дальше, по ту сторону перемирия (подписанного 1/14 декабря), поколебало бы слабое эсеровское большинство: в губерниях, близких к фронту, где глубже проникла в народную массу агитация против войны, какова, например, Смоленская, большевики получили до 70% всех голосов, тогда как твердыней эсеров были губернии, наиболее удаленные от фронта,—как Тамбовская.

Что касается городов, то здесь лозунг Учредительного собрания давно успел поблекнуть и вылинять. В городе Октябрь провел четкую грань, по одну сторону которой стоял рабочий, плохо понимавший, зачем нужно еще Учредительное собрание, когда есть советы—в глазах рабочего самое подлинное и полное представительство трудового народа, какое только можно выдумать; а по другую—предприниматель и тянувший за ним мещанин, лавочник, хозяин ремесленной мастерской и т. п., почти не скрывая, вздыхавшие уже о царе. В результате, городские выборы давали или большевика, или кадета—за эсеров голосовала только часть интеллигенции. И когда эсеры воззвали к городскому населению, к пролетариату Петрограда, они потерпели полную неудачу. Рабочие не пошли защищать Учредительное собрание, и из «мирной манифестации» (какие цели она действительно преследовала, мы увидим ниже) 5 января 1918 г. ничего не вышло.

Неудача этой попытки вступить в открытый бой с победоносной пролетарской революцией окончательно толкнула эсеров на путь подпольной, заговорщической борьбы с большевистской властью. В марте—апреле 1918 г. они вступают в блок с кадетами через так называемый «Союз возрождения» и при помощи «Союза возрождения» получают материальную поддержку Антанты. В мае собирается VIII совет п. с.-р., провозглашающий, что «ликвидация большевистской власти составляет очередную и неотложную задачу всей демократии» и допускающий «появление войск (союзников) на русской территории для целей чисто стратегических, с согласия России, обусловленного формальными гарантиями» и т. д. В том же мае при помощи тех же эсеров,

как увидим ниже, начинается восстание против советского правительства чехо-словацких легионов. При помощи этих легионов эсеры получают возможность вновь выступить на поверхность. Они поднимают знамя восстания в Самаре, овладевают этим городом (начало июня), образуют здесь «Комитет членов Учредительного собрания», который ставит своей задачей созыв вновь этого Собрания на «освобожденной» от советской власти территории — и образование «всероссийского правительства», опирающегося на «народную волю». Первая задача не удается им совершенно — не удается собрать даже членов Учредительного собрания эсеровской фракции (из 250 собирается не более 70 человек), и вместо Учредительного собрания заседает его суррогат: «Государственное совещание» (8—23 сентября) в Уфе—в сущности, совещание «Комитета» с различными антисоветскими правительствами, по политическому направлению правее эсеров, из которых самым сильным было Сибирское. Совещание окончилось образованием «Временного всероссийского правительства» (в просторечии именовавшегося Директорией) из 2 эсеров, 2 полу-эсеров и одного кадета, которое, однако же, управляло не непосредственно, а через «деловой кабинет», где уже почти вовсе не было эсеров, но был адмирал Колчак. Одновременно продолжал заседать «Съезд членов Учредительного собрания», не имевший уже никакой власти. Наибольшей реальностью из всех этих властей, полувластей и безвластий был адмирал Колчак,—18 ноября 1918 г. соединивший рассеянные крупицы реальной силы, имевшейся налицо у белогвардейцев на востоке России, в своих руках. Члены «Директории» из эсеров были высланы через Дальний Восток в Западную Европу. «Съезд членов Учредительного собрания» влачил после этого на колчаковской территории полулегальное существование, сначала в Екатеринбурге, потом в Уфе, пока (в декабре) он не был разогнан колчаковцами окончательно.

Одновременно проделан был опыт образования эсеровского правительства (под председательством полу-эсера Чайковского и тоже с участием кадетов) в Архангельске (август того же года), с теми же приблизительно последствиями: через месяц правительство должно было уступить место более правому, хотя и с тем же номинальным председателем. Входившие в состав Северного правительства эсеры были высланы в Сибирь к «Директории», находившейся тогда в Омске, куда северные эсеры прибыли накануне низвержения «Директории» Колчаком и были арестованы вместе с нею.

Неудача восстановления Учредительного собрания подействовала отрезвляюще на тех эсеров, которые были непосредственными участниками этого предприятия. Большая

часть из них во главе с членами Центрального комитета п. с.-р., Вольским, Ракитниковым и Буревым, вступила в переговоры с овладевшими Уфой большевиками, в результате чего этой группой 18 января 1919 г. было выпущено воззвание, где говорилось, что «советская власть фактически является в настоящий момент единственной революционной властью, объединяющей эксплоатируемых в борьбе с эксплоататорами».

П. с.-р. в целом не приняла этого соглашения, и оно осталось частным делом данной группы, выделившейся в особую эсеровскую организацию с особым именем (группы «Народ»), многие члены которой позже вступили в РКП. Таким образом, постановление ВЦИКа от 18 февраля 1919 г., легализировавшее примкнувших к уфимскому соглашению эсеров и во время настоящего процесса выдававшееся за «амнистию», якобы данную всей партии, на самом деле отнюдь такого характера не носило — не говоря уже о том, что в нем формально оговорено, что относится оно лишь к тем эсерам, которые прекращают борьбу с советской властью.

Это во всяком случае исключало из «амнистии» Центральный комитет в целом, ибо он от дальнейшей борьбы отнюдь не отказывался. Правда, покаянные настроения после неудачи на Востоке были так распространены, что две местные конференции, в Москве и Петрограде, и следовавшая за ними всероссийская конференция п. с.-р. в феврале 1919 г. очень категорически заявили о необходимости прекратить вооруженную борьбу с большевиками. Но Центральный комитет, немного спустя, разъяснил, что постановления конференции обязательной силы не имеют, и заменил отказ от вооруженной борьбы временной ее приостановкой до более благоприятного момента, а собравшийся в июне того же года IX Совет партии еще более определенно подчеркнул, что борьба с большевизмом для всякого эсера обязательна, но что формы ее, вооруженная или нет, могут меняться в зависимости от условий момента [1].

---

[1] Для наглядности прилагаем подлинный текст соответствующих мест из резолюции февральской конференции, циркулярного письма ЦК п. с.-р. от 5 апреля и постановления IX Совета п. с.-р.

«8. Вместе с тем конференция решительно отвергает попытки свержения советской власти путем вооруженной борьбы, которая при распыленности и слабости трудовой демократии и все растущей силы контрреволюции служит только на пользу последней и используется реакционными группами в целях реставрации».

Из письма ЦК п. с.-р. «Ко всем партийным организациям», 5 апреля 1919 г. Отношение к большевистской власти:

«Трудовая демократия, в частности п. с.-р., перед лицом грозной опасности справа может приостанавливать борьбу с оружием в руках против

Тут от уфимского соглашения не осталось почти ничего—советская власть ничем не была гарантирована, что эсеры через месяц не найдут момент «благоприятным» и не возьмутся снова за оружие.

После IX Совета, благодаря всему этому, деятельность п. с.-р. принимает заговорщический характер в еще большей степени, чем это было до самарского восстания в июне 1918 г. С этого момента история партии могла быть восстановлена только благодаря настоящему процессу—и то лишь в связи с поступлением в распоряжение суда некоторых новых документов в самую последнюю минуту. При свете этих документов и сопоставлении их с тем, что уже раньше имелось в руках следственных властей, получается такая приблизительно картина. С 1920 года существуют, можно сказать, две партии с.-р. — официальная, издающая директивы, и циркуляры, которых, кто посильнее, не слушается, и неофициальная, под именем «Внепартийного объединения», включающая в себя все, что есть влиятельного в п. с.-р. за границей, от Чернова до Керенского и Авксентьева (первый воздержался только от формального вступления, но работал вместе со всеми), могущественного, благодаря своим огромным денежным средствам и связям с правительствами большой и малой Антанты—через которые и добывалась часть денежных средств: другую часть давала русская буржуазная эмиграция. Ниже, в своем месте, мы увидим, как все это оплачивалось услугами п. с.-р. ее «кредиторам» — пока мы констатируем эти факты лишь для объяснения того, почему в это время отрывочные резолюции эсеровских конференций и советов далеко не отражают всей действительной политики п. с.-р. в полном виде. Чувствуется только нарастание боевого настроения. Уфимское похмелье проходит. На Всероссийской конференции в сентябре 1920 г. уже слышатся голоса, что «крестьянство стало активной силой» что «восставшие массы зовут нас» (эсеров), что «нельзя декларировать вооруженную борьбу, но для подготовки ее нужно приступить к переброске самых активных товарищей», наконец, что «во имя свержения большевиков

большевиков на то время, когда она не имеет достаточных сил для борьбы на два фронта».

«IX Совет партии постановил: Партия остается на своих прежних позициях. Партия самостоятельно ведет свою борьбу и с реакцией, и с большевизмом. Меры этой борьбы варьируются и будут варьироваться в зависимости от обстановки. В областях, захваченных реставрацией, сейчас применимы формы эпохи самодержавия. В коммунистическом царстве партия сейчас не может выступить вооруженно, как из-за отсутствия сил так и вследствие натиска на большевизм реакции. Но там и тут она идет только под своими знаменами, и там и тут она отказывается выбирать между живыми мертвецами, мертвящими все живое и ни на какие компромиссы не пойдет»,

можно пойти с кем угодно, нечего соблюдать чистоту риз»[1]. Последнее звучало совсем загадочно, пока в руки суда не попали документы «Административного центра» упомянутой «Внепартийной организации», из которых стало ясно, на чем основывались надежды и обо что, в то же время, можно было запачкать «ризы».

Сентябрьская конференция 1920 г. приняла резолюцию, где «констатировалась наличность широкого повстанческого движения народных масс для ниспровержения коммунистической диктатуры» и «неизбежность в будущем возобновления вооруженной борьбы с большевиками».

После этой резолюции и «уфимское соглашение», и сопровождавшая его «амнистия» могли считаться совершенно аннулированными, поскольку речь шла о п. с.-р. в целом, а не о группе «Народ». Во всех восстаниях против советской власти за период 1920—1921 гг., в Тамбовской губернии, в Кронштадте, в Черноморье, чувствуется рука эсеров—и для ряда случаев участие их местных или центральных, российских или зарубежных организаций может быть установлено документально, как увидим ниже. Наконец, X Совет п. с.-р. (сентябрь 1921 г.) «заявляет, что вопрос о революционном низвержении диктатуры коммунистической партии со всей силой жизненной необходимости становится в порядок дня, становится вопросом всего существования российской трудовой демократии».

Процесс Центрального комитета п. с.-р. вовсе не был, таким образом, сведением старых счетов с бывшими врагами, вопреки амнистии. Это был необходимый акт самообороны от противника, вновь выступившего в поле, выступившего не против случайного «захватчика», какими могли казаться очень близоруким людям большевики весною 1918 г., а против правительства, пятый год признаваемого законным русскими народными массами,—а фактически признанного всем миром, как показали это Генуя и Гаага. Единственным «смягчающим обстоятельством» для эсеровских цекистов могло бы служить лишь то, что большая часть из них осенью 1921 г., когда заседал X Совет партии, уже сидела в тюрьме. Но, во-первых, мы уже говорили, что эсеры считали ниже своего достоинства искать «смягчающих обстоятельств», что конечно делает честь их личному мужеству, во-вторых, документально доказано, что эсеровские цекисты и из тюрьмы поддерживали сношения с партией и влияли на ее политику,—наконец, в декларации, сделанной от общего имени обвиняемым Тимофеевым, прямо было сказано: «от нашего права вооруженной борьбы мы не отказываемся

---

[1] Из рукописных протоколов сентябрьской конференции 1920 г., подлинность которых не оспаривалась обвиняемыми.

и отказаться не можем». Любимый эсерами принцип—«по делам вашим воздастся вам», вполне приложим, таким образом, в данном случае, к ним самим.

Переходя теперь к конкретному изложению отдельных моментов процесса, мы, согласно предыдущему, намечаем естественно такие главы:

I. Первая борьба эсеров с советской властью (октябрь—январь 1917—1918 гг.).

II. Подготовка к новому открытому выступлению летом 1918 г. (деятельность «Союза возрождения»).

III. Борьба лета—осени 1918 г.

а) Самарское и Архангельское правительство.

б) Террористические покушения внутри Советскоїї России.

IV. Возобновление борьбы в 1920 г.—Тамбов, Кронштадт, Черноморье, X Совет, «Голодная кампания» п. с.-р.

Что дал процесс эсеров нового для такого, казалось бы, хорошо известного события, как пролетарская революция в России в октябре 1917 г.?

Как это ни странно, очень многое, если не по количеству фактов, то по их значительности. Только теперь мы можем, опираясь не на личные впечатления, которые можно оспаривать, а на бесспорные документы, сказать: да, это была пролетарская революция в подлинном смысле слова, борьба рабочих против буржуазии.

Это мы знаем теперь не по личным, повторяем, наблюдениям, и не по рассказам товарищей-коммунистов, а со слов тех, кто был на противоположной стороне баррикады в те дни: Керенского и Гоца, Фейта и Кашина, Краковецкого и Усова; последний, впрочем, не мог удержаться по ту сторону: член п. с.-р. он дрался п р о т и в Керенского—что не помешало ему и после долго оставаться эсеровским боевиком. Коммунистом он сделался долго спустя.

Серию свидетелей открывает Керенский. Трибунал не вызывал его на суд, но с признательностью принял его показание, любезно оглашенное бывшим главою российского правительства на страницах «Современных записок».

Что рассказывает калиф на час Великої российскої революции? А вот что.

«Около 20 октября начали большевики осуществлять в С.-Петербурге свой план вооруженного восстания для свержения Временного правительства во имя «мира, хлеба и скорейшего созыва Учредительного собрания». Эта подготовка шла довольно успешно, в частности, и потому, что остальные социалистические партии и советские группировки, относясь ко всем сведениям о готовящихся событиях как к «контрреволюционным измышлениям», даже не пытались своевре-

менно мобилизовать свои силы, способные в нужный момент оказать сопротивление большевистским затеям внутри самой «революционной демократии». С своей стороны правительство готовилось к подавлению мятежа, но, не рассчитывая на окончательно деморализованный корниловским выступлением СПБ гарнизон, изыскивало другие средства воздействия. По моему приказу с фронта должны были в срочном порядке выслать в СПБ войска, и первые эшелоны с Северного фронта должны были появиться в столице 24 октября.

В то же время полк. Полковников, командующий войсками СПБ военного округа, получил приказ разработать подробный план подавления мятежа»[1].

Обвиняемый Тимофеев с пафосом рассказывает в своей декларации, как большевики «провозгласили» междоусобную войну—совершенно неожиданно для бедных, невинных, ничего не подозревавших эсеров. И этот мотив, что Октябрьская революция застала правительственную партию «врасплох», пытался развивать гр. Гоц даже в своей заключительной речи. Увы! Сам глава низвергнутого правительства—и едва ли не глава эсеровской партии поныне: организационно Керенский в п. с.-р. и сейчас сильнее Чернова—раз навсегда разрушил эту легенду. О выступлении большевиков знали заранее и принимали меры. Какие? Не мобилизацию партийных сил, и не по легкомыслию, как инсинуирует Керенский, а потому, что этих сил, в массовом виде, попросту не было. На это просто и ясно ответил бывший эсеровский боевик, рабочий Усов. Когда другой обвиняемый Лихач (член ЦК) начал его допрашивать (подсудимые в этом процессе допрашивали не меньше, чем прокурор), как это он, член эсеровской организации, дрался вместе с большевиками против Керенского, Усов ответил:

«Тут и понимать нечего. Дело объясняется совершенно просто. Наша Колпинская организация Керенского, которого критиковал сам Чернов, не считала социалистом-революционером, и возглавляемое им Временное правительство у нас не имело никакого доверия, и, поскольку Керенский шел против рабочих с казаками, а мы знаем, что такое казаки, мы были против него. У нас была полная растерянность в партийном центре. Я видел, что идут казаки, а я как работник в дореволюционное время не раз пробовал казацкие нагайки на своей спине, я определенно стал против Керенского вместе с рабочими»[2].

Что же оставалось делать? Петроградский гарнизон, в дни корниловского мятежа определенно ставший на сторону революции, явно не годился. Нет ли «надежных» войск на

---

[1] Керенский, Гатчина, «Современные записки», X, стр. 148.
[2] Стенограмма восьмого дня, стр. 91.

фронте? Дадим слово свидетелю защиты Фейту—в те дни управляющему делами Центрального комитета п. с.-р.

«По поручению Центрального комитета я отправился в Гатчину, Царское Село и дальше по Балтийской дороге с целью собрать те воинские части, которые могли бы стать на защиту Временного правительства, и я должен сказать, что тут я наблюдал то же явление, что и в Петербурге. Приезжая в то или другое место, я сносился с гарнизонным комитетом, иногда доходил до комитета полкового и везде получал заверение в полной готовности той или другой части выступать на защиту Временного правительства, а когда через несколько часов я возвращался, чтобы взять с собой эту часть и вести в Гатчину, оказывалось, что эта часть уже отказывалась выступать»[1].

Не случайно Керенский уперся в казаков—окончательно оттолкнувших от него рабочую массу: кроме казаков, самой реакционной части русской армии, будущей опоры всех белых фронтов, за ним никто не шел. В самом Питере не пошли впрочем и казаки[2], с фронта удалось повести корпус Краснова, вешавшего потом донецких углекопов на телеграфных столбах, не разбирая, большевики они или эсеры (в одном месте им был повешен целый эсеровский комитет). Этот истинно-революционный генерал пошел, надеясь (в лице большевиков покончить с революцией вообще. Но, увидав перед собой не отдельные «взбунтовавшиеся» полки, а весь ставший на ноги пролетариат Петрограда, струсил—и вступил в переговоры с Военно-революционным комитетом. Керенскому оставалось только бежать.

Эту картину поднявшегося на ноги петроградского пролетариата живо изобразил свидетель Краковецкий—в те дни начальник штаба, устроенного эсерами в самом городе восстания против большевиков.

«Инженерный замок почти со всех сторон был обложен вооруженными отрядами советской власти. Когда я, пройдя первые пикеты, сел затем на трамвай и поехал по линии, окружающей Инженерный замок, я видел, что все эти улицы были в полном смысле слова запружены толпой, одетой в черную одежду. Для меня нет никакого сомнения в том, что это были не войсковые части, а Красная гвардия, которая в это время была собрана наспех. Красная гвардия совершенно необученная, так как я видел, как они заряжали винтовки, как неумело они наступали в сторону Михайловского замка. Это была публика, набранная наспех, серая, наскоро мобилизованная.

---

[1] Стенограмма пятого дня, стр. 66.
[2] «Современные записки», там же, стр. 151.

Председатель. А по внешнему виду, какой был состав этой гвардии? Это были студенты, гимназисты или кто-либо другой?

Краковецкий. Это были рабочие, потертые полушубки и т. п. Словом, чисто рабочая публика.

Председатель. Заводские рабочие?

Краковецкий. Да, рабочие с фабрик и заводов, в общем, пролетариат, как мы называем» [1].

А кто же был в войсках самого Краковецкого? Как свидетель обвинения, он может быть подозрителен. Возьмем другого свидетеля, свидетеля защиты, Кашина—тогда адъютанта Краковецкого, следовательно, также близко стоявшего к делу. Он рассказывал, как пытались привлечь к делу Керенский и п. с.-р. школу гардемаринов—и как та была смущена, узнав, что у с.-р. никого, кроме юнкеров, в Петрограде нет. «Почему же это вызвало недовольство и смущение?»—спросил Кашина председатель. Кашин: «Потому, что они (гардемарины) считали, что это не будет успешно». Председатель: «Почему?» Кашин: «Потому, что сейчас же вызовет разговоры, что это чисто юнкерское восстание, белогвардейское». Председатель: «Чем же юнкера хуже солдат в вашем представлении?» Кашин: «В моем представлении они все-таки представители привилегированного класса в большинстве». Почувствовав, что он сбился с тона, свидетель защиты попытался вывернуться и стал толковать, что в юнкерских училищах много было «неблагонадежных», каких в царское время туда не пускали, — но, кроме молодежи из еврейской интеллигенции, никакого конкретного примера указать не мог. Массы и здесь отсутствовали.

Итак, первая же междоусобная война, разразившаяся на русской почве, была, совершенно определенно, классовой войной—войной пролетариата и буржуазии, на сторону которой стала интеллигенция. Рабочие были все, не исключая и эсеровских, против Керенского, буржуазия—за. Теперь последний вопрос: какую позицию занял в этой классовой войне Центральный комитет партии «социалистов-революционеров»? Уже ранее объективными данными было установлено, что Гоц принимал самое деятельное участие во всех военных операциях Керенского, к которому он ездил в Гатчину, где виделся и беседовал с Красновым и т. д. Гоц был одним из главных организаторов юнкерского восстания в самом Петрограде—где им, между прочим, вместо Краковецкого главнокомандующим антибольшевистскими силами был назначен реакционер Полковников. В свое время, тотчас после неудачи мятежа юнкеров, Гоц и Авксентьев (под-

---

[1] Стенограмма пятого дня, стр. 11—13.

писывавший все приказы от имени «Комитета спасения родины и революции») печатно отреклись от участия во всем этом. Гоц потом взял отречение обратно и на суде остался верен второй версии своих тогдашних заявлений: «я получил от ЦК директиву вооруженной рукой противодействовать перевороту»,—заявил он. Почему же приказы шли не от ЦК, а от «Комитета спасения»? «Потому что партия не хотела взять ответственности на себя»,—объяснял Краковецкий. Мы потом увидим, что это — метод: никогда ни одно антибольшевистское выступление, руководившееся п. с.-р., не совершалось официально от имени партии: всегда было какое-нибудь промежуточное учреждение—то Комитет спасения родины и революции, то Союз защиты Учредительного собрания, то Союз возрождения, то Комитет членов Учредительного собрания, то Внепартийное объединение и т. д., и т. д.

Отметим этот метод и теперь спросим, в заключение этого эпизода, вот что. П. с.-р. вооруженной рукой решила бороться с пролетарской революцией. Лучше это было сделать открыто от своего имени—но это, в конце концов, ее дело. Но ее война против пролетариата была войной оборонительной? Так хотели бы уверить обвиняемые—обвиняемый Тимофеев много распространялся о тех плакатах «да здравствует междоусобная война», которые, будто бы, были расклеены большевиками по Петрограду. Эсеры конечно таких плакатов не вывешивали,—но ведь мы знаем, что они и вообще не выступали открыто, прячась за разные «Комитеты». Но под тем или другим прикрытием, не собирались ли они сами начать междоусобную войну? Мы видели, что Керенский вызвал войска с фронта заблаговременно, до «неожиданного» выступления большевиков по крайней мере за неделю: вызывал конечно не с целью произвести им смотр на Марсовом поле, а для «подавления мятежа»—для разгрома петроградского пролетариата. Знали об этих военных приготовлениях Керенского целомудренные противники кровопролития, так возмущавшиеся большевистскими плакатами? Гоц на это вынужден был ответить утвердительно:

«Мне было известно, что в штабе Керенского шли разговоры о том, что было бы желательно вызвать надежные революционные войска ввиду того, что можно ожидать в близком будущем переворота, организуемого большевиками. Конкретно же о тех переговорах, которые он вел, я не знаю».

«О том, что Керенский предпринимал, я думаю, что, конечно, Центральному комитету было известно».

Крыленко. Я прошу из последних слов гражданина Гоца отметить, насколько я правильно понял, что до 25 Керенским или в его штабе велись переговоры о вызове войск.

Гоц. Мне известно, что шли разговоры[1].

Итак, Центральный комитет п. с.-р. шел с открытыми глазами на ту междоусобную войну,—плакаты о которой он считал таким ужасным делом. Говорить нельзя, а делать можно—особенно под чужим именем...

Но когда первая попытка войны кончилась неудачно, когда выяснилось, что п. с.-р. против рабочей и солдатской массы никого не удастся собрать, кроме юнкеров и казаков, пришла ли партия с.-р. к сознанию, что дело проиграно—что ее «карта бита», как любил выражаться на процессе обвиняемый Тимофеев? Ничуть. Попробовав один раз и сорвавшись, решилась попробовать другой раз. Эта вторая попытка междоусобной войны носила до сих пор название «мирной манифестации в день открытия Учредительного собрания».

Дадим слово тому же обвиняемому Тимофееву.

«Функции (демонстрантов) заключались в следующем: мы предполагали, что нам в этот день наступать на большевиков не удается, нужно было нам собрать силы для защиты от могущих быть, и впоследствии оказавшихся, выступлений большевиков против Учредительного собрания. Поэтому мы хотели окружить себя кольцом граждан, состав которых определяется документом, мною приложенным (официальный состав манифестации), с другой стороны, составом граждан, вооруженных или могущих быть вооруженными, то есть находящихся в армии. Поэтому мы двинули к Учредительному собранию эту манифестацию. Окруженные кольцом этой манифестации, мы думали, что оно будет, во-первых, чувствовать себя тверже и прочнее, во-вторых, мы ничего бы не имели против,—если бы нами, даже насильственно, был отстранен караул, вами (т. е. большевиками) там самовольно поставленный, ибо охранять Учредительное собрание могло только оно само. После этого мы должны были декларировать председателю Учредительного собрания свою верность и передать себя в распоряжение Учредительного собрания. Председатель Учредительного собрания, по нашему предложению, должен был сказать: смените караул. Если бы этот караул добровольно не ушел, то все-таки мы его устранили бы и насильственно может быть. Возможно, что стоял бы двойной караул. Такие комбинации заранее предусмотреть нельзя, и вам, как главковерху[2], известно, что приходится ориентироваться на месте. Я российскими армиями не командовал, но знаю, что инициативу приходится держать в руках и выбирать момент для того или другого

---

[1] Стенограмма четвертого дня, стр. 93—94.

[2] Государственный обвинитель т. Крыленко в январе 1918 г. был верховным главнокомандующим русской армией.

конкретного действия. Во всяком случае мы хотели одного: чтобы Учредительное собрание было опоясано верными, преданными гражданами и имело в своем распоряжении силу, чтобы защитить его заседания. Что бы мы сделали дальше— мы решили бы тогда, когда это сделали бы. Может быть, в этот момент мы сочли бы возможным не только защищать Учредительное собрание, но и пойти на штурм Смольного, но мы предпочли бы другое, чтобы вы двинулись из Смольного»[1].

Это мирная манифестация? Мирные манифестации всегда кончаются тем, что люди, насильственно удалив военный караул (чего, без оружия, конечно, сделать нельзя), «идут на штурм»? А между тем гр. Тимофеев еще раз подтвердил полную возможность «чисто боевых операций» «мирной манифестации». Вот еще маленький его разговор с Крыленко:

«Крыленко. Затем, если бы, как вы предполагали, были бы двинуты военные силы против вас в тот момент, то вы считали допустимым, возможным и, при известных условиях, даже неизбежным, фактическое развитие в дальнейшем чисто боевых операций?

Тимофеев. Да. Так как лучшая оборона есть нападение, наступление, то во имя обороны мы могли бы перейти в наступление»[2].

Между тем, п. с.-р. звала именно к мирной манифестации. «Идите все на эту демонстрацию, идите без оружия», гласил ее призыв. С чего же вздумалось Тимофееву так убийственно разоблачать лживость призывов его собственной партии? Конечно, не просто от свойственной ему искренности. Перед этим, показаниями целого ряда свидетелей, начальника эсеровских боевых дружин Кононова, командира броневого дивизиона Келлера, военного работника п. с.-р. Паевского и других, было непререкаемо установлено, что предполагались две манифестации, одна, действительно, безоружная, которая должна была служить ширмой, завесой для другой, вооруженной, имевшей конечно не совсем «мирные» задачи. Уличенные всеми этими показаниями, эсеровские цекисты и должны были отступить на следующую позицию и стали доказывать, что их военная манифестация преследовала, по крайней мере, чисто оборонительные цели—защиты Учредительного собрания. Но последние приведенные слова Тимофеева не оставляют сомнения, что эта оборона при малейшем благоприятном обороте дела должна была превратиться в нападение. Но вторая, военная, манифестация не состоялась: броневиков

---

[1] Стенограмма шестого дня, стр. 36.
[2] Стенограмма того же дня, стр. 38.

получить не удалось, солдаты Семеновского полка не пошли, потому что у п. с.-р. и тут нехватило духа дать прямой призыв от имени своего или хотя бы фракции п. с.-р. Учредительного собрания. А солдаты требовали, чтобы дело было начистоту. И пришлось, вместо штурма Смольного, проливать крокодиловы слезы о несчастных жертвах мирной манифестации: довольно естественно, что советские вооруженные силы, догадавшиеся о действительных намерениях «мирной» манифестации, не стали дожидаться, пока план заговорщиков развернется, и разогнали манифестацию выстрелами, причем было несколько (кажется 8) убитых.

Казалось бы, после этой второй неудачи взять в свои руки инициативу междоусобной войны, после второго наглядного доказательства, что за эсерами массы итти не хотят, оставалось одно: отказаться от явно непосильной вооруженной борьбы с большевиками и ограничиться мирной пропагандистской и организаторской работой. Не нужно забывать, что все это время п. с.-р. продолжала оставаться легальной организацией: она имела свои фракции в ВЦИКе и местных советах, свою прессу и т. д. Значит, возможности такой мирной работы были. Но п. с.-р. воспользовалась полученными ею в октябре и январе уроками совсем иначе. Она решила продолжать вооруженную борьбу, но, видя, что ей одной не справиться, стала искать себе союзников и внутри, и вне России.

Весною 1918 г., когда на востоке России, в Поволжье, шла лихорадочная работа по стягиванию сил и подготовке вооруженного восстания (о ней будет еще говориться ниже) в Москве происходили совещания центральных комитетов партии «социалистов-революционеров», «народных социалистов» и кадетов. На этих совещаниях, рассказывает обвиняемый Игнатьев, представитель именно второй из названных партий, служившей в этом деле «честным маклером», «ставился вопрос о том, что для того, чтобы вести борьбу с большевиками, нужно иметь прежде всего людской материал, иметь материальные средства. А в этот момент как раз условия были таковы, что в смысле людского материала положение было более затруднительное, чем в первый период борьбы с советской властью, а в смысле денежных средств было совсем плохо... В дальнейшем средства требовались довольно большие, ставился вопрос о том, откуда их получить. Когда перед этими конкретными вопросами мы останавливались в центральных партийных органах, то ставился вопрос о том, возможно ли будет получить и помощь материальными средствами со стороны иностранцев, со стороны союзников. Вопрос первоначально казался несколько одиозным. Пригласить иностранцев, итти вместе представлялось чем-то сугубо страшным, потому что вырисовывалась

в дальнейшем возможность вмешательства их в наши внутренние дела... Затем для руководства всей работой по выступлению против советской власти в этот период, было признано желательным сосредоточить работу в органе, который был бы значительно шире отдельной какой-нибудь партии, который включал бы в себя не только социалистические, но и демократические элементы, настроенные против большевиков, и центральный орган, который был бы не слишком связан со своим Центральным комитетом, и чтобы в этот орган лица входили персонально по личному приглашению. Нам казалось тогда, что это даст возможность более гибко развиваться всей работе, и, с другой стороны, для нас было ясно, что в случае какой-либо неудачи, юридически трудно было бы и свалить ответственность за эту неудачу на центральный партийный орган...»[1].

Итак, на этот раз эсеровский принцип систематического уклонения от ответственности нашел себе подражателей.

Так, возник «Союз возрождения», составившийся не из партий, а из членов партий. И в данном случае эсеровские цекисты не нашли возможным возражать против очевидности. Гоц не стал отрицать, что п. с.-р. входила в Союз (не как партия, а по «персональному признаку»: мы помним последние процитированные слова показания Игнатьева) — и только на сношения с иностранцами был наклеен фиговый листок «антигерманского фронта». Мы увидим, где предполагался этот фронт и до чего комична эта наклейка. В остальном же Гоц был откровенен.

«Военный отдел Союза возрождения мы рассматривали как тот резервуар, из которого мы могли бы и должны были почерпать нужные нам военные силы для переброски в те места, где мы предполагали воссоздать антигерманский военный фронт. Эта работа в начале этого года, как утверждает гражданин Семенов, велась Леппером, а в дальнейшем эту работу техническую вел Борис Николаевич Рабинович под моим политическим руководством. Я присутствовал в штабе только тогда, когда поднимались общепринципиальные вопросы. Все же технические и военные вопросы лежали на нем. Но я был в курсе всего, я знал их, и я, конечно, несу полную ответственность за эту работу. Но дело в том, что эта работа носила далеко не тот характер, какой ей приписывает сейчас гр. Игнатьев. Конечно, я не буду отрицать, что если бы стихийно развертывавшиеся события привели к столкновению нашему с большевистской властью на улицах Петрограда, если бы стихийное возрастание этого движения имело место, мы взяли бы его в свои руки и направили бы по тому пути, по которому сочли бы нужным

[1] Стенограмма десятого дня, стр. 10.

направить, и насытили бы теми лозунгами, во имя которых мы вели борьбу. Если бы явилась необходимость в организации военной силы, мы бы брали ее из Военного отдела Союза возрождения. Военный отдел Союза возрождения представлял, главным образом, для нас интерес не как резерв младших кадровых офицеров, а как высший командный состав. Вот с какой стороны он представлял для нас интерес, и вот с какой стороны мы к нему подходили. Здесь был затронут вопрос о финансовых отношениях между Военным отделом Союза возрождения и нашей военной организацией. Я категорически утверждаю, что никаких средств на партийные организации из Военного отдела Союза возрождения взято не было; дальше—я категорически утверждаю, что на военно-партийную работу средств из этого источника тоже не бралось. Из этого источника брались только средства на финансирование совершенно иной работы. Я уже упоминал, что мы в то время были озабочены переброской кадровых частей на Поволжье, а также в район севера, причем для нас, представителей Центрального комитета, северный район представлял второстепенное и не важное значение, а главное наше внимание было приковано к Волжскому фронту, и туда по преимуществу мы направляли те кадровые формирования, которые нам удалось сделать в Петрограде и районах, прилегающих к Петрограду. Вот на содержание этих кадровых частей, на переброску их, транспортировку, вот на эти расходы, выходившие за пределы узко партийных и носившие в наших глазах общенациональный характер, только на эти расходы средства брались из сумм Военного отдела Союза возрождения»[1].

Итак, «Союз возрождения» был тем каналом, по которому шли в кассу п. с.-р. денежные средства от государств Антанты—не на партийные нужды, о, боже сохрани, нет,—а исключительно на подготовку восстания против советской власти. Это, ведь, было дело не партийное, а общегосударственное... Процесс достаточно осветил и другую связь: кадеты, входившие в Союз возрождения, как его п р а в о е крыло, были л е в ы м крылом другого политического объединения, носившего название Национального центра (его процесс разбирался в Верховном трибунале летом 1920 г.), где правее кадетов были т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н и к и. Через кадетов эсеры, таким образом, имели контакт уже не с буржуазией вообще, а определенно с крупнокапиталистическими кругами, начавшими складываться в контрреволюционное объединение еще до октября 1917 г.—в июле—августе этого года. Значение этого мы увидим на деятельности местных эсеровских правительств.

---

[1] Стенограмма десятого дня, стр. 10.

Но об этом потом; сначала о реальных последствиях связей п. с.-р. с буржуазией международной. За что Антанта платила эсерам, грубо выражаясь? Уже из показаний Рене Маршана и Паскаля видно было, что эсерам платили не ради их прекрасных глаз. Выдержки из донесений Дюма Пишону,—эти донесения будут опубликованы целиком,—оглашавшиеся на суде, сделали завесу еще более прозрачной, и обвиняемые решили, что скрывать больше нечего. Дадим опять слово гр. Тимофееву.

«На середину июля падают события уже иного характера. Мною было заключено,—я боюсь употребить громкий термин, назову некоторой военной конвенцией, заключенной мною с французской военной миссией. Дело заключается вот в чем. Это был момент после убийства графа Мирбаха, когда со дня на день ждали здесь появления германских войск. Начались усиленные требования экстренного и быстрого выполнения условий Брестского мира, каковые, по нашему мнению, должны были разграбить Россию. А наша партия, которая имела тогда определенное правительство[1] и считала его своим и стремилась утвердить его как правительство всероссийское, видела его бессилие, и мы должны были принять соответствующие меры... Вот исходя из этих соображений, мы сочли возможным войти в сношения с французской миссией на предмет подрыва тех поездов с вывозимым из России национальным народным достоянием, которое должно было в дальнейшем воспоследовать. Условия нашего соглашения по этому поводу были нижеследующие: французская военная миссия дает техническое инструктирование, выполнение же, выбор объектов выполнения и т. д., исполнители все наши и действия в этом отношении наши совершенно самостоятельны. Только техническое снаряжение, то есть средство для этих взрывов, с одной стороны, и техническое научение им пользоваться, с другой—это французские. Принятие такой союзной помощи я считал тогда вполне допустимым, считаю это допустимым в аналогичном положении сделать и сейчас»[2].

Гр. Тимофеев нисколько не заблуждался насчет тех последствий, к которым должна была привести заключенная им «конвенция». «Мы объективно должны были вызвать снова войну между Россией и Германией»,—откровенно заявил он в ответ на вопрос обвинителя[3]. Вот за что платила Антанта. Нужно было вновь создать восточный фронт, не мифический фронт на Волге, о котором рассказывал Гоц, а

---

[1] Имеется в виду Самарское, о котором ниже.
[2] Стенограмма восемнадцатого дня, стр. 87 и 89
[3] Стенограмма восемнадцатого дня, стр. 115.

настоящий, реальный русский фронт, прекративший свое бытие с 1/14 декабря 1917 г.

Поступок такого рода, когда его совершают частные лица, носит вполне определенное название — государственной измены. Обвинитель задал еще вопрос: от чьего лица заключалась «конвенция»? И получил буквально следующий ответ:

«Тимофеев. Я этим вопросом не интересовался. Я ему был известен как эсер, член Учредительного собрания, был известен как член Центрального комитета и ему было известно, что я могу считать себя представителем Самарского правительства. Как он рассматривал меня, это меня совершенно не интересовало. Какого рода победоносные реляции он писал по этому поводу, это меня в то время тоже не интересовало»[1].

Обратите внимание на подчеркнутые нами слова—и вы согласитесь, что Центральный комитет п. с.-р. был осужден «невинно». Только всего государственная измена. Стоит о чем толковать!

Но эсеры рассматривали себя в данный момент как самостоятельную державу. К образованию этой «державы», со столицей сначала в Самаре, потом в Уфе, потом в Омске, потом нигде, мы сейчас и переходим.

На процессе подсудимые упорно стремились изобразить самарское восстание как стихийный взрыв народных масс. Угнетенное большевиками крестьянство, обижаемые и притесняемые ими рабочие не вытерпели—и поднялись. Эсерам только оставалось возглавить это «народное» движение. На их насчастье, один из главных деятелей этого восстания с.-р. Климушкин, член Учредительного собрания, в сентябре 1918 г. подробно рассказал, как было дело—и его рассказ был напечатан в официальной газете самарского правительства, «Вестнике комитета Учредительного собрания», № 49, 8 сентября 1918 г.:

«Самарский переворот не явился стихийно. Он имеет свою надуманную историю...

Начало этого события относится ко времени прибытия нашего в Самару после разгона Учредительного собрания. С того именно момента и начинается подготовка. Вскоре же после нашего возвращения мы поставили себе задачей—подготовить условия для ниспровержения большевистской власти...

Нужно было создать обстановку, при которой можно было бы совершить переворот. И мы занялись этой работой. Вначале она была очень трудна. Армия была развращена, рабочий класс тоже...

---

[1] Стенограмма восемнадцатаго дня, стр. 115.

Мы устроили ряд лекций среди солдат. Настроение их стало подниматься. Подтягивание большевиками армии также создало благоприятную обстановку...

Мы начали усиленную агитацию. Мы убедились однако, что среди рабочих таких сил создать нельзя. Рабочие дошли до значительной степени разложения, распались на несколько лагерей и вели борьбу внутри себя. Мы обратили внимание на солдатскую, главным образом, офицерскую массу. Но сил было мало, ибо никто не верил в возможность свержения большевистской власти, все были убеждены, что она будет царствовать долго. И когда я обратился по этому поводу к одному генералу, он ответил, что считает большевистскую власть прочной и свержение ее считает авантюрой.

Итак, на город надежды было мало. Наше внимание все больше и больше стало переноситься на деревню... Мы послали своих друзей в деревню для организации крестьянства. Работа была медленная, но неуклонная. В то же время однако мы видели, что, если в ближайшее время не будет толчка извне, то на переворот надеяться нельзя...

И вот в этот момент мы узнаем о выступлении чехов. К чехам поехал Брушвит. В то же время здесь мы занялись тем, чтобы воскресить наши маленькие силы и подготовить правительственный аппарат. Работать приходилось при очень тяжелых условиях. То и дело надо было прятаться, переодеваться, наклеивать бороду и т. д...

Одновременно с этим, нами были начаты переговоры с социал-демократами и кадетами... Но ни те, ни другие нам не дали поддержки. Социал-демократы настаивали на том, что большевизм изживет себя; кадеты говорили, что, если чехи не останутся в Самаре, это будет лишь авантюрой, поэтому участвовать в перевороте они не будут, но выражают свое сочувствие...

Я должен сказать, что в первые дни мы встретились с величайшими трудностями. Несмотря на всеобщее ликование и радость, реальная поддержка была ничтожна. К нам приходили не сотни, а только десятки граждан. Рабочие нас совершенно не поддерживали. И когда мы ехали в городскую думу для открытия Комитета под охраной, к сожалению, не своих штыков, а штыков чехо-словаков, граждане считали нас чуть ли не безумцами...»

Итак, в деревне «работа была медленная», а «на город надежды было мало», причем «рабочие нас совершенно не поддержали»: вот к чему свелось то «могучее стихийное движение», которое эсерам оставалось только возглавить. На самом деле, все «стихийное» движение ограничивалось восстанием чехо-словацких легионов, которое было результатом ряда сложных причин, блестяще анализированных в брошю-

ре т. Шмераля, но и тут была не совсем «стихия», не одна природа, а также и искусство, и именно в лице эсеров. Как видно из прилагаемой целиком телеграммы Веденяпина (члена ЦК п. с.-р. и министра иностранных дел самарского правительства) другому члену ЦК п. с.-р. Сухомлину, чехов «мы—то есть эсеры—предупредили, что большевики, несмотря на обещание свободно пропустить их во Владивосток и потом на Западный фронт, на самом деле решились обезоружить их и распустить». На самом деле это была ложь, но она дала окончательный толчок подготовлявшемуся в среде чехо-словацких легионов взрыву. Эсеры, таким образом, могли похвастаться, что они спровоцировали чехо-словацкое восстание, открывшее собою в России более, чем двухлетнюю непрерывную междоусобную войну. Хоть поздно, но они сумели «взять инициативу в свои руки».

На какие же действительные силы, за отсутствием народных масс, могло опереться самарское правительство? Часть их перечисляет та же телеграмма Веденяпина. Прежде всего, это были те же казаки. «Яицкие казаки,—пишет Веденяпин,—находящиеся в формальном союзе с Волжским комитетом нашей партии и стоящие на платформе Учредительного собрания, восстали первыми». Если не было пролетариата, то была обеспечена зато сила, антипролетарская по преимуществу. Была надежда и на донских казаков—социально это была сила столь же родственная, но получавшая деньги не от Антанты, а от немцев. «Краснов на Дону и Грузия может быть против воли все еще держатся германской ориентации, но с изменением стратегического положения может измениться и их позиция». Пришли ли в это время Веденяпину на память ландскнехты времен тридцатилетней войны, менявшие знамя вместе с переменой военного счастья? Вряд ли; ему было не до исторических воспоминаний. Зато другие ландскнехты, верные знамени Антанты, тоже были обеспечены: «завязаны сношения с Добровольческой армией, организованной покойным генералом Алексеевым». Об этих сношениях несколько подробнее говорится в другом сообщении того же Веденяпина—в разговоре (5 ноября 1918 г.) по прямому проводу его с Зензиновым (членом ЦК п. с.-р. и членом «Директории»),—из Уфы в Омск. «Нужен представитель в Алексеевскую армию,—говорил тогда Веденяпин,—официальный их курьер заверяет, что эта армия насчитывает до 120 000 штыков. Вызов по радио пока буква... (буква, из конспирации, вырвана). У них имеется большой мощности радио»[1].

---

[1] Копия с записи разговора по прямому проводу и подлинная телеграмма Сухомлину были приложены к делу и ничьих сомнений не вызвали.

«Антигерманский» фронт на Волге—за 2000 километров по воздушной линии от ближайшего германского солдата в северо-восточном направлении (германизированный Краснов, конечно, был ближе—но мы видим, что это был не враг, а возможный друг)—был, таким образом, обеспечен с обоих флангов прочными белогвардейскими союзниками, в лице уральских казаков и алексеевских «добровольцев»[1]. Нехватало одного—войск Антанты, не разбрасывавшей своих вооруженных сил по таким местам земного шара, где немцев нельзя было найти днем с огнем и, несмотря на все клеветы эсеров, не рассматривавшей Красной армии как один из германских корпусов. Тщетно Веденяпин вопиял, что «главные силы Красной армии состоят из немецких и венгерских военнопленных, из латышей и даже китайцев под немецким командованием». Этому так же мало верили, как и тому, что Комитет членов Учредительного собрания из 70 человек представляет собою волю русского народа. И напрасны были все усилия самарского правительства добиться фактической военной интервенции союзников на востоке России. «Во что бы то ни стало надо победить инертность американцев», доказывал Веденяпин Сухомлину. «Их страх перед интервенцией в русские дела, основан, очевидно, на недоразумении (!). Присутствие их в достаточном числе есть лучшая гарантия того, что военная поддержка союзников не превратится в интервенцию (... а что же это было?) и длительную оккупацию». Тщетно. Никакие комплименты американцам не могли привлечь на берега Волги ни одного антантовского солдата. Эсерам было оставлено несколько тысяч чехо-словаков—и, в смысле интервенции, они должны были этим удовольствоваться.

А так как и деньги Антанта больше обещала,—в качестве же действительно полученных сумм в процессе мелькали прямо гроши, десятки тысяч рублей самое большее, в то время как летом 1918 г. рубль стоил уже едва 1/40 его довоенной ценности,—то приходилось и войска и деньги добывать своими средствами.

Как обстояло дело с войсками, покажут слова того же цитированного выше, обвиняемого Утгофа-Дерюжинского.

«Быстрые первоначальные успехи на этом фронте были достигнуты действиями чехо-словаков и добровольческих отрядов. Чехо-словаки на самом фронте имели в лучшем случае около 4—5000 человек. Сами они считали от 3—4000 бойцов. Добровольческие отряды капитанов Махина и Каппеля в лучшие времена имели не больше 3000 чел. каждый. Кроме того, действовали небольшие партизанские

---

[1] Ядро «добровольческой» армии составляло, как известно, белогвардейское офицерство и юнкерство.

отряды и вновь сформированные отряды так называемой «Народной армии». Народная армия состояла из мобилизованных солдат и офицеров. По спискам, за исключением дезертиров, в ней было от 50—60 000, но вооруженных лишь до 30 000 человек. Эти войска были очень плохо обучены, не имели никакой внутренней спайки и были совершенно негодным боевым материалом. Войну вели чехи и добровольцы, а «Народная армия» лишь отягощала казну самарского правительства, и подвергала опасности рядом стоящие боеспособные части. Не буду касаться здесь причин такой полной негодности «Народной армии», скажу только, что она коренилась в глубочайшем отвращении массового городского и деревенского обывателя ко всяким жертвам, которых требовало от него государство, будь то власть Советов, Учредительного собрания или Колчака. Уральский фронт защищался казачьим ополчением полковника (потом генерала) Дутова»[1].

Для добывания денег сразу пришлось прибегнуть к мерам героическим. В первом же журнале Комитета членов Учредительного собрания (от 11 июня 1918 г.) на первом месте стоит: «1. а) о распродаже водки. Постановили: 1. Распродажа водки как мера, направленная к получению денежных знаков, принимается». И это после моря брошюр, где те же эсеры громили Николая II за то, что он спаивает народ!

Но и героических мер нехватало—и пришлось итти с поклоном к той силе, «помощь» которой была проклятием партии «социалистов-революционеров» на всем протяжении их истории. 12 июня в Самаре собрались «представители Самарского общества фабрикантов и заводчиков, Самарской торгово-промышленной палаты, Самарского биржевого комитета, Самарского торгово-промышленного общества и Самарских банков», т. е., коротко говоря, представители местных капиталистов, и образовали «при Комитете членов Учредительного собрания Финансовый стол», задачей которого было помогать Комитету выпутываться из финансовых затруднений. «Совет» был составлен так, что большинство представителям капитала в нем было совершенно обеспечено (3 члена от торгово-промышленной палаты, 2 от управления банков и по 1 от городского и земского самоуправления и от кооперации).

Если и после этого приходилось торговать водкой, значит капиталисты развязывали мошну не очень-то предупредительно. Но уплату за свои услуги они требовали немедленно. 12 июня они удостоили Комитет членов Учредительного собрания своим вниманием, а 14, через 48 часов, мы чи-

---

[1] См. «Былое», 1921, № 16, стр. 16.

таем в журнале Комитета: «Поручить члену Комитета В. К. Вольскому созвать совещание из представителей рабочих и предпринимателей с участием представителей соответствующих органов самоуправления по вопросу о восстановлении прав владельцев».

С этого начала свою деятельность «социалистическая» партия в Самаре.

Но банковый и промышленный капитал тащил за собою и все другие виды собственности. Прямо отнять у крестьян бывшую помещичью землю и восстановить по отношению к ней «права владельцев» было физически невозможно—это немедленно вызвало бы антиэсеровскую пугачевщину, которая смела бы и не такую жалкую армию, как «Народная». Приходилось изыскивать способы удовлетворить помещиков, хотя бы косвенно. Постановлением Комитета членов Учредительного собрания от 16 июля помещикам была возвращена половина урожая под тем предлогом, что озимые посеяны были еще до закона о земле 27 октября 1917 г., значит, принадлежат помещику. Этот декрет неукоснительно соблюдали всюду, куда только вступала «Народная армия»,—поэтому мы встречаем его в нескольких изданиях (например, в Казани, где он был опубликован 4 сентября 1918 г.).

Этим ограничивались официально, в декретах—действительность там, где распоряжались союзные эсерам белогвардейские банды, шла гораздо дальше. Вот, например, что происходило в Стерлитамакском уезде, когда туда вступили яицкие казаки, стоявшие, мы помним, «на платформе Учредительного собрания».

«Когда казаки приближались к Стерлитамаку с юга, то до граждан начали доходить слухи, что они творят расправу над крестьянами. Слухи оказались действительностью. С их помощью помещики собрали обратно в свои экономии весь взятый крестьянами живой и мертвый инвентарь. То, чего в экономиях помещики не досчитывали,—взыскивалось с крестьян деньгами.

Начальники отдельных карательных отрядов отдавали волостным управам приказы — к определенному сроку собрать имущество помещиков, а чего не окажется налицо взыскать деньгами. Разгул страстей проявился во всю. В данный момент крестьяне снесли в экономии помещиков почти все». [1].

Так кончала свои дни партия «социализации земли»... Аграрная политика п. с.-р. на востоке России привела к тому неожиданному последствию, что деревня сделалась убежищем большевиков. «Советская власть умирает, но еще не умерла,—писал «Вестник Комитета членов Учредитель-

---

[1] Из эсеровской газеты, органа Уфимского комитета п. с.-р., «Народное дело», 11/24 ноября 1918 г.

ного собрания» от 3 августа 1918 г.,—дышит кое-где по селам»[1]. Но острее этой буржуазной реакции—читатель согласится, что «Возрождение России» эсерами иначе назвать нельзя,—обращено было, конечно, против пролетариата, с большою чуткостью отказывавшего «учредиловцам» в каком бы то ни было содействии.

Что переживали рабочие под сенью всех свобод, немедленно провозглашавшихся всюду, куда вступала «Народная армия», одновременно с объявлением военного положения, временно отменявшего все эти свободы[2], лучше всего рассказать словами меньшевистской казанской газеты «Рабочее дело», тоже стоявшей на платформе «Учредительного собрания», ругавшей большевиков, на чем свет стоит,—и все же не могшей не отражать, день за днем, ту тоску, которая охватывала рабочие массы по мере того, как выявлялся все более и более новый режим.

«На страже. Переход власти вызвал в рабочих массах растерянность. Рабочий класс с тревогой смотрит, что будет дальше. И, главным образом, его беспокоит вопрос—сохранятся ли его организации.

Они должны сохраниться и они сохранятся, но только при одном непременном условии.

Рабочий класс должен сбросить со своих очей повязку, он должен понять, что никакие усилия сверху не дадут и не создадут прочных рабочих организаций, если сам рабочий класс не будет снизу сильной организованной волей их поддерживать. До сих пор он именно мало их поддерживал, он все надеялся, что кто-то де все за него сделает.

Поэтому-то так слабы, так бессильны были организации, именно классовые организации пролетариата. Профессиональные союзы? Они были пока сильны только поддержкой власти, а сами по себе они почти ничто. Это не голословно. Это констатировал как Съезд профессиональных союзов, так и бывшее совсем недавно совещание профессиональных союзов Поволжья в Саратове. Но пока была поддержка власти, профессиональные союзы, верившие в наступивший социализм, кой-как жили и без поддержки организованных низов.

Теперь жестокая действительность разбивает у рабочего класса веру в социализм, она показывает ему, что в борьбе

---

[1] № 22.

[2] Буквально одновременно: в Казани объявление о переходе города под власть Комитета членов Учредительного собрания, подписанное особоуполномоченными Фортунатовым и Лебедевым, и приказ о введении военного положения за подписью командующего войсками Степанова изданы в один день, 7 августа, и оба помечены № 1.

своей в недрах капиталистического общества сильнее тот класс, который лучше организован. Более организованной, естественно, в условиях капитализма является буржуазия. И она начинает побеждать» («Рабочее дело», 27 июля-9 авг. 1918 г., № 155).

«Поход предпринимателей. Предприниматели все время говорят о забвении классовой борьбы и о воссоединении всех в одних общих интересах защиты отечества, а между тем, сами льют масло на огонь классовой борьбы. Со сменой власти начались расчеты рабочих и применяется старая система эксплоатации. Придираются на прискуке и говорят, что им не нужно состоящих в союзах и требующих страховки в кассах больничных и от безработицы. Владельцы портновских мастерских снова переходят к штучной работе, раздаваемой на дома и распускают мастерские. Необходимо, чтобы профессиональные союзы снова выступили на защиту интересов рабочих» («Рабочее дело», 11/24 августа 1918 г., № 166).

«Среди рабочих. В рабочих кварталах настроение подавленное. Ловля большевистских деятелей и комиссаров продолжается, усиливается. И, самое главное, страдают не те, кого ловят, а просто сознательные рабочие—члены социалистических партий, профессиональных союзов, кооперативов. Шпионаж, предательство цветет пышным цветом. Всякий, так или иначе пострадавший. при большевиках, считает своим долгом донести, наклеветать, ловить. Лишь бы излить свою месть. Сводят личные счеты. Своих личных врагов выдают за важных преступников, за большевистских комиссаров. А там оправдывайся. Жажда крови омрачила умы. Особенно стараются отдельные члены квартальных комитетов. Эти господа ссылаются на какие-то распоряжения своего начальства, дающие им право обысков и арестов, и действуют во всю. Впрочем, очень мало они изловили большевиков, а много пострадало людей совершенно невинных. Вообще многие квартальные комитеты в настоящее время больше занимаются искоренением «крамолы», чем своими прямыми обязанностями—организацией охраны своего квартала и помощи армии. И это понятно, если иметь в виду нынешний состав квартальных комитетов в рабочих кварталах. Комитеты эти избраны еще при большевиках, но тогда рабочие относились отрицательно к комитетам самоохраны и в выборах участия не принимали. Выбранными в большинстве случаев оказались лавочники-спекулянты, домохозяева, а нередко и просто всякие темные дельцы. И теперь они «работают». Пора этому положить конец. Рабочие должны потребовать перевыборов этих комитетов и таким образом освободиться от этих добровольцев-полицейских.

Сильно тревожит рабочих и неизвестная участь арестованных их товарищей. Распространяются самые вздорные слухи о поголовном, будто бы, их расстреле и пр. Здесь не мешало бы больше ясности и откровенности со стороны местных властей. Ведь всем известно, что произведены расстрелы по суду и без суда. Но кто, почему расстрелян—об этом молчат. Думается, что это не есть военная тайна. Если раньше человеческая жизнь была такая мелочь, о которой и распространяться нечего, то хочется верить, что теперь это не так.

Есть еще одно отвратительное явление последнего времени. Это—погромная агитация. Разные темные субъекты продолжают сеять вражду против инородцев, несмотря на приказ власти о привлечении к суду таких агитаторов. Особенно травят латышей. Раз уж латыш, значит — большевик, значит—бить нужно. Преследуют всеми способами. Предприниматели увольняют латышей со службы, квартирохозяева и домовладельцы стараются выжить из квартир. И самое печальное—от таких взглядов несвободны и некоторые официальные представители власти. Забывают, что среди латышей есть все те же политические течения, как и среди других наций. Латыши точно так же сражаются и в Народной армии и работают в пользу этой армии.П.Р.» («Рабочее дело», 14/27 августа 1918 г., № 168).

И в такт этой погромной агитации весело гудели церковные колокола, звоном которых всюду встречали «Народную армию»—конечно, не рабочие. Этот привкус поповщины как-то особенно подчеркивает елейно-фарисейское лицемерие режима «Учредительного собрания», от которого тошнило самих эсеров. Один из наиболее порядочных представителей этой партии, М. Л. Коган-Бернштейн, рисует такую сценку:

«Государственному совещанию предшествовал следующий характерный эпизод. Перед открытием совещания уфимский архиепископ Андрей в кафедральном соборе служил молебен о преуспеянии трудов Государственного совещания и произнес речь, смысл которой сводится к тому, что не эта разномастная и разноплеменная публика спасет Россию, а, «как уже было встарь», одно, всей России известное, имя. А присутствующие на молебне «социалисты» Авксентьев, Аргунов, Роговский, Моисеенко и др., нимало вопреки глаголя этому откровенному намеку на Михаила Романова, идут ко кресту совершать «поцелуйный обряд», освящая демократию православием, думая очевидно под покровом черной мантии церковничества протянуть через игольное

ушко реакции так хорошо «спасаемое» ими Учредительное собрание»[1].

Это, так сказать, художественная сторона—но у вопроса была и сторона деловая. «Директория» оказывала материальную поддержку православному духовенству (журнал заседания Всероссийского временного правительства № 12 от 4 октября 1918 г.), поспешила тотчас образовать «министерство исповеданий» (журнал № 13 от 5 октября), наконец, формально признала православие господствующей религией на территории, подчиненной этому «Всероссийскому временному правительству», как видно из установленного им «клятвенного обещания» для служащих, кончающегося фразой: «в заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и ниже подписуюсь». Неверующих на «освобожденной от большевистского насилия» территории быть не должно... Немудрено, что поповская партия «приходских советов» стала господствующей в муниципальном управлении эсеровской столицы,—Уфы, и поставила туда своего городского голову и членов управы[2].

Раз зависишь от богомольного волжского купца, нужно угождать всем его вкусам. А раз вообще зависишь от буржуазии, не надейся жить в мире и согласии с эксплоатируемой капиталом массой. Мы видели, что эсеры, провозгласив все свободы[3], вводили тотчас же военное положение. Против кого же было оно направлено? Вот текст закона, изданного Комитетом членов Учредительного собрания:

«Приказ Комитета членов Всероссийского учредительного собрания. Июля, 31 дня, 1918 г., гор. Самара. Во изменение и дополнение приказа от 20 июня 1918 г., Комитет членов Всероссийского учредительного собрания постановил: граждане в местностях, объявлен-

---

[1] Из сборника «М. Л. Коган-Бернштейн», изданного группою «Народ», письмо самого К.-Б. под заглавием «Русский термидор», помеченное—«Уфа, 17 сентября 1918 г.».

[2] Газета «Народное дело», орган Уфимского комитета п. с.-р. от 7 ноября (25 октября) 1918 г., № 189.

[3] О свободе эсеровские публицисты говорят всегда необыкновенно горячо и с большим пафосом. См., напр., статью Сухомлина в «Революционной России»: «Но меньшевистская и эсеровская политика не только «говорит», но и борется, но и осуществляет ту «свободу личности», над которой издевается Ленин. Для нас, социалистов-революционеров, свобода представляет самую сущность, — душу социализма. В подлинном царстве «освобожденного труда» не может быть места никаким притеснениям, никаким гонениям, а главное, как показывает самый термин, труд в нем должен быть свободен.

Поэтому, когда люди, называющие себя социалистами или коммунистами, уничтожают свободу печати, свободу выборов, свободу собраний, когда они принудительно мобилизуют рабочих, вводят свирепые наказания для поддержания «дисциплины» на фабриках, мы говорим: «это не социализм».

ных на военном положении, подлежат преданию военному суду для суждения по законам военного времени за нижеследующие преступные деяния:

1. За всякое насильственное посягательство, бунт, восстание, приготовление к подстрекательствам, к бунту против существующей власти Учредительного собрания и проч. властей, им поставленных, за всякого рода сопротивление установленным властям в ст. 100, 101 и 102 Уголовного уложения (редакция 4 августа 1917 года) и ст. 262, 273 Уложения о наказаниях уголовных исправительных; 2. За шпионство, истребление складов на средства падения или защиты от неприятеля или предмет войскового довольствия, за приведение в негодность сухопутных или водяных путей сообщения или телеграфа, телефонов или иных средств сношения различных частей армии, а равно за все прочие виды государственной измены, предусмотренные главой 6 Уголовного уложения (изд. 1909 г. и продолжение 1912 и 1913 гг.). За участие в скопище, которое оказало насильственное противодействие вооруженной силе, призванной для рассеивания скопища, или произвело бы насильственное нападение на военный караул или часового, или захватило бы в свою власть, раздробило или разрушило бы склад оружия и военных припасов, оружейный завод, освободило бы арестованных из-под стражи, и т. д...» [1]...

Кому угрожали эсеры расстрелом («суждение по законам военного времени», это и есть расстрел), заговорщикам или массе восставших? «Бунт», «восстание», «скопище»—это дело не маленьких кучек большевиков, это различные аспекты народного движения. И это движение на территории, осененной всеми свободами Учредительного собрания, принимало столь грозные для минутных властителей формы, что эсеры вынуждены были вспомнить уроки московского ген.-губернатора, адмирала Дубасова, в декабре 1905 г. бомбардировавшего Пресню, и обстреливать артиллерийским огнем целые рабочие кварталы. Вот какой приказ был отдан эсеровским комендантом Казани после вспыхнувших там (мы помним, на какой почве) рабочих беспорядков.

«Приказ Казанскому гарнизону № 189, 4 сентября 1918 г., гор. Казань. По приказанию Командующего войсками Северной группы объявляю для сведения и точного исполнения всего населения г. Казани и слобод: а) в случае малейшей попытки какой-либо группы населения и, в частности, рабочих вызвать в городе беспорядки, вроде

---

[1] Бюллетень информационного отдела при Комитете членов Учредительного собрания, 8 августа 1918 г.

имевших место 3 сентября, по кварталу, где таковые произойдут, будет открыт беглый артиллерийский огонь; б) лица, укрывающие большевистских агитаторов или знающие об их местонахождении и не сообщившие об этом коменданту города, будут предаваться военно-полевому суду как соучастники. Начальник гарнизона генерал-лейтенант Рычков».

А что это не была фраза, показывает статья о тех же беспорядках, напечатанная в официальном органе Казанского комитета п. с.-р. «Народное дело» от 6 сентября 1918 г., № 22, где мы читаем: «Для подавления мятежа были высланы воинские части, а Пороховая слобода была обстреляна орудийным огнем. К ночи мятеж был окончательно подавлен. Немедленно начались поиски и аресты мятежников, которые продолжались и весь следующий день (4 сентября). Все захваченные бунтовщики преданы военно-полевому суду, о приговоре которого население будет извещено посредством печати».

Террор по отношению к рабочим господствовал на всей «освобожденной» территории. Вот что мы читаем уже в совсем официальном документе, журнале № 21 заседания Всероссийского временного правительства от 17 октября 1918 г.:

«...1. По первому пункту в порядке информации делают сообщения члены правительства и управляющий делами.

а) В. Г. Болдырев[1] сообщает о забастовочном движении железнодорожных рабочих, которые предъявили начальнику Омской ж. д. следующие требования:

1. Полная отмена сдельной платы;

2. Возвращение уволенных за политические убеждения;

3. Прием и увольнение всех железнодорожных служащих должны зависеть от их Союза;

4. Повышение окладов до пределов, указанных съездом 4 сентября 1918 г.;

5. Уплата жалованья всем за все время забастовки.

В. Г. Болдырев указывает, что со стороны рабочих были попытки к порче паровозов, но что приняты все меры к ликвидации забастовки—вплоть до предания военно-полевому суду и расстрелов, так как забастовка в момент, переживаемый ныне Россией, является не чем иным, как государственной изменой».

А чем являлась вся деятельность п. с.-р. в «момент, переживавшийся тогда Россией»?

После таких решительных «приемов управления», что же говорить о «свободе печати, свободе выборов, свободе собраний», о которых так трогательно вздыхает Сухомлин в цитированной выше статье. Лишь для полноты картины

---

[1] Военный генерал, член «Союза возрождения».

приведем документальные образчики и первой, и второй, и третьей.

а) Свобода печати:

«Журнал № 38 заседаний Комитета членов Всероссийского учредительного собрания 23 августа 1918 г. Слушали: О местной печати (доклад Б. К. Фортунатова). Постановили: 1. Поставить на повестку очередного заседания предложение гражданина Климушкина о мерах административного воздействия на печать. 2. Обратить внимание управляющего военным ведомством, ведомством юстиции и ведомством охраны государственного порядка о тщательном надзоре за печатью и о принятии энергичных мер к судебному и административному преследованию преступлений печати. 3. По отношению к данному частному случаю со стороны пленума Комитета никаких взысканий не налагать, что не исключает возможности законных мер судебного и административного воздействия».

б) Свобода выборов:

«Журнал № 13 заседания Комитета членов Всероссийского учредительного собрания от 25 июля 1918 г. Слушали: 1. Об ограничении избирательных прав служащих советских учреждений и красноармейских частей. Постановили: Избирательным комиссиям при разрешении этого вопроса руководствоваться следующим: Не допускаются к участию в выборах те из внесенных в избирательные списки лиц, кои ко времени производства выборов утратят избирательные права (ст. 4—6), равно как и те, кои к указанному времени окажутся лишенными свободы, вследствие привлечения их судебною властью в качестве обвиняемых в каком-либо преступном деянии, с избранием в отношении их мерою пресечения содержания под стражей, а также содержащиеся под стражей по постановлению судебно-следственной комиссии (Ведомство внутренних дел)».

NB. Ведению «судебно-следственной комиссии» подлежали все, подозреваемые в большевизме.

в) Свобода собраний:

Казанские рабочие попробовали ею воспользоваться и собрали конференцию. Члены ее были арестованы, а на жалобу председателя вот что ему ответили:

«Председателю рабочей конференции. В номере газеты «Рабочее дело» от 3 сентября № 173 помещено сообщение, что происходящая под вашим председательством конференция постановила затребовать от представителей власти объяснение по поводу ареста членов конференции.

Ввиду этого доводится до Вашего сведения, что власть, исходящая из всенародного голосования, никаких требований от частных групп населения не принимает и впредь от-

нюдь не допустит, не останавливаясь для того перед мерами строгости. Что касается арестов членов конференции, то члены совещания частных групп населения подлежат аресту на общем основании и дела о них рассматриваются в обычном порядке.

Чрезвычайные уполномоченные: Фортунатов, Вл. Лебедев, 2 сентября 1918 года» («Камско-Волжская речь», 4 сентября (22 августа) 1918 года, № 11).

Но обо всех этих мелочах стоило ли говорить после обстрела артиллерией целых рабочих кварталов?

Самара, Уфа и Омск, Комитет членов Учредительного собрания и Директория дают столь выпуклые примеры эсеровского режима, что изучение деятельности других эсеровских правительств прибавило бы лишь более бледные копии. Всюду было одно и то же. И в Архангельске, например, в один день были провозглашены все свободы и введено военное положение.

«Журнал заседания Верховного управления Северной области 2 августа 1918 г., 4 часа дня, № 2. Ввести военное положение в городе с 12 час. дня 2 августа и воспретить типографиям печатать воззвания к населению, как от отдельных политических партий, так и от других организаций, без разрешения Губернского комиссара, поручив Губернскому комиссару издание об этом обязательного постановления». И в Архангельске, «во имя спасения родины и завоеваний революции» (все реакционные декреты северного правительства эсеров начинались с этой фарисейской формулы) немедленно приступили к восстановлению «законных прав прежних владельцев, признаваемых большинством населения» (декрет № 10, изданный в 1-й же день существования «Верховного управления Северной области»)—и все по той же причине: «торгово-промышленный союз» собрал $1\frac{1}{2}$ миллиона рублей, в «дар» новому правительству, как выразилась местная эсеровская газета,—в виде «займа», как поправлял на процессе гр. Лихач, один из членов этого «Верховного управления»[1]—и с теми же последствиями: меньше, чем через неделю, тот же гр. Лихач, заведывавший отделом труда, должен был докладывать «Верховному управлению», что «в рабочих кругах» господствует «тревожная атмосфера», вследствие «произвольных арестов рабочих, выселения профессиональных союзов, расчета членов фабрично-заводских комитетов, закрытия популярной в массах примирительной камеры» и т. д.[2]. Только террор в его наиболее кровавых формах был в Архангельске менее ярко выражен, потому что у «Верховного управления Се-

[1] Стенограмма двадцать третьего дня процесса, стр. 99.

[2] Журнал заседания Верховного управления от 6 августа 1918 г.

верной области» собственной военной силы, которая могла бы арестовывать и расстреливать, не было—были лишь или чисто белогвардейские банды, арестовавшие через месяц самих эсеров, или антантовский десант (в Архангельске были колоссальные склады военного имущества, со времени империалистской войны, и здесь Антанта, главным образом англичане, находила нужным высаживать свои войска). Вешали и в Архангельске,—но вешали, собственно, англичане, только через посредство «Верховного управления», настойчиво добивавшегося, чтобы никакие приказы не отдавались английским командованием иначе, как через него, «Верховное управление»[1].

Эта унизительная роль наемного палача, да и то выпрошенная правительством Чайковского, лучше всяких рассуждений рисует международное положение правительств, созданных эсерами. Один из протоколов заседания того же «Верховного управления» ясно показывает, что Чайковский и его товарищи отлично сознавали свое положение—отлично понимали, что на большее, чем роль признанных и единственных в данной местности агентов Антанты, они рассчитывать не могут[2]. Самарское правительство могло расстреливать само—но в этом, кажется и заключалась вся его «суверенность» по отношению к Антанте. И оно получало от Антанты командирское «спасибо». «Журнал 17/а заседания Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания с представителями уральского правительства. Слушали: VI. Внеочередное заявление полковника Галкина: «Сегодня прибыл в г. Самару капитан фран-

---

[1] Г. Чайковскому, Председателю Временного правительства, Архангельск. Сылаясь на Ваш разговор с генералом Нидгем сегодня утром, относительно казни 6-ти заключенных, при сем имею честь приложить Вам копию письма, присланного Вам 4/XI—18. Просьба подтвердить получение сего. Бригадный генерал Нидгем. 11/XI—18.

Перевод. Р. Е. А/53 6—11—18.

Русскому Командующему силами Северной области.

При сем прилагаю дело Военного суда, заседавшего 25-го октября 1918 г., и удостоверение тюремных властей о приведении в исполнение приговора над:

1. бывшим офицером Степаном Ларионовым,
2. комиссаром Шарыгиным,
3. Георгиевским,
4. Комаровым,
5. Якомбчаком,
6. Джамачком.

Пожалуйста, примите меры, чтобы приговор, пожизненное заключение, над другими арестованными был приведен в исполнение.

(подпись) Е. Айронсайд

Бригадный генерал Главнокомандующий экспедиционных сил Северной России.

[2] См. журнал от 9 августа 1918 г., № 12.

цузской службы Бард, явился в главный штаб и от имени французского посла Нуланса и генерала Лаверна просил меня передать Комитету следующее: «Французский посол Нуланс и генерал Лаверн благодарят Комитет Учредительного собрания за ту громадную работу, которую сделал и делает Комитет в интересах общесоюзнического дела и выражает уверенность, что союзники не замедлят оказать Комитету самую существенную финансовую и материальную помощь». Постановили: «Принять к сведению». И оно должно было пускаться во все тяжкие, чтобы добиться реализации этих обещаний. «Журнал № 17 заседания Всероссийского временного правительства от 11 октября 1918 г. V. По заслушании доклада Б. В. Савинкова о посылке в спешном порядке в Западную Европу особой миссии специального назначения в целях выяснения истинных намерений правительств союзных держав, постановлено: согласиться с означенным докладом и поручить Б. В. Савинкову организовать названную миссию».

Сколько раз эсеры открещивались от «авантюриста» Савинкова! Сколько раз они объявляли, что п. с.-р. никакого отношения к Савинкову не имеет! А пришла нужда в союзниках—и не за кого, кроме Савинкова, было взяться, пришлось поклониться «авантюристу».

Нужда была жгучая—без антантовских штыков «противогерманский» фронт на Волге трещал под ударами Красной армии. И нет ничего характернее для партии, написавшей на своем знамени «защиту родины» вместе с «защитой революции», чем предсмертный вопль казанского эсеровского командования, накануне вступления советских войск в город: «Помощь близка. Японцы уже прошли Читу»[1]. Бедные социал-патриоты!

Ниже мы будем иметь не один случай убедиться, что с разгромом фронтов отнюдь не порвались добрые отношения эсеров и Антанты—в некоторых отношениях, наоборот, даже укрепились. Теперь необходимо остановиться на другой стороне борьбы эсеров с советской властью в этот же период—в буквальном смысле слова «другой стороне»: ибо эту часть борьбы они вели по сю сторону фронта, внутри Советской России. Мы говорим о терроре.

Когда впервые появились в печати прямые указания на террористическую борьбу, ведшуюся п. с.-р. с советской властью, когда впервые было заявлено, что убийство т. Володарского, покушение на убийство т. Ленина—дело рук эсеровских организаций, из уст группы Чернова вылетел единодушный вопль: «Провокация!». Так как раскаявшиеся в своих покушениях на вождей пролетарской революции

---

[1] Приказ полковника Степанова, 6 сентября 1918 г.

эсеровские боевики были уже в рядах коммунистической партии (Семенов, Коноплева, Ставская, Усов и др.), то «дело ясное»: их «купили», они «перебежали» и т. д., и т. д. Все это, разумеется, голый вздор—вздор, вероятно, сознательный: уже в опубликованном за границей (в «Голосе России») рассказе Рабиновича подкладка просвечивает достаточно явственно. Процесс позволил сделать огромный шаг вперед в этом отношении. Теперь мы, совершенно игнорируя факты, оглашенные Семеновым и Коноплевой, не считаясь с этими фактами, на основании заявлений на суде эсеровских цекистов, можем категорически утверждать:

Центральный комитет п. с.-р., зная о терроре, практикуемом партийными организациями, зная вполне конкретно, от случая к случаю, никаких конкретных мер к прекращению этого террора не принимал, никаких серьезных санкций на членов партии за террористические выступления не налагал, а в лице отдельных членов ЦК в сущности говорил: да занимайтесь вы этими покушениями, если угодно, только не от имени партии. Ее не впутывайте,—а там делайте себе, что хотите.

Семенов и Коноплева категорически утверждают, конечно, больше: они говорят, что ЦК давал прямое благословение на террор—а потом отрекался. Но удовольствуемся меньшим: и его для любого суда в мире совершенно достаточно. Позабудем о Семенове и Коноплевой — пусть их никогда не было на свете с их разоблачениями. Дадим слово исключительно самим эсеровским цекистам, бывшим и настоящим—Иванову Николаю, Гоцу, Тимофееву, Донскому, Веденяпину, Буревому, Ракитникову. В этой компании «провокаторов» не выдумает, надо надеяться, и сам Чернов.

Вопрос первый: террор по отношению к большевикам, вообще говоря, входил в круг вопросов, занимавших внимание ЦК п. с.-р. или нет?

В первую минуту обвиняемые хотели бы свести дело к совершенным «пустякам». Защитник одного из «провокаторов», т. Шубин, спрашивал Н. Иванова.

«Шубин. А вопрос о терроре в Центральном комитете когда возник?

Иванов. Раз он был мною поставлен, то, вероятно, в январе или начале февраля, точно не помню, во всяком случае, не позднее.

Шубин. Но задолго до лета?

Иванов. Позвольте мне договорить. Я предложил поставить этот вопрос. Он не был даже поставлен на обсуждение Центральным комитетом [1].

---

[1] Стенограмма тридцать первого дня, стр. 59.

Видите, даже и обсуждать не стали. Но тут обвинитель Крыленко поинтересовался: а не обсуждался ли этот вопрос в ЦК еще раз? И получил неожиданный ответ: «Второй раз не был мною предложен»,—заявил Иванов.

Значит штука не в том, что ЦК п. с.-р. вообще не занимался террором, а в том, что когда член ЦК Иванов поставил его на повестку, его, будто бы, почему-то сняли. Другой член ЦК, Тимофеев, объяснил и почему сняли: нужно было сначала провести через Бюро ЦК, а Иванов этим пренебрег. Но это разъяснение Тимофеева совершенно потонуло в тех разоблачениях, которые этот мастер сенсационных разоблачений тут же и сделал.

«Тимофеев. Насколько мне сохранила память, заседаний Центрального комитета, на которых ставился вопрос о терроре, я лично помню не одно, а несколько.

Председатель. То, после которого Сунгин ушел?

Тимофеев. Такого заседания, после которого Сунгин ушел—не было. Было заседание, вскоре после которого ушел Сунгин, но он ушел совершенно по другому поводу. Я должен воспроизвести следующий факт, который сохранила мне память за Петроградский период. Первое заседание, о котором говорил Иванов, по моему мнению, было вскоре после Учредительного собрания в середине января. И по моему, он ошибается, когда он тут приводит дату конец января и начало февраля. Им была сделана попытка поставить на заседании Центрального комитета вопрос о терроре и эта попытка была отведена, и отвод был совершенно не случайный. Для того, чтобы сделать более ясным, я должен сказать следующее: у нас в деятельности Центрального комитета такая практика существовала и, наверное, существует сейчас. Все вопросы, вносимые на повестку дня, вносятся предварительно на рассмотрение Бюро Центрального комитета, как возглавляющего технического органа, подготовляющего каждый вопрос для пленума. Николай Николаевич Иванов этот вопрос, во-первых, в Бюро не внес, и, во-вторых, если бы и внес, то поскольку я знаю состав тогдашнего Бюро, он был бы решен отрицательно. И в пленуме, если бы и был поставлен, то разве в порядке обжалования решения Бюро. Исходя из того, что этот вопрос не был рассмотрен в Бюро, и с другой стороны, что постановка этого вопроса считалась нецелесообразной, он поставлен не был. Не помню только, оставался ли в своих настояниях рассмотреть этот вопрос Иванов одиноким или нет. Этого мне память не сохранила. Во всяком случае, этот вопрос не рассмотрен, и мотивы вполне ясно вытекают из того подхода к нашей тактике, который мы после разгона Учредительного собрания установили. Надо было ждать, отойти, накоплять силы и т. д. Затем вторично вопрос о терро-

ре возник, по моему, в начале февраля, во всяком случае, до моего отъезда из Петрограда в Москву, а эта дата относится к концу февраля, как здесь уже говорится. Этот вопрос возник по инициативе какой-то местной организации, какой, сейчас, не помню, кажется, какой-то южной организации, возник в связи с деятельностью и действиями Антонова-Овсеенко, в виду тех безобразий и зверств, которые он и руководимый им отряд чинили. Тогда был поставлен вопрос и был поставлен вопрос в двоякой плоскости. Насколько я помню, вообще вопрос о применении террора как одного из тактических методов борьбы в данный момент, и во-вторых, конкретно о терроре как об ответе на те крайние эксцессы, которые имели место и в той, и в другой плоскости, вопрос был разрешен отрицательно. Что касается до связывания—не помню, кто из свидетелей связывает этот вопрос с выходом из Центрального комитета Сунгина—то я должен это категорически отвести как утверждение неверное. Я твердо помню, что Сунгин переехал вместе с Центральным комитетом в Москву и в Москве принимал участие в работах Центрального комитета. По моему, он вышел из Центрального комитета во время VIII Совета или даже после VIII Совета в силу того, что он был противником вооруженной борьбы, насколько я мог понять тогда его мотивы, хотя свой уход он мотивировал невозможностью вести эту работу с пользой для дела. Письменной мотивировки он, кажется, никому не представлял. Вот и все, что сохранила мне память по этому поводу. Было еще одно заседание Центрального комитета, но это уже позднейшего периода, это периода июня или июля, что то в этом роде. Это было еще в Москве до переезда пленума на Волгу, где этот вопрос снова выдвигался и снова был решен отрицательно. Если вам угодно узнать общие мотивы такого решения по отношению к террору, почему мы считали неприемлемым его, я могу их изложить» [1].

Итак, не только Центральный комитет п. с.-р. не отбросил вопроса о терроре против большевиков, как совершенно непутную пустяковину, а долго и настойчиво им занимался, в несколько приемов. Это становится интересно. Что же там по этому поводу говорилось?

Настоящие члены ЦК выражались об этом очень сдержанно и «вообще».

«Веденяпин. Было очень много высказываний, но разделился ли Центральный комитет так, чтобы одна часть

---

[1] Стенограмма тридцать первого дня, стр. 80—82.

стояла на точке зрения Сунгина, а другая на другой точке зрения, я не помню.

Гоц. Относительно Николая Николаевича (Иванова) я должен сказать, что его индивидуальную точку зрения он уже изложил. Но никогда в беседах с ним я не видел упорствования в своей точке зрения. Это был один из дисциплинированнейших членов партии.

Председатель. На заседаниях ЦК никакой дисциплины быть не может, там все свободно высказывают свои точки зрения.

Гоц. Я не помню, чтобы в этом заседании Николай Николаевич определенно высказывал свою точку зрения, но я помню, что было обсуждение, была дискуссия, был подход с разных сторон к этому вопросу, и решение у меня определенно и отчетливо запечатлено в памяти. Это решение было отрицательное в той постановке конкретной, которая была дана нашей организацией» [1].

Бывшие цекисты были обстоятельнее. Буревой—свидетель защиты—рассказывал.

«Буревой. На заседании Центрального комитета, не помню по чьему предложению, не помню исходило ли это предложение от какой-нибудь местной организации, но помню, что этот вопрос о терроре встал. К этому времени в партии эсеров вопрос о борьбе с советской властью назрел уже окончательно, конечно, можно сказать, что в партии было и террористическое настроение, но это настроение было не преобладающим, может быть, единоличным. Перед партией стал к этому времени вопрос ребром о вооруженной борьбе с советской властью, вообще об организации войны.

Председатель. Это было в феврале месяце?

Буревой. Да. В то время, когда был заключен уже Брестский договор, когда стал вопрос об эвакуации Петербурга, в это время уже раздавались голоса в партии за вооруженную борьбу с советской властью.

Председатель. Вы говорите о первом заседании Центрального комитета, имевшем место в феврале месяце?

Буревой. Это не первое заседание, я в одном только заседании был в феврале месяце.

Председатель. Ну, да, февральское заседание.

Буревой. На этом заседании рассматривался вопрос о применении террористических методов борьбы с советской властью. Вопрос этот в Центральном комитете не вызвал большого ни расхождения, ни больших разногласий, так как большинство Центрального комитета без всяких почти длительных обсуждений встало на позицию неприемлемости для партии в данный момент террористической борьбы...

---

[1] Там же, стр. 85 и 99.

Председатель. Какое большинство?

Буревой. Я точно установить не могу. В моей памяти не сохранилось решительно ничего о том, каким большинством была принята резолюция, но резолюция эта не признала террора как необходимого средства для борьбы с советской властью. Я помню, что в том же самом заседании один из членов Центрального комитета, Сунгин, который еще и до революции был противником террора, вносил поправку к той резолюции, которая была принята Центральным комитетом. Резолюция, принятая Центральным комитетом, была написана Черновым. В каких выражениях она была составлена, точно я не помню. Сунгин к этой резолюции внес поправку. Эта поправка сводилась к тому, чтобы партия отказалась раз навсегда от террористической борьбы, изъяла бы террор из своей практики. В виду того, что партия, прибегая к террору, считала нужным использовать его в прежнее дореволюционное время, а теперь, в момент революции, партия от террора должна раз навсегда отказаться. Я помню, что Чернов, возражая против поправки Сунгина, задавал ему вопросы: «А какие же вы методы борьбы будете нам предлагать в тех случаях, когда какой-нибудь властитель той или иной территории—контрреволюционер, или даже такой зарвавшийся комиссар, как Антонов, действовавший тогда в Харькове, будет расправляться с рабочими и крестьянами, расстреливая их, и других методов борьбы у нас не будет. Что вы в таких случаях можете предложить?» И вот я решительно не помню ответа Сунгина, что он по этому поводу сказал. Но во всяком случае Центральным комитетом была вынесена резолюция, в которой безусловно террор в отношении к советским деятелям не допускался.

Председатель. Вы говорите о мотивах Чернова, по каковым он возражал Сунгину, «что же вы, мол, принципиально отказываетесь от террора раз навсегда?» но какую повести борьбу, если появится какой-нибудь контрреволюционер или комиссар в роде Антонова, действовавшего на Украине, что же из этого можно заключить, что резолюция, внесенная Черновым, предусматривала эти случаи, давала выход на этот случай?

Буревой. Эта резолюция такого выхода не давала. Дело в следующем, что я уже сказал, что Сунгин внес поправку, которая требовала постановления, раз навсегда предрешающего вопрос о терроре на все время, вот-де, после 1917 г. партия социалистов-революционеров раз навсегда отказывается от террора. Конечно, против этой поправки, как мне кажется, почти все голосовали, даже не помню, кто был солидарен с Сунгиным» [1].

1 Стенограмма тридцать второго дня, стр. 93—95.

Итак, была не только дискуссия, ничем не кончившаяся,—но была и резолюция, резолюция, не признававшая террора необходимым средством борьбы с большевиками. Ну, а возможным? Нашелся член ЦК, Сунгин (неразысканный), которому этот вопрос в голову пришел, и он предложил поправку к резолюции, исключавшую и возможность террора. Поправка провалилась. Провалилась, между прочим, благодаря возражениям Чернова.

Другому бывшему цекисту и тоже свидетелю защиты, Ракитникову, изменила память насчет резолюции, но роль Чернова и он запомнил. Так что этот факт, кажется, никакому сомнению не подлежит: принципиальному и категорическому отвержению террора по отношению к большевикам помешал именно Чернов.

«Ракитников. Я даже не помню, выносился ли какой-либо определенный текст резолюции, потому что, насколько я помню, решение было очень короткое. Именно потому, что не сошлись в мотивировке, было вынесено просто очень короткое решение.

Крыленко. Кто предложил, вы не помните?

Ракитников. Кажется, Чернов внес.

Крыленко. Мотивировку Чернова не помните?

Ракитников. Нет, не помню.

Крыленко. А он был в числе сторонников допустимости террора или нет?

Ракитников. Он отрицал, например, он оспаривал, что в этот революционный период террор недопустим. Это он, насколько я помню, оспаривал. Но он не защищал того, что в настоящее время этот террор допустим.

Крыленко. Значит, у него была такая точка зрения, что принципиально террор в голой форме не отрицался.

Ракитников. Да, одна точка зрения такая, что в революционный период террор недопустим, когда массы начали действовать, террор индивидуальный отдельных лиц недопустим.

Крыленко. Значит, тезис был такой: могут быть такие обстоятельства, когда в революционный период террор допустим?

Ракитников. Да» [1].

Решение по такому капитальнейшей важности вопросу было не принципиальное, а тактическое. У каждого члена партии оно могло вызвать такие же сомнения, как у Сунгина. Но было ли закреплено в партийном порядке, хотя это тактическое решение?

«Дашевский. (Один из подсудимых 2-й группы). Прекрасно. Я удовлетворен. Меня интересует только этот во-

---

[1] Стенограмма того же дня, стр. 143.

прос, эта февральская резолюция, была ли она широко распубликована по партии или не была, а если была, то когда и как?

Гоц. Она распубликована не была официально, но все партийные работники, руководящие круги партийных работников—все знали, и я не понимаю и недоумеваю, каким образом, вы, принимавший довольно активное участие, вы не знали о ней»[1].

Итак, резолюция осталась внутренним делом самого ЦК, потому что «руководящие круги партийных работников» это и есть цекисты. «Периферия» могла о ней и не знать, или, что еще хуже, знать в неопределенной форме, что вопрос о терроре настойчиво обсуждался в ЦК, но «пока» решен отрицательно.

Если цекисты могли в первую минуту быть в заблуждении относительно неудобств такой манеры руководить партией, то очень скоро это заблуждение должно было рассеяться.

«Гоц. Приблизительно к концу марта месяца мне стало известно от Бориса Николаевича Рабиновича о том, что Коноплева хочет со мною повидаться. Он сказал мне и о предмете беседы, которую она хочет со мною вести. От Б. Н. Рабиновича я знал уже, что Коноплева в то время находилась под впечатлением некоторой определенной, как он мне тогда прямо сказал, навязчивой идеи. Она с ним неоднократно беседовала, выясняя и его отношения и стараясь выяснить свое собственное отношение к вопросу о терроре. Он заявил мне, что она хотела бы беседовать со мною именно потому, это я цитирую ее слова в передаче Бориса Николаевича, поэтому может быть буду не точен, что она питает, т. е. питала тогда ко мне особое уважение. Борис Николаевич Рабинович ей во время беседы, опять-таки так, как он мне передавал, а я не имею никаких оснований не доверять его искренности и правдивости особенно по отношению ко мне, Борис Николаевич развивал ей точку зрения ЦК, которая к этому моменту была совершенно отчетливо ясна и определенна, и как бы ни интересовался прокурор отдельными оттенками отношения к Сунгину, важно было следующее обстоятельство: к февралю месяцу этот вопрос в ЦК, вопрос об отношении к террору, обсуждался, и ЦК, в своем значительном, если мне память не изменяет, подавляющем, большинстве занял по отношению к этому вопросу определенно отрицательную позицию. Значит, об этой отрицательной позиции ЦК Коноплева была осведомлена Б. Н. Рабиновичем. Тем не менее она беседу с ним вела и тем не менее она хотела и добивалась свидания со мной. Почему? А потому, что

---

[1] Стенограмма тридцать пятого дня, стр. 153.

она ставила тогда этот вопрос несколько в другой плоскости. Она заявила, что она и не хочет выступать от имени партии, она не хочет, чтобы партия санкционировала официально и уполномачивала ее выступать от имени партии, она лишь добивается моральной санкции, поддержки, выяснения отношения ЦК для того, чтобы пойти на такое дело. Ей важно знать, как то или другое лицо, тот или другой руководящий член партии смотрит на этот террор. Вот это ее индивидуальная постановка вопроса. У меня с ней было свидание. Я не могу сказать точно, где это свидание происходило. Если память не изменяет, действительно это свидание происходило на квартире Архангельского на Литейном проспекте, дом № я не помню. Здесь Коноплева обратилась ко мне со всеми сомнениями, моральными недоумениями, которые у нее были и с которыми она обращалась и к Б. Н. Рабиновичу. Я ей заявил об отношении партии, о принципиальной позиции, которую занимала в то время партия по отношению к террору. Она заявила, что она знает это, что ее интересует, как партия, не осудит ли ее, может ли ее поддержать внутренно, может ли она опереться в этом деле на моральную, хотя бы молчаливую поддержку партии. Я высказал ей личное свое мнение. Должен сказать, что тогда я Коноплеву знал несколько раньше, работая в 1917 году в ЦК, где я неоднократно ее встречал, на Галерной. Правда, беседы были у нас мимолетные, беглые, но впечатление она в то время на меня произвела для нее выгодное. Во всяком случае, если кто-нибудь тогда приоткрыл бы край завесы будущего и сказал мне, чем Коноплева станет впоследствии, я это с негодованием отбросил бы. Тогда я не мыслил ее в той роли,—буду кратко говорить,—в которой она выступает здесь. Это вполне парламентское выражение. Но вместе с тем я должен сказать, что во время беседы с ней я указал ей на следующее обстоятельство. Мне неоднократно, как старому работнику боевой организации партии с.-р. в период царизма, приходилось беседовать с людьми, обращавшимися ко мне с того рода сомнениями, колебаниями, недоуменными вопросами, и я тогда и неизменно за всю свою революционную боевую деятельность следовал одному и тому же правилу: я считал, что если ко мне обращаются с вопросами, с просьбами разъяснить собственные недоумения, настроения того лица, которое ко мне само обращается, то это является свидетельством того, что то лицо, которое ко мне обращается, еще не созрело для того решения, которое оно собирается принять, что внутренне этот вопрос не решен, что еще не выкристаллизовалось определенное моральное отношение, что оно еще в состоянии колебания, и что перед ним еще возможны иные решения, что оно на распутьи, и поэтому я всегда и неизменно во всей своей рево-

люционной деятельности в боевой организации на такого рода вопросы отвечал отрицательно. Я никогда не считал себя морально вправе давать такому лицу положительный ответ. Наоборот, я всегда склонен был подчеркнуть отрицательные стороны, я склонен был указывать на то, что подобного рода лица должны взвесить, глубже осмыслить, обмозговать положение, чтобы не совершить рокового непоправимого шага. И разговор, который у меня был с Коноплевой, приблизительно велся в той же плоскости. Коноплева настаивала тогда передо мной на том, чтобы я выяснил отношение Центрального комитета, она говорила, что хотя ей важно, как она выражалась, в силу особого уважения, которое она питала ко мне, и мое личное мнение, но для нее еще большую ценность представляло выяснение отношения ЦК. И вот, в ответ на ее просьбу я решил просить Бориса Николаевича Рабиновича, который направлялся в Москву по целому ряду дел, между прочим, поставить перед ЦК этот вопрос в том своеобразном новом разрезе, в той коноплевской его постановке, в которой она выразилась передо мной тогда, ибо, если бы вопрос шел только о принципиальном выяснении отношения ЦК к террору, мне, конечно, после февральского решения не нужно было посылать специального человека, ибо для меня решение ЦК было ясно, и позиция его была известна. Я его отправил. Б. Н. Рабинович вернулся и привез отрицательный ответ»[1].

Вопрос был поставлен прямо. От имени партии вы запрещаете практиковать террор? Ну, а не от имени партии можно? Представьте себе, что к члену ЦК какой хотите партии приходит один из ее членов и спрашивает: от имени партии нельзя делать фальшивых денег—ну, а не от имени партии можно? Что на это может ответить член ЦК. «Вы с ума сошли, я с вами разговаривать не хочу и т. д.». Но эсеровский цекист на аналогичный вопрос о терроре отвечает: а, это новая постановка вопроса; надо справиться, как ЦК смотрит.

Что это может значить, кроме того, что тактическое осуждение террора понималось самими цекистами, именно, как принципиальная его допустимость, т. е. именно так, как понял Сунгин?

А если это не так, то появление уже одной Коноплевой должно было показать ЦК, на какую зыбкую почву он стал в этом вопросе. Между тем, Коноплева далеко не была первой ласточкой. Гоц должен был признаться, что «такого рода конкретные предложения делались нам, и в частности мне, не только со стороны Коноплевой, но были они и раньше. Наличность террористического настроения в

---

[1] Стенограмма тридцать первого дня, стр. 165—168.

определенных слоях нашей партии—это факт. И в определенный момент мы наблюдали обострение этих террористических настроений. Это был момент после разгона Учредительного собрания, когда нам особенно часто приходилось слушать такого рода речи и когда мы занимали по отношению этих речей всегда одну и ту же совершенно определенную позицию, которую мы достаточно отчетливо охарактеризовали в первый период следствия»[1].

До чего обычны были такие обращения, видно из того, что Тимофееву проект Коноплевой—не более, не менее, как убить Ленина—показался совсем не важным «текущим делом», и он рассказывает об этом почти в шутливой форме: «История заключалась в том, что одна девица, фамилию которой я совершенно тогда не знал, явилась сюда в сопровождении его (Ефимова) для совершения террористического акта. Я сопоставил тогда эти данные и выяснил, что это тот самый случай, о котором нам рассказывал Рабинович, перед тем приехавший недели за две, не помню, в Бюро из Петрограда. Разрешите теперь вернуться хронологически к этому приезду Рабиновича. Уже в начале марта из Петрограда приехал т. Рабинович с целым рядом дел, в том числе с поручением от т. Гоца, выяснить, в виду того, что в Питере имеется одна особа, член партии, которая хочет совершить террористический акт против кого-нибудь из представителей советской власти—речь шла, кажется, о Троцком или Ленине, как к такого сорта акту отнесется Центральный комитет. Это дело обсуждалось в Бюро Центрального комитета на той же самой квартире, и Бюро ответило на это вполне отрицательно, исходя из целого ряда соображений».

И ЦК действительно обсуждал вопрос, казалось бы, до дна исчерпанный совсем недавно—и отклонил проект убийства Ленина опять не принципиально, а «исходя из целого ряда соображений» (!). И когда это было ликвидировано, как то не поймешь даже, почему—в силу ли отрицательного отношения ЦК, или потому, что «ничего не вышло, денег не было»[2], Тимофеев отнесся к этому, как к обычному провалившемуся партийному предприятию, снабдив незадач-

---

[1] Стенограмма тридцать первого дня, стр. 181.

[2] «Тимофеев. Так вот я встретил Ефимова недели через две и он рассказал, что приехала одна девица, фамилии, кажется, он не называл, и с нею он для того, чтобы убить Ленина, но он решил от этого дела отказаться и усиленно ее отговаривал. По его словам, к тому моменту, когда он меня встретил, он решил окончательно ее отговорить тем более, что ничего не выходило, денег не было, был полный крах внутренний и внешний. Я не то что на него напустился, но имел с ним серьезный разговор: «каким образом ты, старый опытный человек, в это дело втемяшился». Он заявил, что он вовсе не сторонник террора, а взялся сопровождать эту девицу только потому, что хотел помочь делу» (Стенограмма тридцать второго дня, стр. 2—3).

ных товарищей даже деньгами на обратный путь[1].

Но ведь, может подумать читатель, в партии могли найтись люди и более настойчивые, чем Коноплева—и менее незадачливые, у которых хватило бы и решимости, и материальных возможностей довести дело до конца. Что тогда? Как тогда отнесся бы ЦК к случившемуся?

Как будто нарочно, для «проверочного опыта» перед нами встает убийство Володарского.

20 июня 1918 г., в 7 часов вечера комиссар печати Северной коммуны т. Володарский был застрелен неизвестным человеком в ту минуту, когда он сходил с испортившегося в дороге автомобиля. Место было пустынное, человек успел скрыться. На другой день во всех газетах можно было читать заявление ЦК п. с.-р. о полной непричастности к делу «ни одной из партийных организаций».

Что было в действительности? Дадим опять слово членам ЦК.

«Гоц. Когда произошло убийство Володарского, 20 июня, мы недоумевали, не знали, как объяснить это событие. Я помню, ко мне немедленно же обратились, это было, кажется, в редакции «Дело народа», обратились, как к ответственному руководителю Бюро Петроградской организации, те члены нашей партии, товарищи по работе в газете, которые там были, и я заявил, что ничего не знаю, недоумеваю и ничего не могу им сообщить, ибо тогда у меня не было мысли, хотя слабое подозрение, повторяю, собственно не повторяю, а отмечаю, потому что об этом я укажу подробнее, по этому обстоятельству у меня возникло, ибо я тогда вспомнил разговор, который у меня имел место с гр. Семеновым. Я на другой же день потребовал, чтобы мне было устроено свидание с гр. Семеновым, и я сейчас напомню гр. Семенову обстановку, и место нашей встречи, может быть тогда он и вспомнит, это было на квартире одного из членов Петроградского комитета Николая Николаевича (обращаюсь к Семенову) вы вспоминаете или нет? Фамилию я называть не буду и надеюсь, что в этом отношении и гр. Семенов меня не дополнит. Одним словом, свидание с гр. Семеновым было и было на другой день после убийства Володарского. На мой вопрос, как все произошло, что имело место, ибо я вспоминаю разговор, который у нас с ним был, гр. Семенов ответил мне буквально следующее: «Я (это гр. Семенов говорил от своего имени) никакого отношения к этому делу не имел, я сам встал перед совершившимся фактом, самый акт для меня был совершенно неожиданным»,—и затем рассказывал, что один из рабочих, дружинник, совершенно случайно, встретившись на

---

[1] Там же, стр. 5.

пустынном месте с Володарским, как он говорил, «не выдержал и выстрелил в него». Вот и все, что мне сообщил тогда гр. Семенов. О своем участии, о своей прикосновенности к этому делу он тогда категорически заявил, что никакое участие, никакая прикосновенность места не имели. Я совершенно отчетливо помню его слова, он заявил, что он встал перед совершившимся фактом, что этот факт застал его врасплох, что он сам о нем не знал, и когда выяснилось, то узнал, что один из дружинников, случайно встретившись, как я уже сказал, на пустынном месте с Володарским, не стерпел и выстрелил. Вот буквальные слова гр. Семенова. После этого, когда я вернулся в редакцию, я передал товарищам обо всем этом то, что я узнал от гр. Семенова, то, что один из наших рабочих дружинников выстрелил, на этом основании, не помню, в тот или на другой день была помещена публикация в нашей газете «Дело народа»[1].

Удивительнейшее дело. Случилось убийство, к которому п. с.-р. «совершенно непричастна» и не могла быть причастна, в силу резолюции, принятой ее ЦК—и вдруг все хватаются не за римского папу, не за негуса абиссинского, не за гражданина Вандервельде, а именно за члена ЦК п. с.-р. Гоца, заведующего военной и боевой работой партии и спрашивают: «как это случилось?». И Гоц, в свой черед, не обращается за справками ни к своим знакомым, ни к другим членам ЦК, а призывает начальника боевых дружин партии, Семенова, и его спрашивает: «как это случилось?» И нисколько не смущается тем, что Семенов может сделать большие глаза и спросить в свою очередь: «что случилось?». Ведь, эсеры же никакого отношения ко всему подобному не имеют. Ведь, вот, через две недели после этого был убит в Москве Мирбах. Что ж, прибегали опять к Гоцу и спрашивали: «как это случилось»? И Гоц вызывал Семенова и т. д.?

Конечно, нет—ибо все отлично знали, что Мирбаха убили левые эсеры. И если отношение к убийству Володарского было иное, то потому, что—в своем кругу—все отлично знали, что Володарского убили правые эсеры. И так как политически убийство было в данный момент невыгодно для п. с.-р.,—происходили выборы в Петроградский совет и убийство могло их сорвать, то к заведующему военной и боевой работой члену ЦК и обратились с укоризненным вопросом: как же вы это допустили? А тот призвал своего подчиненного, непосредственно заведывавшего боевой работой, и стал ему мыть голову. Стал мыть голову тем более основательно, что всего за две недели он на эту тему с Семеновым уже говорил, откуда, конечно, вытекает, что

---

[1] Стенограмма тридцать третьего дня, стр. 67—69.

вообще террористические устремления Семенова и его дружинников отнюдь не были секретом для гр. Гоца. Впрочем, пусть опять говорит он сам:

«Гоц. Сколько у меня с ним было встреч, сказать сейчас точно, конечно, не могу. Я помню совершенно отчетливо один разговор с ним, который, имел место незадолго до 20 июня, т. е. до убийства Володарского. За сколько это было времени—сказать не могу. По моим воспоминаниям, это было может быть недели за полторы, может быть больше, может быть меньше, утверждать не могу, но отчетливо помню тот разговор, который был у меня с гр. Семеновым. Относительно террористических настроений гр. Семенова я знал. Он этого не скрывал. Не помню, развивал ли он мне их полностью, я был занят разными делами, так что не помню, происходили ли у меня с ним теоретические дискуссии по этому вопросу, но, во всяком случае, его устремления в эту сторону были мне известны. Я отчетливо помню тот разговор, который имел место, повторяю, за полторы приблизительно недели до события 20 июня. Ко мне обратился тогда гр. Семенов с вопросом, как Центральный комитет относится сейчас к террору, не считает ли Центральный комитет, что ситуация изменилась, политическая обстановка изменилась и, в связи с этим, не изменилось ли отношение Центрального комитета»[1].

Итак, снова и снова: весь вопрос о терроре рассматривается под углом зрения политической обстановки. Все это время—это вопрос чисто тактический. Морально допустимо ли убивать коммуниста и революционера Володарского? Это — не деловая постановка. Удобно ли? Гоц «дал ответ отрицательный»[2]. Поверим этому. Принципиально дело от этого нисколько не меняется. Все же остается, что «ответственнейший партийный работник, руководивший другими партийными работниками», именно в этой области был вполне посвящен в террористические настроения своих подчиненных, и относился к этим настроениям, как к вполне нормальному, хотя и несвоевременному, явлению.

И так как «несвоевременность» налицо была очень крупная, то решено было принять крутые меры. Вы думаете, исключить Семенова из партии. Ничего подобного—как же терять таких ценных работников. Решено было удалить его и его дружинников из Петрограда, чтобы опять чего не напутали.

«Гоц. После убийства Володарского я распорядился о том, чтобы дружина, в которой появились такого рода на-

---

[1] Стенограмма тридцать третьего дня, стр. 60.

[2] Там же, стр. 67.

строения,—этот момент совершенно забыл осветить, сейчас это сделаю,—после того, как мне стало ясно из этого факта, что в дружине появились террористические настроения, я счел необходимым распорядиться, чтобы эта дружина была переброшена за линию фронта и там нашла выход своим боевым настроениям.

Крыленко. Через сколько времени после 22-го было отдано это распоряжение?

Гоц. Точно, я, конечно, не могу сказать, но думаю, что это было непосредственно после этого, потому что после разговора с Семеновым я пришел к этому выводу. Я мог передать это сейчас же, мог через несколько часов, мог вечером.

Крыленко. Нельзя допустить такой версии, что это было через несколько дней.

Гоц. Через несколько дней—нет, это было вскоре после беседы с Семеновым»[1].

Как вам нравится этот взгляд на убийство Володарского, как на симптом «террористических настроений». Не больше. «Шалить начали ребята»...

И так как не было возможности отрицать, что семеновские дружины были партийной эсеровской организацией и что, значит, заявление «Дело народа» о «непричастности» было явно лживым, Гоц делает жалкую попытку увернуться на суде.

«Гоц. Я не помню точно редакции, но смысл приблизительно таков, что партия никакого отношения к этому не имеет.

Крыленко. Партия это одно, а когда вы скажете: «ни одна партийная организация»—это другое.

Гоц. Вместо того, чтобы препираться и тратить время впустую, давайте завтра раздобудем номер и посмотрим. Я не настаиваю, так как не придавал тогда этому большого значения, но если память мне не изменяет, я средактировал так, что партия не имеет к этому акту никакого отношения» [2].

Текст на другой день был представлен Трибуналу: речь шла именно о всех «партийных организациях».

Случай с Володарским настолько типичен—даже, повторяем, приняв совершенно на веру версию эсеровских цекистов (слово «версия» ужасно рассердило гр. Гоца и он потребовал, чтобы вопросы ему задавались «в более корректной форме»), что, как иллюстрации методов политической работы ЦК п. с.-р., его было бы вполне достаточно. Но так как те же методы с еще большей яркостью проявили себя

---

[1] Стенограмма шестого дня, стр. 80.

[2] Там же, стр. 102.

в деле покушения на т. Ленина (30 августа 1918 г.)— то, независимо от колоссальности самого факта, необходимо остановиться еще и на этом эпизоде террористической борьбы п. с.-р. с советской властью.

Дадим опять слово гр. Гоцу.

«За время пребывания моего в Москве я виделся с Семеновым раз. Он приехал ко мне в Удельную, это было незадолго до моего отъезда, думаю, что это было в числах, вероятно, от 18 до 24 или 25 (августа), приехал ко мне, и здесь у нас была беседа. Мне кажется, он не ошибается, указывая на то, что действительно был разговор недалеко от станции, ибо я отлично помню, что он у меня на даче никогда не был. Здесь у нас произошла беседа следующего характера. Он спрашивал, как Центральный комитет смотрит сейчас на террор, не изменилась ли его точка зрения в связи с изменившейся ситуацией, в связи с изменившейся политической обстановкой, в связи с созданием фронта, в связи с той гражданской войной, которая тогда кипела на линии Волги. Я заявил ему следующее: что ЦК сейчас нет, что Центральный комитет сейчас на пути формирования по ту сторону фронта, что у Центрального комитета есть одно определенное суждение и решение, которое было вынесено Центральным комитетом еще в те дни. Это было в феврале, как мы уже тут рассказывали и докладывали, и с тех пор этот вопрос в пленуме Центрального комитета еще не обсуждался, и Центральный комитет своих принципиальных позиций не меняет. Поэтому я ничего иного по этому вопросу сказать не мог. Линия Центрального комитета в этом вопросе не изменилась. Дальше я ему указал, что с момента моего отъезда из Петрограда я уже не являюсь организационно связанным с Центральным комитетом, не связан и с Московским бюро Центрального комитета, и по всем военно-партизанским делам, о которых у нас была речь, направил его в Московское бюро, в частности, к т. Тимофееву, который в то время был в Москве и который ведал военной работой Московского бюро» [1].

Семенову всего за два месяца перед этим была вымыта голова и он был выкинут со своими дружинниками из Петрограда за несвоевременное убийство Володарского. И вот, через два месяца, тот же Семенов приходит к тому же Гоцу и спрашивает, как ни в чем не бывало: «а теперь линия ЦК в этом вопросе не изменилась?». Гоц отвечает: «не изменилась,—а, впрочем, поговорите с Тимофеевым: я теперь не в курсе дела».

Спрашивается: можно ли себе представить, чтобы в партии, которая не применяет и не собирается применять

---

[1] Стенограмма тридцать пятого дня, стр. 122—123.

к своим противникам методов террористической борьбы, происходили такие разговоры между руководителем партийной работы и одним из руководимых. Можно себе представить, чтобы к т. Ленину пришел т. Дзержинский с вопросом: а нельзя ли устроить покушение на Пуанкаре? А Ленин бы ему ответил: ЦК до сих пор этого избегал, а, впрочем, я теперь в отпуску, подите, поговорите с Рыковым, он в курсе. Можно себе такую чепуху представить? А вот в партии с.-р. такие разговоры велись как совершенно нормальные.

Совершенно ясно, что террор был, по самой крайней мере, камнем за пазухой, который «на всякий случай» держала наготове п. с.-р. против советской власти. И есть все основания думать, что на этот раз, действительно, соблазнились этот камень пустить, благо нашлась доброхотная рука, соглашавшаяся это сделать, не марая пресловутых «риз» партии.

Со всею очевидностью это следует из рассказа другого члена ЦК, Донского. Когда он приехал в Москву во второй половине августа 1918 г., к нему пришел Семенов.

«Семенов мне сообщил, что в отряд хочет вступить старая каторжанка Каплан, у которой есть определенные террористические замыслы и желания. Я сказал, что хочу с ней повидаться, или он предложил мне повидаться—точно не могу сказать. Было назначено свидание. Она заявила, что ей неудобно быть на явке, почему—я не мог выяснить. Назначили свидание на бульваре. На бульваре мы с ней увиделись. Я выяснил ее настроение. Она категорически подтвердила в присутствии Семенова ее настроения и ее пожелания. Я совершенно ясно и определенно, помню, сказал, что партия террористической борьбы не ведет, и добавил еще, что в таком положении, в каком она находится, желая выступить с террористическим актом, она ставится вне партии, если выступит, что она не может быть в партии, если выступит, совершенно определенно. Затем разговор продолжался еще некоторое время в течение нескольких минут не больше, потому что дело было на бульваре, место было очень неудобное, там проходили и садились, и разговор не мог носить обстоятельного характера. Кончился разговор моими словами: «подумайте хорошенько». И на этом мы разошлись. Впечатление у меня создалось такое, что у нее созрело твердое решение, но я думал, что мои указания на этот счет будут для нее совершенно авторитетными и окажут некоторое влияние. Лично я не знал и узнал только впоследствии, что она в Москве была давно, что она предлагала уже Центральному комитету свое желание через Зензинова» [1].

[1] Стенограмма тридцать пятого дня, стр. 164—165.

Итак, Зензинов знал—весь ЦК знал, что вот есть старая каторжанка Каплан, у которой «созрело твердое решение» убить т. Ленина. И что же они делали? Предлагали «подумать хорошенько». Не шутка—вождя мировой пролетарской революции застрелить, надо отнестись к делу серьезно.

Разжевывать этот исключительный по своей выразительности рассказ было бы обидой для читателя. Мы хотели бы только спросить гр. Вандервельде, что бы он предпринял, если бы к нему пришел товарищ по партии, из разговора с которым обнаружилось бы, что у того «созрело твердое решение» убить короля Альберта? И что он сказал бы, если бы оказалось, что об этом «твердом решении» осведомлены и другие члены ЦК его партии?

Покушение совершилось. ЦК, конечно, на другой день отрекся. Но это было так привычно, что ни один старый, опытный эсер этому отречению не поверил. Весьма известный по заграничной эсеровской прессе террорист Тисленко, после этого отречения, как ни в чем не бывало, явился к членам эсеровского ЦК и вел с ними такие разговоры:

«Гоц. С его (Тимофеева) слов знаю, что разговор касался двух пунктов. Тисленко интересовался прежде всего отношением Центрального комитета к террору. Это раз. И затем он хотел знать мнение Центрального комитета о партизанском терроре, как Центральный комитет отнесся бы к предложению группы лиц организовать террор за свой страх и риск, не связанный с партией, совершенно самостоятельно, в роде партизанского террора, организационно не связанного с партией. Тимофеев мне передал, что он ему сказал, что Центральный комитет отнесся к террору отрицательно, отнесся отрицательно и к предложению о создании партизанского террористического отряда, и затем заявил, что он переговорит с другими членами Центрального комитета.

Крыленко. Он вам не говорил относительно состава, обстоятельств и условий?

Гоц. Нет.

Крыленко. Относительно покушения на Ленина в частности.

Гоц. Об этом Тисленко ничего не говорил.

Крыленко. Выходит, что Тисленко приехал беседовать по этому поводу и о покушении на Ленина ни одного слова не сказал.

Гоц. Разговор был, конечно, в связи с этим покушением.

Крыленко. Но он говорил, что это дело их рук?

Гоц. Он не говорил, что это дело их рук, но он приехал узнать, как Центральный комитет относится к террору в связи с заявлением, появившимся тогда в газетах, что Цен-

тральный комитет не имеет никакого отношения к акту Ленина. Он приехал выяснить это от имени своих товарищей.

Крыленко. Он скрыл, что товарищи участвовали в этом покушении?

Гоц. Об этом он ничего не говорил Тимофееву.

Крыленко. Какой же смысл было приезжать?

Гоц. Относительно смысла его приезда надо адресоваться не ко мне, а к нему» [1].

Люди только что отреклись,—а к ним сейчас же приходят с предложением организовать то самое, от чего они только что отреклись. И люди не обижаются, не говорят: что же, вы нас за лгунов считаете. А деловым образом отвечают: «переговорим с другими членами Центрального комитета»...

Остается вопрос о санкции. Тут опять Семенов, согрешивший уже второй раз; рецидивист. Члены ЦК, по крайней мере, о его техническом участии в деле знают.

«Гоц. В 1918 г. я узнал со слов товарищей москвичей о том, что Семенов ей (Ф. Каплан) оказал техническую помощь, так мне было сказано, передал ей оружие, так буквально у меня в памяти запечатлелось.

Крыленко. Кто сказал?

Гоц. Донской или Морозов, я точно сказать не могу» [2].

Что же с ним сделали? Но это надо рассказать словами самого члена ЦК п. с.-р. Донского.

«Крыленко. Дальше у вас сказано: решено было вызвать Семенова из Москвы и группу его рабочих. При чем же тут эти рабочие? Он, Семенов, передал револьвер. Он сделал определенное правонарушение, а за что же рабочие?

Донской. Потому что он хочет с ними составить партизанский отряд, а без них не сможет.

Крыленко. Но вы же сказали, что на другой день вы пришли к соглашению и были опять друзья и приятели?

Донской. Мы пришли к соглашению, что он не будет делать больше террористических актов» [3].

Обещал, что «больше не будет». Никаких шалостей больше. Пожалуйста, не подумайте, что Донской издевался над Трибуналом. Нет, он был совершенно серьезен. Так же, как и тогда, когда говорил о Фанни Каплан.

«Донской. Я передавал всем партийным товарищам, что Каплан вышла из партии и сделала это на свой страх и риск, как личный индивидуальный акт.

---

[1] Стенограмма тридцать пятого дня, стр. 125—127.
[2] Там же, стр. 145.
[3] Там же, стр. 191.

Крыленко. Всем говорили?

Донской. Всем товарищам, и это было сообщено в прессе»[1].

Все честь-честью. Отправляясь к французским министрам, надевают фрак. Отправляясь убивать Ленина, выходят из партии. На все есть свой этикет.

На этом мы можем закончить главу о терроре. Лучше того, что говорили об этом сами эсеровские цекисты, никто не скажет—и перед каким бы судом ни разбиралось их дело, будь это даже бельгийский суд под председательством самого Вандервельде, оправдательного приговора он бы им вынести не смог.

«Что установил процесс так называемых «социалистов-революционеров», изд. «Красная новь», Главполитпросвет, 1923 г.

---

[1] Стенограмма тридцать пятого дня, стр. 177.

ИДЕОЛОГИЯ ЭСЕРОВ ЗА ДВА ПОСЛЕДНИЕ ГОДА
(1921—1922 гг.)

Идеология всякой общественной группы всегда определяется ее общественным бытием. Эту старую истину все мы знаем, но очень часто забываем, когда речь идет о конкретной идеологии данной общественной группы. Странным образом, генеалогия группы иногда перевешивает у нас социологию. Мы твердо помним, что эсеры — мелкобуржуазная партия: и этого нам достаточно, чтобы физиономия партии казалась ясной.

Но представим себе на минуту такую картину: французские радикалы, по всей своей истории, несомненно, мелкобуржуазная партия. Французский мелкий буржуа ненавидит крупного капиталиста, как своего конкурента: отсюда всем известное немцеедство французского мелкого буржуа, так как именно германский крупный капитал являлся самым опасным конкурентом французской мелкой промышленности. А отсюда совершенно естественна наличность во главе французских радикалов такой шовинистической фигуры, как Клемансо.

Но вот, как раз незадолго до войны, у власти стояло во Франции радикальное министерство Кайо—и оно держалось политики примирения с Германией, в 1911 г. ему удалось предотвратить войну, хотя наиболее задорные «патриоты» и тогда уже лезли в драку. А сам Кайо стоял во главе крупнейшего французского банка—так называемого «Генерального общества» (Société générale), был, значит, представителем интересов вовсе не мелкой промышленности, а финансового капитала. Позже, под конец войны этого Кайо Клемансо держал в тюрьме как «изменника».

Мы видим, что дело не так просто. Несомненный факт мелкобуржуазного происхождения французских радикалов отнюдь еще не дает нам ключа к объяснению всей их политики. Возникши на определенной классовой почве, партия, в своем дальнейшем росте, может привлекать к себе другие общественные силы, имеющие мало общего с той, которая ее родила. Влияние этих попутчиков может оказаться настолько сильным, что партия попадает даже в прямое противоречие с естественной политикой породившего ее класса. Под влиянием мелкобуржуазных попутчиков, «рабочая» пар-

тия германских шейдемановцев в 1918—19 гг. «вооруженною рукою защищала буржуазный строй», как, с большим удовлетворением, констатируют теперь наши эсеры[1].

А так как практика объясняет нам теорию, идеология определяется политикой партии, а не наоборот, то объяснять эту идеологию исключительно происхождением партии было бы слишком грубым приемом, не дающим верного вывода. Задача и заключается в том, чтобы показать, как преломляется идеология партии в зависимости от реальных интересов текущего момента—причем интересы эти отнюдь необязательно совпадают с интересами класса, который партию выдвинул. Эти интересы могут быть интересами «попутчиков», а попутчики могут оказаться сильнее созидателей партии.

Все это мы воочию видим и на истории эсеровской партии и ее идеологии. Как французские радикалы представляли собою последнюю по времени фазу революционного движения французского мещанства, движения, имевшего свой героический период в якобинстве 1793 г., свою пору расцвета и возмужалости в эпоху борьбы за третью республику, в 1870-х гг.—и переживают теперь свой период упадка, тот же путь, только гораздо быстрее, прошло и русское мещанство. Оно тоже имело свою героическую эпоху в Народной воле и свой период расцвета в 1905 г., когда эсеры стояли во главе массового движения, если не крестьянства—к этому они только стремились—то мелкобуржуазной интеллигенции с ее «профессионально-политическими союзами», сыгравшими, не приходится этого отрицать, свою роль в октябрьской забастовке 1905 г. В эту пору они были еще, действительно, революционерами—фразой был только их социализм, но невинная страстишка украшать себя этим титулом свойственна всем мещанам, под всеми долготами и широтами; недаром и левое крыло французских радикалов приклеило к себе эпитет «радикалов-социалистов». Как и для их французских предшественников, для наших эсеров пагубно было непосредственное прикосновение к власти. Клемансо был радикалом не только по партийной кличке, пока он был лишь вождем оппозиции. Но когда он стал министром, осталась только партийная кличка—что и дало повод к злому «крылатому словцу»: «бывают министры из радикалов, но не бывает радикалов-министров».

Власть приводит «радикала» в непосредственное соприкосновение с крупным капиталом. А-мещанин не может видеть крупного капитала рядом с собой, в одной плоскости, чтобы не поддаться его обаянию. Он совершенно забывает,

---

[1] Руднев В., Восстановление буржуазного строя и социалистические партии, «Современные записки», XIII, стр. 266.

как он громил этот капитал еще вчера, в качестве радикального или эсеровского агитатора. Ему, «социалисту», кажется, что без капиталиста он погиб—и все погибли; ибо мещанину всегда кажется, что если гибнет он, то гибнет весь мир. И у этого цеплянья за капиталиста есть некоторое реальное основание. Имея под собою не массу, экономически сплоченную, каков пролетариат, а мириады мелких производителей, разобщенных объективными условиями мелкого производства, мещанская партия гораздо больше нуждается во внешне-организационной связи, чем пролетарская. Бюджет партии с.-р. всегда был крупнее бюджета партии с.-д.—с эсдековским бюджетом эсеры не могли бы существовать уже в свой революционный период. Став массовой партией, поставленной в обстановку «демократии», где все приноровлено к тому, чтобы окончательный выигрыш остался за денежным мешком, мещанская партия объективно почти не может обойтись без услуг этого мешка. Идеологическая тяга мещанина к крупной собственности находит тут себе и оправдание, и реальную почву одновременно.

Эта зависимость «социалистов» от денежного мешка определила всю политику, внешнюю и внутреннюю, партии эсеров, начиная с марта месяца 1917 г. Суть этой политики так хорошо охарактеризована одним из их вождей—и тогдашних, и теперешних—что мы можем воспользоваться его формулировкой: короче и ярче, пожалуй, не напишешь. Партия с.-р. «от февраля по октябрь 1917 г.» «топталась и вокруг реорганизации армии, и вокруг мирной политики, и вокруг земельного вопроса, безнадежно «зацепившись за пень» коалиции с кадетами»[1]. Почему же этот «пень» оказался роковым? Да потому что иначе как от этого пня, от денежного мешка, танцовать не умели. Заключить мир? А как капитал обидится? Социализация земли? Но среди кадетов столько помещиков—да и с земельными банками как быть? Чернов не коснулся еще одного: созыва знаменитого Учредительного собрания. Этого тоже не позволили кадеты, ибо собрание непременно потребовало бы и мира, и земли. Словом, ничего не оставалось, как «топтаться»—делать революцию, остреем направленную против империализма,—это все мало-мальски чуткие люди понимали с первых дней,—в союзе с империалистской буржуазией, было задачей хуже квадратуры круга. И, конечно, попытка Чернова свалить вину партии на каких-то «кунктаторов» из ее правого крыла явно недобросовестна и обречена на неудачу заранее: Керенскому ничего не стоило напомнить зарвавшемуся «социалисту», что, ведь,

---

[1] «Революционная Россия», № 12—13, стр. 7—из статьи Чернова «Стихия революции и политические трезвенники»; у Чернова множественное число, ибо он относит эту характеристику, конечно, не к партии, а к «трезвенникам»—Рудневу, Керенскому и К°.

«сам-то обвинитель В. М. Чернов был членом Временного правительства целых четыре месяца, т. е. половину всего времени его существования». «И я смею свидетельствовать,—ядовито прибавляет Керенский,—что за все время своего пребывания в правительстве министр земледелия (т. е. Чернов.—*М. П.*) ни разу по всем общим и принципиальным вопросам не оставался при особом мнении, ни разу не расходился с его большинством. А, следовательно, за преступное топтание Временного правительства на месте В. М. Чернов несет в п. с.-р. наибольшую после меня, пробывшего в составе Временного правительства все восемь месяцев, ответственность»[1].

Потеря власти, казалось, должна была бы разорвать цепь, приковавшую эсеров к золотому мешку. Но увы, коготок увяз,—всей птичке пропасть! Партия не в силах была расстаться со своим другом, и вся ее политика в ближайшие после октября месяцы носит определенную печать «дружбы». Вместо того, чтобы итти в массы с пропагандой, формальная возможность которой в то время имелась целиком,—в подполье партия должна была уйти только в июне 1918 г.—эсеры занялись организацией самой дорогой и наименее демократической вещи на свете,—организацией генеральско-офицерского военного заговора, материал для которого приходилось перевозить из Москвы и Питера на Волгу по чрезвычайно дорогому тарифу,—не считая прокорма и прочего содержания. Это опять требовало денег, денег и денег—и их опять можно было достать только из того же мешка. Что денежные средства, получавшиеся через «Союз возрождения»—куда входили кадеты—шли именно на эту перевозку, в этом эсеры (Гоц) открыто признавались на своем процессе, и настаивать на этом не приходится [2].

Маленькие подарки всегда скрепляют дружбу—во всяком случае, подарки обязывают принимающих их. Добившись при помощи чехо-словаков образования всероссийского правительства в Самаре, эсеры немедленно же получили финансовую поддержку от местной крупной буржуазии—но зато столь же немедленно вынуждены были поставить в порядок дня вопрос о «восстановлении законных прав владельцев» самарских фабрик. То же точка в точку повторилось и в Архангельске после «займа» в $1\frac{1}{2}$ миллиона у местных толстосумов [3]. Мало-по-малу «социалистическая» партия уже не могла представить себе своей деятельности без «толстосумов». Когда разразилось кронштадтское восстание, пока-

---

[1] «Февраль и Октябрь», «Совр. зап.», IX, стр. 282.

[2] Объяснения Гоца по поводу «Союза возрождения» имеются в стенограмме десятого дня процесса. Ср. статью настоящего сборника «Что установил процесс так наз. «социал.-революционеров», стр. 305—306.

[3] Там же, стр. 321.

завшееся эсерам началом конца большевизма, член ЦК п. с.-р. Зензинов писал в Париж: «Одна беда—нужны деньги, нужны гарантии. Нам здесь кажется, что за это дело должен вплотную взяться Керенский в Париже (с официальными кругами и с русскими толстосумами)». «Для осуществления всего этого (продовольствия восставшему против большевиков Кронштадту) необходима гарантия около шести миллионов чешских крон»,—читаем мы в другом письме того же Зензинова, несколькими днями позже. «Вам в Париже виднее, где можно такую гарантию найти—быть может, у русских банков и промышленников, у Денисова, о готовности которых помочь сейчас Кронштадту теперь много пишут «Последние новости» и «Общее дело» [1].

И вот, на дороге людей, отвыкших существовать без «толстосумов», вырастает нэп, кажущийся им таким же экономическим концом большевизма в России, как Кронштадт казался концом политическим. «Восстановление буржуазного строя в России и социалистические партии»—что можно придумать выразительнее этого заглавия последней статьи В. Руднева? Тут и начинается трагедия мещанской идеологии.

Люди очень любят помечтать о том, чего у них нет. Мещанин, мы уже сказали, очень любит воображать себя социалистом—искренно в это веря, и приписывая случайностям то странное обстоятельство, что когда он принимается действовать, выходит совсем не социализм, а нечто как раз обратное. И вот Чернов, убедив себя, что стать настоящим социалистом, опередить Октябрь, ему в 1917 г. помешали только «кунктаторы», вроде Керенского, начинает мечтать, что бы случилось, если бы его, Чернова, пустили в Кронштадт, а сам Кронштадт не был взят снова красными, а сделался бы белой столицей России. В № 5 «Революционной России», вышедшем, можно сказать, в день траура по неудавшейся мелкобуржуазной революции—передовая этого номера начинается словами: «Кронштадт пал»—Чернов опубликовывает «проект экономической программы», детально изображающей, как эсеры должны возрождать Россию.

Проект очень любопытен прежде всего тем, что в нем социалистические павлиньи перья российского мещанства переливаются еще всеми цветами радуги.

Само собою разумеется, что «социалисты-революционеры», помня о дедушке Бакунине (хоть дальняя, а все-таки родня!), не допускают и мысли о гнилой, пагубной, и т. д. национализации промышленности. Это от лукавого, то бишь от большевиков, это «провалилось», об этом нечего и гово-

---

[1] «Работа эсеров за границей. По материалам парижского архива эсеров», стр. 26—27 и приложение, стр. 63 и 67 (факсимиле писем).

рить. У нас будет получше—у нас будет социализация. У нас будет не «управление промышленностью путем назначаемых чиновников», но «управление представителей организованной общественности».

Это немного туманно, но Чернов оставлять своих читателей в тумане отнюдь не собирается. Он пытается весьма детально установить социальный состав «организованной общественности» и дает картину, для всякого марксиста как нельзя более выразительную. «Социализированные отрасли производства должны управляться коллегиями, составленными на паритетных началах из представителей трех заинтересованных сторон:

1. Первою стороною являются все занятые в данной отрасли производства, как в качестве рабочих, так и в качестве технического персонала, в лице профессиональных союзов и организаций служащих.

2. Второю стороною являются представители организованного потребления, в лице, с одной стороны, кооперативов непосредственных потребителей, и, с другой стоны, представителей управления теми отраслями производства, в которые продукты данной отрасли производства входят в качестве сырья, полуфабрикатов или средств производства.

3. Наконец, третьею стороною является государство как представитель общества в его целом: его представительство должно назначаться частью ведомством финансов (интересы экономии), частью высшим научно-техническим институтом страны (интересы развития производства сообразно последнему слову научной техники).

Совокупность ответственных руководителей социализированными предприятиями вместе с совокупностью учебного персонала высших технических школ государства образуют корпорацию, представляющую кандидатов на замещение ответственных должностей по социализированным предприятиям: исключительно из числа этих кандидатов назначения производятся отдельными коллегиями, управляющими соответственными отраслями индустрии» [1].

Отвлечемся от того, что этот проект не есть плод исключительно личного творчества Чернова (он ссылается в дальнейшей полемике на Отто Бауэра и супругов Веббов): мы ведь не с Черновым полемизировать собираемся, а хотим выяснить основные моменты в развитии эсеровской идеологии за последние годы. Откуда эсеры брали свой «научный материал», нам безразлично. Так вот с этой точки зрения, характеристики эсеровского подхода к обобществлению промышленности, бросается в глаза прежде всего ко-

---

[1] «Революционная Россия», № 5, стр. 10. Разрядка везде моя.—*М. П.*

нечно одна черта: в то время, как рабочим четко отмежевана одна треть всего влияния в деле, интеллигенция, под разными соусами, всунута во все три трети. Она фигурирует в целом ряде ипостасей: то как «технический персонал», то как «представители потребления», то, наконец, как «высший научно-технический институт страны» и «учебный персонал высших технических школ государства». Причем последний, непосредственно участвуя в назначении ответственных руководителей (вместе с уже назначенными), фактически держит в руках дирижерскую палочку. В то время, как рабочие, на своей одной трети, имеют только некоторое—отнюдь не решающее—участие в руководстве промышленности, интеллигенции принадлежит управление этою последней.

Это, конечно, для партии интеллигентного мещанства чрезвычайно характерно. Каким ярким светом освещает это восторг того же Чернова по случаю «орабочивания и окрестьянивания личного состава наших действующих на местах организаций»[1]. Да, редкие гости рабочие, и даже крестьяне, в эсеровских организациях. Буржуазные профессора «высших технических школ», хотя по своей партийной принадлежности больше и кадеты, все-таки к ним ближе. Но пока что, в программе Чернова это почти единственная, чисто буржуазная категория—да и то это не сами «толстосумы», а лишь их идеологи. От капитала как такового торчит только кончик ушка: он выступает лишь в качестве «потребителя» «продуктов данной отрасли производства» в виде «сырья, полуфабрикатов или средств производства». Так как на всякой фабрике есть машины, то это дает контроль всем фабрикантам над всей машиностроительной промышленностью страны. Но и тут они перемешаны еще с «ответственными руководителями» «социализированной» промышленности.

Если прибавить к этому, что программа Чернова сохраняет очень большое количество остатков нашего «военного коммунизма», вплоть до карточной системы и твердых цен (раздел VI), вплоть до трудовой повинности (раздел VII), то совершенно ясно, что высоких друзей партии эсеров удовлетворить черновский проект никоим образом не мог. В их глазах он мог скорее партию компрометировать—восставшие на программу «кунктаторы» и «трезвенники» тут были вполне правы. Сверх того, все более и более становилось ясно, что Кронштадт не будет иметь продолжения, что единственной массой, на которую еще можно рассчитывать, остаются антоновские крестьяне,

---

[1] «Революционная Россия», № 11—«Десятый совет п. с.-р.», статья «Веха на трудном пути».

равнодушие коих к социализму было более, нежели очевидно. Приходилось бить отбой, и так как достоинство лидера партии не позволяло ударить в барабан самому Чернову, на сцену была выпущена серая, безличная фигура, снабженная, однако же, партийным штемпелем, поскольку и ее труд удостоился помещения на страницах той же «Революционной России».

В 7-м № этого журнала, в отделе «Программные вопросы», была напечатана большая статья А. Моисеева «Об экономической политике демократической России».

Поворот ориентации—на антоновщину—очень четко отразился заявлением автора, что «экономическая политика в России должна будет диктоваться интересами всего населения и прежде всего громадного большинства этого населения—крестьянами, населением деревни». «Потребительная» интеллигенция убирается за кулисы... Вместе с нею дается задний ход и «социализму». Причиной неудачи советской социализации объявляется то, что «советская система выдернула из человеческой деятельности главный фактор—материальную заинтересованность». «Личная заинтересованность необходима и для руководителей производства» (рабочих предполагается «заинтересовать» участием в прибылях). И наконец: «Должно совершенно определенно усвоить, что потеря владельцами фабрик и заводов прав собственности на их предприятия в процессе землетрясения русской революции отнюдь не является полным отрицанием начала частной собственности, как таковой».

Вы уже предвкушаете «восстановление законных прав владельцев», как в Самаре и в Архангельске в 1918 г. Но такого грехопадения на страницах своего журнала Чернов, разумеется, допустить не может. Тут на помощь приходит старое оборончество: А. Моисеев длинно (и фактически, вероятно, правильно) разъясняет, что большая часть «прав» на русские предприятия давно, в процессе самоснабжения их бывших собственников, ставших эмигрантами, ушла из русских рук. При таких условиях «признать восстановление прав частных владельцев на фабрики и заводы фактически значит признать готовность выкупать русскую промышленность сначала из цепких иностранных рук»...

Когда такие слова говорят люди, национализировавшие промышленность, то вполне понятно, что это значит. Но когда это говорят принципиальные отрицатели национализации, вы чувствуете здесь какой-то трюк, и, как в известной детской картинке, ищете: где же толстосум? Он и тут слегка припрятан, но уже не так глубоко, как в черновском проекте. Прием А. Моисеева ангельски прост: он к трем «куриям» Чернова—рабочим, «потребителям» и

государству—присоединяет четвертую: «прежних собственников», и дело в шляпе.

«Производственный процесс,—говорит он,—может восстановиться лишь при дружном, согласованном усилии всех принимающих участие в этом процессе элементов, т. е. государства, рабочих и организаторов этого процесса, т. е. прежних собственников, управляющих и техников-руководителей производства» (стр. 12).

«Проведение принципа некоторой материальной заинтересованности прежних владельцев в их предприятиях вместе с их настоящим владельцем—государством имеет важное практическое производственное значение. Это сгладит острые углы революционного процесса (!). Это поставит на работу необходимый и важный для государства «хозяйский» организующий элемент; при этом поставит по-настоящему, а не так как, «великим молчаливым саботажем саботируя (sic)», эти элементы работают сейчас в Советской России. Это даст финансовую устойчивость промышленности, ибо поможет привлечению необходимого для России иностранного капитала (вот они где, «цепкие»-то «иностранные руки», обнаружились!). Это будет тем социальным компромиссом, который нужен для необходимого, в конце-концов, мира» (стр. 13).

Словом, «землетрясение» кончилось, можете возвращаться в дома свои. Социализм был, и будет когда-то, на то лето, не на это, после дождичка в четверг. А пока что «фабрики и заводы, вновь построенные на новые, свежие средства, иностранные или внутренние, должны оставаться частной собственностью» (стр. 13, разрядка А. Моисеева).

Итак, ежели ты продал акции «врагам отечества»—ау, батюшка, не прогневайся! Но если ты деньжонки сохранил или у тех же «врагов отечества» призанять сумел—милости просим, хозяйничай на старых условиях.

Чтобы расшифровать и эту шараду, нужно, конечно, знать отношения внутри столь близких эсеровским сердцам «промышленников». Вполне возможно, что некоторые из них предпочитают завести новые предприятия, оставив старые, разоренные «великим молчаливым саботажем», на шее у государства.

Как бы то ни было, лозунг был дан. В противоположность «утописту» Чернову, занесшемуся в своих мечтаниях о России «по ту сторону Кронштадта», А. Моисеев отражал, очевидно, уже серьезную и деловую точку зрения ЦК п. с.-р. В письме ЦК «Ко всем членам партии», помеченном 23 июня 1921 г., мы находим уже вполне официальное изложение моисеевских, по существу, взглядов. «Нарастающее движение трудящихся масс,—говорится там,—должно поставить своей целью требование прекращения большевистских экспе-

риментов над народным хозяйством, признания их несостоятельности и перехода к рациональной экономической политике, базирующейся на реальных возможностях»... А сами «реальные возможности» рисуются в таком виде: «Прекращение системы бесшабашной национализации производства (!), предоставление здесь поля деятельности под демократическим государственным контролем общественной и частной инициативе, денационализация в той же обстановке отдельных промышленных предприятий или даже целых отраслей промышленности в зависимости от их величины и значения в системе народного хозяйства (?), уничтожение бюрократической системы управления теми предприятиями и отраслями промышленности, которые должны остаться в силу своего общенационального значения во владении и заведывании государства»... и т. д. и т. д. [1].

А на точку зрения ЦК стал, как само собою разумеется, и X Совет партии социалистов-революционеров. Только «Совет» нашел нужным «уточнить» еще более вопрос о «цепких иностранных руках», твердо заявив («тезисы по экономической политике», тезис 13-й): «задача восстановления производственных сил страны не может быть разрешена без участия иностранного капитала». В остальном, «Совет» лишь подвел итог всей предшествовавшей литературе, подтвердив (тезис 14-й), что «процесс восстановления производительных сил в России объективно определяется как процесс, в котором необходимо должны принять творческое участие государство, местные самоуправления, кооперация и отечественные и иностранные предприниматели» [2].

Для утешения же Чернова персонально «Совет» признал, что, «сливаясь в понятии трудового народа, как высшего единства, основные элементы этого единства—пролетариат, трудовое крестьянство и трудовая интеллигенция отнюдь не растворяются в нем и не утрачивают своих индивидуальных особенностей и различий» («Задачи и методы работы п. с.-р. среди пролетариата», 2). Классовая самостоятельность интеллигенции была, таким образом, признана. В специальной статье, комментирующей резолюции X Совета, Чернов подробно останавливается на этом моменте. «Интеллигенция, как идеологическая категория (?), характеризуется преобладанием в ее труде творческого начала, а творческое начало предполагает резко выраженную творческую индивидуальность и полную свободу ее выявления. Только правильная социологическая оценка роли интеллигенции в эпоху, когда человечество из игрушки своих собственных

---

[1] «Революционная Россия», № 10, стр. 10 и 11. Разрядка моя.—*М. П.*
[2] Там же, № 11, стр. 6. Разрядка моя.—*М. П.*

общественных отношений потребует стать их господином, вместе с выяснением для интеллигенции ее великой исторической миссии, может привлечь работника мысли, интеллигента, равноправным сочленом в тот тройственный союз, в котором другими двумя сочленами будут работник сохи и работник фабричного станка»[1].

А чтобы окончательно оградить черновскую невинность и устыдить «кунктаторов», «Совет» торжественно наклеивает на свою основную резолюцию фиговый листок, громко заявляя, что «как в первый подготовительный период, так и в дальнейшей борьбе, партия должна строго отмежевываться от всех элементов справа, отказаться от какой-либо, хотя временной, хотя бы тактической коалиции с буржуазией.— В связи с этим руководящие партийные органы должны принять самые решительные меры к устранению на будущее время всех попыток навязать партии отвергаемые ею методы и цели и к недопущению самой возможности сепаратной политики как отдельных товарищей, так и целых организаций»[2].

Это было напечатано в августе 1921 г. А в декабре того же года Зензинов писал Роговскому из Праги: «Вчера я имел 50-минутную беседу с Романом (чехо-словацкий министр Бенеш.—*М. П.*). Попрежнему мил и любезен—и, мне кажется, искренен. Мне очень не хотелось говорить с ним о Тамаре (деньгах.—*М. П.*), хотелось ограничиться одним информационным и «принципиальным» разговором, но положение здесь наше таково, что на такую роскошь мы пойти не могли, и потому с общего решения я должен был затронуть и весь вопрос о Тамаре. Сначала я дал ему подробную информацию и, конечно, особенно внимательно остановился на роли Феликса и его друзей (партии эсеров.— *М. П.*). Он слушал очень внимательно и в заключение сказал, что их информация вполне совпадает с нашей, процитировав о Феликсе и его друзьях мнение Горького— «если у кого есть в России будущее, то это, несомненно, только у Феликсовых». Затем я перешел к нашим возможностям и к нашему действительному положению и нарисовал ему всю картину. «Мы считаем вашу работу полезной и нужной как для Людмилы (России.—*М. П.*), так и для нас. Поэтому мы не допустим, чтобы ваша работа прекратилась. Но эта работа, в отличие от прошлого, должна происходить по определенному хозяйственному плану. С января вы будете получать на еженедельник пятьдесят тысяч. Я (Бенеш) лично постараюсь увеличить эту сумму до шестидесяти или шестидесяти пяти».—Тогда мною был поднят вопрос о долгах.—

---

[1] «Революционная Россия», № 10, стр. 10. Разрядка автора.—*М. П.*
[2] Там же, стр. 3. Резолюция по текущему моменту.

«Я скажу вам лишь то, за что впоследствии могу отвечать: я постараюсь помочь вам в этом деле, но для меня еще самого неясно, что я могу в этом отношении сделать. Во всяком случае обещаю сделать все возможное».—Выяснилось затем, что до января относительно Тамары в организованном порядке ничего нельзя сделать, но он обещал еще в декабре одолжить в счет будущих опять десять» [1].

Кснечно, тут нет и следа какой бы то ни было, «хотя временной, хотя бы тактической коалиции с буржуазией». Просто буржуазный министр одной из держав Малой Антанты, находя «работу» эсеров для Малой Антанты «полезной», обещал деньжонок. Обещал, нужно сказать, такие гроши—особенно непосредственно, наличными,—что Зензинов в дальнейшем больше уповает на заем у чешских социал-демократов. Так что знаменитая «чистота риз» могла быть соблюдена в максимальной мере—благодаря скупости буржуазного министра. Нет худа без добра.

Но когда, хотя бы и не очень успешно, обращаешься к буржуазному кошельку за деньгами на «работу», следует ожидать, что обладатель кошелька поставит определенные услсвия—потребует, чтобы работа велась «по определенному хозяйственному плану». И едва ли в этот «хозяйственный план», одобренный буржуазным министром, может входить в какой бы то ни было мере какая бы то ни была «социализация» или хотя бы пропаганда оной. Хотя «бессмысленные мечтания» Чернова были в значительной степени обезврежены, как мы видели, высшими партийными органами, от них остался все-таки очень неприятный осадок—что не могло пройти без возмездия со стороны действительно правящей, серьезной, деловой и добывающей деньги группы эсеров, тех самых «кунктаторов», которые и лично не могли простить разыгравшемуся «лидеру» щелчков по носу, раздававшихся «лидером» «кунктаторам» достаточно щедро. «Кунктаторы» должны были дать ответ по всей линии и противопоставить черновской идеологии свою, гораздо точнее отражавшую «наше здешнее положение», говоря словами Зензинова.

Для того, чтобы точнее представить себе значение этой «правой» идеологии, говорящей «б» после того, как «Совет» партии изрек «а», нужно вспомнить знаменитое письмо Чернова московским цекистам, фигурировавшее на процессе, письмо, где Чернов оправдывается в своем участии в работах «Совещания» бывших членов бывшего Учредительного собрания. Чернов оправдывал это участие тем, что таким путем он и его друзья «предотвратили р а с п а д организации: надо сказать, что Керенский, Минор и даже Зензинов

---

[1] «Работа эсеров за границей», стр. 73—78. С «общего решения», подчеркнуто мною, остальная разрядка автора письма.—*М. П.*

настолько были ангажированы во всем предприятии, что распад выразился бы просто в уходе всех левых. Денежные средства, организация, словом, все осталось бы в руках правых и центра, причем центр сделался бы пленником правых... Идея Керенского была развить работу организации в грандиозном масштабе, с транспортом и на Кавказ, и через Константинополь в Крым и Одессу, и через Румынию, и через Польшу, и т. д. Для этого нужны средства, средства и средства.—Но лично им, Керенским, были переведены в 1917 г. заграницу и депонированы в разных местах крупные суммы. У него явилась надежда получить их обратно, создав за границей представительный орган на основе совещания находящихся там членов Учредительного собрания».

Все это и побудило Чернова, несмотря на строгое запрещение садиться за один стол с кадетами, «изъявить согласие работать во фракции с.-р. членов совещания с такою целью: помочь с наивозможно меньшим политическим ущербом выбраться из всего этого предприятия».

Правая группа представляет собою, таким образом, материальный базис всей партии. Именно поэтому правая группа лучше понимает, на чем партия держится, и каковы ее реальные возможности были в прошлом, имеются в настоящем и рисуются в будущем.

Первым из этой группы выступил Керенский в цитированной уже нами статье «Февраль и Октябрь» («Совр. записки», IX).

Относительно прошлого он совершенно безжалостен и не допускает никаких иллюзий. «В 1917 г. со времени вступления представителей Совета во Временное правительство (конец апреля) и до корниловского заговора совершенно законное и значительное большинство п. с.-р. одобряло участие своих членов в правительственной коалиции, и не потому, что «во что бы то ни стало» жаждало коалиции, а просто потому, что совершенно правильно оценивая положение страны, не считало возможным возложить всю ответственность за управление государством и за ведение войны исключительно на одни лишь советские и социалистические элементы» (стр. 277).

Вот почему разрушать коалицию, отрывать эсеров от кадетов было задачей «контрреволюционеров слева» и «контрреволюционеров справа», большевиков и монархистов. «Оторвавшись от тех слоев буржуазии и несоветской демократии (!), которые так или иначе шли с революцией и ее правительством, имея вне своего единого фронта возродившихся после Корнилова большевиков—какую силу представляли бы в стране эсеровские и меньше-

вистские элементы? Весьма малую. В чем они и убедились впоследствии, и что тогда, в сентябре, они, если не сознавали, то во всяком случае уже чувствовали. Хорошо чувствовали, что, подталкивая их к разрыву с традицией революционной власти—с ее всенародностью,—большевики стремились только к ослаблению, к распылению революционных организационных сил, так же, как к этому стремились, с другой стороны, все военные и невоенные заговорщики, добиваясь еще с июля месяца выхода кадетов из Временного правительства» (стр. 279, разрядка моя.—*М. П.*).

Вот, оказывается, кто кадет с эсерами-то поссорил! Беда в том, что от генерала Деникина мы знаем, что лидер кадетов и лидер «военных и невоенных заговорщиков» сливались в одном лице [1].

Но мы не собираемся критиковать Керенского как историка—он интересует нас сейчас как один из представителей эсеровской идеологии. Итак, по его мнению революция без содействия некоторых «слоев буржуазии и несоветской демократии»—читай кадетов—осуждена была на поражение и оное потерпела в действительности.

А кто же оказался победителем? Ясно, что контрреволюция. Но, ведь, в октябре 1917 г. победили рабочие и солдаты? Но Керенского этим не запугаешь. «Величайшее несчастие заключалось в том, что, издавна привыкнув с первого взгляда опознавать обычную реакцию в «мундире», генерала на «белом коне», многие вожди революции и сама их армия не смогли во-время распознать своего самого опасного, упорного и безжалостного врага—контрреволюцию, перерядившуюся в рабочую блузу, в солдатскую шинель, в матросскую куртку». И Керенский предостерегает «идейных интеллигентов и молодых утопистов», разъясняя им, что «следует служить идеям, а не создавать идолов, хотя бы они и назывались «рабочими и работницами»; что нужно быть не с теми рабочими, которые расстреливают и сажают в тюрьмы, а с теми, которые этим операциям подвергаются» [2].

Трудно найти во всей право-эсеровской литературе строки более выразительные. Их содержание столь многогранно, что мы не обещаем исчерпать этот смысл целиком в нижеследующих строках—отметим лишь главнейшее. Во-первых, они дают вполне удовлетворительное доказательство объективной контрреволюционности Керенского. До сих пор люди, отказывавшие 25 октября в звании «революции» и соглашавшиеся признать этот день лишь датой «перево-

---

[1] См. Деникин, Очерки русской смуты, т. II, стр. 29—31.
[2] «Современные записки», IX, стр. 289 и 293. Разрядка моя.—*М. П.*

рота», основывались на том, что это был «заговор», устроенный «кучкой бандитов, шпионов» и т. д.: масс там не было. С этой легендой—давно, правда, брошенной даже кадетскими профессорами—мужественно расстается и Керенский: он теперь прямо признает, что против него были «рабочие и работницы», был пролетариат. «Но,—говорит Керенский,—это все-таки сволочь, ибо они шли не за меня, а против меня». С этой субъективной оценкой Керенского никто считаться не обязан: а объективный факт тот, что враг, низвергнувший «Временное правительство» 25 октября (7 ноября) 1917 г., был российский пролетариат—и этот факт Керенский признал.

Но это еще не все. В цитированных строках Керенского заключается утверждение, идущее дальше простой ругани рабочего класса, утверждение уже совершенно принципиальное. Рабочие, которые «расстреливают и сажают в тюрьмы», не заслуживают никакой поддержки; ее заслуживает лишь тот рабочий, которого расстреливают и гноят в тюрьме.

Что это значит? А ни более, ни менее, как отрицание за рабочим классом права на революцию. Мы увидим потом, что слова Керенского отнюдь не случайная обмолвка. Руднев выражается на этот счет еще более прямо и категорически. В самом деле, как можно представить себе революцию без того, чтобы ее врагов расстреливали и сажали в тюрьму? Как можно себе представить революцию без насилия? И за буржуазной революцией Керенский это право насилия безоговорочно признает. «Я помню,—говорит он,—с какой горечью в душе, но единогласно голосовало все Временное правительство закон о восстановлении смертной казни на фронте после прорыва у Тарнополя» [1]. Рабочих и солдат, нарушивших дисциплину буржуазного государства, расстреливать можно: только сами рабочие никого расстрелять не смеют.

В каком настроении Керенский совершил этот акт политического экзибиционизма [2], нам нелюбопытно: важно, что он выболтал общую постыдную тайну, не только правых эсеров, но и их друзей: Вандервельде, Шейдемана, Реноделя, Гендерсона («единственное мощное международное объединение рабочих партий, II Интернационал»,—пишет В. Руднев). Им всем нужен рабочий, которого расстреливают и держат в тюрьме и которого можно обманывать громкими фразами о рабочем движении и социализме. Рабочий-победитель, рабочий, который сам садит в тюрьму побежденную буржуазию и ее приспешников, им ненавистен не менее, чем самой этой буржуазии. Он кладет конец их карьере

---

[1] «Современные записки», IX, стр. 283. Подчеркнутые нами слова показывают, что и Чернов голосовал за смертную казнь.

[2] Так в медицине называется болезненное стремление показывать неприличные части своего тела.

лидеров и министров—после победы рабочего нельзя уже больше говорить о социализме, нужно его делать. А делать социализм и Керенский, и Чернов так же мало способны, как Милюков или Новгородцев. Только эти последние и не говорят о нем, почему морально следует, конечно, предпочесть кадетов эсерам. Дело—то же, но лицемерия меньше.

Но кадеты—сами «хозяева»,—Керенский сам не «хозяин», и в этом все дело. На фоне этой полной, можно сказать, бесшабашной, солидаризации с буржуазией вчитайтесь в фразы черновского письма о финансовой базе эсеровской партии. В самом деле: Керенский «перевел и депонировал в разных местах за границей крупные суммы». Из каких источников? Из казенных денег? У нас нет никаких оснований подозревать его в казнокрадстве. Так из своих «сбережений», что ли? Откуда они могли у него взяться, во-первых, а во-вторых, почему же ему для получения этих «сбережений» из заграничных банков понадобился «заграничный представительный орган на основе совещания находящихся за границей членов Учредительного собрания»?

Совершенно ясно, что деньги не лично Керенского и положены были не на его имя. Совершенно ясно, что это—субсидии каких-то капиталистов, русских или иностранных, безразлично, данные когда-то всему Временному правительству на предмет борьбы с революцией и положенные при содействии кадетов в банках на таких условиях, что получить их оттуда без согласия тех же кадетов нельзя. Вот вам «материальный базис» той «политической надстройки», которая получила имя «Совещания членов Учредительного собрания в Париже». Судя по письму Чернова («не надо ли вам субсидийки?» спрашивал он российских цекистов) «надстройке» удалось оказать «обратное влияние» на «базис», и кое-какие суммы Керенский выцарапал. Но кадеты, конечно, были не так глупы, чтобы выдать деньги безо всяких условий и выдать все без остатка. Дальнейшее развитие эсеровской идеологии свидетельствует, что веревочка, на которой кадеты водят российских «социалистов» («люди, которых Милюков называл «ослами слева» и которых я предпочитаю называть просто русскими социалистами»,—писал еще в апреле 1919 г. из-за рубежа один кадет расстрелянному впоследствии Н. Н. Щепкину), не стала после «совещания» ни длиннее, ни менее прочной.

Если к «а» резолюций X Совета сказал «б» Керенский, то к его собственному «а» сказал «б» Руднев. В своей чрезвычайно замечательной статье «Восстановление буржуазного строя и социалистические партии», напечатанной в последней XIII книжке «Современных записок», вышедшей в декабре 1922 г., он, безо всякой, столь свойственной Керен-

скому, истерики, деловито и увесисто обосновывает тезис: в России неизбежна буржуазная реставрация, рабочие не смеют ей сопротивляться, а эсеры должны ей содействовать.

Нет никакой необходимости подробно излагать эту длинную статью, обстоятельно развивающую (я не точно выразился «обосновывает»: фактов, подтверждающих его положения, Руднев не приводит, его конструкция чисто логическая), в сущности, немногие основные мысли, хорошо срезюмированные автором в заключительных «итогах». Словами этих «итогов», с небольшими добавлениями, мы их и изложим.

«В России социалистическая партия стоит перед перспективой восстановления буржуазно-капиталистического строя, миссией которого является не только возобновление и поддержание производства, но и накопление разрушенного основного капитала. Этот процесс требует прочности правопорядка, обеспечивающего свободу частно-хозяйственной инициативы, право частной собственности и минимум гражданских свобод» (стр. 294). Руднев соглашается, что «мысль о важности активной роли социалистов, хотя бы и умеренных, при воссоздании России на буржуазно-капиталистических основах, несомненно встречает психологическое сопротивление как в несоциалистических кругах, так и среди самих социалистов» (стр. 266). Притом, эта «активная роль» вовсе не обозначает, чтобы «воссоздание» было делом рук социалистов—отнюдь нет. Идея построения России «только левой», «исключительно силами социалистов, отрицая сколько-нибудь значительную творческую роль за буржуазией», есть «специфическая утопия» «социалистических кругов». Эта «левая бессмыслица» только «задерживает процесс прояснения сознания тех слоев рабочих и крестьянских масс в России, которые еще прислушиваются к голосу социалистической оппозиции» (стр. 267).

И, чтобы «рабочим и крестьянам» было совершенно ясно. Руднев договаривает все мысли до конца. «Буржуазный строй», охарактеризованный в первой цитате, это вовсе не есть юридическая оболочка нашего «нэпа», как может показаться с первого взгляда. Это есть восстановление г о с п о д с т в а п р е д п р и н и м а т е л е й: соглашаясь с эсеровскими цекистами, что и с буржуазией придется все же бороться, Руднев ставит точку над «и»: «целью ее (этой борьбы) я в л я е т с я у л у ч ш е н и е у с л о в и й т р у д а в р а м к а х б у р ж у а з н о г о с т р о я, а не устранение капиталистической системы как таковой» (стр. 295).

Итак, «восстановление буржуазного строя является предпосылкой возрождения страны; если демократия оттолкнет от себя долг обеспечить условия этого возрождения в интересах всего народа,—историческая задача будет выполнена в пользу определенных классов силами реакционными».

Или эсеры, или черносотенцы, или Керенский, или «Кирилл и Мефодий»: выбирайте, русские рабочие и крестьяне.

Повидимому, у Руднева не возникает сомнений, что крестьяне не затруднятся в столь лестном выборе. И, вспомнив, вероятно, горячие строки, вырвавшиеся когда-то у Чернова по поводу подобных рассуждений о необходимости покорного возвращения российского рабочего к старой роли капиталистического быдла [1], Руднев начинает утешать себя «наукою и опытом европейских государств», как некогда царский сенат при составлении судебных уставов Александра II. «Социалистическая идеология—надо это признать открыто—переживает не менее жестокий кризис, чем буржуазная. Жизнь нанесла сокрушительный удар господствовавшей до сих пор в Западной Европе марксистской концепции социализма». Будто уже и у граждан Вандервельде, Реноделя и Бернштейна господствовала «марксистская» концепция? «Опыт венгерской, германской и русской революции показал, что пролетариат одарен далеко не одними добродетелями, и что классовый эгоизм, близорукость в понимании собственных интересов и забвение интересов общенародных не являются пороком одной лишь буржуазии; показал тщету насилия и опасность изоляции пролетариата от остального народа» (стр. 296).

Опыт, скажет русский рабочий, показал, как будто, что мы вас, эсеров, держим в тюрьме, а не вы нас, несмотря на «единогласное решение» вашего «Временного правительства» в 1917 г. И насчет «тщеты насилия» русский опыт доказал, как будто, тщету только одного насилия: направленного против рабочего класса. Довольно понятно, что «опыт», кажется, не совсем удовлетворяет и нашего автора. И он опять хватается за «науку»—то-бишь за моральную категорию, начиная вопиять о «допустимости революционного насилия только в борьбе за демократический строй и отказ от него в условиях свободы политической и гражданской» (стр. 297).

Рабочие Америки и Франции, Швейцарии и Германии, слушайте! Вы не имеете права устраивать революцию против своих эксплоататоров. Даровав вам «свободу политическую и гражданскую», ваши капиталисты навсегда обеспечили себя от социалистической революции. Насилие могут они к вам применять, но добрые «социалисты» позаботятся об «улучшении условий» вашего «труда».

Но что если русские рабочие ответят «социалистам» словами их лидера Чернова: «Мы слишком много страдали, слишком много претерпели для того, чтобы вернуться к старому и всунуть голову в старое хозяйское ярмо. Чем

---

[1] «Революционная Россия», № 12—13, стр. 5.

сдаться, принести повинную, видеть, с каким злорадством и неприкрытым торжеством капиталист опять возьмет в свои руки бразды правления, лучше лечь костьми».

Не останется ли тогда в «ярме» только сам Чернов, которого водит на поводу Керенский, которого самого водят на поводу кадеты?

Через эсеровскую идеологию последних двух лет проходит именно эта цепочка, точно отвечающая «действительному соотношению сил»: от «социализации», руками и в руках интеллигентного мещанства, у Чернова, через помесь социализма с капитализмом в резолюциях X Совета, к чистому капитализму у Керенского и Руднева. Пестрота здесь только кажущаяся. Всю идеологию эсеров пронизывает одна идея, не положительная, правда, а отрицательная, но четкая как нельзя более: идея отрицания диктатуры пролетариата, переходящая у Руднева и Керенского в отрицание самой возможности социалистической революции. И на этой отрицательной идее сходятся Руднев и Каутский, российские эсеры и германские социал-демократы. Но мещанин напрасно думает, что, свергнув диктатуру рабочего, он сам станет диктатором: он работает на «третью силу»—о ней так любят говорить эсеры. И эта «третья сила» называется буржуазной реакцией.

«На идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией». Сборник статей. Издание «Красная новь». Главполитпросвет, Москва, 1923 г.

К ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЗРЫВА В МК РКП[1]

На мою долю выпадает очень почетная, но и очень трудная задача в кратких словах ознакомить вас с той историческсй обстановкой, в какой произошло покушение 25 сентября 1919 года, и выяснить непосредственно конкретный смысл этого покушения.

В конце лета, в начале осени 1919 г., Деникин был под Орлом. В самом конце августа по Москве, сначала шопотком, пронеслась еще более тяжелая весть—взят Тамбов и едва ли не взята Рязань,—это был набег Мамонтова. Юденич стоял в виду Петрограда тогда, теперешнего Ленинграда. Над Ленинградом и Кронштадтом летали английские аэропланы, и английские гидропланы чуть ли не каждые два-три дня напоминали своими появлениями о скором появлении еще более грозной морской силы.

В это время было любопытное настроение в Москве. Я никогда не забуду, как один из спецов, работавший перед этим весьма аккуратно, вдруг пропал. Бесследно пропал. Проходя по Тверской, я встретил его у окна одного магазина, но он поспешил отвернуться и уткнуть нос в выставку магазина, сделав вид, что меня не узнал. Теперь он у нас опять работает, могу вас успокоить, но тогда это было так, ибо человек уже знал, что в Москве сидит белое правительство, которое должно нас чуть ли не послезавтра расстрелять.

И вот в эту минуту пришло на выручку наше неизменное большевистское счастье. Надо сказать,—дело прошлое и сглазить ничего нельзя,—нужно сказать, что во время гражданской войны ни одной партии не везло так, как нам, большевикам. Оправдывалась старая латинская поговорка, что «смелым судьба помогает» (fortes fortuna iuvat). Я не хочу приводить эту поговорку в русской форме, ибо русская форма звучит немножно клерикально. Вы ее знаете—«смелым бог владеет». Но, несмотря на глупую форму, смысл поговорки верен. Мы имели смелость сделать то, о чем говорил т. Каменев, и судьба нам помогла.

---

[1] Историческая обстановка к моменту взрыва в сентябре 1919 года (из речи т. М. Н. Покровского на пленуме МК, посвященном памяти погибших при взрыве в Леонтьевском пер. 25/IX 1919 г.—25/IX 1924 г.)

При переходе границы был застрелен один из белогвардейских разведчиков, при нем были найдены документы, и по ним, как по нитке, мы подошли к раскрытию грандиозного заговора, который должен был нам ударить в тыл, в то время как Юденич и Деникин должны были на нас напасть с фронта.

Это было то, что проделывалось в период наступления Керенского на Ленинград в 1917 году; как тогда с тыла вспыхнуло юнкерское восстание, так и теперь, когда Юденич должен был наступать на Ленинград, должно было вспыхнуть восстание внутри, в Ленинграде и в Москве. Это было довольно серьезно налажено. Не только было правительство, о котором я вам говорил, но были готовы некоторые, правда небольшие, военные силы. Мы тогда плохо следили за подбором курсантов в наши высшие военные школы: там были не сплошь пролетарии и крестьяне и не сплошь коммунисты. И вот в некоторых из этих военных школ заговор свил себе прочное гнездо, рассчитывали на их присоединение, которое должно было дать этому удару с тыла тысячу—полторы винтовск в критическую минуту. Был выработан даже план военных действий. Кажется, потом ВЧК опубликовала в «Красной книге» этот план. Москва была размечена, было предположено действовать по линии Садовой, в некотором роде «обезьянничание» с наших действий в октябре 1917 г. Белые рассчитывали, что, если они будут подражать нам в наших военных действиях, то они одержат такую же победу. Но результат получился совершенно противоположный. Благодаря тому счастливому для нас событию, о котором я говорил, заговор был открыт. Заговорщики перехватаны и в суммарном порядке, который, вероятно, в такую минуту не осудило бы ни одно из достославных буржуазных государств со всеми его правами,—были расстреляны. Список расстрелянных появился в среду 24 сентября. В пятницу 26 сентября должны были быть митинги. Пятница—день митингов, и выступавшие в этот день товарищи-агитаторы, которым приходилось говорить о только что открытом заговоре и объяснять, почему были расстреляны эти люди, должны были получить информацию: этой цели информации, цели весьма невинной, и служили доклады Бухарина, Преображенского и мой, с которыми мы и выступили на расширенном собрании МК.

Тут судьба оторвала меня от моих товарищей, и благодаря этому я могу теперь с вами здесь разговаривать, не вспоминая даже о каких-нибудь ранениях. В пятницу, кроме этого, у меня была лекция в Свердловском университете. Окончив свой доклад, я, в качестве прилежного лектора, пошел домой готовиться к лекции. Только что я вышел на тогдашнюю Никитскую, теперь улицу Герцена,

как сзади меня со страшной силой хлопнула тяжелая дверь. Я оглянулся—улица пуста, никого, и двери такой, которая могла бы так хлопнуть, вблизи не было видно. Я сразу сообразил, что это взрыв, но мне и в голову не пришло связать этот взрыв с заседанием в МК—так были мы уверены, и правильно уверены, что мы окружены сочувствующими нам массами населения. Были, конечно, заграничные белогвардейцы, но ясно было уже по тем рабочим, перед которыми я только что говорил на заседании, что массы нам сочувствуют. Мне подумалось, что просто у Александровского училища взорвалась граната у часового. Александровское училище близко, и такие случаи бывают. Так я пришел домой. И только в 12-м часу я узнал по телефону от т. Рязанова, что взорван был МК.

Первая мысль была: кто взорвал? Обычное объяснение напрашивалось—тот, кому выгодно. Из той тысячи военных людей, которые с заговором были связаны, мог найтись один человек, который пошел и бросил бомбу; что бомба была брошена чрезвычайно трусливо, буквально из-за угла, с фитилем таким, что он горел 40 секунд,—этого я не знал. Мне казалось, что кто-то из присутствующих бросил бомбу, может быть, пожертвовав собой. Такого я был хорошего мнения о наших врагах. На другой день я обменивался мнениями с одним товарищем, старым большевиком, стоявшим близко к нашей боевой организации в 1905 г., а через нее имевшим связи и с эсерами и знакомым с их боевой техникой. Меня поразило, что этот товарищ мне уверенно сказал:

— Бомба эта эсеровская, вся техника их — это несомненно.

— Помилуйте,—сказал я,—причем здесь эсеры. Мы казнили белогвардейцев, и они нам мстят, и даже непонятно, почему только одно покушение было.

Мне казалось, что, как ни глупы эсеры, как ни мало они марксисты, как они ни далеки от коммунизма, все-таки нельзя представить себе, чтобы они объективно стали помогать белогвардейцам, чтобы эсеры, которые написали на своем знамени:—«борьба за землю и волю»,—стали помогать Деникину, за которым едут воза с розгами, за которым идут помещики и земские начальники,—я не мог себе этого представить. Вот, товарищи, еще лишнее доказательство, что история бывает много хитрее историка. Постепенно МЧК, ниточка за ниточкой, размотала этот клубок, и в конце концов оказалось, что бомба, действительно, эсеровская, что заговор, действительно, эсеровский, что непосредственным вдохновителем и главой был левый эсер, человек, которого мы великолепно знали, который работал с нами в Моссовете,—Д. А. Черепанов. Я до сих пор не могу забыть,

как он пел вместе с нами «Интернационал», и голос его звучал громче других. И вот этот Черепанов бросил бомбу в людей, собравшихся даже не для обсуждения дела об эсерах, а просто для того, чтобы осознать то положение, в котором они очутились, и выяснить его.

До эсеров добрались не сразу. Раньше появилось воззвание анархистов подполья, которые приписали эту честь себе. Они объясняли это так: «Вечером 25 сентября на заседании Московского комитета обсуждался вопрос о мерах борьбы с бунтующим народом»,—как превратились белогвардейцы в «бунтующий народ», предоставляю вам судить. И дальше: «Властители-большевики—все в один голос высказались на заседании о принятии самых крайних мер для борьбы с восстающими—рабочими, крестьянами, анархистами и левыми эсерами, вплоть до введения в Москве военного положения и массовых расстрелов». Так сни объясняли в своей прокламации. Для того, чтобы вы могли судить, что это за люди, которые взяли на себя одиум [1] проклятия, позвольте привести еще одну выдержку; их прокламация начинается: «Угнетенные всех стран, рабочие, крестьяне, женщины и дети...». Таково было их представление об обществе и о том, кто угнегается. А в заключение они кончили так: «Да здравствует федерация всех трудящихся: 1) транспортников, 2) почты и телеграфа, 3) сельского хозяйства, 4) добывающей и обрабатывающей промышленности, 5) работников снабжения, 6) партизан и 7) федерация развития науки, искусства, образования».

Я такой потрясающей безграмотности никогда еще не встречал ни в одном документе; это что-то совершенно исключительное. И сразу чувствовалось, что эти люди не могли придумать этой штуки, они были просто недостаточно хитры для этого, и ясно было, что сзади их стояла какая-то сила, более разумная, чем они, и больше понимавшая, что к чему. Дальнейшие показания этих самых анархистов подполья, постепенно захваченных МЧК и арестованных, вскрыли подкладку этого дела. Оказалось, что этот великий акт, который они объяснили как борьбу с властителями-большевиками, пришел к ним в голову только за 6 часов до взрыва. В четверг днем пришел к ним Д. А. Черепанов и тут же предложил им взорвать Московский комитет. Они согласились, поспешно снарядили эту бомбу, а затем отправились в МК, который им указал Черепанов, хорошо знавший этот дом, великолепно знавший потому, что раньше этот дом, бывший графини Уваровой, занимал ЦК левых эсеров. Черепанов проводил их через сад, и они бросили бомбу со столь длинным запалом, что успели пе-

---

[1] Ненависть.

релезть через забор и были в безопасности в Чернышевском переулке, когда произошел взрыв. Черепанов хорошо знал, что он делает, и показание его было такое:

«Собрание 25 сентября главных ответственных партийных работников в Московском комитете как нельзя лучше могло быть рассматриваемо, как главнейший виновник, тем более, что на этом собрании предполагалось присутствие гражданина Ленина».

Присутствие «гражданина Ленина» в действительности, конечно, не предполагалось, ибо Бухарин, Преображенский и я своим информационным докладом не могли т. Ленину сообщить ничего интересного, он все отлично знал без нас, но здесь факт чрезвычайно характерный. 25 сентября 1919 г. мы имели неудачное повторение выступления Каплан, неудачную попытку убить Ленина,—и с точки зрения левых эсеров это имело известный смысл. Левые эсеры и то крыло, к которому принадлежал Черепанов и которое сами эсеры исключили из своей партии, это левое крыло объявило нам войну с 1918 года и не хотело отказаться от нее, оно эту войну продолжало и хотело проявить себя чрезвычайно эффектным актом убийства Ленина вместе с Московским комитетом. Несчастные парнишки анархисты, которые были потом расстреляны,—о мертвых нехорошо говорить плохо,—но эта была просто одураченная шпана, которой вскружили голову принципиальные враги большевизма и коммунизма для того, чтобы их использовать. Погом уже в своей прокламации они написали, что на заседании Московского комитета обсуждались меры борьбы с бунтующим народом и т. п., а вначале эсеры к ним пришли и сказали, что большевики собираются сдавать Москву Деникину. И анархисты, которые протестовали даже против угнетения детей, оказались такими квасными московскими патриотами, что решили бросить бомбу.

Я бы, товарищи, не хотел, чтобы вы к этому трагическому моменту подошли просто, как к нелепому эпизоду. Нет. Это один из знаменательных моментов нашей войны. Здесь, как в фокусе, сошлись все мелкобуржуазные партии. Во-первых, анархисты подполья, эта типичная мелкобуржуазная партия, в которую входят отчасти ремесленники, отчасти рабочие—люмпен-пролетариат, живущий случайным заработком,—это первая группа, самый низ. А выше мы встречаем левых эсеров—типичнейшую мелкобуржуазную организацию, которая поражала своим обывательским мещанством даже в тот период, когда мы, не к очень большому нашему счастью, были с ними в союзе. Все левое крыло, в котором был Черепанов, это тоже типичнейшая мещанская, мелкобуржуазная интеллигенция, которая не приняла Брестского мира и считала, что вот, ежели «я» «не принял» Брестского мира,

так это дает мне право убить «принявшего» этот мир вождя пролетариата, убить Ленина. Это типичнейший мещанский индивидуализм. Но подождите, в этой компании есть другая часть, и эта другая часть играет соответствующую роль. Анархисты были рукой, левые эсеры были мозгом, но были еще и обслуживающие. Теперь у нас есть школа обслуживающего труда, тут тоже был обслуживающий труд, и, конечно, этот обслуживающий труд выполнялся меньшевиками. Здесь был меньшевик Молчанов, который печатал в типографии все те анархические прокламации, отрывки которых я здесь читал. Здесь были налицо все элементы мелкой буржуазии и противники коммунизма, и вот это-то и делает этот эпизод чрезвычайно выразительным и интересным.

Мелкая буржуазия не заняла самостоятельной позиции в нашей революции. В противоположность французской революции, которую она вела, в русской революции она топталась, бежала петушком за революцией пролетариата, но ничего своего не создавала. Единственное мелкобуржуазное правительство, которое было у нас выдвинуто,—это правительство Керенского, на другой день оказавшееся правительством империалистической буржуазии, и которое фактически интересов мелкой буржуазии вовсе не обслуживало. И то, что было с Керенским, повторялось на всем протяжении гражданской войны и чрезвычайно ярко сказалось в эпизоде со взрывом МК, а тем более в покушении на убийство т. Ленина. Вы знаете, кому бы пошло на пользу убийство т. Ленина,—Деникину, Юденичу и белогвардейской монархической реакции, никому другому. Чьи руки должны были это сделать? Это должны были сделать руки мелкой буржуазии. Если внутри мелкой буржуазии одураченным элементом явились несчастные анархисты подполья, то внутри всего блока, двигавшегося против советской власти, эту роль одураченных играла мелкая буржуазия в целом, со всеми ее представителями—левыми эсерами, меньшевиками и анархистами. Такова судьба мелкой буржуазии во все критические минуты пролетарской революции. Но мы и здесь оказались счастливцами. Наиболее обширный отряд мелкой буржуазии—крестьянство—оказался на нашей стороне в силу своесбразных условий нашей революции, направленной сразу против фабрикантов и против помещиков. И так как Деникин, Юденич, Колчак—это было совершенно очевидно—были представителями помещичьих интересов, то тут, конечно, для крестьянства выбора быть не могло. Оно было с нами все время, и оно осталось с нами до сих пор. Наша задача теперь—уже мирными средствами удерживать его с нами до конца. По мере того, как растет империализм,—мне приходилось об этом говорить в другой связи,—наша

связь с крестьянством становится прочнее именно потому, что империалистический, монополистический капитализм душит мелкого сельского производителя, кто бы он ни был— русский крестьянин или американец, все равно он душит эту массу и поэтому она не пошла против нас. И только городское мещанство, из которого составились группировки, участвовавшие во взрыве 25 сентября, в том числе и омещанившиеся группы рабочих,—оказалось подходящим материалом для того, чтобы способствовать белогвардейской реакции.

И вот, товарищи, о 25 сентября 1919 года, помимо всего прочего, мы должны сказать, что это был окончательный провал у нас мелкобуржуазной демократии. Эта мелкобуржуазная демократия не сумела в свое время остановить войну, хотя это было также в интересах мелкобуржуазной массы, она не сумела наладить хозяйство. Она не сумела занять самостоятельной роли, но она хотела в самые решительные минуты нанести смертельный удар в спину тому, кто боролся с белогвардейской реакцией, и в этом, как во всем другом, она потерпела неудачу. Есть мнения, к сожалению, распространенные не только в меньшевистских кругах, будто бы наша революция была по существу революцией буржуазной, а не социалистической. Этому мы, в числе других аргументов, а их у нас без конца, можем противопоставить 25 сентября 1919 г. Если толпа одураченных мещан в это время нашла нужным нанести нам смертельный, по ее мнению, удар в спину, то это потому, что мы бились за дело коммунизма, которого мещане не понимали и органически неспособны были понять, и этим своим выступлением они оправдали, как правильно сказал т. Каменев, всю гражданскую войну, которую мы вели. А той кровью товарищей рабочих, которая пролилась в Леонтьевском пер., они еще раз и еще прочнее связали нас с рабочей массой. Мне пришлось приблизительно через 3 дня после этого взрыва выступать на московском рабфаке, и я должен сказать, что такого настроения масс, которое я встретил там, я не видал с октября 1917 г. Левые эсеры бомбой воскресили все настроение нашей пролетарской революции, ибо весь пролетариат понял, что это был удар по рабочему классу и его революции.

«Спутник коммуниста», № 8, ноябрь 1924 г., Орган Московского комитета РКП(б).

СОВЕТСКАЯ ГЛАВА НАШЕЙ ИСТОРИИ

Мы все еще не собрались написать истории Октябрьской революции,—а уж прошло семь лет послереволюционной нашей истории. И каких лет! Одна гражданская война стоила бы пяти французских Вандей, ибо Вандея, о которой слыхал всякий грамотный человек, это немного побольше нашей антоновщины—и поменьше антоновщины и махновщины, вместе взятых. И о Вандее слыхал всякий грамотный человек, а о нашей гражданской войне впятеро больше написали русские эмигранты, использовывая предоставленный им нами досуг, чем коммунисты. Даже наши хроники революционного периода останавливаются пока на первом его годе, а идет уже восьмой год, как революция одержала победу и скоро пойдет девятый с того дня, когда революция началась.

Самобичеванием и сожалениями, конечно, тут делу не поможешь. Единственный способ реального продвижения вперед состоит в том, чтобы поставить революционный период темой для семинарской работы какого-нибудь учебного заведения типа Института красной профессуры. Для гражданской войны это уже и сделано. Если дело пойдет не хуже, чем с революцией пятого года и межреволюционным периодом, через год мы будем иметь ряд монографий, опирающихся отчасти на архивный материал. Но этим будет освещен лишь один эпизод истории семи лет,—правда, эпизод самый яркий, если не самый важный: Ленин еще в 1905 году предсказал, что защита завоеваний революции будет труднее, чем самые завоевания[1].

Но монографии помогут нам понять отдельные эпизоды,—они не дадут нам схемы всего периода. Пишущий эти строки небольшой поклонник схематизации и периодизации в истории. Этим очень любили заниматься русские историки конца XVIII—начала XIX вв., т. е. додиалектического периода нашей исторической литературы. Как

---

[1] «Если русское самодержавие не сумеет вывернуться даже теперь, отделавшись куцой конституцией, если оно будет не только поколеблено, а действительно свергнуто, тогда, очевидно, потребуется гигантское напряжение революционной энергии всех передовых классов, чтобы отстоять это завоевание» («Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», «Вперед», № 14, 30/III—1905).

только повеяло духом диалектики, хотя и в идеалистической ее форме, Соловьев стал говорить, что дело историка «не дробить, не делить историю на периоды», а попытаться выяснить внутреннюю связь исторических перемен. В новейшее время произошло некоторое возрождение вкуса к периодизации, и любитель схем, Н. А. Рожков, находит много поклонников. Можно думать, что это не свидетельствует о чрезмерной диалектичности мышления последних. Но нельзя отрицать, что, будучи научно весьма слабым приемом, периодизация весьма полезна педагогически. Если не фетишизировать вех, нами самими расставленных на пути истории, а пользоваться ими,—как и полагается пользоваться вехами,—лишь для ориентировки, начинающему они помогут понять особенности важнейших этапов прошлого.

С этой точки зрения имеет некогорое себе оправдание и попытка периодизации «истории семи лет», которой посвящены нижеследующие страницы. Она не опирается на изучение архивов или даже хотя бы исчерпывающее знакомство с печатным материалом. Факты, которыми я пользуюсь, более или менее общеизвестны. Мы все их переживали и благополучно забывали их, как только они были пережиты. Между тем, если их припомнить в их хронологической последовательности, получается любопытная картина тех напластований, из которых постепенно сложился теперешний Союз советских республик.

Так как у схемы должен быть какой-нибудь основной принцип, то я беру лишь одну сторону исторического процесса, которая мне представляется важнейшей: положение пролетарской диктатуры в ее отношении к непролетарским элементам, как внутри страны, так и во внешнем мире, за границей. Против этого можно возразить, что исходной точкой тут является не экономика, не развитие производительных сил, но политика. Я думаю, однако, что для данного периода это совершенно правильно. Поскольку Россия 1914 г. была уже определенно империалистической страной, экономика, определявшая ее судьбы, была не местная, но мировая: из этой мировой экономики можно объяснить империалистическую войну (политический факт), разрушившую хозяйство царской России и тем вызвавшую революцию 1917 года; из туземных же экономических условий объяснить участие России в империалистической войне нельзя [1].

Что при таких условиях наша революция с самого начала должна была принять характер той социалистической революции, о которой в 1905 году приходилось

---

[1] См. мою вступительную статью к русскому переводу книги Каутского «Как возникла мировая война» и мою же статью «Как русский империализм готовился к войне?» (Большевик», № 9).

говорить, как о более или менее отдаленной возможности, разумеется само собой. В первые годы нэпа в наши ряды, несомненно, стала просачиваться меньшевистская концепция Октябрьской революции, как переворота по существу еще буржуазного, не выходящего непосредственно из пределов капиталистического хозяйства. У меньшевиков эта точка зрения обстоятельнее всего развивалась Далиным, в его книге «После войн и революций». Отзвуки этой концепции продолжают слышаться и до сих пор, и мне на одном докладе была подана записка, автор которой, со ссылкою на слова т. Ленина, пытался обосновать далинскую мысль. Лишь поскольку такие мысли бродят еще в наших головах, стоит посвятить этому вопросу несколько строк, хотя бы для того, чтобы напомнить подлинные и пророческие слова т. Ленина, в его брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», написанной в середине сентября 1917 г. Здесь, в числе «главнейших мер» для предупреждения грозящей катастрофы, на первом месте названы такие: «1. Объединение всех банков в один государственный контроль над его операциями или национализация банков. 2. Национализация синдикатов, т. е. крупнейших монополистических союзов капиталистов (синдикаты: сахарный, нефтяной, угольный, металлургический и т. д.)».

Считать эти мероприятия (действительно проведенные в жизнь в течение 1918 года, едва ли нужно об этом упоминать) невыходящими из рамок капиталистического строя, мог бы только человек, чрезвычайно «либерально» понимающий слово капитализм. Конечно, бывали ведь люди, которые вообще крупное производство отождествляли с капитализмом: при таком понимании дела капитализм всегда останется. Но если понимать под капитализмом то, что он действительно собой представляет—частную собственность на орудия крупного производства, то предлагавшиеся в сентябре 1917 года т. Лениным меры были, конечно, уже мерами социалистическими. Ленин ставил этот вопрос совершенно отчетливо, в его брошюре имеется специальная глава под названием: «Можно ли итти вперед, боясь итти к социализму?», где мы находим такие строчки: «Предшествующее изложение легко может у читателя, воспитанного на ходячих оппортунистических идеях эсеров и меньшевиков, вызвать такое возражение: большинство описываемых здесь мер, в сущности, не демократические, а уже социалистические меры...», и дальше, обличив эсеров и меньшевиков в непонимании того, что такое империалистические монополии, что такое государство, что такое революционная демократия, Ленин кончает: «поняв это, нельзя не признать, что нельзя итти вперед, не идя к социализму». «Ибо, если крупнейшее капиталистическое предприятие ста-

новится монополией, значит оно обслуживает весь народ. Если оно стало государственной монополией, значит государство (т. е. вооруженная организация населения, рабочих и крестьян, в первую голову, при условии революционного демократизма)—государство направляет предприятие, в чьих интересах? Либо в интересах помещиков и капиталистов,—тогда мы получаем не революционно-демократическое, а революционно-бюрократическое государство, империалистическую республику; либо в интересах революционной демократии,—тогда это и есть шаг к социализму».

Таким образом, уже за полтора месяца до захвата власти в России пролетариатом, вождь этого последнего прекрасно предвидел социальные и экономические последствия этого захвата,—последствия, совершенно неизбежные, с железной логикой вытекавшие из того обстоятельства, что революция наша была бунтом против империализма, т. е. монополистического капитализма, т. е. той формы капитализма, которая в данный моменг господствовала на земном шаре. И Ленин, на которого ссылался мой оппонент, был, конечно, против не этого низвержения империализма,—к нему он звал, а против изничтожения сразу, без всяких промежуточных мер, тех отсталых, домонополистических форм частнохозяйственного производства, которые определяющей роли уже не играли, но к социализации еще не были готовы. Для этих отсталых предприятий им и предлагалась такая промежуточная мера: «... 4. Принудительное синдицирование (т. е. принудительное объединение в союзы) промышленников, торговцев и хозяев вообще».

Из этого следует, разумеется, что Ленин был против военного коммунизма в том его проявлении, когда милиционер отнимал молоко у привезшей его в город крестьянки и выливал оное на мостовую, во славу государственной монополии торговать молоком. У т. Бухарина эта картина вызвала восклицание, что это не социализм, а чорт знает что. Чорт знает с чем планы Ленина, конечно, ничего общего не имели, но социалистический, в настоящем понимании этого слова, характер нашей революции был им поставлен совершенно твердо и отчетливо.

Из характера нашей революции как антиимпериалистического бунта следовал непримиримый антагонизм Советского государства со всем империалистическим миром. Но было бы крайней наивностью понимать этот антагонизм как состояние формальной и открытой войны с этим миром,—точка зрения, не чуждая некоторым из «левых коммунистов» эпохи Брестского мира. Такой взгляд был явным пережитком идеологического объяснения международных отношений, которое так свойственно было Второму интернационалу. Это идеологическое объяснение

учило, что феодальное государство в своей внешней политике всегда, безусловно, враждебно буржуазному, а буржуазное всегда будет враждебно социалистическому, и т. д. На самом деле, реальные отношения между странами диктуются реальными интересами их господствующих классов, а вовсе не идеологией этих последних. Теперь, когда мы знаем, что дворянская, крепостническая Россия в 1848 году искала союза республиканской, демократической и, во всяком случае, буржуазной Франции, Ламартина и Кавеньяка, когда мы вспомним, что франко-русский союз завязался в ту именно пору, когда в России Александра III свирепствовала жесточайшая дворянская реакция, а во Франции только что подошла к власти партия радикалов,—иллюзии Второго интернационала кажутся весьма наивными и пригодными лишь для того, чтобы облегчить германской социал-демократии поддержку Вильгельма в его борьбе с царской Россией. Нет никакого сомнения, что правившие Германией осенью 1917 года фабриканты, помещики и банкиры с чрезвычайной охотой и удовольствием расстреляли бы большевиков, но их реальные интересы заставляли их не только вести с большевиками переговоры, но и быть с ними крайне предупредительными и вежливыми. И это обстоятельство мы должны были использовать для упрочения пролетарской диктатуры, если только мы не были окончательными дураками. Ибо, помимо того, что мы шли к власти с мандатом заключить мир во что бы то ни стало, это было непременное условие, под которым мы взяли власть, и если бы мы этого условия не выполнили, то нас постигла бы участь Керенского,—не говоря уже об этом, Брестский мир был великолепным стратегическим маневром, создав из германского фронта прикрытие для нас, в самый трудный момент нашего существования, от гораздо более опасных для нас антантовских фронтов. Если бы английские, французские и американские империалисты имели с нами непосредственную границу, с нами легко могло бы приключиться то, что полтора года спустя случилось с советской Венгрией. Если нас не постигла участь последней, то, отчасти, благодаря тому, что англичане имели возможность высаживаться только в таких отдаленных от наших жизненных центров местах, как Мурман и Архангельск.

Итак, Брестский мир был чрезвычайно для нас спасительным. Но это нисколько не мешало ему быть не правилом, а исключением в том антиимпериалистском бунте, который мы начали. Это не был ни прочный, ни, главное, настоящий мир. И вот это последнее обстоятельство, что мир был не настоящим, был худым миром, который лучше только доброй ссоры, это обстоятельство в 1917 году, несомненно, ускользало от внимания наших широких кру-

гов. От иллюзии неизбежной формальной войны с империализмом мы легко скатывались к иллюзии настоящего, хотя и непродолжительного, мира с империалистами. Вот почему этот период нашей послереволюционной истории, период, охватывающий время от октября 1917 по август примерно 1918 года, можно назвать периодом пацифистских иллюзий.

Иллюзии эти в массовой работе принимали самые разнообразные формы. То мы собирались разбазаривать десять миллионов аршин ткани из интендантских складов старой армии и торговались с Красной армией, только что возникавшей тогда, из-за каждого миллиона аршин; то мы отпускали на все четыре стороны московский комитет кадетской партии, на аресте которого настаивали рабочие; то мы позволяли, под самым у себя носом, эсерам заключать договоры с французской миссией на предмет спускания под откос советских поездов и взрыва мостов на наших железных дорогах, позволяли тем же эсерам партиями свозить белогвардейское офицерство и генералитет в Поволжье, готовя контрреволюционный взрыв, в то время как эсеровская фракция легально продолжала заседать во ВЦИКе; то мы собирали отборных академических зубров и пытались, «по соглашению» с ними, выработать новый устав высшей школы, и т. д., и т. д., словом, всех наших пацифистских глупостей того периода и не перечтешь. И немудрено, что совершенной неожиданностью для большинства из нас было чехо-словацкое восстание конца мая 1917 года,—а оно было началом вполне обдуманной и издалека подготовлявшейся интервенции, которая, в виду прикрывавшего нас от непосредственной атаки со стороны Антанты германского фронта, не могла принять какой-либо иной формы.

Ряд ударов лета 1918 года, восстание левых эсеров в Москве, восстание правых эсеров в Самаре, восстание савинковцев в Ярославле, убийство Володарского, убийство Урицкого, наконец, покушение на Ленина 30 августа, ликвидировали наш пацифизм до тла. Осенью 1918 года мы объявили красный террор, бросили все живое на фронты гражданской войны, начали ту героическую борьбу, которая наполнила второй период истории последних 7 лет, период гражданской войны, в тесном смысле этого слова, тянущийся с августа 1918 года до весны 1920 года. Я не ставлю своей задачей описывать этот период: вкратце он всем известен, подробное его изучение будет поставлено на твердые рельсы, будем надеяться, тем семинарием Института красной профессуры, о котором говорилось вначале. Здесь важно отметить, что этот период внес в нашу психологию, если не в нашу идеологию, определенные новые черты, чуждые ей в 1917-18 гг. Я никогда не забуду на-

ших молодых коммунистов-просвещенцев, уезжавших на фронт со всем обличием, приемами и манерами человека пера и книжки, и возвращавшихся с фронта бравыми военными людьми, с наружностью, немного даже неприятно напоминавшей прапорщиков и поручиков доброго старого времени. Да простят мне эти товарищи эго беглое воспоминание об их наружности. Внутренно они, конечно, остались тем, чем были—добрыми коммунистами. Они даже стали лучшими коммунистами, чем были, ибо, раньше наполовину теоретическая, борьба с империализмом стала для них теперь живой и суровой действительностью. Но они вернулись военными коммунистами. Вернулись с уверенностью, что то, что дало такие блестящие результаты по отношению к колчаковщине и деникинщине, поможет справиться со всеми остатками старого в любой иной области.

Начался период милитаризации. Все милитаризировалось, до народного просвещения включительно. Сам наркомат был построен по военному типу,—с планирующим и составляющим диспозицию штабом, государственным ученым советом, и «оперативными» частями, главками. Милитаризировалась высшая школа, появились медвоенкомы и т. д., и т. д.

Больше всего подверглось, конечно, милитаризации народное хозяйство, появились «трудармии» и т. п. Под конец вся деревня была подчинена, фактически, полувоенному режиму,—и курьезнее всего, что инициатором этой последней милитаризации был один из главных антимилитаризаторов того периода. Это показывает, как могущественна была зараза.

Что соблазняло и увлекало нас в этом угаре милитаризации? Две вещи, по-моему. Во-первых, к этому времени уже определенно выяснилось, что рабочая революция на Западе запаздывает, что ожидать появления социалистического хозяйства в капиталистических странах Западной Европы с сегодня на завтра не приходится. Приходилось создавать это социалистическое хозяйство, которое в первый, «пацифистский» период мыслилось в общеевропейском плане; Россия только «начинала» создавать собственными, «национальными» силами. Это с одной стороны. С другой—быстрота ликвидации белых фронтов, окончание гражданской войны, сулившей бесконечные годы бойни, всего в 2 года, порождало надежду, что дело пойдет так же быстро и в хозяйственном строительстве, стоит только пустить в ход военные приемы. Все это, вместе взятое, и обеспечило военному коммунизму, хотя короткий, но блестящий успех.

Читатель видит, что я выделяю военный коммунизм в особый, третий период истекшего 7-летия. Я решительно отказываюсь причислять к «военному коммунизму» наши со-

циалистические мероприятия 1918 года. Ничего военного в этих мероприятиях не было. Важнейшее из них,—национализация банков,—было проведено нами в разгаре наших пацифистских иллюзий, когда в возможность настоящего мира, хотя бы на короткий срок, верил, кажется, даже т. Ленин. Проводился этот первоначальный социализм вовсе не военными приказами сверху, а под нажимом рабочей массы. Плановое хозяйство складывалось довольно стихийно и разрозненно, и отвечало необходимости как-нибудь увязать лишенную банкового руководства промышленность,—словом тут все шло от экономики, а не от политики. Между тем, характерной особенностью подлинного военного коммунизма 1920 года и было то, что в нем экономика должна была плясать под дудку политики. Забыта была фраза т. Ленина, написанная не очень задолго до этого, в 1916 году: «экономике нельзя приказывать».

Весною 1921 года эта фраза т. Ленина и оправдалась. Построенная в шеренгу экономика расстроила ряды и «замитинговала». Это обстоятельство заставило изменить не направление, по которому мы шли, как показалось в первую минуту некоторым близоруким людям, а темп нашего движения и приемы нашего действия. С этим изменились и наши отношения к непролетарскому миру как за границей, так и внутри страны. Тов. Ленин в своей речи перед X Съездом назвал поворот в нашей политике «крестьянским Брестом». Это было очень меткое название в том смысле, что, как Брест 1918 года покончил с идеологическим и, по существу, идеалистическим подходом к международным отношениям, так новая экономическая политика покончила с идеалистическим подходом к деревне. Мы стали исходить не от воображаемого нами плана будущей деревни, а от реальных возможностей деревни настоящей, «деревни, как она есть». Это никоим образом не значило, что по отношению к деревне мы отказались от коммунизма: мы отказались только от военных методов проведения коммунизма в деревне, вот и все.

Новый период истории 7-летия, по счету четвертый, на первых порах был связан с целым рядом иллюзий, уподобляясь в этом отношении первому периоду. Отличие было в том, что на этот раз иллюзии были двухсторонние. В 1918 году мы заблуждались относительно истинных намерений и чувств буржуазии, в особенности отечественной. В 1921 году заблуждались—далеко в меньшей степени, чем в 1918—и мы, но гораздо больше заблуждалась на наш счет буржуазия. Наши собственные иллюзии сводились, главным образом, к переоценке личной инициативы и, в связи с этим, частнохозяйственного почина в деле поднятия промышленности. В «реакционном», по отношению к «военному коммунизму»

настроении нам казалось, что стоит отказаться от методов «военного коммунизма», и, можно сказать, эта самая инициатива попрет из земли, а вместе с нею явятся в промышленность и скрывавшиеся на нелегальном положении частные капиталы. Это дополнялось другой иллюзией, будто и заграничные и частные капиталы немедленно возжаждут использовать открывшиеся в России возможности, которые нам, опять-таки по конграсту с «военным коммунизмом», представлялись огромными.

Ни того, ни другого не случилось, и не могло случиться. Частный капитал из нелегальной спекуляции переместился в легальную торговлю, в особенности розничную и полурозничную, с ее быстрым оборотом, но в промышленность, с ее, сравнительно, медленным оборотом и невысоким уровнем барыша, этот, вскормленный бешенной спекуляцией предшествующего периода, частный капитал не пошел. Промышленность пришлось восстановлять пролетарской диктатуре собственными усилиями, без какой-либо помощи даже из-за границы, ибо и европейский капитал неохотно шел в советскую обстановку, пока он мог работать в привычных для него условиях буржуазного общежития. Только когда дома почва начинала становиться очень уже горячей, западные капиталисты начинали поглядывать и на обновленную, в смысле экономической политики, Россию: так было с германским капиталом в период наибольшей остроты германского рабочего движения. Но и это было явление временное и преходящее. Европейская и американская буржуазия выжидала «дальнейшего развития» нэпа.

Вот тут-то и имела место следующая, уже не наша, а ихняя, буржуазная иллюзия. По мере того, как выяснялось действительное отношение частно-хозяйственной инициативы к возрождению советской промышленности, льготы для частного капитала у нас, естественным образом, должны были не увеличиваться, а уменьшаться. Нэп был создан вовсе не для кормежки спекулянтов. И, к горькому разочарованию заграничных буржуазных наблюдателей, вместо дальнейшего развития капиталистического хозяйства, у нас начала происходить «коммунистическая реакция». Это в то время, как по законам всех приличных революций оные должны были кончаться реакцией буржуазной.

Это так огорчало буржуазных наблюдателей, приезжавших взглянуть на «обновленную» Россию, что у них начались буквально галлюцинации. Иначе нельзя объяснить то, например, что пишет о Москве гостивший здесь многие месяцы американский профессор Гольдер [1]. Там, где его глаз

---

[1] «Current History», February, Изд. Нью-Йорк, «Таймс».
«The tragic Failure of Soviet Policies» («Трагический крах советской политики»), Frank A. Golder. (Гольдер недавно умер. Примеч. 1929 г.—*М. П.*).

в 1922 году, в разгаре иллюзий нэпа, видел величайшее коммерческое оживление, в 1923 пред ним расстилалась пустыня, на которую смотрели заколоченные окна магазинов и среди которой блуждали остатки голодающего населения. Так как наш глаз ничего подобного усмотреть не может, то остается одно из двух предположений: или страдает галлюцинациями профессор Гольдер, или галлюцинируют полтора миллиона жителей Москвы. А так как индивидуальные галлюцинации все-таки более обычное явление, нежели массовые, притом для миллионов людей сразу, то, рассуждая совершенно объективно, медицинским образом, приходится решать вопрос не в пользу проф. Гольдера.

Этот профессор, историк по специальности, и дает нам в своей хронологии точку опоры для периодизации нэпа. Эра новой экономической политики естественным образом распадается на два периода—период, когда на глазах проф. Гольдера были розовые очки, и период, когда он их сменил черными. Это 1923 год с его «ножницами» и финансовой реформой. «Ножницы» были своеобразной экономической реакцией на все предшествующие периоды в области соотношения цен на сельскохозяйственные продукты и на фабрикаты. Октябрьская революция нашла резкое нарушение тех соотношений в этой области, к которым привыкла довоенная Россия. Если мы возьмем цену ржаной муки 1913 года за сто, то в довоенных копейках на первое января 1921 года мы получим 139,—тогда как, если мы возьмем за сто же цену пары сапог, мы получим на то же число только 130. Такие же цены держались еще и в 1922 году: на первое апреля этого года цены на хлеб стояли, в советских дензнаках, почти в три миллиона выше довоенного, а цены на продукты промышленности только в два миллиона раз. Обратное отношение, развернувшееся в 1923 году, и было своеобразной реакцией, показывавшей, по существу дела, что мы вышли из военного периода нашей экономики, когда города и промышленные районы представляли собою нечто вроде осажденных крепостей, причем осаждающие опирались как раз на производившие хлеб окраины. К 1923 г. не только осада была снята, но вымерли окончательно и сложившиеся в осадный период соотношения цен, наступила, повторяю, экономическая реакция, и палку пришлось перегибать уже искусственно в противоположную сторону, чтобы в положении осажденной крепости не оказалась деревня.

Это было далеко не единственным отражением гражданской войны на нашей экономике. Я не помню, чтобы кто-нибудь подходил с этой точки зрения к голоду 1921 года: а, между тем, если вы наложите карту наиболее остро голодавших районов на карту белых фронтов 1918—1920 гг., вы получите удивительнейшее и чрезвычайно красноречивое

совпадение. Голодал, как правило, бывший театр гражданской войны, где хозяйство было подшиблено перекатывавшимися через деревню по нескольку раз в том и другом направлении фронтами. Наоборот, то что советская власть прочно держала в руках, куда не заходил ни Колчак, ни Деникин, то не только уцелело от голода, но в 1921 году давало даже картину исключительного процветания: Московская губерния, в некоторых уездах, не запомнит такого урожая, как в этот «голодный» год. Мы, по старой привычке, все больше считаемся со стихийными, природными силами, и, конечно, считаться с ними нужно, но забывать социальные причины отнюдь не следует. Засуха, конечно, засухой, но без помощи Колчака, Деникина и Врангеля до каннибализма засухе все же довести дело не удалось бы.

То, что наблюдателю в черных очках показалось коммунистической реакцией, на самом деле, было просто ликвидацией последствий гражданской войны, притом ликвидацией, совершенной нашими собственными силами. В этом главное: если бы добрая буржуазия, сожалеющая ныне о запустении московских улиц, в свое время, в 1921 году, снабдила нас капиталами на поправку, тяготение этих капиталов, несомненно, заставляло бы нас больше считаться с нэпом, нежели это имело место в действительности. Громадным выигрышем было, что первые, самые трудные шаги мы сделали исключительно на своих ногах. В особенности, что мы исключительно собственными средствами ликвидировали главный остаток военного периода, военную валюту.

Ассигнации,—а наш советский дензнак побил все рекорды всех ассигнационных карьер, всех времен и народов, оставив позади себя ассигнаты великой французской революции так далеко, что их не видно [1] — всюду и всегда были военными деньгами. Почти во всем мире они возродились именно во время большой войны, и у нас, в России, благополучно достигли одной двадцатой их номинальной стоимости еще до Октябрьской революции: от Керенского мы получили в наследство рубль, равный пятачку. Если сравнить возможности Керенского, при котором продукция русской промышленности равнялась еще 4 миллиардам, тогда как у нас сейчас нет и двух, то можно оценить, каким достижением было поднять рубль в семь раз выше рубля Керенского. Можно опасаться, что после такого анекдота черные очки с носа некоторых наблюдателей не слезут

---

[1] Самым низким курсом французского ассигната летом 1796 года было 384 бумажных ливра за один металлический; а у нас при ликвидации старой советской валюты один червонный рубль был приравнен 50 миллиардам рублей в дензнаках 1921 года!

до светопреставления, по крайней мере, до преставления буржуазного света.

Таким образом, взяв историю 7 послереволюционных лет в аспекте пролетарской диктатуры и ее отношения к непролетарским слоям и элементам у себя дома и за границей, мы получаем следующие пять периодов:

1. 1917—1918 гг.—переход к социалистическому хозяйству в условиях мирной обстановки.

2. 1918—1919 гг.—перерыв начавшегося процесса мирной социализации, под давлением гражданской войны, постепенная стихийная милитаризация, переходящая в

3. период военного коммунизма (1920 г. до весны 1921 года).

4. Период реакции против военного коммунизма, период первоначального нэпа, с его иллюзиями с обеих сторон (1921—1923).

5. Период постепенного возвращения к плановому хозяйству, в условиях уже не воображаемой, а действительно мирной обстановки, с введением нэпа в границы абсолютно необходимого (1923—?).

Хотя вначале я оговорился, что периодизация—дело не диалектическое, тем не менее скрыть историческую диалектику никакая периодизация не может, и в приведенном выше делении эта диалектика чувствуется достаточно отчетливо, хотя и в субъективной, к сожалению, форме. Мы имеем перед собой одну законченную триаду, и одну только начавшуюся. Первая триада может быть сведена к трем таким этапам: мирный социализм, война, военный коммунизм. Вторая триада начинается с реакции против военного коммунизма, продолжается на наших глазах выпрямлением коммунизма вообще, и должна закончиться окончательным установлением социалистического хозяйства. Этот последний третий член второй триады—наше ближайшее будущее. В субъективном отражении эта диалектика является перед нами, как смена, в обоих случаях, поры иллюзий возвратом к суровой действительности, с тем, чтобы в следующей, третьей стадии, то, что было в первой стадии закутано в пелену иллюзии, явилось, как твердо проводимый, отчетливый план.

Большевик, № 14, 1924 г., Москва, изд. «Правда».

ГРУЗИЯ ПОД АНГЛИЙСКИМ ВЛАДЫЧЕСТВОМ

Передо мной стенограммы разговоров, которые вели представители грузинского правительства—меньшевистского, главным образом сам его председатель Ной Жордания, с различными представителями британского правительства в Закавказье, с февраля по сентябрь 1919 г. [1].

Более поучительное чтение по нынешним временам трудно придумать.

Грузия, как известно, «угнетается» большевиками. Весь цивилизованный мир жаждет ее от этого угнетения спасти и, в первую очередь, краса и гордость этого мира, английские консерваторы,—то бишь английские Пуришкевичи. Ибо, согласитесь, назвать «консерватором»—по-русски «охранителем»—человека, избравшего своей профессией взлом несгораемых шкафов, можно лишь весьма условно. Так вот, английские юнкера идут теперь в челе «освободителей» Грузии. Это всем известно.

Но менее широко известно, что для английского юнкерства Грузия отнюдь не неведомая страна, которую это юнкерство собирается открывать. Сподвижники Черчилля уже бывали там, гостили около года, оставили после себя воспоминания и документы,—некоторые из них мы и собираемся цитировать. Это было довольно давно,—в 1919 г. «Семь лет, как семь столетий»—сказал покойный Брюсов. Никогда его слова не были верны так, как в наши дни. «Старожильцев», кои помнят за семь лет назад, розыскать не так легко. И для многих в СССР вообще, и здесь в Москве в частности, английская эпопея в Грузии будет, пожалуй, новостью.

Расстреляв в Александровском саду большевистских рабочих и «не признав» постыдного Брестского мира, меньшевистское правительство Грузии, как известно, пригласило к себе германские войска. Это был, конечно, тяжкий грех перед Антантой,—меньшевики не могли этого не сознавать. «Самым веским аргументом против Грузии,—признавался ан-

---

[1] Материалы эти получены мною через т. Сефа, нашедшего их в историко-революционном музее Грузии. Одна из стенограмм цитируется в известной работе Шафира «Грузинская Жиронда», но целиком напечатаны они, сколько мне известно, никогда не были.

глийскому представителю Уордропу меньшевистский министр иностранных дел Гегечкори,—приводилось пребывание в нашей стране германских войск, и это создало чувство недоброжелательности». Хуже всего, что рассеивать это чувство приходилось все снова и снова перед каждым английским солдатом, сапог которого попирал почву «свободной» Грузии. «Когда же,—продолжал Гегечкори,—наконец, после долгих усилий, мы рассеивали это настроение, командующий войсками уходил, и взамен являлись новые; и снова приходилось повторять правительству ту же работу»...

Бедное правительство! Стенограммы свидетельствуют, что глава его пускался действительно во все тяжкие, чтобы «рассеять настроение». «Я сам горячий сторонник держав Согласия и, будучи по профессии публицистом (!), и до войны и во время нее писал всегда в защиту Англии и Франции»,—бия себя в грудь, уверял Ной Николаевич Жордания первого же английского солдата, удостоившего своим посещением Тифлис,—генерала Форестьера Уоккера. Мы не останавливаемся на своеобразном понимании обязанностей публициста, по своему профессиональному призванию долженствующего защищать ту или другую империалистскую державу. Были когда-то еще публицисты социалистического толка, защищавшие интересы рабочего класса, а не той или другой комбинации банкиров и промышленников. Но оставим это,—все равно у Ноя Николаевича ничего не вышло. Уоккер в ответ вежливо промолчал, а его «старшой», известный генерал Милли, английский представитель при самом Деникине, попросту не принял членов грузинского правительства, когда те вздумали нанести ему визит в бытность Милли в Тифлисе. И снова,—так как Милли физически не мог услышать уверений Жордании,—последний должен был распинаться перед одним из его подчиненных, генералом Кори: «Я лично 25 лет и многие из теперешних членов правительства пропагандировали в пользу англичан, но теперь я должен сказать, что подобное обхождение со стороны британских властей расхолаживает нашу работу»...

Бедные. Двадцать пять лет служили верой и правдой—и что же? Даже на порог не хотят пустить.

Жордания чуть не плакал, вопиял: «Мы не привыкли к такому обращению!», и Кори решил его несколько приласкать. «Ген. Милли, без сомнения, в следующий раз посетит господина президента,—уверял он.—Насколько мне известно, глава правительства бывал в Англии, говорит по-английски, и будет очень приятно, если президент опять посетит нас».

Жордания был несколько утешен и благодарил, но анекдоты в том же роде видимо, повторялись, и ко времени разговора Гегечкори с Уордропом меньшевики уже хорошо знали, что за прежнюю службу больше словесной ласки

от англичан не получишь. Англичане—люди практические, им нужны не чувства, а поступки, а какими чувствами поступки сопровождаются, это даже довольно безразлично.

И вот, пережив трех английских генералов, которые все, как один, «возвращаясь в Англию, без сомнения, отзывались неблагоприятно о нашей стране» вследствие «предвзятого чувства раздражения» по отношению к бывшим германским союзникам, Гегечкори решил четвертого взять за рога и изложить ему деловую программу меньшевистского правительства. Благо и времени оставалось немного: это было в сентябре 1919 г., англичане собирались уходить, и меньшевики рисковали так и остаться при своей неразделенной любви к «владычице морей».

«Деловую программу» меньшевиков нужно изложить их собственными словами. Гегечкори говорил Уордропу: «Теперь я позволю себе развить перед вами точку зрения моего правительства. Мы великолепно понимаем, что без могущественного союзника Грузии трудно будет добиться признания своей независимости, ибо не только мы, но и сравнительно большие государства Европы, более обеспеченные в финансовом отношении, не могут существовать в настоящий момент без поддержки извне. Правительство Грузии сознает, что оно должно опереться на какой-нибудь крепкий государственный организм, и это сознание продиктовало нам определенную ориентацию на Англию. Конечно, мы знаем, подобная помощь со стороны Соединенного королевства должна быть компенсирована нами в том или ином направлении. К сожалению до сих пор мы не можем получить ответа на этот, столь существенный для нас, вопрос. Я резюмирую все сказанное мною: при создавшейся конъюнктуре Грузия не может одна без поддержки пройти сквозь горнило испытаний, она просит помощи у Англии и хочет знать, чего захочет Англия взамен. Высказанное мною положение есть результат совещаний правительства, и нужно сказать, что по этому вопросу у нас не было никаких разногласий».

И эти люди говорили и говорят о «независимой» Грузии! Эти люди, которые еще в 1919 г. не мыслили себе маленьких стран иначе, как в виде «лоцманов» при больших империалистских акулах[1], которые считали это, в буквальном смысле слова, лакейское положение при империалистах нормальным, естественным и готовы были даже за него платить, что потребуют,—эти люди говорят теперь об угнетении и собираются «освобождать»! Эти «освободят», будьте уверены...

---

[1] «Лоцманами» называются маленькие рыбки, постоянно сопровождающие акулу, обслуживающие ее и за это получающие объедки ее добычи.

Так как англичане не требовали «компенсаций», то приходилось придумывать: чего же, собственно, они хотят? В этом печальное отличие политического лакея от обыкновенного: обыкновенный соображает, что ему запросить; политический—чего от него запросят. Прежде всего, «конечно», наши войска всегда будут к вашим (англичан) услугам, но их может оказаться «недостаточно». Из дальнейшей неясной—или искаженной стенографисткой—фразы Гегечкори видно, что он считал грузинскую армию еле достаточной для «поддержания порядка» только в одной Армении. История показала, что он и в этом ошибался. Но как бы там ни было, слабая или сильная, армия «независимой» Грузии предоставлялась в распоряжение английского империализма. Но меньшевистское правительство мучила мысль: а если этого англичанам покажется недостаточно? Тем более, что взятый за рога английский бык, кроме невнятного мычания, ничем на предложения меньшевиков не ответил.

Тогда решили выпустить последнюю стрелу из колчана, причем у Гегечкори почему-то (устал, что ли), вдруг перестал ворочаться язык, и «предельное» меньшевистское предложение изрек его товарищ, Сабахтаришвили. «Наши предложения таковы: Грузии передают Батумскую область, в которой она организует власть, опираясь на широкие народные массы. Муниципальное управление города организуется на выборных началах. Порт предоставляется англичанам как военная база и угольная станция на Черном море».

Это—предложение необычайной важности и актуальности. Несомненно, что оно составляет основу и теперешних англо-меньшевистских переговоров. Передача Батума англичанам означала передачу английскому империализму Закавказья. Вот за какую цену надеялись купить тифлисские меньшевики помощь Англии против турок—и против большевиков: Гегечкори говорил об «осложнениях с юга и с севера». Вот почему он надеялся, что «Грузия, являющаяся дорогой в Переднюю Азию, должна заинтересовать Великобританию, и последняя безусловно протянет руку помощи грузинскому народу, который через ряды столетий пронес светоч культуры и цивилизации» (!). Раз шла речь о добыче империализма, без «культуры и цивилизации», конечно, не могло сбойтись.

Нас могут обвинить, что эти отрывки мы нарочно сочинили,—как некогда Герцен и Щедрин сочиняли отрывки из дневника Погодина, впоследствии, впрочем, по опубликовании подлинного дневника, оказавшиеся необыкновенно правдоподобными. Но нет—это стенограмма в ряду других стенограмм, относящихся к тем же переговорам. В них масса деловых подробностей, исключающих всякую возможность

«сочинения»,—читатели увидят это, когда мы опубликуем полный текст в «Красном архиве».

Неудивительно, что Уордроп мало заинтересовался предлагаемым меньшевиками военным союзом. Буржуазная армия Грузии, непрерывно «усмирявшая» собственных крестьян и рабочих, едва ли на много увеличила бы военные силы английского империализма в Передней Азии. Но читатель может удивиться, что англичанин, что называется, ухом не повел при виде такой жирной приманки, как Батум. Ларчик однако открывается просто: англичане и так считали Батум в своем кармане. Отняв его у турок, они его грузинам не передали, а как они организовали его управление, это опять нужно рассказать словами Гегечкори. «Английские власти, заняв город, не доверяя нам и не зная на кого опереться, поручили оставшимся русским чиновникам организовать управление Батумской областью. Кто были эти господа и какова их политическая физиономия, вы можете установить из того факта, что они первые приветствовали турок и явились в свое время их проводниками при взятии Батума. Созданный ими совет по управлению делами Батумской области вскоре был распущен английским военным командованием ввиду полнейшего бесправия, воцарившегося в этом крае. Сейчас там царит безвластие, и, очевидно, обоюдные наши интересы властно диктуют создать в Батумской области известный правопорядок».

Увы! О «правопорядке» английские Скалозубы заботились всего менее, а когда это понятие заползало, по случайности, в их мозги, правопорядком для них оказывались просто-напросто порядки царской России. В чрезвычайно любопытном «Мемуаре грузинской социалистической делегации на люцернской конференции для рабочей фракции палаты общин» мы читаем: «Город Батум и вся Батумская область временно оккупированы британскими войсками на основании перемирия с Турцией... Что делает британский генерал-губернатор там? Он передал управление батумским муниципалитетом так называемой временной комиссии девяти, состоящей поголовно из русских реакционеров, по собственному назначению. Когда грузины запротестовали против этой несправедливости, британский генерал лишь в ничтожном меньшинстве допустил их участие в городском самоуправлении. Что же касается устройства новых демократических выборов в городское самоуправление, которых потребовали грузины, британский генерал-губернатор наотрез отказал им в этом. Таким образом, население города лишено даже того элементарного права, которым оно пользовалось во время царизма, когда все самоуправление города, несмотря на националистическую политику русского правительства, находилось в большинстве в грузинских руках. Еще хуже обстоит дело

в провинции, где начальниками участков и округов,—словом, чиновниками,—британским генерал-губернатором назначаются исключительно русские реакционеры, перешедшие к нему на службу от ген. Деникина. Дело дошло до того, что старый царский губернатор Батумской области, генерал Романовский-Романько восстановлен в своей прежней должности».

Но пристрастие англичан к «русскому стилю» не было ограничено какими-нибудь географическими пределами и отнюдь не распространялось только на Батум. Добрая половина наших стенограмм занята наступлением на Грузию Деникина, вступившего на территорию теперешней Абхазской республики, занявшего Гагры, «стратегический ключ Грузии», и собиравшегося двигаться дальше при помощи танков, аэропланов и крейсера, предоставленных в его распоряжение англичанами. Последним Деникин объяснял свои действия тем, что грузины заняли Гагры «по наущению германцев»—и, повидимому, англичане, по крайней мере те, которые состояли при Деникине, этому верили. Это вызывало у Жордании громкие вопли, к которым английские генералы относились, как к крику капризного ребенка. Временами это отношение принимало характер явного издевательства,—особенно в этом силен был генерал Уоккер. Грузины хотели перевезти десант через Поти; портовая администрация, терроризованная англичанами, отказывалась это допустить без разрешения последних; англичане же отказывали в разрешении на том основании, что они «не имеют права вмешиваться во внутренние дела Грузинской республики». Десант посадить не удалось.

В конце концов Жордания шел уже на то, чтобы «совершенно бесспорная грузинская территория» (собственно, бесспорная абхазская территория) была объявлена нейтральной зоной и «занята британскими или итальянскими войсками». Но оказалось, что и этого мало: англичане предлагали превратить в нейтральную зону весь Сухумский округ. Это довело Жорданию уже совершенно до белого каления; но в ответ на его яростные реплики его собеседник (на этот раз ген. Бич) хладнокровно заметил: «Сухумский округ, это—второстепенный вопрос». А в ответ на заявление председателя грузинского правительства, что генерал Бриггс—англичанин, состоявший при Деникине—в этом деле представляет не британские, а деникинские интересы, последовал не менее хладнокровный ответ: «Генерал Бриггс очень любит Деникина, а Деникин—Бриггса». Притом же Деникин признает «автономию» (!) Грузии,—о чем же беспокоиться. И англичане преспокойно отправляли по грузинским железным дорогам к Деникину, воевавшему с Грузией, артиллерию и снаряды из бывших русских крепостей Закавказья, доставшихся в их руки по Версальскому миру.

Пробить эту стену тупоумия и нахальства было совершенно невозможно, и Жордании оставалось, в утешение себе, говорить в глаза англичанам столько неприятных вещей, сколько он мог собрать. «До прихода к нам союзников,—говорил он,—мы ни с кем не воевали и нигде не имели врагов. Единственной угрозой нашему благосостоянию были большевики, но мы отогнали их за Сочи, и наше государство было избавлено от этой опасности. Повторяю, что со всеми окружающими мы жили в мире. С приходом союзников картина резко изменилась: мы все время воюем. Прежде всего, предательское нападение Армении, затем наступление добровольцев и, наконец, вторжение на нашу территорию турецко-татарских полчищ со стороны Ардагана на Ахалцых».

Тут было, конечно, не без фантазии: не говоря уже о расстрелах большевиков и о войне с грузинским крестьянством, меньшевистское правительство воевало с турками, и именно неудачный ход этой войны заставил его пригласить в Грузию германцев. Но что с приходом союзников дело нисколько не улучшилось, это—несомненный факт, и несомненно, что это должно было наводить на размышления даже тех, кто сочувствовал меньшевикам. «После всего изложенного мною,—говорил Жордания,—в голову каждого грузина вкрадывается неотвязчивая мысль, почему все это происходит после прихода союзников на нашу территорию».

На все это был один ответ, ясный и определенный. Какое нам дело до ваших национальных интересов и до всяких других «второстепенных вопросов»,—почти этими словами говорили английские генералы,—когда Грузия нам нужна, прежде всего, как плацдарм для борьбы с большевизмом. Ген. Бич говорил: «Соглашение с Деникиным сильно подняло бы Грузию в глазах цивилизованного мира, борющегося с большевизмом. В Европе сказали бы, что маленькая Грузия, так много потерявшая и пострадавшая в сочинском вопросе, настолько проявила способность к мудрой государственности, что во имя борьбы с большевизмом принесла жертву, войдя в соглашение с добровольческой армией, и этим дала возможность Деникину перебросить крупные силы с Черного моря на большевистский фронт. Даже с точки зрения экономической (хотя я не социалист) полагаю, что это соглашение сыграет большую роль в открытии границы, в деле снабжения страны хлебом, товарообмене и пр.».

Ген. Бич был, конечно, не социалист,—совсем не социалист. Он был просто военный человек; а коль война, так по-военному. С плацдармом и обращаются, как с плацдармом. И грузинских железнодорожников не только заставляли перевозить оружие к Деникину, который воевал с Грузией и стоял на грузинской территории, но и обращались

с ними так, что это должен был отметить даже двадцатипятилетний защитник английских интересов и великий поклонник английских железнодорожных порядков (см. стенограмму разговора с английским железнодорожным ген. Броудом, от 6 февраля 1919 г.) Жордания. «К сожалению, происходит много эксцессов на почве обслуживания английских поездов, и виновниками является английская поездная прислуга. Бьют и самих агентов, и довели служащих до того, что последние грозят забастовкой».

Плацдарм, так плацдарм. Ничего не поделаешь. А так как плацдарм обнаруживал строптивость, то по отношению к нему принимались соответствующие меры. Читатель уже заметил выше, в словах ген. Бича, выразительную фразу о том, что уступки грузин Деникину «сыграют большую роль в открытии границы». Это не пустая фраза. Высокоцивилизованная покровительница семь месяцев держала Грузию в настоящей блокаде. Но это нужно рассказать словами самих английских союзников. На первом свидании с Кори (третьим по счету английским генералом) Гегечкори говорил: «К нам не пропускают ни одного парохода с грузом из-за границы, тогда как в Константинополе скопилось громадное количество всевозможных товаров. Нельзя ли снять блокаду с нашего побережья и прислать нам что-нибудь? Это, так сказать, ознаменовало бы ваш (Кори) приезд и сыграло бы громадную роль в наших отношениях. По имеющимся у меня достоверным сведениям, один из пароходов, направляющихся в Одессу, не попал туда, вследствие занятия ее большевиками. Половина груза этого парохода снята в Констанце. Нельзя ли вторую половину направить к нам в Грузию?.. Вчера вы просили нас, генерал, говорить чистосердечно обо всем, и вот я скажу, что за 7 месяцев пребывания в нашем крае британских сил мы не получили из Англии ни одной вещи, ни одного зерна».

За семь месяцев было доставлено 3 генерала, много синяков грузинским железнодорожникам, еще больше снарядов для Деникина и ни одного зерна хлеба для грузинского населения. Еще бы,—ведь целью были вовсе не интересы этого населения, целью была борьба с большевиками. А ради этой высокой цели население плацдарма могло и поголодать. Деникин был понужнее их.

Жордании за двадцать пять лет его верной службы британскому империализму не приходилось подниматься так высоко. Каждого приезжающего английского генерала он встречал надеждой, что «мы сообща будем дружно работать», и каждому потом приходилось говорить кислые слова, вплоть до того, что «Грузия разочаровалась в Великобритании». Но разочаровался—не разочаровался, а работать заставляли,—и цитированный нами «деловой» разговор Гегеч-

кори с Уордропом об условиях найма англичанами грузинских меньшевиков хронологически заканчивает серию цитируемых нами стенограмм.

Всех перлов этих последних мы, конечно, не выписали. Кто интересуется образцами классической прозы II Интернационала, прочтет все целиком в «Красном архиве». В одном должен покаяться. Мне долго казалось, что «лакеи Антанты», это—фраза, митинговая фраза. Но, прочтя стенограммы, я устыдился своего скептицизма. Это вовсе не фраза, дорогой читатель: это просто краткое историческое определение грузинских меньшевиков 1919 г.

«Правда», № 133 от 16 июня 1927 г.

ЧЕРЕЗ СЕМЬ ЛЕТ

Добрые друзья не забывают снабжать меня интересным чтением. Только что успел я насладиться разговорами Ноя Жордании с английскими генералами, как в моих руках снова произведения того же автора. Английских генералов—пока—на сцене нет, но они очень близко за кулисами, как читатель сейчас увидит. Зато же это не стенограммы, а подлинные письма. Правда, пользоваться ими приходится в переводе; но больший ли «предатель» переводчик, чем стенографистка, этого еще история не решила

Зато свежести документы необыкновенной. «Одновременно с составлением этого письма,—гласит один из них, подписанный «Олико»,—английская полиция взламывает зарытые в стенах советского кооператива (Аркоса) кассы, дабы обнаружить похищенные документы и прочие признаки их (большевиков) темных дел. Это только повод: полиция производит обыск с совершенно иной целью» (!!).

Какая осведомленность! Но ведь мы имеем дело с представителями «грузинского правительства». Не шутите: «Съезд социал-демократической рабочей партии Грузии,—читаем мы в резолюции последнего съезда грузинских меньшевиков,—признает законным правительством Грузии—правительство эмигрировавшего за границу Н. Жордания, одобряет его деятельность вообще, и в частности объединение порабощенных Советским союзом народов с целью уничтожения российского империализма. Правительству поручается отыскать надежных союзников из среды государств, которые окажут Грузии помощь деньгами, товарами и пр., и в период освободительного движения, а также после снятия оккупации поддержат Грузию и окажут ей всестороннее содействие в борьбе против всяких империалистических шагов, предпринимаемых Россией в отношении Грузии».

Быстро время течет в Советском союзе—медленно тянется оно в эмиграции. Я вот в последней своей статье поопасался, не забыли ли у нас вовсе 19 года; а тут, согласитесь, точно вчера Гегечкори с английскими генералами разговаривал. Семь лет ждут английских товаров люди. Терпение, надо признать.

Ну, так вот, правительство—естественно, что оно осведомлено в делах своего «надежного союзника»: и когда

английская полиция обыск в Аркосе производит, и с какою, в действительности, целью, и все прочее. А что этим союзником, в первую очередь, является Англия, это само собой разумеется. И тут за семь лет никакой перемены. «Русско-английский антагонизм,—пишет Жордания своему корреспонденту в Грузии,—сегодня доведен до такой фазы, что он не может быть разрешен переговорами и мирным путем. Или Россия, или Англия в Азии—так стоит вопрос. В настоящее время Англия концентрирует все антисоветские силы. Главная ось европейской политики сегодня заложена здесь; в этом возможном империалистическом столкновении позиция Грузии ясна».

Но Англия уже не единственный возможный союзник. В письме к меньшевистскому ЦК—письмо несколько старше письма «Олико», и тем любопытнее—другой член «правительства» и другой Ной, Рамишвили, пишет: «Антирусский блок близок к осуществлению своих целей. До сегодняшнего дня им руководила Англия. Теперь же рядом с ней появилась Япония. Там сформировалось новое правительство под председательством генерала Танака, который ставит себе целью ведение в Китае активной политики. Это знаменует собой усиление влияния Японии над Манчжурией, и этим изгнание русских оттуда. Благодаря политике Чжан-Цзолина весь мир узнал, что Россия воевать не может, поэтому-то ее со всех сторон притесняют и над ней насмехаются».

Остановимся на минуту. Есть, как известно, в этой самой «России» умные люди, которые серьезно думают, что все толки о войне, это, видите ли, спекуляция «господствующей фракции». И вот теперь мы имеем грузинские конспиративные документы, где черным по белому написано, что против «России» готовится война, и что «Россию» на эту войну провоцируют—страшно злясь, что она на провокацию не поддается. Может быть, хоть это убедит умных людей?

Естественно, в положении Рамишвили, гадать—какие шансы стороны имеют в ожидающейся войне. У «России»—характерно, что то государство, составной частью которого является Грузия, Жордания и К° упорно называют «Россией»—шансов никаких нет. Воевать явно не может, и дело «должно закончиться разделом ее». «Настает весьма интересный момент, за которым мы следим неотступно и ни одного приемлемого момента без внимания не упустим, чтобы не использовать его для восстановления нашей независимости».

Позиция, немножко напоминающая позицию стервятника над падалью. «Независимость» же невольно заставляет вспомнить английских генералов 1919 г. Но это все не так важно—сложнее другой вопрос. «Падаль»-то ведь еще на ногах стоит довольно твердо и даже—выражение другого, уже

не грузинского, а турецкого письма—обещает «кусаться, как бешеная собака». Так что, хотя у «России» шансов никаких нет, все-таки надо посмотреть, какие шансы у Англии. И вот «пролетарская национальная организация», как определяет грузинскую с.-д. партию Н. Жордания, возлагает максимальные надежды в первую очередь на раскол европейского пролетариата.

«Влияние явных противников большевизма среди рабочих быстро возросло,—с удовольствием сообщает своему ЦК Рамишвили.—Факт тот, что половина рабочей фракции английского парламента питает к большевизму явную вражду (будто только половина?)... Если по причине китайских событий произойдет война, то английское правительство в продолжение двух недель соберет полмиллионную армию добровольцев». Казалось бы, какую перспективу лучше можно придумать? Но начало следующей фразы выдает «пролетарского» автора: «гораздо легче поражение большевизма во Франции...» Эге! Значит, в Англии-го это поражение совсем не так легко?

И только подкрепившись примером Франции с ее «сторонниками Реноделя», Рамишвили набирается духу для следующей фразы: «Смело можно сказать, что когда Россия попадет в западню и возьмет в руки меч, ни рабочий класс Европы, ни тем более, Америки, ее не поддержит...»

Итак, вне Грузии в Европе—надежды на «рабочую фракцию», сиречь Макдональда и К°, на «сторонников Реноделя» и прочих социал-мерзавцев, с одной стороны, и на «западню», которую устраивает СССР мудрая английская дипломатия,—с другой. Это надежды по линии «пролетарской». Ну, а по линии «национальной», в самой Грузии?

Тут прежде всего, конечно, союзником является грузинская буржуазия. Национал-демократы должны войти в состав «Комитета независимости». «По нашим сведениям, партия национал-демократов слишком слаба, у нее нет центрального комитета. Нужно создать ее центр, чтобы последний подкрепил Амираджиби и Гвазава. Если в другом месте не удастся создать этот центр, создай близко к себе»[1].

Если Милюкова нет, надо его выдумать. Не праздно говорит Н. Жордания в одном письме: «Наша цель—использовать все антибольшевистские элементы». И буржуазными демократами отнюдь не ограничивается круг этих «элементов». Что тут Милюков—и патриарх Тихон пригодился бы (кабы был жив). В вопроснике, который Рамишвили посылает своему корреспонденту, есть такой пункт: «... 6. Положение церкви. Продолжается ли гонение на церковь, аресты и высылки священнослужите-

[1] Письмо Н. Рамишвили «Абессалому (Пражскому)».

лей (их фамилии?). Сколько церквей разрушено? Препятствуют или нет священнослужению? Существует ли с этой целью налог на церкви? Имеет ли место высмеивание верующих? Преследуются или нет армянские и мусульманские церкви?»

«Имейте в виду, что в Англии мы связаны с архиепископом Кентерберийским через нашего консула, а в Риме у нас имеется у папы специальный представитель Иваницкий (Р. Ингило). Доходят слухи из Грузии, что главы наших церквей думают об унии».

«Во всяком случае... вы должны присылать всякие сведения, что касается церкви. В Европе это имеет самое большое значение».

Это-то мы знаем, что «в Европе это имеет самое большое значение». Еще на процессе Конради одним из главных свидетелей защиты выступала мадам Каллаш, нежным голосом певшая на изящнейшем французском языке, что в Москве «все церкви закрыты, духовенство преследуется, нигде нет богослужения» и т. п. чепуху. И буржуа, который иногда закрывает фабрики, чтобы голодом принудить рабочих к повиновению, но никогда—церкви, приходил в благочестивую ярость. Но список «антибольшевистских элементов» явным образом не полон у Рамишвили—и мы осмеливаемся обратить внимание обоих Ноев еще на одну группу, более надежную, чем даже попы, и даже, чем мадам Каллаш. Это—бывшие царские охранники, наверное местами прячущиеся еще и по ту сторону Кавказского хребта, как прячутся они по сю сторону. Люди испытанной резвости и злобы против большевиков и с богатым конспиративным опытом. Пригодятся.

А конспиративный опыт нужен теперь более, чем когда-либо. Я, может быть, чересчур налег на то, что грузинские меньшевики мало переменились с 1919 г.—и я слышу уже упреки в забвении мною диалектики. Кое-какие образчики этой последней мы уже видели хотя бы в том, что теперь держатся за хвосты сразу двух империалистских акул, одной в Антлантическом океане, другой—в Тихом, а не одной, как раньше. Но самая главная диалектика скрывается, конечно, в теперешней тактике меньшевиков.

Во-первых, если вы думаете, что они готовят восстание, вы очень ошибаетесь. «Грузия (читай Жордания и К°), как все российские народы (!!), желает поражения Москвы, но безусловно в самом столкновении участия не примет и будет нейтральной, пока ее перспектива не выяснится. А это выяснение может сделать наше правительство в Европе. Оно активно выступит только тогда, когда Москва окончательно будет поражена и мы получим гарантию независимости. Во время войны мы должны иметь в виду тактику чехов—не восставать».

Рамишвили целиком поддерживает в этом пункте «председателя правительства». «Если начнется война (что, как видно, неминуемо), мы должны принять всяческие меры, чтобы народ не поддался большевистской провокации (!!) и не устроил восстания. Ной говорит, и это правильно, по поводу чешской тактики во время войны. Грузинские вояки должны поступить так же». Но Ной № 2 делает весьма любопытное добавление: «Во время мобилизации не должен повторяться тот энтузиазм, с которым народ встретил войну с Германией...»

Вот те и на! Конечно, какое уж тут восстание, коли приходится «опасаться», что народная масса с «энтузиазмом» пойдет защищать советское отечество. И при свете этих опасений зловещее для меньшевиков значение получают кое-какие откровенности, разбросанные в цитированном выше, в самом начале статьи, письме «Олико». «Знаю и скорблю о бессилии и распаде партии. Я оплакиваю бессилие моей партии, но не теряю надежды...» «Положение потерявших родину за границей непереносимое. А перспектива погребения нашего на чужбине ведь всегда сопутствует нам».

От восстания пришлось отказаться, потому что нет масс, которые можно было бы повести за собой. Повидимому, в лучшем положении считают себя грузинские фашисты, о которых в письмах говорится довольно много и в тоне, ясно свидетельствующем, что это—опаснейшие конкуренты. Грузинский фашизм, субсидируемый Италией, не входит в нашу тему. Им мы заниматься сейчас не будем. Заметим только, что «чешская» тактика меньшевиков отнюдь не означает «мирной» тактики. «С сегодняшнего же дня мы должны установить очень конспиративную связь с высшим командным составом грузинской армии,—пишет Рамишвили «Абессалому»,—чтобы в соответствующий момент мы могли опереться на них для ареста находящихся в армии большевиков—начальников и солдат». «Чешская» тактика—это тактика заговора, в противоположность тактике массового действия.

Это тактика государственного переворота в противоположность тактике революции. Но это отнюдь не тактика мирной пропаганды и легального протеста.

Не имея за собой масс в Грузии, естественно искать союзников вне Грузии. Сюда относятся любопытнейшие места переписки. «Большевистский строй разрушил грузинскую нацию, ее национальный строй и культуру,—пишет Жордания («Большевистский строй» сделал это чрезвычайно конспиративно, так что не только сторонние наблюдатели, и сам грузинский народ этого не заметил; адски коварные люди!),— но прочие неисторические (!) нации он национально

продвинул вперед и направил на путь возрождения. Например, Украина создалась на наших глазах. Этот 40-миллионный народ представляет такую огромную силу, что в случае желания его выделиться из Москвы (!!), последняя невольно должна признать это. За ней последуют и другие нации. Для нас это тем паче будет легко, что между нами и Москвой встанет Украина и уничтожатся с ней (Москвой) общие границы. Расчленение Советского союза на национальные единицы можно произвести более организованно, если это возьмет на себя Украина. При таких условиях... грузинская нация вступает в рамки национального движения Украины» (читатель может поставить столько восклицательных знаков, сколько пожелает).

Позвольте, прежде всего, поздравить Украину с возведением в ранг «неисторической нации». Должен сказать, что, в качестве «русского историка» старой формации, чувствую себя жестоко оскорбленным. Чорт возьми! Украинцы—не исторический народ?! А Хмельницкий,—это что же, с вашего позволения, не история?

А затем не могу не поздравить и грузинской нации с проектом Ноя Жордания спрятать ее за широкую спину «неисторического» украинца. Весьма почетно. И, должен откровенно сказать, больше мне нравится, чем сидение Жордания и К° не за спиной, а пониже спины у английских генералов. Что поделаете: старый «русский историк», повторяю. Всю жизнь будет отдавать,—все равно, что мамка ушибла.

Общие рассуждения Ноя № 1 конкретизирует Ной № 2. «Наша перспектива больше всего связана с отмеченной у Жордания второй линией,—пишет Рамишвили Абессалому (Жордания намечал три возможных линии «возрождения Грузии»: 1. взрыв большевизма изнутри, 2. национальные восстания на окраинах и 3. англо-русская война).—Это есть сплочение национальностей. Именно поэтому мы создали «Комитет независимости Кавказа» и издали на французском языке «Прометей». В этот комитет входят: представители наши, Азербайджана и горских республик, по два от каждой республики. «Кавказский комитет» тесно связан с комитетом «Независимости Туркестана» и «Украины» (Левицкий—заместитель Петлюры). Наша цель—отделение от России путем всеобщего выступления этих наций и создание между ними военного союза как на время войны с Россией, так и после нее».

Итак не только массовое восстание в Грузии невозможно и нежелательно, но и отдельное выступление Грузии ни к чему не приведет. «Находящиеся в нашем положении нации кое-как догадались, что для уничтожения врага необходимы объединение и совместное действие,—пишет

«Олико».—Украина, Кавказ и Туркестан объединились... Их совместное действие—совершившийся факт. Консолидация единого фронта—дело ближайшего будущего».

Можно быть уверенным, что если дело до «ближайшего будущего» дойдет,—передерутся. Для Украины сочинский эпизод деникинщины (см. «Грузия под английским владычеством») служит порукой. Ведь батька Левицкий, наверное, считает Кубань украинской. Да и из политической географии Жордании это же следует, если в нее вглядеться. Но едва ли мы и увидим это «ближайшее будущее». Диалектика истории привела к тому, что казавшиеся когда-то мощными националистические группировки превратились в слабые кучки заговорщиков, по собственному признанию, не имеющие корней в массах. Это с несомненностью устанавливается для Грузии. Это более чем правдоподобно для Украины и «Туркестана». Диалектика истории всегда была на стороне большевиков,—где ж ей и быть еще?

«Правда», 21 июня 1927 г.

ВЧК—ОГПУ

(20 декабря 1917—20 декабря 1927 г.)

«Это самая черная работа революции, в перчатках ее не осуществишь,—говорит о ВЧК т. Лацис в своих воспоминаниях о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском.—И в то же время это самая необходимая работа. Не всякий бы за эту работу взялся, и не всякому эту работу можно было поручить».

Первое верно лишь относительно: от работы в ВЧК не отказался бы ни один настоящий большевик. ВЧК— а ныне ОГПУ—есть самое прямое и непосредственное орудие пролетарской диктатуры, т. е. системы насилия, которую пролетариат противопоставляет, вынужден противопоставлять, буржуазной системе насилия. «Государство есть особая сила для подавления». Это великолепное и в высшей степени глубокое определение Энгельса дано им здесь с полнейшей ясностью. А из него вытекает, что «особая сила для подавления» пролетариата буржуазией, миллионов трудящихся горстками богачей, должна смениться «особой силой для подавления» буржуазии пролетариатом» (Ленин, «Государство и революция»). Никакой, заслуживающий этого имени, пролетарский революционер никогда не откажется участвовать в организации этой «особой силы для подавления» буржуазии пролетариатом. Но на сто процентов прав т. Лацис, когда он говорит, что «не всякому эту работу можно было поручить». Тут нужны были самые чистые, самые убежденные, самые бесстрашные из бойцов. Это необходимо было для всей системы пролетарского революционного насилия,— это в особенности было необходимо для той части этой системы, которая непосредственно осуществляла подавление буржуазии пролетариатом, т. е. осуществляла террор.

Меньшевики по всему земному шару таскали известную фразу из одного письма Энгельса, где последний очень пренебрежительно отозвался о якобинском терроре 1793 г., притом в такой общей форме, что при помощи небольшой передержки это можно было выдать за мнение Энгельса о революционном насилии вообще. Надо иметь в виду, что письмо это написано по поводу Седанского сражения (1870 г.) и пропитано острым презрением к французской буржуазии,

крупной и мелкой. Заключительные его строки, которые как раз и говорят о терроре, вполне можно понять и так, что вот, дескать, у французских мещан и из террора ничего, кроме чепухи, не вышло. Их должно так понять, когда мы узнаем, что говорил Энгельс о том же вопросе в других местах,—а особенно, когда мы узнаем, что делал или предлагал делать Энгельс в те минуты, когда ему самому приходилось непосредственно принимать участие в революционной борьбе.

В замалчивавшемся меньшевиками, но ставшем очень известным благодаря Ленину месте «Анти-Дюринга» Энгельс говорит: «... что насилие играет также в истории другую роль (кроме совершителя зла), именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы,—обо всем этом—ни слова у г-на Дюринга. Лишь со вздохами и стонами допускает он возможность того, что для ниспровержения эксплоататорского хозяйства понадобится, может быть, насилие,—к сожалению, изволите видеть! Ибо всякое применение насилия деморализует, дескать, того, кто его применяет. Это говорится, несмотря на тот высокий нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции».

А в «Новой рейнской газете» в 1850 г. Энгельс писал о своих революционных опытах в Эльберфельде: «Первым шагом должно было явиться разоружение эльберфельдской национальной гвардии и раздача ее оружия рабочим, затем введение принудительного налога для содержания вооруженных таким образом рабочих. Этот шаг решительно покончил бы с предшествующей вялостью Комитета общественной безопасности, вдохнул бы новую жизнь в пролетариат и ослабил бы силу сопротивления «нейтральных округов».

«Но,—прибавляет Энгельс иронически,—досточтимый Комитет общественной безопасности не считал себя ни в малейшей степени вынужденным к подобного рода «террористическим» мероприятиям». Но однако, если бы буржуазная национальная гвардия не отдала оружия (а этого именно и следовало ожидать)? Если бы буржуазия отказалась платить «принудительный налог»? Что сделал бы Энгельс? Привлек бы ее к суду? Но ведь буржуазный суд оправдал бы отказчиков и неплательщиков, к величайшему конфузу «Комитета общественной безопасности». Из тех скромных на вид мер, которые рекомендовал Энгельс, вытекало образование, по меньшей мере, революционного трибунала, который карал бы за нарушение предписаний революционной власти.

Скромная эльберфельдская революция не дошла до этих логических выводов, но их во всю ширь развернула Коммуна. «Версальцы не только вели кровожадную войну против Парижа, но еще старались подкупами и заговорами проникнуть в него. Могла ли Коммуна при таких условиях, не изменяя позорно своему призванию, соблюдать, как при глубоком мире, условные формы либерализма?» («Гражданская война во Франции»).

Но Маркс идет дальше. Он оправдывает не только отступления от традиции буржуазной «легальности», он оправдывает прямо красный террор. «Когда Тьер, как мы видели, еще в начале войны ввел гуманный обычай расстреливания пленных коммунаров, Коммуне не оставалось больше никаких средств для спасения жизни этих пленных, как прибегнуть к прусскому обычаю брать заложников. Продолжая тем не менее расстреливать пленных, версальцы сами отдавали на казнь своих заложников. Как же можно было еще дольше щадить их жизнь после той кровавой бани, которой преторианцы Мак Магона отпраздновали свое вступление в Париж? Неужели и последняя защита от не останавливавшегося ни перед чем зверства буржуазии—взятие заложников—должна была остаться только шуткою?»

Заложники, взятые Коммуной, не были индивидуально в чем-нибудь уличены. Они были социальными врагами пролетариата, принадлежали к тому классу, против которого пролетариат боролся. И Марксу не казался чудовищным их расстрел, когда нечем другим было ответить на расстрелы, чинимые буржуазией. Наш ответ на попытку убить Ленина, на убийство Урицкого и Володарского, на расстрелы в Самаре и в Казани был наперед оправдан этими словами Маркса. Нужно было показать зарвавшейся буржуазии, во что ей обойдется продолжение ее политики. Нужно было показать, что это—не «шутка». А то, что мы остались победителями, Коммуна же была побеждена, нисколько не меняет, конечно, сути дела.

Образование ВЧК вытекало из самой сути пролетарской революции. Антибуржуазный террор должен был стать ее неизбежным последствием,—иначе могло бы быть только в том случае, если бы буржуазия отказалась от всякого сопротивления. Это до такой степени было ясно с первого дня, что даже люди, горячо споривщие потом в марте и апреле с покойным Дзержинским о методах работы в ВЧК, еще в ноябре сочиняли проекты революционного трибунала для суда в двое-трое суток без обычных формальностей над саботажниками и заговорщиками. Суд должен был состоять из выборных от рабочих данного района, и этот его состав заранее ручался, что он действовал бы не менее круто, чем ВЧК. Ибо последняя первые месяцы действовала

необыкновенно для органа революционной диктатуры мягко. До июля 1918 г. ВЧК не расстреляла ни одного контрреволюционера. Ее «жертвами» были исключительно бандиты и провокаторы. А буржуазия именно в эти месяцы вопила о «терроре». До такой степени логика вещей была ясна даже и по ту сторону баррикады.

Эта работа по установлению революционного порядка силами и средствами ВЧК никогда не была оценена достаточно, а между тем за нее должны были быть благодарны в первую очередь те обыватели, которые скрипели зубами при одном имени «чрезвычайка». Начинавшийся голод, масса паразитных элементов фронта, хлынувших в тыл, раздули кадры «преступного элемента» в десятки раз. «В Питере,—рассказывает т. Петерс в своих воспоминаниях,—бандитизм был чрезвычайно распространен после Октябрьской революции и доходило до того, что опасно было вечером выйти на улицу. Тысячи и десятки тысяч солдат, с фронта приехавших в Питер, очутились в безвыходном положении, всех накормить советская власть была не в состоянии, и пошли грабежи. Начали с буржуев, а потом грабили кого попало. В Москве положение с бандитизмом было еще серьезнее».

По приезде в Москву в марте 1918 г., т. Дзержинский должен был обратиться к населению с особым воззванием, где говорилось: «Всероссийская чрезвычайная комиссия считает необходимым довести до сведения граждан города Москвы, что первейшей задачей Всероссийской чрезвычайной комиссии будет борьба за полную безопасность и неприкосновенность личности и имущества граждан от произвола и насилия самовольных захватчиков и бандитов, разбойников и хулиганов и обыкновенного жулья, осмелившихся выдавать себя за анархистов, красногвардейцев и членов других революционных организаций. В борьбе с этими двойными преступниками, охотно входящими в сношения и принимающими в свою среду контрреволюционеров, ударников и белогвардейцев, будет проявлена особая решительность и беспощадность...

...Лицам, занимающимся грабежами, убийствами, захватами, налетами и пр. совершенно неприемлемыми преступными действиями предлагается в 24 часа покинуть город Москву или совершенно отрешиться от своей преступной деятельности, зная наперед, что через 24 часа после опубликования этого заявления все застигнутые на месте преступления немедленно будут расстреливаться».

Редко какое обещание какой бы то ни было власти выполнялось так пунктуально. Даже те советские работники, которые не соглашались с методами действий ВЧК, должны были согласиться, что достигнуть почти полной безопасности на улицах города, ночью совершенно не освещавшегося

и очень плохо охранявшегося (для охраны абсолютно темных улиц нужно было бы иметь часовых на каждые 200 шагов, а их не было на целые версты), можно только этими методами. До какой степени в позднейшие годы эта охрана порядка занимала видное место в деятельности ЧК, показывает клеветническая книжка об этой деятельности, выпущенная за рубежом в 1922 г. Во всех «ужасах чрезвычайки», которые там описываются, объектом расстрелов оказываются бандиты, фальшивомонетчики, казнокрады, взяточники, и т. п., и авторы должны были признаться, что даже во время «красного террора» осенью 1918 г. в Москве был расстрелян только один эсер.

Но, конечно, карающая рука пролетарской диктатуры была создана не для простой охраны революционного порядка, ВЧК с самого начала была орудием борьбы с контрреволюцией, и для этого была, в первую очередь, организована. Ближайшим поводом к этой организации был тот чрезвычайно дерзкий и наглый саботаж, посредством которого буржуазия надеялась сорвать рабочую революцию при помощи той единственной силы, которая оставалась еще в руках буржуазии,—при помощи денег. «На обысках у лиц, организующих саботаж, были найдены подписные листы, на которых были десятки тысяч пожертвований со стороны отдельных буржуев в пользу саботировавшей интеллигенции»,—рассказывает т. Петерс в своих воспоминаниях о работе ВЧК в первый год революции. Благодаря, в особенности, банкам, саботировавшие чиновники и городские служащие были оплачены на три месяца вперед,—срок, который казался контрреволюционерам более чем достаточным, чтобы покончить с большевиками.

Именно в связи с саботажем Ленин обратился 6/19 декабря 1917 г. к Дзержинскому с письмом, где говорилось: «Нельзя ли двинуть подобный декрет: О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками.

Буржуазия, помещики, и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для прорыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплоатируемых масс.

Буржуазия идет на злейшие преступления, покупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из банковских чиновников и т. п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей.

Необходимы экстренные меры борьбы с контрреволюционерами и саботажниками. Исходя из этой необходимости, Совет народных комиссаров постановляет:...»

Дальше идет подробное изложение конкретных мероприятий, которые в декрет, принятый Совнаркомом на другой день, 7/20 декабря не вошли: они лишь в самой общей форме намечены в конце декрета. По форме изложения это даже и не декрет, а «выписка из протокола», продиктованного, повидимому, самим Владимиром Ильичем [1].

Характерно, что в «меры» первоначально расстрел не входил. Мы уже упоминали, что «высшую меру наказания» ВЧК долго применяла только к бандитам и провокаторам; и лишь в сентябре 1918 года Совнарком постановил, что «Подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам, мятежам, что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры». У пролегарской власти было очень крепкое терпение—много нужно было сделать, чтобы и оно наконец лопнуло.

У самого пролетариата терпение стало лопаться значительно раньше, и не подлежит сомнению, что если бы были организованы те революционные трибуналы из рабочих, о которых говорил один из проектов ноября 1917 г., не одна сотня саботажников была бы тогда же расстреляна. Московские рабочие требовали ареста кадетского комитета еще в начале декабря 1917 г.,—а осуществлен был этот арест только в мае 1918 г. Кадеты так привыкли к своей безопасности, что совершенно искренне негодовали по случаю этого ареста, окончательно, видимо, забыв, как советская власть еще в ноябре предшествующего года объявляла их вне закона.

---

[1] Вот его текст:

«Назвать комиссию Всероссийской Чрезвычайной Комиссией при Совете Народных Компссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее.

Задачи комиссии:

1. Преследовать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они ни исходили.

2. Предание суду Революционного Трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними.

3. Комиссия ведет только предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения. Комиссия разделяется на отделы: 1) информационный, 2) организационный отдел (для организации борьбы с контрреволюцией по всей России) и филиальный отдел, 3) отдел борьбы.

Комиссия сконструируется окончательно завтра. Пока действует ликвидационная комиссия В.-Р. комитета. Комиссия обращает внимание на печать, саботаж и др. прав. (правых.—*Ред.*) эсеров (,) саботажников и стачечников. Меры—конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т. д.».

Постановление СНК от сентября 1918 г. было принято, несомненно, не без учета настроения масс. Тов. Петерс пишет в своих воспоминаниях по поводу красного террора: «... Я должен категорически заявить, что этот террор был самым глубоким возмущением не столько руководящей верхушки, стоявшей во главе советских органов, сколько возмущением широких трудящихся масс. Я помню характерную телеграмму о том, что собрание стольких-то тысяч рабочих, обсудив вопрос о покушении на Влад. Ильича, постановило расстрелять десять буржуев. Это массовое возмущение действовало на органы ЧК, на местные исполкомы, на весь руководящий местный аппарат, и красный террор начался без директив центра, без всяких указаний из Москвы. Масса сама оценила контрреволюцию, оценила своего любимого вождя и мстила за покушение на его жизнь. Необходимо еще отметить, что этот красный террор не расправлялся с кем попало: расстрелянные были явными белогвардейцами, царскими палачами, которые сидели в тюрьмах. Я помню расстрелянных в Москве в дни красного террора, после покушения на Владимира Ильича: в числе расстрелянных были Белецкий, многие из царских министров и целый ряд других высоких сановников, которые спокойно сидели бы в тюрьме и может быть, просидели бы еще очень долго, если бы не белый террор, если бы не десанты Антанты, если бы не работа Локкартов, Гренаров и др. То же самое касается и количества. Количество расстрелянных чрезвычайно преувеличено. Наибольшая цифра падает на Ленинград. В общем же и целом цифра расстрелянных никоим образом не превышает 600 человек».

Это участие масс в деле борьбы с контрреволюцией объясняет нам незначительную на первый взгляд, но весьма характерную подробность: ничтожность материальных средств, как людских, так и денежных, коими располагало новое учреждение, идя в бой против русского финансового капитала, субсидировавшегося вдобавок, мировым. Первоначальное «бюджетное ассигнование» на ВЧК составляло..... 10 000 рублей. Так как рубль декабря 1917 г. равнялся пятачку, то все средства самого страшного оружия пролетарской диктатуры составляли 500 рублей на золото. Такой «режим экономии» мог бы служить примером и для нашего времени. То же было и с людьми.

«В этом мы убеждаемся, взглянув на состав сотрудников ВЧК. В первые месяцы работы ВЧК в Москве в ее аппарате насчитывалось всего 40 сотрудников, включая сюда и шоферов и курьеров. Даже к моменту восстания левых эсеров в ВЧК число сотрудников доходило только до 120 человек. Если все же ВЧК осуществляло сравнительно большую работу, то главным образом, благодаря содействию населения. Почти

все крупные заговоры были раскрыты указанием населения. Первая нить бралась от них, этих добровольных и бесплатных сотрудников от населения и потом уже разматывалась аппаратом ВЧК» (Воспоминания т. Лациса). В первые же месяцы людей было так мало, что члены коллегии сами ходили на обыски и разведки. У учреждения, собственно, не было «аппарата»: оно само было своим аппаратом.

У этого «режима экономии» была и своя оборотная сторона. Опираясь исключительно на добровольцев, приходилось иной раз обращаться к силам, в классовом смысле не совсем своим, но казавшимся пригодным. В отдельных частных случаях это привело к тому, что ВЧК приходилось расстреливать своих собственных комиссаров—к неоправдавшим доверия были еще более неумолимы, чем к бандитам. Но был один крупный, яркий случай, мимо которого нельзя пройти, характеризуя развитие ВЧК, ибо этот случай не менее, чем содействие рабочей массы, подчеркивает классовый смысл учреждения: тут мы имеем дело не с отдельными ворами и взяточниками, втершимися в карательный аппарат пролетарской диктатуры, а с целой группой людей, лично абсолютно честных, субъективно безусловно искренних, но чужих пролетариату. Это—трагическая история сотрудничества ВЧК с левыми эсерами и отрядом Попова.

У комиссии не было своей вооруженной силы: отряды ОГПУ явились многими годами позже. А такая сила была ей нужна с самого начала,—уже ликвидация знаменитых анархистских «особняков», где рядом с дюжиной идейных анархистов ютились сотни бандитов и белогвардейцев, в апреле 1918 г., потребовала и пулеметов и даже артиллерии. Появившийся в эту пору из Финляндии отряд левого эсера Попова, привезшего 700 человек отчасти красных финнов, отчасти балтийских матросов, боевых, дисциплинированных, прекрасно вооруженных людей, казался прямо находкой. При ликвидации «особняков» отряд себя оправдал и был зачислен как специальный отряд ВЧК. В то же время левые эсеры предложили и целый ряд отдельных людей с большим революционным стажем, с хорошей конспиративной выдержкой, казавшихся—а отчасти и бывших—субъективно преданными революции: как было и ими не воспользоваться? И вот левый эсер Александрович, старый интернационалист, оказался заместителем тов. Дзержинского во главе ВЧК.

Уже Брестский мир выявил политическую ненадежность левых эсеров и, казалось бы, уход их из правительства логически вел за собою и уход их из ВЧК. Тов. Дзержинский потом очень жалел, что своевременно не сделал этого логического вывода. Но люди бы нужны дозарезу, левые эсеры казались такими славными товарищами, так самоотверженно работали рядом с большевиками в борьбе против

белой контрреволюции,—жалко было расставаться. А между тем уже с апреля конспиративная выдержка левоэсеровских чекистов была направлена и против их большевистских товарищей: незаметно переформировывался отряд Попова, из которого были тщательно удалены все близкие большевикам элементы. Словом, плелся настоящий заговор, заговор против советской власти. Участие в деле иностранных миссий, в частности французов, кажется, не подлежит сомнению, так что в действительности все было много гнуснее, чем тогда казалось. Согласно «разделению труда» между антисоветскими группами, савинковцы должны были поднять мятеж в Ярославле, правые эсеры—в Самаре, а левые эсеры в Москве.

Первым симптомом, в первую минуту как следует не учтенным, было странное поведение отряда Попова: отправленный против восставших чехо-словаков, он уклонился от боя с ними под разными предлогами и вернулся в Москву. Что он нужен был здесь как боевая сила антисоветского восстания, это, конечно, никому не пришло в голову. А затем разразилось то, что в общих чертах всем известно и что не место здесь рассказывать в подробностях: убийство 6 июля 1918 г. германского посла Мирбаха (оно нужно было, чтобы придать движению «национальный» характер), арест Дзержинского и Лациса, обстрел Кремля и т. д. Смысл этих событий всего короче и лучше охарактеризовал один из ближайших участников подавления левоэсеровского мятежа, т. Петерс: «Левоэсеровское восстание совершалось аппаратом ВЧК, сотрудником ВЧК был убит граф Мирбах, заместителем председателя ВЧК Александровичем был подделан документ от имени Дзержинского, и отряд ВЧК выступил против советской власти».

Восстание хотели сделать национальным, и, поскольку национализм входит в мещанскую идеологию, в искренности и этого мотива можно не сомневаться. Но не подлежит сомнению, что настоящей причиной, не сознававшейся революционными мещанами, но объективно лежавшей в основе всего дела, было то наступление советской власти на кулацкую верхушку деревни, которое ознаменовалось в мае этого года образованием комбедов. Арестованному Дзержинскому в окружавшей его, по большей части пьяной, массе поповских матросов пришлось слышать разговоры о том, что советская власть «отнимает муку у бедняков», что «в деревнях всюду ненавидят советскую власть». В то же время многие из говоривших, «самые пьяные, имели по три-четыре кольца на пальцах» [1]. Социальная природа восста-

---

[1] «Красная книга ВЧК», т. I, стр. 193. Показания т. Дзержинского следственной комиссии при ВЦИКе.

ния этими разговорами рисуется гораздо лучше, чем официальными заявлениями ЦК партии левых эсеров.

Когда смотришь теперь, за десятилетний период, на деятельность ВЧК—ОГПУ, отчетливо видишь две линии, сходящиеся в одном пункте. Одна линия, это—борьба со шпионажем и «диверсионной» (по просту террористической и саботажной) деятельностью агентов империалистических держав, преимущественно Англии; другая, это—борьба с непрерывно возникающими внутри СССР группами и группками (последнее чаще первого) резко собственнической окраски. Классовый смысл ОГПУ всего лучше схватываешь по классовой физиономии тех сил, с которыми ГПУ борется, и эти силы, как бы разнообразно ни было их формальное происхождение, как бы ни была различна их классовая окраска, сходятся на одном: все они стремятся к восстановлению частной собственности в той стране, которая прежде называлась «Российской империей». Что, казалось бы, общего между бывшим гвардейским офицером Эльвенгреном и «Украинской мужицкой партией»? А между тем все они стремятся к одной цели: во что бы то ни стало раздавить ненавистную им пролетарскую диктатуру. И роль ВЧК—ОГПУ как орудия этой диктатуры выступает перед нами всего рельефнее именно с этой стороны.

О борьбе ОГПУ со шпионажем не приходится много распространяться, ибо именно по этому вопросу был целый ряд сообщений в прессе и прошел ряд процессов как раз в последние месяцы. Воспроизводить в сжатом виде фактическую сторону дела здесь нет поэтому никакой надобности. Тут стоит только отметить одну характерную черту: во всех крупных шпионских делах перед нами всплывают все одни и те же заглавные фигуры,—до тех пор, понятно, пока они не бывают физически уничтожены. Упоминавшийся сейчас и всем достаточно хорошо известный Эльвенгрен—контрреволюционный террорист с дооктябрьским, можно сказать, стажем. Финляндский уроженец по происхождению и офицер гвардейских кирасир императора Николая II по службе, он начал конспирировать против революции еще в дни Керенского. Он напоминает нам, что и корни белогвардейских организаций, ликвидировавшихся ВЧК и ОГПУ, восходят обыкновенно к дооктябрьским дням. Белогвардейская реакция, более умная, чем Керенский и меньшевики, не дожидалась формального момента перехода власти в руки пролетариата,—по мере роста большевизма она противопоставляла ему свои организации, инсценировавшие, как первую четко контрреволюционную попытку, выступление Корнилова. Если бы не возникла ВЧК, мы имели бы в высшей степени странную картину—безоружной пролетар-

ской диктатуры против вооруженного до зубов и организованного противника.

Но не только в русском, и в заграничном лагере мы имеем ту же устойчивость. Сидней Рейли, о котором все читали в газетах нынешним летом, оперировал на нашей территории еще летом 1918 г., когда он, как агент Локкарта, под именем «Константина», вел переговоры с водившими его за нос латышскими командирами. У Англии выработались свои специалисты по русскому шпионажу. У них тоже своя «старая гвардия». Борьба велась не только с теми же заданиями, но очень часто и теми же лицами,—борьба неустанная, непримиримая и устойчивая. И это напоминает нам лишний раз, что и мы не должны ни на минуту ослаблять своей обороны,—должны быть столь же непримиримыми и устойчивыми.

Менее широко известна—особенно в новейших стадиях—борьба с собственническими группировками внутри СССР. Едва ли можно считать широко распространенным (в продажу он и не поступал) II том «Красной книги ВЧК», содержащий в себе любопытнейшие документы по истории контрреволюционных организаций 1919 г. Там масса более или менее «откровенных» показаний самих участников этих организаций, участников, отчасти расстрелянных, а отчасти здравствующих и поныне. Вообще, просматривая новейшие процессы, удивляешься, как могла возникнуть вздорная легенда о поголовном расстреле чуть не всех несогласно с большевиками мысливших в дни гражданской войны? Нет процесса за последние годы, где не фигурировал бы бывший белый офицер, очень часто бывший белый контрразведчик или полицейский. На каждом шагу встречаешь группировки, сплошь состоящие из бывших белых, преспокойно живущих среди нас и, по крайней мере в трети всех случаев, состоящих на советской службе, иногда в качестве «незаменимых специалистов». И эта старая гвардия обнаруживает большую устойчивость, и то, что человека не только пощадили, а дали ему все права гражданина СССР, нисколько не мешает ему потихоньку продолжать то дело, которым он гласно и открыто занимался на службе у Колчака или Деникина.

Наиболее типичной организацией, своего рода прообразом будущих контрреволюционных организаций, осталась до сих пор группа «Тактического центра», вскрытая и ликвидированная в августе—сентябре 1919 г. Тут мы имеем, как в фокусе, все течения, которые позже встречаются нам вразброд, частями: и собственнические вожделения, и буржуазный демократизм, и военный заговор, и связи с заграницей (через белые армии), и неизбежно связанный с этим шпионаж. Глава «Тактического центра» (объединяв-

шего партии от правых эсеров и меньшевиков до кадетов и правее), Н. Н. Щепкин рекомендовал себя так: «Лично я примкнул к союзу «Возрождение», прежде всего, как свободослюбец по всей моей природе, ненавидящий угнетения, откуда бы они ни происходили. Мой дед, знаменитый актер М. С. Щепкин, был крепостным и преемственно завещал нам идею борьбы со всяким крепостничеством, какими бы красивыми лозунгами оно ни прикрывалось». К этой рекомендации всецело присоединился другой член «Тактического центра», тогда н. с., а теперь монархист С. П. Мельгунов. «Щепкин,—говорит он,—для нас был более своим человеком, между тем, Щепкин был человек действительно демократический, готовый на широкие социальные реформы, бывший решительный противник аграрной контрреволюции, и с ним было довольно легко сговориться и найти подчас общий язык».

Этот человек, с которым у Мельгунова, еще энэса, был общий язык, был человек коммерческий («после Октябрьской революции коммерческие дела, бывшие у меня на руках,—пишет он,—вынудили меня поехать в Киев») и обладал соответствующей идеологией: в политике совегской власти больше всего его возмущало «отобрание имущества под видом реквизиции и конфискации, иногда ничем не отличавшихся от налетов и грабежей, воцарившееся в стране полное отсутствие гарантий не только неприкосновенности личности, но даже возможности сколько-нибудь спокойной жизни и хотя бы некоторой уверенности, что у тебя не будут отняты плоды трудов твоих». Представляемая им организация надеялась «возродить Россию политически и экономически, причем устанавливалось, что возрождение это мыслимо только на основах широкой частной инициативы и восстановления частной собственности». Добровольческой армии Щепкин писал: «Ваш лозунг должен быть: долой гражданскую войну, долой коммунистов, свободная торговля и частная собственность, о советах умалчивайте».

От участия в военном заговоре Щепкин, понимая, к чему это ведет, всячески открещивался, но следствие непреложно установило, что «жалованье начальникам ударных групп белогвардейцев выплачивалось именно Щепкиным, и что именно со Щепкиным начальник военной организации полковник В. В. Ступин редактировал тексты воззвания и приказов, подлежащих опубликованию в момент начала восстания». Участия же своего в шпионаже Щепкин фактически не отрицал, и мудрено было отрицать, когда в его бумагах оказались: «1. записка с изложением плана действий Красной армии от Саратова; 2. сводка сведений, заключающая в себе список исмерных дивизий Красной армии к 15 августа, сведения об артиллерии одной из армий, план действий одной

из армейских групп, с указанием состава группы, сообщение о местоположении и предполагаемых перемещениях некоторых штабов; 3. сводное письмо, содержавшее подробное описание одного из укрепленных районов, точное расположение зенитных батарей в нем, сведения о фронтовых базовых складах; сводное письмо, писанное 27 августа, с заголовком: «начальнику штаба любого отряда прифронтовой полосы, прошу в самом срочном порядке протелеграфировать это донесение в штаб верховного разведывательного отделения (деникинской армии) полковнику Хартулари» и т. д. и т. д. Щепкин только скромно называл все это «депешами на юг» и объяснял свою прикосновенность к «депешам» «уже сложившимися» до его вступления в «Тактический центр» «деловыми обычаями».

Такого яркого и цельного объединения всех сторон контрреволюционной деятельности мы более не встретим. Но отдельные мотивы «Тактического центра» продолжают звучать и до сего дня. Только все это измельчало, обветшало и полиняло, и таких крупных фигур, как Н. Н. Щепкин, несомненно, чрезвычайно характерный буржуазный республиканец, готовый материал для Кавеньяка или Тьера, мы более не встречаем. Но под каким бы флагом ни выступали позднейшие контрреволюционные группировки, мы, кроме двух крайних полюсов, всюду встречаем сочетание демократии и собственности. Вот вам «украинская мужицкая партия»,—ставящая своей задачей создание «национального государства мужиков». Называет она себя, конечно, «партией демократической», но «формами государственного порядка» интересуется мало, считая их «явлением тактическим, а не программным». Зато в своей земельной политике она «твердо стоит на праве мелкой земельной (крестьянской) собственности на землю». «Стоя на праве мелкой собственности на землю, партия всю свою работу в этой области будет проводить под лозунгом: «Ни одного незаможника». «Тот же принцип частной собственности, но уже без ограничения в размере, должен быть взят за основу возрождения национальной промышленности. Юридические лица (в том числе и государство), а также и физические имеют право организовывать промышленные предприятия» и т. д.

«Проводя торговую политику, партия решительно отбрасывает систему государственной монополии в области внешней торговли, как систему убыточную для государства, и тот же принцип проявления частной инициативы кладет в основу своей политики в области торговли внутренней».

Думается, что дальше продолжать эти выписки из программы украинских наследников Н. Н. Щепкина нет надобности. А вот вам монархическая организация «Нацио-

нальный совет», составившаяся из бывших «обер-офицерских детей», «потомственных граждан» и кустарей-хозяйчиков. И они называют себя демократами, нисколько не смущаясь тем, что по их программе «во главе демократии стоит монарх». «Россия провозглашается демократической монархией». Но «всякий гражданин имеет право владеть земельной площадью не более трехсот десятин». «Собственность признается священной и подлежит охране законов». И даже колчаковец епископ Андрей Ухтомский, проповедующий церковно-приходскую кооперацию, разъясняет, что «литургия—слово греческое, по-русски значит общее, общественное дело, по-французски и по-латыни это значит: республика. Итак, главное богослужение нашей православной церкви называется литургия-республика, общественное дело». Даже и архиерею в наши дни не прожить без демократии.

Но собственническая демократия представляет собою, главным образом, центр современного контрреволюционного движения. Направо и налево от центра идут два крыла, оба более или менее уже выходящие за пределы здравого смысла, но интересные в том отношении, что они смыкаются с тем шпионским течением, с которого мы начали свою характеристику. Вот «российский романовский братский союз» «За царя, за Русь», ставящий своей задачей «борьбу с орудием тьмы, драконом, оборотнем, Кащеем-бессмертным, богоборцем, вечным жидом и его органом, Коммунистическим Интернационалом». Члены этого союза платят вступительный взнос от 10 до 20 рублей и возлагают все свои надежды на «очередного вождя человечества—Великобританию». Они обращаются к «его превосходительству представителю правительства его величества короля-императора Великобритании в Петрограде Т. Г. Престону» и предостерегают его, что «если мрачной силе предоставлена возможность обработки значительной части населения многомиллионной России, если в критические минуты предстоящей генеральной схватки света с тьмою могучий русский народ окажется на стороне мрачной силы, то, пожалуй, очередному вождю человечества, Великобритании, а за ней и всем христианским нациям, не сдобровать, не устоять».

А вот совсем не мистическая «лига спасения русской интеллигенции», основанная бывшим пажем и гвардейским офицером. Здесь нет места выписывать всю чепуху, имеющуюся в обращении этой «лиги» к иностранным миссиям, вроде того, что «в СССР правит не правительство, а Коминтерн через Политбюро», или, что «земли, отобранные у собственников, не поступили крестьянам, а были образованы так называемые «совхозы», советские хозяйства, т. е. другими словами, земли от прежних владельцев перешли к государству». Для нас интересны практические «выводы» лиги. Вот

они: «1. Созвание конференции представителей всех великих держав, а также представителей держав, граничащих с Россией. Место собрания—Лондон. О конференции не публикуется в прессе, постановления ее не обнародуются, но приводятся в исполнение немедленно. 2. В конференции принимают участие представители САСШ, которые дают денежные средства, необходимые для совместных действий держав. 3. Державы не входят больше ни в какие дипломатические переговоры с Россией, так как все равно все обещания не будут выполнены и все клятвы нарушены. 4. В случае решения конференции уничтожить большевистскую заразу раз и навсегда, немедленно обрушиться с нескольких сторон на Россию, привлекая для этого пограничные страны и русских эмигрантов».

Если центр явным образом опирается на мелкую буржуазию (украинская мужицкая партия откровенно так себя и называет мелкобуржуазной), на кулаков и хозяйчиков, то крылья имеют свою социальную базу в люмпен-интеллигенции («лига спасения» буквально бредит сокращением штатов, видя в этом чуть ли не главное орудие большевистского угнетения и во всяком случае главный источник безработицы). Первая сила—«самостоятельная»: на нее будет спекулировать интервенция; вторая—готовый садок, куда империалистам стоит только запустить руку, чтобы найти подходящий материал для мелкого шпионажа, мелкого саботажа, а при случае, может быть, и крупного террора. В настоящее время обе силы не имеют и десятой доли того значения, какое имел в свое время «Тактический центр». Но в случае нового открытого столкновения с империализмом, и даже в периоде подготовки этого столкновения, дезорганизаторская роль всех этих групп не подлежит никакому сомнению. Борьба с ними—мелкое и скучное дело. Тем более, что организаций этих,—как клопов в старой деревянной кровати. Мы привели три-четыре характерных образчика из буквально сотен дел, разбиравшихся ОГПУ в течение только последних двух лет. С шпионскими делами это будет уже несколько соген.

Места нехватает для того, чтобы охарактеризовать еще одну разновидность контрреволюционных организаций,—это ту, которая представляет собою мостик, ведущий от подлинной, полнокровной и яркой контрреволюции к нашей несчастной оппозиции. Это преимущественно организации молодежи. Вот один образчик—«Ленинская новая смена». «Мы ленинисты—больше чем Ленин»,—гордо заявляют основатели этой группы. «Мы подготовляем почву в коммунистической России для мирового коммунизма». А далее: «Индустриализация сейчас—контрреволюция». «Оппозиция ста-

вит ставку на пролетариат, ленинская новая смена—на крестьянство, и в этом их разница».

Что легче: борьба с централизованной контрреволюцией эпохи гражданской войны, или борьба с распыленной контрреволюцией наших дней, идущей от совершенно оголтелых черносотенцев через ряд почти незаметных переходов к людям, заявляющим себя коммунистами, иногда вчера еще бывшим членами партийных или комсомольских организаций,—что легче и что труднее, пусть это скажут сами работники ОГПУ. Одно совершенно ясно: борьба, начавшаяся десять лет назад, не кончена до сего дня и не кончится до тех пор, пока для контрреволюции будет классовая база. Борьба, которую вела ВЧК и которую продолжает ОГПУ, есть классовая борьба. ОГПУ, как раньше ВЧК, является необходимым и неизбежным орудием диктатуры пролетариата. Это одна из важнейших наших политических организаций,—и вот почему нелепо обвинение ОГПУ в том, что оно вмешивается в нашу внутрипартийную политическую борьбу. В революции друг от недруга отличаются не по документам, а по поступкам. Все, что усиливает бесчисленную массу антисоветских элементов, под каким бы флагом ни выступало, есть враг пролетарской диктатуры, и тот, кто берет на себя такую роль, не должен жаловаться, если удары боевого молота этой диктатуры упадут и на его голову.

«Правда», 18 декабря 1927 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К БРОШЮРЕ «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»

Печатаемые ниже анкеты-автобиографии ряда членов первого Всесоюзного учительского съезда (12—17 января 1925 г.) представляют огромный интерес, как памятник того сдвига, какой пережила наша низовая, преимущественно сельская, интеллигенция за последние годы.

Ни для кого не секрет—дело прошлое, а быль молодцу не укор—что народный учитель встретил Октябрьскую революцию совсем не так, как, скажем, революцию 1905 года. Тогда была настоящая весна и в природе, и в душе учителя (первый революционный учительский съезд происходил, как известно, в апреле 1905 года). Теперь весна была для рабочих, для солдат, для крестьян посознательнее, а для интеллигенции была серая осень. И учительство разделяло настроения подавляющего большинства интеллигенции.

Правда, когда наиболее нетерпеливые и горячие из нас готовы были говорить о поголовном белогвардействе учителя, тут было не без огромного перегиба палки. «Низовое учительство в Тамбовской губернии шло в подавляющем большинстве случаев по одному пути с советской властью»,—говорит одна из анкет, а Тамбовская губерния, это—старинное гнездо эсеров (о влиянии которых на учительство мы скажем ниже) и арена будущей, в 1920—21 годах, антоновщины. Сельский учитель никогда не был определенно контрреволюционным: в самом плохом случае он держал нейтралитет. Но наши впечатления, естественно, складывались на основании наблюдений над учительством городским, которое больше было на виду, особенно над учительством средней школы (теперешняя II ступень), из рядов которого на местах выходили, по необходимости, наши первые просвещенские «спецы». «Наиболее упорным элементом оказался, как, впрочем, и нужно было думать, учитель средних учебных заведений,—пишет в своей анкете А. А. Соловцов (Северный Кавказ).—Характерным для них было непрерывное брюзжание на плохое материальное положение. В этом они, конечно, правы, но, кроме материальных благ, они ни о чем не думали и не хотели думать».

Это «упорство» городских элементов учительства объясняется, в первую очередь, его социальным составом. В то

время, как в сельском учительстве еще до войны было 36% выходцев из крестьянской среды, городское пополнялось почти без исключения из семей чиновничества, духовенства и зажиточного городского мещанства. Весьма чуткое к буржуазно-демократической революционности и потому принявшее энергичное участие в революции 1905 года, с ее лозунгами Учредительного собрания и демократической республики, городское учительство было более чем равнодушно к пролетарской революции и социализму. Процент учителей-социал-демократов, тем более учителей-большевиков в 1905 году был ничтожно мал. В 1917 году повторилось то же самое. Учительство в городах оказалось сплошь эсеровским,—а оно было руководящим слоем учительства вообще и оказывало самое пагубное влияние на низовую массу. В Воронежской губернии «учительство в это время (в 1918 г.) все еще находилось под влиянием работавших у нас эсеров, впоследствии сбежавших с белыми и связавших с ними окончательно свою судьбу»,—пишет П. С. Анопченко. В Саратовской губернии «большое и вместе с тем отрицательное влияние на учительскую молодежь оказывали старые учителя, идеологически сочувствующие эсерству» (К. М. Потрясков а). Один из авторов анкет—притом из рабочего района—рассказывает, что он сам был активным членом партии с.-р. и только «в 1919 г. решительно порвал с эсерством» и т. д.

Несомненно, что таких показаний было бы гораздо больше, если бы в анкетах было сильнее представлено учительство великорусской части РСФСР. Составитель старался дать картину всего Союза, что, конечно, вообще говоря, совершенно правильно; но так как русские эсеры имели мало влияния на национальных окраинах, то о них соответствующие анкеты и не говорят. Это, однако, не значит, что самого явления национальные окраины не знали: только место эсеров занимали там местные национальные партии, отражавшие, с иной несколько окраской, те же мелкобуржуазные течения, что и наши эсеры. Национальная политика советской власти на этих окраинах явилась, поэтому, главным рычагом, повернувшим настроение учительства. Приводить цитаты нет возможности—об этом говорят все, без исключения, анкеты учителей из союзных и автономных республик. Особенно характерны анкеты украинские, ибо украинское учительство в начале революции было почти сплошь в лагере петлюровского национализма. «Когда была целиком и полностью проведена национальная политика советской власти, я сразу порвала со старым», — пишет Г. С. Бондаренко (Екатеринославская губ.).—«Я считаю, что только советская власть единственно разумно сумела подойти к разрешению национальной проблемы и этим самым

выбила у нас на Украине все козыри из рук контрреволюции».

Учительство национальных окраин, благодаря этому, сколько можно судить по анкетам, легче и быстрее русского переходило на сторону революции. «Наше учительство в своем подавляющем большинстве, даже при муссаватистах, было на стороне советской власти и партии»,—пишет азербайджанский учитель И. Г. Камбаров. Но окраины вообще, независимо от национального признака, легче меняли свое мировоззрение, чем центр (другая причина нашего перегибания палки в сторону якобы сплошного белогвардейства массового учителя), и помогли этому в чрезвычайной степени... б е л ы е. Окраины имели случай видеть белых вблизи—не в пример центральным губерниям, где антибольшевистски настроенной массе белые рисовались в виде далеких «избавителей». Во множестве анкет бесчинства белых являются отправным пунктом перелома среди учительства, его поворота к советской власти. Приведем лишь наиболее характерные примеры.

«Перелом во взглядах на советскую власть,—пишет учитель И. Д. Троцкий (из Башреспублики, но сам не башкир),—наступил с того момента, когда при эсерах власть фактически целиком сосредоточилась в руках контрреволюционных генералов, монархистов по убеждениям. Учредительное собрание, вызывавшее сочувствие в учительстве, и на которое учительство возлагало большие надежды, эти надежды, как известно, не оправдало. Ставший в дальнейшем правилом для белогвардейцев области широкий разгул и восстановление помещичьих хозяйств резко оттолкнули от белых и крестьянство, и учителей». Учитель Д. Н. Мойкевич (Белорусская ССР) рассказывает: «Резкий и окончательный перелом в настроениях в пользу советской власти произошел у нас, под влиянием многочисленных расстрелов учительства во время польской оккупации, невзирая на то, что местные учителя вели исключительно одну только культурную работу. Однако, самая близость округа к Советской России и пребывание в разное время у нас советской власти было достаточным основанием для того, чтобы поляки огулом перечислили учительство в большевиков». В Воронежской губернии, рассказывает Н. С. Анопченко, сообщив о влиянии эсеров,—«так продолжалось до 1921 года, когда белыми (очевидно антоновцами или меркуловцами) был расстрелян пользовавшийся всеобщим уважением учительства учитель Бурундин. Этот момент отмечен у нас как момент решительного перелома в среде школьных работников Буденовского района».

Белые умели действовать даже на расстоянии. «Перелом, о котором вы меня спрашиваете,—пишет н и ж е г о р о д-

ский учитель С. М. Грошев,—наступил под влиянием целого ряда причин: здесь и победа трудящихся на фронтах, и экономическое возрождение Союза ССР, и «художества» белых во время гражданской войны и т. д.». Но, конечно, вдали от театров гражданской войны два первые условия действовали сильнее. О влиянии как победы над белыми, так и хозяйственного подъема говорят многие анкеты. Эти моменты должны были особенно сильно повлиять на ту ни холодную, ни горячую часть учительства, которая, по словам одной из анкет, вначале «иронически» относилась к управлению большевиков. Иронизируют над слабыми—ничто так не охлаждает иронии, как явные и очевидные доказательства силы. Увы! Этот момент действовал иногда и против революции: многие из той же массовой интеллигенции то же переживали, с обратным знаком, и в дни столыпинщины. Но так как сила советской власти автоматически растет с возрождением народного хозяйства, то нет риска увидеть этот «обратный знак» еще раз. К этой, несомненно печальной, стороне учительского поворота—печальной, ибо дорог друг в беде, а не в счастьи—принадлежит и впечатление, произведенное на учителей (правда, особенно, кажется, II ступени) и признанием СССР со стороны «великих держав». Это, конечно, тоже яркое доказательство нашей силы. Но как грустно думать, что есть люди, видевшие своими глазами революцию и понявшие ее силу только тогда, когда контрреволюционеры стали ломать перед нею шапку.

Но, нужно сказать, у революции были черты, относительно которых заранее можно было предсказать, что массовую интеллигенцию они от революции, хотя бы на время, оттолкнут. Такой чертой, прежде всего, был террор. Еще в 1890 годах в педагогической среде говорить о том, что у нас будет свой 1793 год, как у французов, значило итти на явную непопулярность. Французский террор времени Великой революции рассматривался не как нечто неизбежно свойственное всякой ожесточенной классовой борьбе, а как что-то болезненное, продукт какого-то повального сумасшествия и во всяком случае психической ненормальности вождей французской революции. Когда неизбежное пришло, с ним не хотели мириться. «Начавшийся разгром Киева, а главное расстрелы, резко оттолкнули меня от большевизма и сблизили до известной степени с окружавшими меня людьми, с ненавистью относившимися к советской власти, как виновнице их разорения»,—пишет Г. С. Бондаренко.—«Что касается отношения к советской власти широкого учительства, то в первом периоде революции оно было сплошь и рядом недоверчивым под влиянием жестокого насилия, которое несла с собой революция в годы гражданской войны. Многих слабовольных из интеллигенции это отталкивало». (И. О. Туранский,

Одесская губ.). «В учительской среде вызывали большое неудовольствие жестокости, характерные для всего периода гражданской войны и военного коммунизма» (К. М. Потрясскова, Саратовская губ.).

Буржуазные учебники истории с их «полоумным неудачником Маратом»[1], «кровавым фанатиком Робеспьером» и прочими героями буржуазной легенды о революции, сослужили здесь буржуазии хорошую службу. Правильно было сказано: «клевещите, клевещите, всегда что-нибудь останется!». Но, конечно, было бы непомерной честью для учебников приписывать им все влияние в этом случае: они не оказали бы на учительство никакого влияния, не будь оно охвачено социально тем общественным слоем, который ненавидел в революции, прежде всего, виновницу своего разорения. Тем не менее, озаботиться хорошим, честным и марксистским преподаванием истории в наших педвузах и педтехникумах нам следует, не теряя ни минуты времени.

Но, помимо буржуазных учебников,—не приходится этого скрывать,—были в ту эпоху и реальные факты, помогавшие буржуазной легенде. «Известно,—пишет один из учителей,—что в период военного коммунизма подчас отсутствовала почти всякая законность, а руководители советской власти и представители партии на местах сплошь и рядом не соответствовали своему назначению и, бывали случаи, проводили прямо преступную политику». Ряд селькоровских процессов показал, что это бывало не только в период военного коммунизма, что по грехам это иной раз и теперь так. Поставленное на очередь почти одновременно с созывом учительского съезда оживление низовой советской работы должно раз навсегда покончить с этими «остатками»—по существу вовсе не «военного коммунизма», а партизанщины первых лет революции. Учительству, твердо и решительно ставшему на сторону советской власти, в этом оживлении предстоит, наравне со всей сельской интеллигенцией, крайне важная роль.

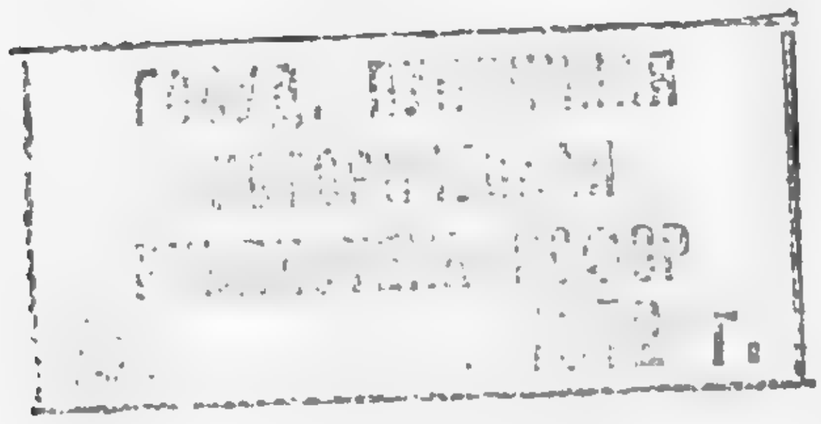
Чтобы оно могло ее сыграть, нужно, прежде всего, одно: раз навсегда покончить с тем отрывом от революционной массы, который чувствуется по всей позиции учительства во время гражданской войны. И анкеты, мимоходом и ненарочно, дают очень яркое доказательство того, что отрыв этот уже в прошлом. Почти все они отмечают огромное впечатление, которое произвела на учительскую массу смерть Ленина. В этом горе всех трудящихся учительство оказалось со всеми—и его настроения по поводу этого события мало отли-

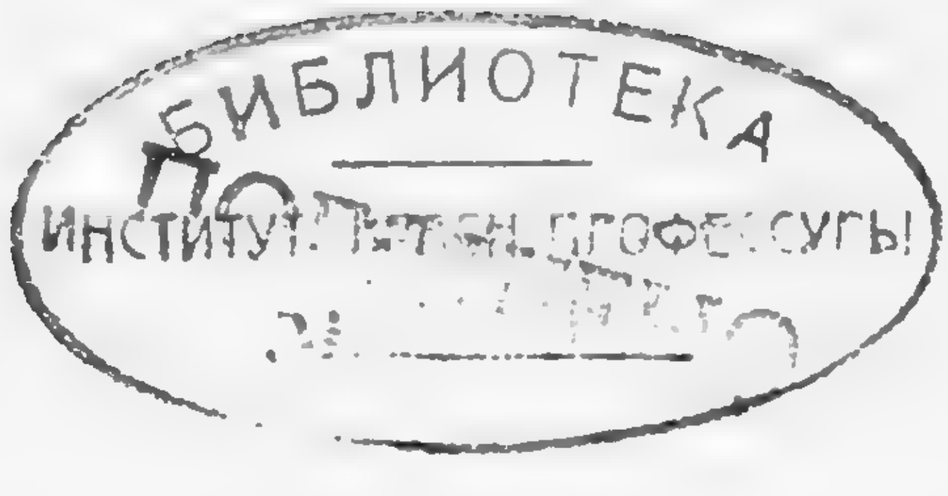
---

[1] Многим ли даже из коммунистов известно, что Марат был одним из крупнейших ученых своего времени, которого, между прочим, приглашали и в Россию как ученого, до революции, разумеется?

чаются от настроений рабочего класса. То же стремление сплотиться с партией, то же стремление помочь стрясшейся над партией беде. Какой нужно было пройти громадный путь от «иронии» первых месяцев пролетарской диктатуры до этого взрыва «ленинского патриотизма», до этого сознания: «мы тоже хотим быть ленинцами!». Учительство этот путь прошло и назад не поворотит. В его революционном прошлом не без печальных страниц—пусть они здесь вспомянутся в последний раз. В его будущем—громадная радость участия в величайшем общественном строительстве, какое видел мир. Эта радость уже чувствуется во многих анкетах. Поздравим с нею учительство.

Предисловие к брошюре В. Дробота «Великий перелом», изд. «Работник просвещения», 1925 г.





СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Предисловие 5

ЛЕНИН

Вождь 9
Ленин как тип революционного вождя 13
Ленин и народное просвещение 25
Ленин в русской революции 31
Ленин и Маркс как историки 42
Ленин и внешняя политика 48
Как рождался «Империализм» 66

ОКТЯБРЬ

Пролог Октябрьской революции 73
12 марта 1917 г. 86
Два октября 91
Исторический смысл Февраля 97
Буржуазная революция против буржуазии 108
Противоречия г-на Милюкова 115
Гражданин Чернов в июльские дни 137
Буржуазная концепция пролетарской революции 142
Октябрьская революция в изображениях современников 168
Как возникала советская власть в Москве 207
Большевики и фронт в октябре—ноябре 1917 г. 217

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА и КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Заговор шпионов Антанты 235
Наши спецы в их собственном изображении 251
Кающаяся интеллигенция 262
Разложение продолжается 277
Что установил процесс так называемых «эсеров» 283
Идеология эсеров за два последние года (1921—1922 г.г.) 343
К пятой годовщине взрыва в МК РКП 362
Советская глава нашей истории 369
Грузия под английским владычеством 381
Через семь лет 390
ВЧК — ОГПУ 397
Предисловие к брошюре Дробота «Великий перелом» 413

Сф1957
246